



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,
Т. В. ДОРЕНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УВОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

- Николай СМИРНОВ
Варакшенок. Рассказы 7
- о. Ярослав ШИЦОВ
Нечто непоправимое.
Рассказы 42
- Марс АХМЕТШИН
Четвёртый стол. Повесть 57
- Роман СЕНЧИН
На новом месте. Рассказ 90
- Дмитрий ИГУМНОВ
Люди прошлого века.
Рассказы 101
- Валерий ИСАЕВ
Брёхни 118

Поэзия

- о. Владимир НЕЖДАНОВ
Сколько в небе таятся огня!.. 3
- Михаил КАРАЧЁВ
За родимой оградой 38
- Илья КИРИЛЛОВ
Успение 52
- Владимир БОЯРИНОВ
А я подожду... 85
- Андрей ШАЦКОВ
Как ты горька, полынь! 98
- Галина РУДАКОВА
Когда цветёт
светлынь-трава... 114

Очерк и публицистика

- Захар ПРИЛЕПИН
Дневники чужой смуты 133
- Давид ЗАСЛАВСКИЙ
Поляки в Киеве
в 1920 году
(предисловие Ст. Куняева) 140
- Татьяна МИРОНОВА
Русская родовая память 153
- Валерий БАДОВ
Взойдёт ли сызнава
солнце великороссов 172

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Владимир ДЕНИСОВ
Мои советские герои 186

Анатолий ЯКОВЕНКО
Судьба русской деревни 196

Сергей ДМИТРИЕВ
Побег в Арзрум 213

Критика

Сергей КУНЯЕВ
Дело соборное 235

Дмитрий НЕЧАЕНКО
Казус Улицкой 240

Александр РАЗУМИХИН
Не каждый, кто на коне —
всадник 248

Александр ПУШКАРЁВ
"Не таким мозглякам, как вы,
тягаться со мной..." 259

Наука Москва

Виктор СЕНЧА
Начальник московского
сыска 203

Свет разума

о. Владимир ЧУГУНОВ
Благоухание 272

Книжный развал

Татьяна НЕРЕТИНА
Трансформация души 277

Дмитрий ФАМИНСКИЙ
Холодок предчувствия 280

Евгений ЕВДОКИМОВ
Частная инициатива и власть..... 286

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 30.10.14. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №3115. Тираж 9000 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

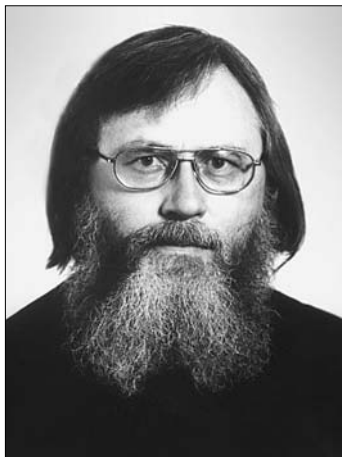
(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в ОАО "Красная Звезда", 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ВЛАДИМИР НЕЖДАНОВ



СКОЛЬКО В НЕБЕ ТАИТСЯ ОГНЯ!..

ЛАСТОЧКА

— Где вчера ты ещё щебетала —
Чья-то пела душа и летала!
— Неужели здесь Ангел живёт,
Вместо ласточки песню поёт?..

— Где теперь ты, небесная птичка?
— А собою ты вся невеличка,
Но для Бога всегда хороша, —
На два голоса пела душа...

* * *

Поздней осенью в доме темно,
В лёгкой дымке тумана — окно,
И смеркается, словно светает,
Там, в лесу, где листва облетает.

НЕЖДАНОВ Владимир Васильевич родился в 1950 году в подмосковной деревне Кривцово Солнечногорского района. Служил в армии. Работал редактором в издательстве "Современник". В настоящее время служит священником в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Льялове Московской области. Автор пяти стихотворных сборников. Член Союза писателей России. Живёт в подмосковном посёлке Менделеево.

И летящие листья поврозь
Обнажают пространство насквозь,
За которым пустые деревья,
А за ними — дорога, деревня

И у крайней, я вижу, избы
Вьётся первый дымок из трубы...

* * *

Служба кончилась — еле слышна
В тишине колокольного звона...
В церкви Божией — вид из окна —
Это тоже святая икона!

Свет намоленный, воздух святой!
Двери настезь — божественный ветер!
Продолжение службы — молитвы такой
Никогда я не слышал на свете!

Всё открыто для чистого взора.
Божий мир — он везде без границ!
И не слышно церковного хора —
Только райское пение птиц...

ОГОНЬ

Гремел огонь бессмертной славой,
Когда от неба до земли
В грозу расплавленную лавой
Ручьями молнии текли!

И от возвышенной той речи,
Как от Божественной свечи,
Созвездий возжигались свечи,
И служба слышалась в ночи!..

ВETERAN

Однажды в парке на закате дня
Я сквозь деревья
В даль холодную всмотрелся —
Старик с протянутой рукой
Сидел у Вечного огня,
Как у костра в лесу,
И — грелся...

ЭХО

Кинешь камень — по тихой воде
Разойдутся круги многократно,
Крикнешь — эхо вернётся обратно,
Ты свой голос услышишь везде.

И, как волны, пойдут от меня
Колебания те звуковые...
Это кольца былинного пня —
Те круги по воде вековые...

И не слышно, не видно ни зги,
Если осенью поздней по луже
Стукнет капля — всё те же круги
Разойдутся по утренней стуже...

СИРЕНЬ

Окно распахнуто в сирень!
В саду под лиственной сенью,
Где фиолетовая тень
Переплелась с зелёной тенью,
Таился вешний Божий день
И воздух сам дышал сиренью!

ХЛЕБ

Крошки хлеба ладонью собрал со стола
И понёс их до пашни — по краю села.
“Грех выбрасывать — это родительский хлеб...” —
Так учил меня сызмальства дедушка Глеб.
С просьбой странной закахивал даже в дома:
“Видно, начисто выжил старик из ума —
Просит хлебные крошки, а хлеба — нема!”
Он посеет пшеницу и рожь заодно,
Ведь в ладони его — золотое зерно!
И бредёт он по пашне и крошки бросает,
Про себя напевая, горбушку кромсает:
“Это хлеб наш насущный — Божественный хлеб!” —
Наставлял меня малого дедушка Глеб...
По дорогам бродил, выбиваясь из сил,
И у каждого встречного крошки просил...

ДЕТДОМ

В нашем городе новый детдом
По соседству с новым детсадом...
Как ответить ребятам потом,
Почему их построили рядом!?

Не достроили новый роддом —
Приспособили для престарелых,
Не сгоревших в войне, обгорелых,
Смерть нашедших в роддоме потом...

СНЕЖОК

Рассыпчатый, хрупкий снежок
По ветру пушу я — за ветку
Зацепит — морозный дымок,
Качнётся, потянет по ветру.

Вот в солнечном небе скользят,
Сверкают, мелькают снежинки —
Сквозь воздух янтарный летят
Серебряные паутинки...

И вот пропадают вдали
И там, где сейчас они были,
Летели вчера журавли,
По воздуху родины плыли...

* * *

Ветер подул,
И сердце сильнее забилося!
Илистый холод донёсся
из глуби полночной реки.
В доме топится печка —
с весны не топилась.
И гуляют по дому,
дымят
отсыревшие сквозняки.

Выйду в ночь.
И своими большими шагами
растревожу в деревне
угрюмых соседских собак.
Хрустнет иней,
лопнет лужа в саду
под кирзовыми сапогами.
И осенними морозом скуёт
холодеющий мрак.

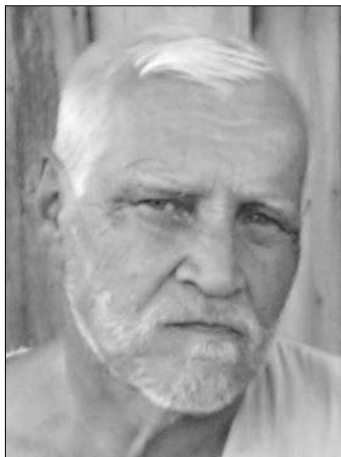
Но увижу я
небо весны и рассвета,
хоть и дуют в мой дом
потемневшие холода.
И вдали электричка
промчится сквозь ночь,
как шальная ракета,
и откликнется ей
догоревшая в небе звезда!

УЧЕНИЯ

Реактивная тянется тяга.
Загудела земля подо мной,
И заря — наподобие стяга
Поднялась над моею страной!

И ревели ракетное пламя
На закате вечернего дня —
Сколько в небе таятся огня!
И горит, и горит над лесами,
И грозой опалает меня...

НИКОЛАЙ СМИРНОВ



ВАРАКШОНОК

РАССКАЗЫ

ВАРАКША

Если вы захотите из любопытства заглянуть на мою родину, убедительно прошу вас этого не делать. Дорог к нам никаких нет. Люди, как и тысячи лет назад, ездят и ходят просто по земле, по лесам и болотам. В райцентре Шабалино любой шофер охотно согласится подкинуть вас и до Котельнича, и до самой Вятки, и даже до Костромы, но если вы заикнётесь о Варакше, он только смачно сплюнет да пятиэтажно выругается. Правда, иногда, в случае крайней нужды, в район посылают леснического шофера Ваську Доставалова на допотопном, давно списанном “газоне”. Но бывает это крайне редко. Да и Васька для храбрости вусмерть напивается и пока держится за баранку — едет. Но если машина заглохла и надо вылезать с кривой заводной ручкой, то тут же и падает, как убитый.

— Васька, чёрт! — кричу ему однажды. — Как же ты едешь эдакой пьянёхонький?

А он хохочет:

СМИРНОВ Николай Александрович родился в 1941 году в починке Петропавловский Шабалинского района Кировской области. Ветврач, зооинженер. Работал по специальности на Севере, на Урале, в Подмоскowie. Автор сборников прозы “Ветлугаев бор”, “Живица”, романа “Сталиногорцы”. Печатался в журналах “Наш современник”, “Север”, “Молодая гвардия”. Лауреат Тульской областной литературной премии им. Я. Смякина, премии им. Н. Лескова “Левша” за 2009 год. Член Союза писателей России.

* Журнальный вариант.

— Да ты глянь, Колька, глянь! Разве можно по эдаким бучилам тверёзому ездить! А зальёшь шары-то, дак такая отвага появляется, что прёшь по любой грязюке, как по американскому автобану...

Варакша наша расположена большим треугольником на стыке трёх областей, что, безусловно, было удобно разбойникам, от которых и пошёл наш буйный народ. Некоторые историки, конечно, в этом сомневаются, но лично я охотно верю. У нас даже в бабах до сих пор бушует эта разбойничья кровь. В других местах они всегда стараются разнять драку, а у нас наоборот: сами становятся плечом к плечу с мужиками и бьются до потери сознания хоть с ветлугаями, хоть с вятчентами, хоть с костромичами.

Но вы не думайте, что разбоями грешили лишь мои земляки. В смутные времена (да простят меня патриоты!) на Руси на разбой ходили как на отхожий промысел. Ограбленные, к примеру, вятчи, скототив ватагу, шли на костромичей, костромичи — на вологжан или ещё куда-нибудь.

Не отставали от наших и просвещённые европейцы. Как свидетельствует летопись, новгородцы однажды собрались пограбить шведов, но по дороге встретили эстонцев, которые шведов уже ограбили и возвращались домой с добычей.

— А вы отдайте нам половину! — потребовали новгородцы.

— Шиш вам! — отвечали эстонцы. — Сами спворьте.

— Ах вы, чудь белоглазая! — возмутились новгородцы и отбили у эстонцев всё награбленное, вплоть до литых позолоченных ворот от какого-то католического храма. Потом оказалось, что эти ворота шведы грабанули у готов, а те, в свою очередь, то ли у итальянцев, то ли у крестоносцев. По-христиански это или не по-христиански, я не знаю, но ворота эти до сих пор украшают Софийский собор в Новгороде...

До революции на Варакше насчитывалось полсотни лесных деревушек, починков и хуторов со столицей Атаманово: Колодешники, Трясуны, Мякинники, Сыроеды, Лапотники, Сутяжники, Чащобники, Гончары, Гужееды — эти названия говорят сами за себя. Другие же населённые пункты требуют некоторых пояснений.

Челобитники — эти всю жизнь молятся. Корова отелилась — молятся, картошку градом побило — молятся, дом загорелся — всё равно молятся вместо того, чтобы тушить.

Шампильонщики. Эти когда-то ходили на сплав до Нижнего Новгорода. Там после расчёта забрели в ресторан и, поскольку грибы в наших местах ничего не стоят, в целях экономии на закуски и потребовали грибов. И шампильоны им так понравились, что они съели все, что были в ресторане, а потом, когда им предъявили счёт, у них и заработанных денег не хватило, чтобы расплатиться.

Собашники. Испокон веку разводят и продают собак. Даже картошку не сажают, не говоря уже о том, чтобы какую-нибудь полезную скотину держать. По праздникам связывают этих собак за хвосты и наблюдают, чей конец деревни перетянет. На эти соревнования сбегалась вся Варакша. Кончались они так же, как и теперешний футбол, — дракой.

Простодырники — эти, говорят, верили всему что услышат, как нынешний электорат. Если им говорили, что африканские негры напали на Россию, они тут же являлись в Атаманово во всеоружии: с сулебами, пищалями, кистенями и ружьями. Если им говорили, что в их починок на днях приедет митрополит, тут же принимались белить печи, выметать мусор из часовни и застилать улицу половиками.

Балабольщики, Хохмачи и Баламуты. Ну, эти, если бы сохранились, вполне могли заменить всех наших пошлых до рвоты юмористов.

Трясуны — в отличие от простодырников, решительно ни с кем не хотели воевать и перед мобилизацией всегда прокалывали уши спицами, отчего многих и трясло...

Лыковка, Мочаловка и Берестянка. Жители этих деревень достигли в своём деле такого совершенства, что их мочальные шляпки, пояски, берестяные сумочки и лапти долетали аж до Парижской выставки. Всё испортил

дедушка Савелко. Он сплёл лыковый костюм-тройку и отправил в Москву всеоюзному старосте Калинину с тем, чтобы тот “сбавил маненько налога”. Неизвестно, дошёл ли тот костюм до адресата, но жителей Лыковки, Мочаловки и Берестянки обложили таким налогом, что они, побросав кодочиги, разбежались по великим стройкам коммунизма...

И, наконец, — Голожопники. Здесь жители снимали штаны, по пояс заходили в болото и ждали, когда присосутся пиявки. Потом вылезали на сухое место, отдирали пиявок, складывали в стеклянные банки и увозили на Ветлугу или в Кострому, чтобы сдать в аптеки.

Но несмотря на такое множество селений, у нас на Варакше все родня. В какой-нибудь вятской или костромской деревне на тебя и внимания не обратят. Но как только ты пересёк границу и ступил в варакшинский хутор или починок, встречающая востроглазая бабка тут же взглянется в твоё лицо, словно художник в картину большого мастера, и, всплеснув руками, воскликнет:

— Ба-атюшки! Да ведь это Бадеренков внук! Погли-ко, глазом-то так и стригает, так и стригает, будто цыган али мазурик какой... Ну, дак заходи, заходи, покормлю, чего Бох послал...

Или:

— Матушки мои! Никак Хохрячёнок к матке в Атаманово правится. Глянь-ко, Параня, вся статья Митрея Захарова, и походка дедова. Жива ли Хохрячиха-то? Ежели жива, дак передай-ко ей медвежьей желчи. Уж больно она её просила, когда я в Атаманово-то ходила...

И ни одну нашу бабку не смутит ни модный костюм, ни причёска, ни даже то, что родился ты даже где-нибудь и не на Варакше.

Были у нас и такие селения, где народ говорил на таком древнем, закомуристом языке, в котором посторонний человек и половины слов не поймёт. Бывало, спросишь мёду у какой-нибудь бабки:

— А кма ли тебе надо мёду-то? — спрашивает она.

— Ну, давай хоть полкмы. — в шутку отвечаешь ты ей.

Бабка удивлённо таращит глаза.

— А сколько это — полкмы-то?

— А кма сколько?

Наконец, бабка соображает, что перед ней не кто иной, как настоящий варакшенок, и просто разыгрывает её, и возмущается:

— Ещё и изгаляется над старухой. Иди, лешов дьявол, и за деньги не дам!

Если посмотреть на карту, то у нас можно обнаружить всего два-три крупных селения. Остальные не числились нигде. Землеустроители неоднократно пытались нанести их на “планты”, но безуспешно. Одна такая экспедиция заблудилась, и её до сих пор не нашли; вторую лесник Онуфрий завёл, как Иван Сусанин, в гиблые Обабошные болота. А третья опять же заблудилась и, донельше отоцвавшие, обросшие диким волосом, участники её вышли куда-то к Ветлуге...

После революции отдельные активисты начали было крушить хутора, но их вскоре перестреляли. Постреляли и несколько присланных из района председателей колхозов, после чего охотников связываться с варакшонками уже не нашлось. С тех пор Варакшу окрестили семнадцатой республикой, и ни Кировская область, ни Горьковская, ни Костромская не желали её видеть в своём составе и постоянно переписывали из одной в другую. Так что многие наши люди до сих пор толком и не знают, в какой области родились. И я в том числе...

Правда, в самой столице Варакши — селе Атаманове — после войны сколотить колхоз всё же удалось, но вскоре районное начальство убедилось, что нашим людям по менталитету ближе всё-таки зверьё. Создали звероферму. Скармлили зверью весь колхозный скот, после чего зверьё частично разворовали, а частично выпустили на волю. Сами же помещения фермы, вольеры и контору, как у нас и принято испокон веков, сожгли. Заодно сожгли и сельсовет и опять стали налегать больше на лесозаготовки, живицу, охоту, грибы и ягоды, чем на пустую подзолистую землю.

А к руководству Варакшей опять приступил батюшка Абросим, — возможно, самый либеральный поп в мире. Он вместе с мужиками валил лес и,

чтобы не надрывать лошадь по пенькам и кочкам, на плече выносил к дороге шестиметровые брёвна, словно жерди. На сплаве один снимал плоты с мелей и перекатов, а в Нижнем Новгороде в цирке, раздевшись до кальсон, валил одного за другим профессиональных борцов. Пил он тоже вместе с мужиками. Мог обвенчать парня с девкой, но если та окажется не девкой, то тут же и развенчать по первому требованию жениха и повенчать с другой. А по праздникам, если наших мужиков начинали одолевать ветлугаи или вятченёнки, смело становился впереди и с криками “Сарынь на кичку!” бросался на врага и так молотил своими пудовыми кулачищами *во имя Отца и Сына, и Святого Духа*, что враги так и рассыпались горохом.

ВЫПОЛЗОВ ПОЧИНОК

Мой родной починок назывался Выползов, потому что со всех сторон он окружён такими топиями, что в них постоянно тонул скот, сдёргивали со шкворней телеги и тарантасы, да и теперь, наверно, “новые русские”, приезжающие на охоту на своих внедорожниках, подолгу щупают в грязи полу-сгнившие брёвна старых мостов и лежнёвок. Завидовала нам вся Варакша: к выползятям не только уполномоченный, а сам леший не проберётся.

Но мы, конечно, знали, где и как безопасней из починка выползти, а потом заползти обратно. Родился я не в самом починке, как это записано в метрике, а километрах в трёх от него под ёлкой в лесу, куда мать моя с бабушкой ходили за рыжиками. И жизнь моя сразу началась с несчастья. Для того чтобы донести меня до дому, бабушке пришлось высыпать на землю целое лукошко рыжиков, о чём она сокрушалась потом до самой смерти. Я же молчал всю дорогу и все решили, что я, слава Богу, не жилец на этом свете. Не тут-то было! Дома на печи я заорал так, что всполошил весь починок. Прибежала ворожея бабка Дарья, взяла меня на руки и всю мою родню разочаровала:

— Живучой, дьявол! Погли-ко, у его и глаз, как у таракана, светится.

С тех пор меня так в починке и прозвали: “тараканий глаз”, хотя сколько я потом этих тараканов ни рассматривал, никаких глаз у них не обнаружил.

Правда, после денежной реформы 1947 года прозвище мне поменяли. Когда папка мой вернулся с лесозаготовок, во всех магазинах и лавках Варакши уже всё расхватили вплоть до изъеденных молью кроличьих шапок, ржавых подойников и полусгнивших овчин. Оставалась лишь одна пудра, и чтобы старые деньги не пропали, папка привёз домой целую телегу этой пудры, которой хватило на всю Варакшу вплоть до денежной реформы 1961 года. Ею пудрились все от мала до велика. Даже опрешные в лаптях ноги присыпали, а также и капусту, если на ней появлялась тля. А моя мамка изобрела первый в мире “хагис”. Она высыпала в штанишки моему младшему брату Сережке пять-шесть коробок этой пудры. И сколько бы он потом ни наложил в эти штанишки, от него всегда пахло лавандой.

Папку же с тех пор стали звать Сашкой Пудренным, а меня, само собой, Колькой Пудрёнком.

Как с неприятностей всё началось, так и пошло через пень-колоду. Повезла меня мать на салазках в соседний починок, чтобы сфотографировать и отправить фотографию на фронт отцу, но я вывалился по дороге в сугроб. Мать этого не заметила, поскольку везла ещё полмешка картошки, чтобы заплатить фотографу за работу. Меня подобрал какой-то старик на лошади и, решив, что дитё выкинули специально, стал возить по чужому починку с тем, чтобы меня кто-нибудь усыновил. Но кому я был нужен! Бедная моя мать, обнаружив пропажу, сбегала туда и обратно и бесчувственная валялась в том доме, где меня должны были фотографировать. Наконец, объехав весь починок, старик решил всучить меня фотографу, справедливо решив, что тот попутно увезёт меня в район, а уж там и решат, что со мной делать дальше...

Тут-то я, наконец, и обнаружился. И орал потом три дня, требуя птичку, которая должна была вылететь из фотоаппарата. Орал бы, может быть,

и дольше, если бы бабушка не подобрала на дороге замёрзшего воробья и не заткнула мне им рот.

— На, супостат, подавись ты своей птичкой!

Потом я с такой же наглостью ходил за ней, вцепившись в юбку.

— Баба, да-ай леденчик! Баба, да-ай леденчик!

Наконец, она с грохотом открывала кованный медью сундук, долго рылась в одежах и совала мне в рот леденец.

— На, аделище ненасытное, подавись! Последний отдаю! От лешего да от нечистой силы можно хоть молитвой отойти, а от тебя ничем не отойдёшь...

Но я точно знал, что леденец у бабки не последний, и через пять минут опять тянул, вцепившись в её юбку и не отставая ни на шаг:

— Ба-а, ну, дай ещё... Ба-а, ну, да-ай же...

Потом я стал слепнуть и, возможно, ослеп бы совсем, если бы не мой закадычный дружок Санька Забродин. Я обнаружил у бабушки в подвале горшок со сметаной и стал поедать её потихоньку, приспособив вместо ложки щепку. И вот однажды бабушка за ужином возьми да и скажи как бы невзначай: кто много ест сметаны, тот может ослепнуть. У меня вскоре защипало глаза, как будто я съел несколько луковиц. Потом потекли слёзы, и всё вокруг стало расплываться. Всю ночь я не спал, а утром побежал к Саньке узнать: если ослепну насовсем, на оба глаза, то будет ли он водить меня за палку, как Митю Слепого с Баранова хутора водит его жена Пелагея.

— Ду-ррак! — твёрдо заявил Санька. — Врёт твоя бабушка. Это с голодухи можно ослепнуть, да и то частично, а от сметаны — никогда!

И УБИЛ ЗАПЯТУЮ...

Нет, не бывать бы мне в том году школьником. Во-первых, мне и шести ещё не исполнилось, а во-вторых, война: ни скинуть, ни надеть нечего. Всей одежи и было на мне, что бабушкина кофта в горошек.

Ну, а уж если всю правду сказать, то не больно мне и хотелось в нашу починовскую школу. Что это за школа — смех, да и только! Всего-то одна комнатка в прирубке у деда Еврасима. И пол некрашенный, и окон всего три, хоть среди бела дня лучину зажигай, и тараканы на тебя из всех щелей смотрят, а в сенях — какие-то драные хомуты, седёлки валяются да разошедшаяся кадушки. И все четыре класса в одном.

А учительница Фаинка, внучка деда Еврасима, сама всего семь классов кончила и ходит-то в заплатанных чёсанках да в каком-то перелицованном пиджачишке с деревянными пуговицами. И всё-то зябнет, всё-то зябнет...

Вот в Атаманове — школа так школа! Все классы порознь, да плакатами, портретами, картами всё увешано — прямо в глазах рябит. Даже глобус у них есть и библиотека!

Через неё-то, через библиотеку, я и попал в нашу починовскую школу, а если точнее, то через старшую сестру Томку. Принесла она оттуда книжку про Гулливера. Само собой, спрятала от меня. А чего прятать-то? Благодаря ей же, Томке, я и читать уже умел, и считать до сотни, и все стихотворения, которые она учила, знал назубок.

Так вот, книжку эту я, конечно, отыскал в её куклах, прочитал в бане у окна, и запало мне с тех пор в душу, что эти самые лилипуты в нашем патефоне живут. Иначе кто же, думаю, в нём петь-плясать будет? А ночью, наверное, выползают наружу подкормиться, потому что, сколько бы я ни крошил около патефона хлебных крошек — к утру ничего не оставалось...

Конечно, я давно бы познакомился с этими лилипутами, если б не Томка. Она не только не подпускала меня к патефону, а и вообще всегда за руку меня с собой таскала.

Но вот и на мою улицу праздник пришёл — первого сентября. Мать, как всегда, на работу, а Томка — в школу. Я до винтика разобрал патефон, но лилипутов почему-то не обнаружил. Может, думаю, они в часы перебрались на жительство? И часы разобрал — нет лилипутов. Видно, в другой дом перешли, размышляю про себя, наверное, кормил плохо. А где для них че-

го взять-то! Сами, считай, одну картошку едим, да грибы, да свеклу ещё сушёную вместо сахара...

Ну, и отправили меня после хорошей взбучки на другой же день в школу. Точнее, не в школу, а как бы в детский садик, где я должен был сидеть в четвёртом ряду вместе с Томкой, не болтать ногами, не разговаривать и молча писать в самодельной тетрадке огрызком карандаша всякие палочки и закорючки.

Тут-то вот я вскоре и отличился на зависть всему нашему починку. Было дело, привезли на лошади нарядную тётку из роно. Она посидела в нашей школе, походила по рядам, да и спрашивает: кто, мол, какие стихотворения знает про войну. Я так и вскочил от радости:

— Я знаю!

Томка мне тут же подзатыльник, да уж поздно. Тётка из роно пошептала о чём-то с Фаинкой, усмехнулась и говорит:

— Ладно, иди к доске.

— А может, тута? — не растерялся я, потому что выходить к доске мне не было никакого резона. Уж если рубаха на мне, перешитая из бабушкиной кофты в горошек, была ещё куда ни шло — всего с двумя заплатами, то штаны вообще состояли из одних заплат и держались даже не на лямке, а на обрывке череседельника. Про обувь и говорить нечего: ночью мать сшила мне из старых кирзовых голенищ какие-то чупяки, так они ещё по дороге в школу разъехались. Из одного пятка торчала, словно луковица, а из другого — большой палец с кривым ногтем.

— Ну, давай с места, — опять усмехнулась тётка. — Про что рассказывать-то будешь?

— Да хоть про что, — говорю, — хоть и про пограничника, хоть про “первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин...”, хоть про танкистов...

— Ну, расскажи тогда про пограничника.

— Пожалуйста.

И, опасаясь, чтобы меня не остановили, я зачастил, будто из пулемёта. А как дошёл до места, где пограничник убил троих шпионов, но подкрался четвёртый и нанёс ему смертельную рану, тётка из роно замахала руками:

— Голубчик, голубчик, потише!

А тут ещё на беду Фаинка впуталась:

— Коля, Коля! Здесь же запятая перед “но”.

“Вот чёрт, что ещё за запятая? — растерялся я. — Томка, когда заучивала это стихотворение, ни о какой запятой там речи не вела. Запятая... запятая, — бился пульс в моих висках. — Что же это? Да ведь это шпионка, радистка! — осенило меня. — Ну, конечно! Какой толк фашистам через нашу границу ходить, ежели они Гитлеру никаких сведений передать не смогут. А Томка — дур-ра! Главную строчку пропустила. Ну, и молодец же я — вовремя догадался!” С чувством и расстановкой я повторил куплет:

— Троих он убил и убил Запятую, смертельную рану нанёс...

— Подожди-ка! — округлила глаза тётка. — Как это “он убил запятую”?

— Очень просто, — пояснил я, — из автомата и убил.

— Коля, а запятая — это что, по-твоему? — опять вмешалась Фаинка.

— Как что? Шпионка немецкая, радистка...

Тут все и грохнули. А Томку вообще скрутило от смеха так, что она даже одёрнуть меня не могла, вроде как только трогала за штанину. Однако меня не так-то просто было сбить с толку. Выждав, пока все утихло, я продолжал пояснять:

— Тут дальше в стихотворении всё неправильно.

— Да почему? — утирая слёзы, спросила тётка.

— Да потому! — удивился я ее бестолковости. — Ведь троих он убил?

— Ну, убил.

— Радистку Запятую убил?

Тут опять все загоготали, даже первыши, а в стенку Еврасим чем-то стучать начал. И тогда мне ничего не оставалось, как выложить на парту нарезанные из малиновых прутьев палочки.

— Натё вам, сами считайте, — я отложил три палочки. — Троих он убил? Убил. Радистку Запятую убил? Убил. Значит, всего четыре.

— Ну, хорошо, Коля, пусть так, — согласилась, наконец, тётка. — А дальше-то что?

— А дальше то и получается, что уже не четвёртый к пограничнику-то подкрался, а пятый, — в упор уставился я на неё, — а кто это стихотворение писал, тот, наверно, считать совсем не умел. Вот что получается.

Тут уже от хохота вообще все окна в избе задребезжали, а со стены упал единственный портрет Мичурина.

Да только ведь не теперь сказано: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Тётка из роно оставила меня после уроков, объяснила, что такое запятая, потом попросила почитать книжку, посчитать на палочках и самостоятельно зачислила меня во второй класс. Мало того, выдала мне две настоящие тетрадки: в линейку и в клеточку, “Родную речь”, “Арифметику”, ручку с запасным пёрышком “лягушка” и целый пузырёк настоящих чернил.

А наши-то, починовские, как писали самодельными чернилами из печной сажи на газетных обрывках, так с тем и остались. И это была моя первая и последняя удача в жизни.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Начальную школу я закончил с похвальной грамотой. Бабушка подержала её перед глазами вниз головой и прилепила на хлебный мякиш в простенок на видное место. Всем в починке она начала хвастаться, что с таким образованием я не буду катать бревна, как все наши, а стану маркировщиком, а может быть, даже и в десятники выбьюсь.

Конечно, так бы благополучно и сложилась далее моя судьба, как предсказала бабушка, если бы на мою погибель не вернулись с фронта мой отец и мамкин двоюродный брат дядя Саша-медвежатник. Он ещё до войны ухлопал сорок медведей, а в войну — двести сорок немцев. После первой четверти самогона они долго по очереди шупали мою огромную от рахита голову и пришли к выводу, что с такой головой мне в починке делать нечего, а надо учиться дальше. После чего дядя Саша дал мне примерить свой китель с Золотой Звездой, и бабушка моя едва не померла от умиления.

Потом вспоминали, как шли по Европе и как в каком-то городе Белграда для них все улицы устелили коврами, из которых, наверно, до сих пор бедные жители вытрясают вшей. Долго над этим смеялись, а потом взялись за вторую четверть. И когда её ополовинили, начали немцам завидовать. Якобы у них даже в деревнях все живут в двухэтажных каменных домах, все ходят в суконных пинжаках с галстуками и в лаковых шиблетах. Пьют вино прямо из бочек, а едят — из серебряных тарелок серебряными ложками. И папка мой под конец до того разъярился от этой зависти, что все наши деревянные ложки переломал через колено, глиняную посуду расхристал о пол, а лапти сжёг в печке.

Потом, когда они допили вторую четверть, запрягли лошадь и поехали в район. Папка мой уже молчал, только скрипел зубами, а дядя Саша орал: пускай они, тыловые крысы, проведут нам в починок к Покрову электричество, асфальтированную дорогу, откроют школу-десятилетку и лесотехникум, а лично мне перекроют крышу!

В районе они дебоширили три дня. В исполкоме избили председателя, в чайной повыбивали все окна, а под конец дядя Саша из своего именного пистолета пострелял все чашечки на телефонных столбах, и их обоих забрали в отрезвиловку. Папку моего на другой день отпустили, а дядя Саша из отрезвиловки выходить наотрез отказался и потребовал, чтобы его выводили оттуда со знаменами и под барабанный бой, поскольку лично товарищ Сталин категорически запретил забирать Героев Советского Союза. Перетрусившие милиционеры собрали со всего райцентра флаги и знамена и под барабанный бой пионеров дядя Саша торжественным церемониальным шагом покинул отрезвиловку. За это нашу Варакшу в районе возненавидели окончательно и в очередной раз пытались всучить Ветлуге. Правда, крышу ему всё-таки перекрыли, но электричества и асфальтированной дороги в наш починок так

и не провели, не говоря уже о десятилетке и лесотехникуме. Поэтому-то и пришлось мне ходить за десять километров в Атамановскую семилетку. И как начался я в тамошней библиотеке всяких книжек, так и сделался совершенно ненормальным, вроде Коли Дедя, который за конфетку-подушечку такого наплетёт за пять минут, что и за день не перескажешь. Начал я врать, и настолько безбожно, что бабушка едва с ума не сошла. Не с этого ли начинают все писатели, политики и президенты?..

Вот прихожу из школы и докладываю ей:

— А в Атаманове мужики неводом водяного вытащили, но отпустили, потому что тот пообещал нашу реку Какшу соединить с Волго-Доном.

Или:

— А в Чащобниках поймали лешего с лешачихой и лешачёнком. Лешего с лешачихой в Вятку в зоопарк отравили, а лешачёнка нам отдали в жилой уголок. Он так и уливается слезами...

Или:

— Вчера к Атамановскому мосту пираты на корабле причалили. Все магазины ограбили, а учителей наших перетопили, так что в школу недели две не надо ходить, пока новых не пришлют...

Бедная моя бабушка чего только не делала: и святой водой крошила, и четверговой соли на ночь привязывала, и к батюшке Абросиму водила — всё бесполезно. Вру и вру, хоть ты рот зашивай. Потасили меня к ворожее бабке Дарье. Та разложила на столе сотню бобов, чего-то покумекала над ними и сообщила, что ничего путного в жизни меня не ожидает.

Бабушка добавила ей ещё десяток яичек, а бабка Дарья, в свою очередь, добавила на стол бобов, но получилось ещё хуже: на моём жизненном пути встал какой-то шкилет, после которого житуха моя, и без того беспроблемная, станет ещё хуже. А жизнь на Варакше вообще прекратится.

— Ну, а как насчёт вранья-то, Марковна? — поинтересовалась вконец убитая горем бабушка.

— А то и скажу, Капитоновна: пуцай врёт, ежели без корысти. От этого вреда никакого и никому не будет...

— А ежели с корыстью?

— Ну, тогда хлестать его придётся, как сидорову козу. Только полотенцем не бейте, а то вредный сделается, и веником тоже нельзя — тёща любить не будет...

Поначалу, однако, я всяких скелетов стал побаиваться, и когда в Барановом волоку волки задрали мерина дяди Кузьмы, то скелет его, на всякий случай, обходил стороной. А также близко не подходил и к особо тощим мужикам, которых у нас на Варакше тоже звали шкилетами. Но поскольку ничего плохого со мной не происходило, то вскоре всё и забыл...

АРТИСТ

В общем, врал я врал, а потом всю эту вранину стал посылать в районную газету “Красный льновод”. Но оттуда вскоре пришло письмо с просьбой, чтобы я писал не “фантастику”, а сообщал бы о значительных событиях, которые происходят у нас, и о трудовых достижениях коллектива. Господи Ты, Боже мой! Ну, какие же такие значительные события в нашем починке? Ну, бабы у колодца разругаются из-за утопленной бады, ну, заблудится кто-то в лесу, ну, волка или медведя кто-нибудь убьёт. Или дед Протас уснёт на своём смолокуренном заводчике, а котел-то переполнится и его самого зальёт смолой, а на другой день всем починком выдирают его из этой смолы. Так это что: трудовое достижение?

Вскоре, однако, всё же напечатали крохотную заметку о том, что дед Флегонт больше всех в починке ивового корья надрал. Вот с этого всё и началось. Пришёл ко мне Сеня Жуйков из деревни Плясуны и поманил пальцем на улицу.

— Прихвати-ка бумаги да карандаш или ручку... — шепнул Сеня мне загадочно на крыльце.

— Зачем это? — спросил я его. — Письмо, что ли, написать или заявление какое?

— Это я и сам могу, — постукал Сеня согнутым пальцем по своей круглой, точно камень-голыш, голове, — насчёт этого у меня котелок варит...

Я взял, чего требовалось, и вышел на улицу.

— Айда в баню! — не то попросил, не то приказал Сеня.

В бане он по-хозяйски осмотрелся, отодвинул в угол шайку с водой, причесался перед обломком зеркала, поправил ремень и обратился ко мне:

— Вот ты, значит, про старика тут в газете пишешь, а разве он заслужил это?

— Ну, как же, — обиделся я, — он же корья всех больше в этом году надрал, дедушка Флегонт-то, ему за это даже полушубок в сельпо обещают новый.

— Эх, ты! — сожалеюще покачал головой Сеня. — Ну, что такое корьё? Мелочь, ерунда, в руки, можно сказать, взять нечего...

— Но ведь напечатали же!

— Напечатали, хе-хе... — усмехнулся Сеня. — Да потому и напечатали, что не знали, что он тебе родня. Вот погоди: дохнёт кто в газетку-то, знаешь, что тебе за это будет?

— И ничего не будет, он же не украл корьё-то, а сам надрал в старой пожне, высушил и отправил на станцию. Он бы и ещё больше надрал, да его тётка Канида заставила крышу на сеновале перекрыть.

— Сеновал, крыша, корьё какое-то... Да разве есть во всём этом настоящего-то геройства хоть на полушку? На фронте-то он был, твой Флегонт?

— Нет, не был, ему же в прошлом году семьдесят лет исполнилось...

— Вот то-то и оно, — обрадовался Сеня, — а тут, понимаешь, люди воевали, танки, как говорится, зубами грызли, кровь лили. — Сеня поднялся и в волнении заходил по бане.

Я растерялся. Заметив это, он подсел ко мне и приказал:

— Ну, что сидишь? Записывай!

Кое-как примостившись на подоконнике, я открыл тетрадку. Сеня долго ходил из угла в угол, как бы глубоко задумавшись. Наконец, он остановился и просветлел лицом.

— Значит, так: в одна тысяча девятьсот сорок втором году армию нашу окружили в болоте. Сидим день, два, неделю сидим, месяц... А фрицы по нам из пушек и пулеметов, из танков и миномётов и днём, и ночью, и до обеда, и после обеда садят и садят. Потом вдруг: ша! Тихо... Ну, вызывает меня, значит, командующий и спрашивает:

— Соображаешь, товарищ Жуйков, отчего немцы стрелять перестали?

— Никак нет, — говорю, — не соображаю.

— Голова ты, — говорит, — садовая: боеприпасы они берегут. Узнали, что вечером мы на прорыв пойдём, и экономят. А надо бы повытрясти у них припасы-то, с голыми руками к вечеру-то оставить. Мы, говорит, только что с вашим сельсоветом по радию связывались. Нам сказали, что ты плянешь добро.

— Само собой, — отвечаю, — все призы на праздниках мои были...

— Вот-вот, — говорит, — такого нам и надо.

Сеня заглянул мне через плечо и спросил:

— Успеваешь?

— Успеваю, — ответил я не очень уверенно.

— Тогда пиши дальше. Приводит он меня на высоту одна тысяча двести сорок один. Ну, на высоте, сапёры, само собой, уже настил сделали и лавочку для гармониста поставили. Командующий наливает мне из своей фляжки чистого спирту два стакана и говорит:

— Ну, Семён Александрович, не подведи: вся надежда на тебя...

— Я-то, — говорю, — не подведу, товарищ командующий, да только бы сапоги не подвели: каблучки шибко сносились...

Тогда он, ни слова не говоря, снимает и отдаёт мне свои, яловые. Переобулся я, он обнял меня, заплакал и говорит:

— Вприсядку, Семён Александрович, вприсядку побольше старайся, тогда им, гадам, трудней в тебя угадать будет...

А я про себя посмеиваюсь: какой чёрт им в меня за два километра угадать, если дома, когда я плясал, в меня с трёх метров щепкой никто не попал! Начал я, само собой, с “цыганочки”.

Сеня встряхнулся, несколько раз прошёлся по кругу, отшвырнул в угол попавшийся под ноги веник, отступил к двери, хлопбыстнул картузом об пол и пошёл выделывать такие штуки, что вся баня заходила ходуном, а я сразу же перестал различать, где у него руки, а где ноги и голова.

*И-эх! Я цыганочку-игру
Да лучше милочки люблю.
Когда буду помирать,
Велю цыганочку сыграть...*

В кучу золы вывалилось несколько кирпичей из каменки, и баня заполнилась серой пылью, но Сеня не обращал на это никакого внимания. Я уже совсем не видел его, а только слышал щелчки, дроби, треск половиц да дребезжание ведёр и чугунков.

В починке залалял собаки. Я высунулся в оконце. Около нашего дома остановилась тётка Махониха и, приставив к ушам руки, с беспокойством оглядывалась по сторонам.

— Дядя Семён, ты лучше рассказывай, — попросил я, — а то ещё придёт кто-нибудь...

Сеня опустился на скамейку, тяжело дыша и вздрагивая всем телом. Красная шёлковая рубаха у него взмокла от пота, из хромовых в гармошку сапог выбились штанины.

— Нет, язви её под корень, без гармошки совсем не то... Написал-то много?

Я молча протянул ему тетрадку. Сеня перелистал её и заметил:

— Ты бумагу-то не береги, я тебе в случае чего принесу, — он оправил рубаху, поднял с полу картуз и, закурив папироску “Бокс”, продолжал: — Вот, значит, пляшу я эдак-то час, другой, а фрицы молчат. Молчат — и всё тут, хоть бы разик стрельнули. Командующий, гляжу, совсем расстроился. “Эх, — думаю, — была не была!” — мигнул гармонисту, да и рванул под “Сентетюлиху”.

Сеня опять не выдержал, вскочил с места и пошёл вприсядку, широко раскидывая руки и ноги, точно делал зарядку:

*Сентетюлиха телегу продала,
На телегу балалайку завела.
Пригласите ко мне Колю-игрока,
Посадите в куть на лавочку,
Дайте в руки балалаечку,
Будет Коленька нагрыватьи,
Ну, а я буду наплясывати...*

— Дядя Семён, придут ведь! — предупредил я, заметив, что около бани собирается народ.

Но Сеня ничего не слышал. Он остановился, рубанул рукою воздух и крикнул что было мочи:

— Вот тут-то, в этом самом месте, и не выдержали они, не сдюжили голубчики! Да кы-к жажнут по мне изо всех стволов, и пошло: гармонисту голову — напроць, мне тут же — другого, и того убило, мне — третьего, и тому конец!..

— Дальше-то чего, дальше-то? — не вытерпел я.

— Дальше-то? — переспросил Сеня, широко раздувая ноздри. — Подползает командующий и кричит:

— Бери гармонь, нет больше в армии гармонистов.

Я, значит, беру гармонь и пошёл, пошёл! От подмёток — дым клубами, а мне всё нипочём: они что, мои сапоги-то... А вокруг-то меня — мама родная! Мины, осколки, пули, гранаты, бомбы! Командующий маячит руками:

давай, мол, давай! А я про себя думаю: “Дурачок, да меня, если по-хорошему угостить, так я хоть неделю без всякого отдыха пропляшу...”

В моей голове от увиденного и услышанного всё воспалилось, смешалось и перепуталось: пушки, миномёты, шайки, веники, генеральские сапоги и Сенины частушки.

— Видят они, что дело пустое, и подтянули супротив меня тяжёлую артиллерию, да как шарахнут шрапнелью-то, а я, один чёрт, пляшу и пляшу. Командующий-то орёт, руками машет: хватит, мол, хватит уж, а я остановиться не могу. Спасибо офицерá утащили...

Сеня опустил на лавку.

— Прорвалась хоть армия-то? — спросил я, сгорая от любопытства.

— А ты что думал? Как миленькие прошли: у немцев-то на поношку ничего не осталось, всё на меня расхлопали...

Сеня смерил меня уничтожающим взглядом, вытер со лба пот и добавил:

— Так-то вот! А ты корьё, дед Флегонт какой-то...

Я трудился целую ночь, а наутро вручил почтальону Митюхе огромный свёрток с документальной повестью “Геройский поступок Жуйкова Сени”.

Ответ мне пришёл через неделю.

“Уважаемый товарищ корреспондент! — писали мне из газеты. — Мы очень сожалеем, что Семён Александрович Жуйков не совершал пока описанного вами геройского поступка, потому что не был на фронте. Однако о его таланте мы сообщили в районный отдел культуры”...

В тот же вечер Сеня сам прибежал ко мне сияющий, запыхавшийся и с какой-то бумажкой в руках.

— Во! Слышал? В районе плясать приглашают! — сообщил он мне. — Узнали всё же про настоящего-то артиста! А-то Кольку Катюхина хотели послать на смотр-то, нашли плясуна! Тьфу!

— Ты зачем наврал-то? — чуть не плача, в отчаянии спросил я. — Ведь у меня теперь ни одной заметки не напечатают!

— Да я виноват, что ли, — искренне изумился Сеня, — что меня на войну не взяли... А если бы взяли, всё в точности так бы и было. Уж Сеня Жуйков не струсил бы... Не-ет! Тут уж, дорогой товарищ, извини-подвинься...

КИНОПЕРЕДВИЖКА

У Лёньки-то Замотаева откуда чего и взялось. Ведь “чижа” вместе с нами гонял, картошку печёную в овине ел, в драных штанах бегал, а вот поди-ка: уехал в город и выучился на киномеханика.

Мы с Санькой только-только червей накопили, на рыбалку собрались, глядим: идёт кто-то к починку, прутиком эдак небрежно помахивает да по-свистывает. Башмаки на жёлтой подошве, штаны навыпуск, фуражка не восьмиклинка какая-нибудь самодельная, а настоящая, магазинная, блином. Грудь нараспашку, а на пиджаке — значки в два ряда блестят, аж глаза режет. В руке — чемодан, да не какой-нибудь фанерный с висячим замком, а настоящий, дерматиновый, с застёжками и ремнями.

Подошёл он к починку, достал из кармана зеркальце круглое, посмотрелся в него, платочком утёрся, выпустил свой белесый чубчик из-под козырька, плечи развернул, грудь “петушиным коленом” выпятил. Фу, ты, ну, ты — лапти гнуты! Ни за что не подумаешь, что Лёнька. Мимо нас прошёл — даже не остановился. Только вздёрнул эдак руку да на часики посмотрел. Тут Санька не выдержал:

— Лёнька! Ты, что ли?

А он слова даже не сказал, только повёл головой в сторону да ещё грудь вперёд выпятил. Мы хотели было с ним рядышком по починку пройти, да куда там: Лёнька и идти-то даже с нами не захотел, а перешёл на другую сторону улицы. Тут мы с Санькой засомневались и решили рассмотреть по-лучше, Лёнька это или не Лёнька. Да, конечно, он! У кого же ещё волосы такие белые да нос “пипочкой”.

— Лень, дай хоть чемодан понесу! — униженно взмолился я.

Тут Лёнька нас вроде бы признал. Он остановился, наморщил лоб, будто вспоминая что-то, небрежно кивнул и спросил эдак совсем по-городскому, между прочим:

— А, это вы, салаги?

— Мы, мы! — радостно подтвердил я и обеими руками схватился за ручку чемодана. У Саньки гордости оказалось побольше, и он промолчал, только носом шмыгнул да штаны поддёргнул. Видали, мол, мы таких. Может, ты вовсе и не доучился на киномеханика-то, как Стёпка из соседнего починка. Тот тоже уехал, а потом сбежал и вот второе лето телят пасёт.

В их починке, по правде сказать, вообще никому не везёт насчёт учёбы: или вовсе не могут никуда поступить, или поступят да сбегут, не доучившись. Уж чего было тому же Кольке Самохвалову в ремесленном училище не учиться: одна шинель с железными пуговицами чего стоит! Так нет, тоже сбежал. Кормят, мол, плохо. Надо же быть таким дураком! Да если бы нас с Санькой приняли в это училище, мы бы вовсе голодные учились и не пикнули бы ни разу! А он: каша одна овсяная с постным маслом... Барин какой выискался, котлеты ему подавай, фигли-мигли всякие со сметаной...

— Лёнь, а ты уедешь или у нас на Варакше будешь кино показывать? — спросил я Лёньку, с трудом отрывая чемодан от земли.

— Да у него, небось, и документа-то нет, — встрял в разговор Санька.

— У меня? Документа? — взвился Лёнька и стал торопливо шарить по карманам. — А это вот что, между прочим?

Мы приблизились к нему и, вытянув шеи, стали смотреть в маленькую книжечку с синими корками. Там чётко было написано, что Леонид Степанович Замотаев, то есть Лёнька, тетки Замотаихи сын, действительно окончил курсы киномеханика тогда-то и там-то. Внизу стояла настоящая гербовая печать, а около неё виднелась неуверенная Лёнькина подпись с повалившимися во все стороны буквами. На другой стороне удостоверения были перечислены предметы, которые Лёнька изучал на курсах. По всем стояли четвёрки и пятёрки, только в середине против электротехники была, наверное, тройка, потому что это место Лёнька плотно прижал большим пальцем.

— Видали? — победно спросил он. — Это вам, между прочим, не рыльце пестика по ботанике разглядывать или соображать, сколько переливается воды из сосуда А в сосуд Б.

Крыть нам было нечем. Насладившись нашим сокрушительным поражением, Лёнька спрятал удостоверение в карман.

— Так ты это... наверное, уедешь теперь? — опять спросил я, уважительно разглядывая значки на Лёнькиной груди.

— Там видно будет... — неопределенно ответил он.

— А то в Козловке, говорят, киномеханика-то в армию взяли...

— Мишку-то?

— Ну, да.

— Какой он киномеханик, — презрительно поморщился Лёнька, — так, самоучка, сапожник, между прочим.

Мы с Санькой промолчали. Да и что тут скажешь? Действительно, козловский киномеханик Мишка никаких курсов не заканчивал и крутил картины кое-как, то с конца начинал, то части путал, то ленту рвал, а если на него принимались кричать, то вообще тушил свет и уходил со своей Зойкой в соседнюю деревню. Мы у него, по правде сказать, ни одно кино толком не посмотрели. Даже "Тарзана" — и то до конца не видели. В самом интересном месте, когда тот кинулся с высоченного моста в море, у Мишки заглох движок, и он не смог завести его до полуночи. А когда завёл — опять не слава богу, движок заверещал на всю округу и пошёл, как пояснили трактористы, в разнос: сорвался с болтов, выкатился на улицу и, если бы не канава с водой, неизвестно, что и было бы. Наверное, всю деревню спалил бы.

— Лёнь, а если здесь останешься, то возмёшь нас в помощники? — спросил я, заглядывая Лёньке в глаза.

Он пожал плечами.

— Зачем мне помощники?

— Ну, лошадь запрячь, аппаратуру погрузить-разгрузить или ещё что...

Билеты можем продавать. Ты не бойся, мы себе ни копеечки не возьмём...

— Билеты, кроме киномеханика, между прочим, никому продавать не разрешается. А что касается лошади, то она мне совсем ни к чему.

— Как это ни к чему? А от деревни до деревни на чём кино-то возить?

— Салага, а машина-то на что! Вот это видел?

Ленька опять пошарил в кармане и сунул мне прямо под нос новенькое шофёрское удостоверение. У нас с Санькой даже языки одеревенели от зависти.

— Ты думаешь, тебе машину дадут? — минуту спустя, спросил Санька. — Держи карман шире...

— А куда они денутся, между прочим...

Санька с сомнением покачал головой. Во всей нашей Варакше было всего две машины, причём у одной уже давно протекал радиатор, а у второй покрышки на колесах сносились настолько, что на ней можно было ездить только по накатанной дороге, да и то в сухую погоду.

— Не дадут тебе никакой машины, — убеждённо сказал Санька.

— Это мне? — напыжился Лёнька. — Мне, между прочим, хоть обе дадут, потому что кино — это тебе не какая-нибудь лекция про Пасху или Троицу. Соображать надо, газетки почитать...

Конечно, никакой машины Лёньке не дали, даже лошади. Поэтому нам с Санькой пришлось запрягать старого-престарого быка Зимогора, которого наши починовцы давно хотели сдать в заготконтору, да всё никак не могли выбрать времени.

Лёнька в тот день вырядился: пиджак какой-то волосатый до самых колен, штаны дудочками и такие узенькие, что неизвестно даже, как он умудрился их напялить на себя. Рубаха рыжими петухами, а сверху — галстук-бабочка в мелкий горошек. Из грудного кармана пиджака уголок голубого платочка торчит, а значки на груди аж в четыре ряда: сверху — побольше, а внизу — поменьше, а под ними — совсем крохотный, даже в очках не разглядишь, что на нём нарисовано. На голове — шляпа-ермолка с зелёным бантом, на ногах — жёлтые ботинки и красные носки в полосочку.

Он приказал нам забрать в Козловке кинопередвижку и везти её в Атаманово, а сам выкатил из сарая отцовский велосипед, сел в седло и покатил в Атаманово, нахвистывая “Бродягу”.

Село Атаманово у нас на Варакше вроде столицы. Там тебе и сплавконттора, и пилорама, и гараж, и пекарня, и магазинов целых четыре. В одном только хлеб продают да пряники, в другом — одежду, в третьем — посуду, а в четвёртом — керосин да соль, да самовары, да железки всякие: чугунки, лопаты, грабли, оцинкованные вёдра и даже маленькие щипчики — сахар колоть, словно его зубами нельзя разгрызть...

А у нас — всего один ларёк крохотный. И в нём всё в одном углу свалено: и хомуты, и соль, и конфетки, и ящики с мылом.

Расположено Атаманово на берегу Какши, на высоком песчаном холме, потому даже грязи на улицах никогда нет. Сколько дождь ни льёт — всё в землю уходит. Село немалое. Одна улица вдоль реки идёт, наверное, на целый километр, да ещё поперёк две. Дома все большие, с резными наличниками, с деревянными медалями на коньках, с огородами, со взвозами. Так что если сено привёз, прямо на сеновал заезжай, и лошадь нечего распрягать. А у нас в починке без мужиков-то эти взвозы попадали, и бабы сено всё вилами деревянными перекидывают на сеновалы-то. В общем, нечего и говорить, лучше нашего атамановцы живут: и земли полно, и лугов. А у нас даже и сенокосов-то не хватает. Всю жизнь бабы осоку по болотам косят по пояс в воде, а потом на носилках на бугры сушить вытаскивают. Так, бывало, за лето упластаются, что всех ветром качает...

Мы остановились у крыльца атамановского клуба, и тут же телегу окружили старухи. Кто-то распустил слух, что привезли инкубаторских цыплят. Старухи выстроились в очередь, и мы с Санькой с полчасца им вдальблвали, что привезли не цыплят, а кино “Чапаев”. Когда, наконец, старухи с руганью расползли по домам, мы пошли разыскивать Лёньку и увидели его в чайной.

Держа двумя пальчиками стакан с клюквенным морсом, то и дело обмахиваясь платочком, Лёнька рисовался перед буфетчицей Райкой.

— Уехать я, между прочим, отсюда решил, Раиса Павловна. Нет, знаете ли, настоящий антитресу. Народ крутом тёмный, бескультурный, необразованный, уж на что батюшка Абросим, и тот дундук дундуком, знаете ли... Я ему в его же массу культуру несую, а он мне какое-то сено под нос суёт. Темнота, в общем. Вы не поверите, Раиса Павловна, до сих пор у нас “цыганочку” да “сентетиюлиху” пляшут. Умрёшь и не воскреснешь! Да хоть бы под баян, что ли, или на худой конец под аккордеон, а они под патефон, знаете ли, или под балалайку... Спят на полатах без простыней, едят, знаете ли, из глиняных плошек деревянными ложками. Тарелок не видели. Бескультурие, в общем, неукоснительное. Девки парням кисеты, платочки до сих пор вышивают и, не поверите, Раиса Павловна, не только поцеловать, обнять себя не позволяют... А песни какие поют, вы бы, Раиса Павловна, обхохотались. “Златые горы”, “Семёновну”, будто знаете ли, первобытные люди или ещё того хуже... Цирк, самая настоящая оратория! И не говорите мне, Раиса Павловна, к деревне я теперь отношусь скептически. В городе жизнь совсем другая. Все ходят в штиблетах. Да, да, Раиса Павловна! И маленькие, и большие, и старики, и старухи — все поголовно в штиблетах! Только девки — в туфельках. Идёт, знаете ли, такая краля с радикулем, вроде вас, вся в газу, вся просвечивается, будто в тумане, и каблучками эдак постукивает об асфальт, как козочка. И не поверите, Раиса Павловна, стук этот у вас прямо в самом сердце отдаётся. Подойдёшь эдак к ней, принохаешься — и запах-то совсем другой! Тут тебе и пудрой, и дикалоном, и духовитым мылом — так в нос и шибанёт специфически. А от наших, извините за выражение, вечно овчинами или коровой пахнет. Даже приличных духов не имеют, румян кушать не могут, дуры. Бодягой красятся или свёклой.

... — Нет, нет, в городе всё по-другому... В ресторан зайдёшь, а официант — как тут и был, прямо на полусогнутых к тебе. Салфеточкой махнет эдак по скатерти, изогнётся весь в три погибели. “Не желаете ли, — говорит, — молодой человек, цыпленка с табаком или каклету, сливяночки или ещё чего?” А ты эдак ножку на ножку положишь, карточку-то перед собой поддержишь многозначительно, а потом и ошарашивши его: “Сливянку и мясное не потребляем, а вот салатик, всегда пожалуйста, и плодово-ягодной графинчик!” А у нас медовуху да брагу хлещут и квашеной капустой закусывают. Ужас! Разве это жизнь, Раиса Павловна? Разве приличные люди этого достойны?..

— Вы правы, Леонид Степанович! На сто процентов, — запела своим птичьим голоском Райка. — Хоть вот меня возьмите: из кожи лезешь, как лучше сделать, пообходительнее. А тут придёт тракторист, грязь нанесёт, запаху ихнего, да мало того — и скатерть локтями всю завозит...

— Два сапога пара, — шепнул мне Санька и, приблизившись к столу, громко сказал:

— Так что, мы приехали, чего дальше-то делать?

Лёнька так и поперхнулся.

— Да кто вам разрешил сюда являться? — грохнул он по столу кулаком. — Не видите, я с дамочкой беседую!

— Видим, — сказал Санька и поглядел в потолок. — Только ты нам скажи, разгружать или чего? А то у нас бык не поен, не кормлен.

— Бык! Не поен, не кормлен! — как эхо, повторил Лёнька. — Да при чём тут бык какой-то?.. Если я с дамой... Мотайте отсюда, и чтобы духу вашего не было.

— В таком случае, мы распрягать пошли. Только хорошо бы ты на хлеб нам дал, подкормить чуток Зимогора, уж больно шибко он притомился.

Лёнька пошарил в кармане и широким жестом бросил на стол рублёвку.

— Вот видите, какое бескультурие, Раиса Павловна, — сказал он, обращаясь к Райке. — С порядочной дамочкой поговорить не дадут.

— Что с них взять? — подтвердила та, сделав губки бантиком. — Шантрапа...

— Дура конопатая! — обозлился Санька и что есть мочи хлопнул дверями. — Погоди, вот скажут Кольке, он те расчешет космы-то... Доохмураешься тут...

...Никогда нам с Санькой в Атаманове не было такого почёта и уважения, как в этот раз. Бывало, куда ни зайдёшь, отовсюду гонят. А тут, узнав о том, что мы привезли кино, все двери нам открыли. Хлеб — без очереди, конфеты-подушечки — тоже. В клубе шастай, сколько угодно. Мы и в гараже посидели, и слова никто не сказал. Даже колёсной мази дали.

Поначалу мы с Санькой боялись, что атамановский киномеханик Колька выпрет нас из клуба и будет своё кино показывать. Но напрасно мы боялись. Ребята рассказали, что у Кольки на прошлой неделе хорошую картину “Два бойца” забрали в райкинопрокат, а ему всунули такое старьё, что никто ничего не мог разобрать на экране, даже сам Колька, хотя и крутил картину три раза подряд.

Несмотря на то, что “Чапаева” в Атаманове смотрели несколько раз, картина всё равно имела огромный успех. Только с детского сеанса Лёнька собрал рублей сорок, ну, а уж когда начался взрослый, у него трёшками и пятёрками были полны все карманы. Поэтому было решено в Атаманове ночевать и дать на другой день ещё два сеанса.

После кино мы с Санькой задёрнули на сцене занавес и забрались на билльярдный стол спать, но разве тут уснешь! Сначала в клубе стульями гремели, потом музыка заиграла, подошвы по полу зашаркали — танцы начались. И чего хорошего в этих танцах? Соберутся девки в одном углу, парни — в другом. Девки делают вид, что парней не замечают, а парни — тем более. Стоят, похохатывают да табак смолят. А девки пошепчутся-пошепчутся да и пошли танцевать друг с дружкой. Тут старух откуда-то наберётся полклуба. Рассядутся вдоль стен, будто клуши, и начинают обсуждать, у кого какое платье, или штаны, или уши. До родителей у каждого доберутся, до дедов и прадедов. Да всё велух, словно в клубе и нет никого, кроме них.

— Мотря! Мотря! Погли-ко, Манька-то Дуняшкина как взлягивает, что те козёл. Вся в батьку в покойника, дай Бог царства ему небесного, не тем к ночи будь помянут...

— А Жихарёнкова Полинка-то? Эконькая баржа, хоть в дровни запрягай! И в кого она эдак разьелась? Матку-то — соплёй перешибёшь, а она погли-ко, какое грузево...

— Васька-то, Васька-то Перегорященский! Поглядите-ка, весь ведь в деда, в Еремея, как капелька капнула... Вишь, и штаны до поджилок съехали...

— А Любашка-то Кожинская — в бабу Сарациониху, ей-богу, бабы, в Сарациониху. Поглядите-ка получше-то, и выходка вся её, и глаз вострый да светлый, и фигурой в бабу ударилась. Добра девка! Добра! Ей бы в самый раз с Лёшкой Новозаводским дружитья-то, а она с Панком Михалёнком путается, с носатым-то...

— А Флегонтовы-то ребята хороши доцево, поглите-ка! Кудрявые все да здоровые. Кровь с молоком. Как голубоцки, сидят на лавочке...

— Коло их-то вроде Митрея Захарова парнецок, востреносенький-то...

— А Бородинская-то Файка, дак как сорока на колу крутится... У неё и матка такая же верчёная, Маланья-то. На мельницу приедет, бывало, дак всех мужиков с ума сведёт, будто буря нагрянет...

— У Зойки-то Федонькиной боты-то худые. Видно, всё пьёт батько-то. Как не стыдно! И бабу извёл, и ребят изводит. С эконькой-то ряшкой ему бы в самый раз на лесоповале робить, а он в коновозчики в сельпе приткнулся да и пьёт кажинный день, души послушавши...

— Да, бабоньки, раньше-то так не пили. На всю Варакшу один Миша Колодешник был пьяница-то. Дак и то стыдился. Бывало, как запьёт, дак всё в бане у себя прячется... А теперь, погли-ко, по полдеревни пьяниц...

Мы с Санькой возились, возились на столе, но заснуть никак не могли.

— Айда и мы поглядим, что ли? — сказал, наконец, он, спуская со стола ноги.

— Айда.

В клубе заиграли какую-то странную музыку, под которую никто не знал даже, как танцевать. Долго все стояли неподвижно. Потом наш Лёнька, перебирая ногами, точно козёл, направился к Райке-буфетчице. Она стояла поодаль от всех, блестя бусами, серьгами и лентами, точно лошадь в свадебной сбруе. Народ затаил дыхание. Баянист, склонив голову к мехам, старательно выводил замысловатые переборы. Лёня остановился в двух шагах от Райки, одёрнул свой волосатый пиджак и вместо того, чтобы сразу взять её за руку, согнулся в три погибели и помахал у её подола рукой.

В клубе ахнули. Райка медленно обвела всех победоносным взглядом и чуть заметно наклонила голову. Лёнька выпрямился, одной рукой взялся её за руку, а другой обхватил за талию и повёл на середину зала, вихляясь, точно на шарнирах.

На середине он согнулся дугой, согнул в дугу и Райку, так что у той даже подол выше колен задрался, и так вот и пошли они сначала в одну сторону, а потом в другую.

— Вот это да! — произнёс кто-то завистливо в толпе девок.

Старухи опомнились и наперебой загомонили.

— Чёй это? Погли-ко, что выкусывает, того и гляди переломит девку-то...

— Да это Степки Замотаева, должно, с Выползова починка. Вишь, белобрысенький да губатой...

— Эко вырядился, как петух!

— Батька-то не только плясать, тележного скрипу боялся, а он побыл где-то, вишь, как выкомуривать научился.

— А Райка-то совсем бессовестная и подол задрала... Да прямо так и льнёт к нему.

— Вот Колька-то не видит.

— А где Колька-то?

— Да тут был. Небось, с дружками выпить ушёл...

Лёнька между тем выпрямился, прижал к себе Райку ещё плотнее, и они стали едва шевелясь ходить посередине, положив друг другу головы на плечи...

— Эконь-ко что делается, бабы! Совсем совесть потеряли, принародно обнимаются. Подол-то ещё выше задрать да и отхлестать, как следует. Да и этому пупырю-то штаны-то спустить да крапивою!..

Танцевать новый танец по-прежнему никто не осмеливался. В углах только охали изумлённо да похохатывали. Потом вдруг всё стихло.

— Колька, Колька пришёл! — пронёсся испуганный шёпот.

В окружении подвыпивших дружков Колька-киномеханик вышел на середину зала и, оперев руки в бока, стал изумлённо разглядывать танцующих. Его дружки подхихикивали сзади. Разглядев Райку, Колька сперва пошёл белыми пятнами, потом красными, потом отпихнул дружков локтями и тяжело приблизился к своей ухажёрке.

— Ты что это вытворяешь? — спросил он на весь зал. — А? Я тебя спрашиваю? Я к тебе свататься хочу, а ты подолом перед каким-то шибздиком трясешь? Голову, понимаешь, ему на плечо положила...

В зале послышался смех. Колька взял Райку за локоть и дёрнул к себе, так что у неё из кони вздыбленных волос вылетело несколько заколок. Лёнька от толчка едва не упал на пол. Баянист прекратил игру и с любопытством уставился на эту троицу.

— Как вы смеете, невежа! — взвизгнул, опомнившись, Лёнька и тоже пошёл пятнами.

— Кто, кто? — прищурился Колька, отпихивая Райку в сторону.

— Невежа и, можно сказать, хам, между прочим! — презрительным пестушиным голосом выкрикнул Лёнька, оглядываясь по сторонам.

— А ну-ка, поддержите, ребята! — угрожающе набылчился Колька, торопливо стаскивая с себя пиджак. — Я ему покажу сейчас и хама, и невежу.

Старухи повскакали с мест, сбились в кучу и испуганно загалдели.

— Колька, вражий сын! Не связывайся, посадят!

— Дай, дай ему! Не слушай старых вешалок, — подбадривали Кольку дружки. — Вишь, до чего падок на чужое-то!

Райка с визгом повисла на Колькином могучем плече, но он стряхнул её, точно соринку. Лёнька, видимо, от страха зажмурил глаза и куда попало замолотил кулаками. Один удар попал Кольке в губу и окончательно вывел его из себя. Он размахнулся и, громко крикнув, будто сучковатую чурку раскалывал, врезал Лёньке куда-то под челюсть. Тот, дрыгая ногами, пролетел метра три, упал спиной на стол в углу, проехал по нему, словно по льду, и свалился вверх тормашками на пол. Колька опять стал к нему приближаться, но Лёнька проворно выскочил из-под стола, прыгнул на подоконник и, высадив стекло вместе с рамой, с громкими криками побежал вдоль улицы. В клубе громко захохотали. Мы с Санькой бочком-бочком пробрались на улицу и стали запрыгать Зимогора...

Лёнька ждал нас за мостом. На нём уже было галстука-бабочки и оранжевых ботинок.

— Дикари! Первобытные люди! — ярился он, стаскивая с телеги свой велосипед и отплёвываясь кровью. — Культурного обращения не понимают. Хамло! Завтра же, завтра же уеду отсюда!

Вскоре Лёнька и в самом деле уехал, но, я думаю, не из-за того, что его побили, а потому, что кинокартину “Чапаев” у нас в Атаманове подменили на то самое старьё, которое показывали атамановцам взамен “Двух бойцов”. Мы крутили её в трёх починках, но никто даже не мог понять про что она: про войну или про любовь...

ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА

Меня же после плясуна Сени Жуйкова не только не перестали печатать, а пригласили даже в газету на слёт селькоров. Сам редактор принял меня, как родного: взял под руку и повёл в свой кабинет, а там начал поить чаем с халвой. Потом спрашивает:

— А как дела в вашем колхозе?

— В каком, — говорю, — колхозе? У нас его отродясь не бывало.

— Как так?

— Да очень просто: уполномоченные ежели нагрянут, дак пока пурхаются в низинах, наши-то все коров на лямки, самовары на плечи — и айда в тайгу. Тама у всех избушки есть запасные: хоть неделю, хоть две можно жить.

— Интересно, интересно... И престольные праздники, наверное, справляют?

— Справляют все подряд: и престольные, и советские...

— Наверное, и самогон гонят?

— Само собой. Аппарат-то у нас дорогой, сыном бабки Боботки деланный в Челябинске на заводе. Поэтому, чтобы не прознали про него, дак в лесу у Кривого омута в сторожке его держат. Там и гонят по очереди. Только деду Егору не дают. Он, как напьётся, так и орёт на всю тайгу: “По диким степям Забайкалья...” Услышать же могут в соседних-то починках, да и украдут. У них такого ашарата в жизни не бывало. Гонят-то через ствол старого ружья, который пропущен через деревянное корыто. А в корыто или лёд кладут, или холодную воду наливают...

— Ну, а песни-то какие у вас по праздникам поют: советские или старинные?

— Да всякие. Но больше “Златые горы” да частушки супротив советской власти.

— Например?

— Мишка Мезерин на Ветлугу в прошлом году на заработки ходил, но что заработал, то и пропил, да на “раковых шейках” конфетах проел. Про это и поёт:

*На Ветлуге я работал —
Полкотомки вшей принёс,
Дома вывалил на лавку —
Мамка думала: овёс.*

— Изумительно! Ну, а супротив советской власти чего?

— А это больше Колька Кукушкин базлает:

*Сталин Ленина будил,
По плешине колотил:
— Ты вставай, такая мать,
Пятилетку выполнять!..*

— Или ещё...

— Хватит, хватит! — замахал руками редактор и заоглядывался по сторонам.

Эх! Правду же говорят: простота — хуже воровства. На-амного хуже! Являюсь я домой-то через два дня, а там уж весь наш Выползов починок энкавэдэшники разгромили. Окружили целым батальоном и пошли чесать: кого побили, кого оштрафовали, а Кольку Кукушкина с собой забрали и даже самогонный аппарат увезли...

Меня же чуть не убили. Целую неделю в овине в ржаной соломе скрывался. А когда после десятилетки в этот “Красный льновод” меня стали сватать корреспондентом, тут уж вся Варакша на дыбы поднялась. Родителям моим так прямо и заявили: ежели вы его отпустите в эту газету, то мы и дом ваш сожжём, а вашего выпоротка — меня то есть — или утопим, или пришибём, как того придурка Пашу Морозова, который деда родного заложил. Потому что, ежели ваш выпороток уйдёт в этот *клязунник* “Красный льновод” да всю подноготную про Варакшу начнёт обкалывать, дак нам всем Колымы или Соловков не миновать...

А батюшка Абросим вызвал меня и говорит:

— Ты, Колька, иди лучше на ветеринара, потому что писательство — это дело не крестьянское, а дворянское. Им нечего было делать-то, вот и писали да скулили о бедных и угнетённых вместо того, чтобы всю землю им по-божески разделить. Ну, и доскулились до Троцкого да до Ленина... А наш-то Лукашка-коновал, сам видишь: совсем с круга спился, уж скоро быка от коровы отличить не сможет...

Лукашка-коновал славился у нас на всю Варакшу тем, что при любой болезни прописывал скотине пол-литру водки или самогонки, из которой половину всегда выпивал сам прямо в хлеву, услав бабу зачем-нибудь в избу, а другую половину выпаивал корове или свинье через длинную резиновую трубку. Он даже свой скальпель давно потерял и поросят кастрировал сапожным ножом, то и дело обмакивая его в самогон для дезинфекции. В каждом доме, несмотря на категорический запрет батюшки Абросима, его угощали. Так что в последние дома его водили уже под руки. А он, желая показать свою учёность, поднимал кверху кривой указательный палец и прорицал:

— Сердце, товарищи, что у коровы, что у лягухи, что у овцы, что у свиньи, что у бабы — одинаково. Это есть мускульный, конусообразный полый орган для переливания крови — и больше ни-хре-на!

ГИБЕЛЬ ВАРАКШИ

Крепка оказалась советская власть. Крепка! Намного крепче даже нашего батюшки Абросима. Первым делом у него трактором стащили все пять куполов с церкви, а потом взорвали её, и распалась она на огромные глыбы.

Потом взялись за починок, хутора и деревни. Населённый пункт, по всем правилам военного искусства, ночью окружали энкавэдэшники, а утром якобы за налоги, не уплаченные со времён Стеньки Разина, отбирали у варакшонков всё, вплоть до деревянных кадусек и недосохших в овинах снопов.

Нетронутыми остались только гололопники да чащобники, куда даже на тракторе каратели доехать не сумели. И бедные мои земляки бросились кто куда: кто в города, кто в леспромхозы, а кто в артель Оборону. О ней я вообще не хотел упоминать, но раз заикнулся, то расскажу. Это нелегальная артель, о которой *бойцы невидимого фронта* даже и не подозревали, существо-

вала за Обабошными болотами на Кобыльей речке, в самой глухомани, и была как бы промышленной столицей Варакши, вроде американского Дейтота.

У них имелась даже самодельная “локобиля” на дровах и опилках, на которой днём пилили штакетник, а ночью жгли электричество. Был также смолокурный заводик, на котором гнали смолу и дёготь из бересты. Была ещё грибоварня, цех мочёной брусники, копчения рыбы и лосятины.

Руководил артелью мой дядюшка Егор. По первоупутку вся изготовленная дядюшкой продукция куда-то сбывалась, её вывозили на лошадях и на полуторке. На вырученные деньги он привозил продукты, одежду и всё, что требовалось для автономного проживания. Перед праздниками вся Варакша тайными тропами стекалась в Оборону за сахаром, белой мукой и ситцем, потому что во всём остальном наши люди особо не нуждались...

В Обороне была даже деревянная церковь, в которую, правда, дядюшке не удалось залучить ни одного священника. Поэтому церковь для мужиков служила распивочной, а колокол звенел лишь при каких-нибудь стихийных бедствиях.

Всяких других подробностей я сообщать не намерен, поскольку наряду с мужиками, бежавшими в артель от раскулачивания, белогвардейцами, дезертирами и всяким другим беспаспортным людом, у дядюшки работали и такие ухари, которых, возможно, до сих пор разыскивает или милиция, или *бойцы невидимого фронта*.

Перед смертью дядюшке удалось легализовать Оборону. И зря. В неё тут же направили из района проштрафившегося начальника райтопа Крысана. И за три года с моим вторым дядюшкой Иваном они всё прошили. А когда нагрянула ревизия, в кассе обнаружили лишь медные пятаки, а на складе — резиновые сапоги 48-го размера да полмешка овса.

Судили их выездным судом, но так и не сумели осудить. Смягчающим обстоятельством послужило то, что они артель просто прошили, но лично не нажились... Суд шёл целый месяц и до того был запутан мужиками, что прокурора с инфарктом вынесли из клуба на носилках...

Так Дейтот пал от русской дешёвой стали, а Оборона — от русской дешёвой водки под знаменитым брэндом “берёзовый сучок”.

И с тех пор опустела сторона Варакша. Теперь вы будете бродить по ней и неделю, и две, и три, и уж не встретите ни села, ни деревни, ни починка, ни одного живого человека. А пойдут навстречу ещё до конца не заросшие полянки с жёлтыми буграми от размокших глинобитных печей, провалившиеся колодцы с жалобно поскрипывающими на ветру журавлями да домишки с прогнившими крышами. Изредка с шумом взмоет прямо из-под ног глухарь с тёплого погребца, или выйдет на дорогу лось и будет долго смотреть вам вслед. И я несколько не удивлюсь, если в наших местах веком опять появится какой-нибудь капитан Копейкин или новый атаман Варакша и с отважным криком “Сарынь на кичку!” поведёт ватагу на Вятку, Нижний Новгород, Кострому, а то и на погрязшую в коррупции и разврате столицу...

ХОЗРАСЧЁТ

Залыпанный грязью попутный “газик” остановился у правления самого отсталого в районе, а может, и на всей Северной Двине колхоза “Заря коммунизма”. Придав своему лицу важное и озабоченное выражение, я вошёл в контору.

— Где председатель? — спросил я нетерпеливо у секретарши могучего телосложения, которая как бы невзначай выставила навстречу мне свои калёные ноги в новых лаковых полусапожках.

— Да оне, должно, пьянствуют, — простодушно ответила та. — Как уборку кончили, так и не просыхали ишло...

— Безобразие, немедленно приведите его сюда! — приказал я, тут же решив наряду с хозрасчётом рассмотреть и вопрос о моральном разложении председателя.

Секретарша ушла. Я, заложив руки за спину, прошёлся по кабинету, брезгливо пошевелив носком ботинка истриженный мышами кукурузный сноп в углу, и стал звонить в управление агрономше Леночке, намереваясь рассказать ей о своих дорожных приключениях, а самое главное — узнать, пойдёт ли она сегодня без меня в Дом культуры на танцы.

Вскоре явилась секретарша и сообщила:

— Не идут оне, к себе велели просить.

— Вот ещё! Я ему частное лицо, что ли, кум или сват какой?

Тогда секретарша зашла с боку и нельзя сказать, что толкнула меня, но как-то так повела своим мощным бедром, что я сначала оказался на крыльце, а потом и на улице.

В огромном председательском пятистенке из-за стола поднялся медвежьего вида дядя в одном исподнем и с розовым, точно половинка спелого арбуза, лицом, по которому я сразу узнал знаменитого на весь район председателя Сеньку Скрылёва, о котором по всей округе ходили легенды. Последний раз буквально недели две назад его отчитывали на бюро райкома за пьянку, и надо было видеть эту картину. Донельзя возмущённый секретарь, брызгая слюной и потрясая перед носом Семёна какой-то бумажкой, орал так, что качалась и звенела люстра:

— До чего докатился, Семён Поливертович! В рабочее время работников бухгалтерии! В магазин за водкой!

— Да ты что, мать-перемать! — невозмутимо парировал Скрылёв. — Я что тебе, ещё с полеводства людей снимать буду? И так народу нет. А энтим крысам чё делать-то? Ведь целёхоньки дни газетами мух бьют...

Дело кончилось тем, что секретарь в тот же день лично поехал в колхоз снимать с должности Скрылёва. Однако поскольку в “Заре коммунизма” пили поголовно все, ничего у него не получилось. Народ дружно и решительно отверг райкомовского выдвиженца.

— Кто будешь? — спросил меня председатель, когда мы зашли в дом, и почесал пониже спины.

— Зоотехник из райуправления, — ответил я, несколько стусевавшись.

Председатель был выше меня головы на две.

— Бумаги есть?

— Есть.

Я достал командировочное удостоверение. Он покрутил бумажку в руках и спросил:

— Чё сам-то глаз не кажет?

— Начальник, что ли?

— Ну!

Я пожал плечами.

— Мы бы ему намылили тут холку-то! Ишь, чё выкусывает: то ему ячмень в поставку подавай, то расчётном каким-то страшает...

Он опять почесался и обратился к секретарше:

— А ты чё вылупилась? Ступай, коли так, да собери в клубе народ!

— Не придут, Семён Поливертович, кому охота шлёпать по эконькой-то грязи...

— Скажи, кино после будет, не знаешь, чё сказать, чё ли?

Он нагнулся, завязал тесёмки на кальсонах и кивнул мне на лавку:

— Садись, раз приехал.

Я неохотно присел на крашек. Председатель тоже сел и, пошарив у себя под ногами, достал недопитую бутылку и налил до краев гранёный стакан.

— Хлобыстни-ка, с дороги-то!

— Я не пьющ...

— Не уважаешь, значит? — оборвал он меня. — А вот это нюхал?

В ту же минуту у самого моего носа появился кулак величиною с копыто хорошего мерина.

...Часа через полтора мы пришли в клуб, где, к моему удивлению, было полно народу. Председатель твёрдой походкой прошёл на сцену. Сел за стол и, подперев голову руками, задремал. Вопрос о его “моральном разложении” после совместной выпивки отпал как-то сам по себе. Поэтому мне пришлось на-

чать сразу с хозрасчёта. Я добросовестно прочитал все вырезки из последних газет с выступлениями Никиты Сергеевича Хрущёва, потом не удержался и стал толковать ещё и от себя, привлекая в помощники всех классиков экономики, вплоть до Адама Смита. Народ безмолвствовал, поглядывая на председателя.

Наконец, он, чуть приоткрыв один глаз, спросил:

— Счетовод тут?

На сцену, шибко припадая на одну ногу, взлетел, точно птица, рябой мужичонка в серых чёсанках с галошами и, заикаясь, доложил:

— Т-туточки я, С-семён П-поливертович!

— Объясни-ка, Спирька, это дело в двух словах народу попонятнее...

— Х-хозрасчёт, это, С-семён П-поливертович, в б-банке денег в д-долг д-давать не с-станут. Б-без окладов н-наседимся, мать-перемать!

— Так, так... — поморщился председатель, нахмурившись. — Протокольна-то книга с собой у тебя?

— Т-туточки! — громко хлопнул себя счетовод по груди.

— Садись, записывай, коли так.

Счетовод достал из-за пазухи засаленную амбарную книгу и, примостившись на краешке стола, изготовился писать.

— Значит, такого-то и такого-то, — начал диктовать председатель, — слушали зоотехника из управления, про этот... как его?

— Х-хозрасчёт, — услужливо подсказал счетовод.

— Слушали, стало быть, про хозрасчёт и постановили: расчёту этого не принимать, а ячменя не сдавать ни одной пригоршни!

— Ни-ни одной п-пригоршни... — как эхо повторил счетовод, бойко чиркая пером по бумаге.

— Записал?

— З-записал, С-семён П-поливертович: “не сдавать ни одной п-пригоршни”.

Председатель тяжело поднялся, гулко ударил себя кулаком в грудь и обратился к залу:

— Правильно говорит, товарищи колхозники, по данному вопросу Сенька Скрылёв?

Клуб взорвался разноголосым одобрением и бурными аплодисментами.

В ту же минуту в зале погас свет и в темноте застрекотал киноаппарат.

— Вишь, дорогой товарищ, не желает народ вашего хозрасчёту, — сказал мне на ухо председатель. — Видать, не дозрел ишшо. Так что ты больше не приезжай с ним. Выпить или к жёнке какой незамужней — завсегда пожалуйста. А с этим расчётом не ездят, ну его к лешему, мы тут как-нибудь и без него проживём...

ВОЛЬДЕМАР

Вольдемар Опёнкин был первым жителем, с которым я познакомился, прибыв в эти места на дряхлом пароходишке, у которого всё скрипело, дребезжало и брэнчало, словно в старой избе при землетрясении. Дело было весной, в самом начале навигации. В непроглядном тумане пароход “Гоголь” из Северной Двины свернул в Пинегу и шлёпал по ней целую ночь, пока не сел на мель у какой-то деревни. Тут всё и открылось. Подивиться на пароход сбегалась вся округа. Капитан материл матроса, который мерил ночью шестом глубину. Матрос же материл капитана за то, что тот до сих пор не оборудовал пароход локатором. “Гоголь” долго дергали двумя колхозными баржами и только к обеду стащили на фарватер.

Потом на каждой пристани его задерживали толпы мужиков, жаждущих бутылочного жигулёвского пива.

Вот и в Верхней Пойме я едва пробился к пристани сквозь штурмующую пароход толпу. Через полчаса все отоварились. Пароход дал гудок и отвалил от пристани, и тут обнаружилось, что один малый, смахивающий на Сергея Есенина, сойти не успел. С целой охапкой прижатых к груди бутылок, он метался по палубе, пока кто-то не крикнул:

— Бросай, бросай бутылки и прыгай!

И малый начал метать бутылки, словно гранаты, на раскисшую серую глину, потом взвизгнул, крикнул: “За Родину, за Сталина!” — ухнул в ледяную воду и поплыл к берегу. Это и был Вольдемар Опёнкин. Он жил тогда в самой редакции и спал на каком-то драном диване, над которым на гвоздике висел его выходной костюм. Из всех вещей у него была трубка, гитара с оборванными струнами да чемодан без ручки, которую заменял ремень с морской бляхой.

Пока он передевался в этот выходной костюм, я принялся рассматривать разваленные по столу и подоконникам фотографии, довольно любопытные, но явно непригодные для публикации. На одной из них в длинной шеренге на фоне уже знакомой мне пристани стояли, широко улыбаясь, совершенно голые женщины.

— Это проститутки и тунеядки, высланные из Ленинграда, — пояснил Вольдемар. — Принципиально в знак протеста продефилировали через весь райцентр нагишом, потом в своём бараке пропили всё, вплоть до постельных принадлежностей, занавесок, кастрюль и бачков для воды. Целым батальоном милиции едва сплавили их в соседний район...

— А это кто? — показал я Вольдемару фотографию с каким-то здоровущим мужиком, которого погоняла поленом довольно симпатичная бабёнка.

— Это твой начальник сельхозуправления Сурмин, — захохотал Вольдемар, — случайно ко мне в объектив попал. Скоро познакомишься, раз тебя к нему направили главным зоотехником. А с поленом — его жена. Она его застукала в гостинице у знаменитой артистки, которая тоже была выслана из Ленинграда за пьянство и распутный образ жизни.

Потом под руку мне попала баба со свиноматкой, у которой я насчитал аж двадцать пять поросят.

— Это наша передовая свинарка из колхоза имени Ленина, — пояснил Вольдемар.

— Но так же не бывает, чтобы у одной свиноматки было столько поросят.

— А я откуда знал, что они их от другой свиноматки подсаживали. Полгода прославлял их через свою газету, пока другая свинарка не раскрыла это дело. Моей и слава, и деньги, и грамоты, а той — ничего...

— Тут вот олени, целое стадо. Разве в районе и олени есть?

— Это на Пинеге. Они частенько от хантов к пинжакам забредают из тундры. Тогда те везут нашим выкуп: два ящика водки или ящик спирту. А если наши коровы к ним забредут, тогда уже пинжаки едут к ним с таким же выкупом...

— Двухэтажное здание с флагами — это райком?

— Да, только это два райкома.

— Как это?

— Хрущёв недавно разделил везде райкомы на промышленные и сельские. По этому поводу и анекдот сразу сочинили. Прибегает баба в сельский райком:

— Мужик дерётся.

— Чем дерётся? — спрашивают у неё.

— Разводным ключом.

— Тогда ты не туда явилась. Тебе надо в промышленный райком. Вот ежели бы он тебя шкворнем от телеги, или серпом, или вожжами, тогда да, к нам надо...

Потом мне стали попадаться снимки, на которых высились горы корёженных-перекорёженных брёвен.

— Противотанковые заграждения, что ли?

— Молевой сплав, — пояснил Вольдемар.

— Не понял.

— Чего тут понимать? Весь заготовленный за зиму лес весной скатывают в притоки Двины, и чуть где проморгали, их клинит в узком месте или на изгибе речки. А она течёт. Под первый ряд брёвен подныривает второй, третий, и через некоторое время образуется километровая плотина, которую никак уже растащить невозможно. Речка меняет русло, а бревна так и гни-

ют годами... Впрочем, и половину из тех, что попадают в Двину, уносит в Баренцево море. А там у норвегов построен специальный флот. Брёвна эти они подбирают, прямо на судах распиливают и везут в свои порты уже полуфабрикаты. Из них производят мебель для всей Европы и для наших больших начальников.

Попался мне и портрет Карла Маркса, но был основоположник классово-вой борьбы почему-то в полушубке.

— Это председатель колхоза “Красный пахарь” Акиндин Мышкин, — объяснил Вольдемар. — Ты не поверишь: у них в Никольском почти все мужики на пламенных революционеров похожи. Даже Лейба Троцкий есть. Я всех старух опросил, думаю, может в ссылке кто был? Ничего подобного: кроме высланных из Мурманска бичей, никого не бывало. Загадка природы. Может, ихние души в пинежских мужиков переселились? Если это так, то не миновать нам новой революции... Мышкин, пока не запил, на всех совещаниях в президиумах сидел. А как запил, райком приказал сбрить не только бороду, но и усы. Ему недавно очередной выговор влепили. В Архангельске в ресторане “Север” напился, достал печать и начал её ставить на подолы официанткам. С этого, говорит, момента вы являетесь колхозниками “Красного пахаря”. Девчонки в рёв: они только что из деревни сбежали. Пожаловались директору, ну, тот и снарядил “Карла Маркса” в вытрезвитель.

Перебрав фотографии, я стал перелистывать подшивку газет и сразу обнаружил в ней с десяток квитанций из медвытрезвителя, сколотых скрепкой.

— А это ты зачем хранишь?

— На случай перемены власти, — продолжал хохмить Вольдемар. — Как она переменится, так и заявлю: “При советской власти подвергался репрессиям!” — и предъявлю эти квитанции...

КОПЕЕЧНОЕ ДЕЛО

Оставшись однажды за председателя, я, конечно, несколько раз проехал на его “козле” по селу, чтобы показать, кто теперь тут хозяин. Потом сделал хорошую выволочку своему недругу — главному агроному Клековкину. Ведь что творит, подлец! Только чуть проморгай на уборке, тут же спешит на животноводство и мякину всякую вместо зерна, и полову, и кукурузу, которую запахал, и свёклу, которую не сеял.

Я собрался было заодно отчитать ещё и главного ветврача, чтобы шибко много не забирал себе в голову, но тут в приёмной послышался какой-то шум, приглушённая ругань, и в кабинет ворвался цыган с топориком и в таком засаленном пиджаке, что он показался мне кожаным.

— Будулай, — коротко представился он и в подтверждение сунул мне в руку удостоверение ударника коммунистического труда, правда, почему-то без печатей и подписей.

Потом, подступив ко мне вплотную, цыган указал на топорик.

— Видишь?

— Ну, в-вижу... — ответил я в некотором замешательстве и на всякий случай отодвинулся к стене.

— Ничего ты не видишь!

Он подбежал к батарее парового отопления и с размаху ударил топором по трубе так, что по всей конторе прокатился гул, словно перед землетрясением. После этого он ловко швырнул топорик мне на стол.

— Гляди!

Неизвестно зачем я взял топорик и повертел его в руках. Ничего особенного: топор, как топор.

— Хорошо гляди, начальник!

С этими словами цыган бесцеремонно захватил мою голову обеими руками, точно арбуз, и пригнул её к самому столу так, что я носом почувствовал даже холод обуха.

— Видишь лезвие, начальник?

— Ну, вижу, — ответил я, с трудом освобождая голову. — Ну, и что?

— Металл видишь?

— Обыкновенный металл. Сталь марки три, должно быть...

— Эх, умная голова, да дураку дадена. Ты пощупай, зазубрины есть?

Тут он сцапал мою руку и провёл ею по краю лезвия. Зазубрин я, действительно, не почувствовал.

— Ага, то-то! — победоносно воскликнул он. — Сталь — высший сорт! Железо руби — ничего не будет! Тебе хватит, детям твоим хватит, детям твоих детей хватит. Всем хватит! Дарю!

Я хотел было запротестовать, но Будулай ни с того ни с сего, как подкошенный, рухнул на колени. Я вытаращил глаза, а он, не давая мне опомниться, воздел руки к потолку и закричал на всю контору:

— Работу давай, начальник! Работу! Жена с детишками с голоду пухнут.

— Пожалуйста, пожалуйста. Только встаньте! — засуетился я, оглядываясь на двери. Ещё зайдёт кто-нибудь, чёрт знает, что понесут потом по селу: на столе — топор, рядом — человек на коленях...

— Скотником пойдёшь?

— Скотником тыфу! — плюнул цыган, не вставая с колен. — Кузнецом хочу, железа хочу, душа молот просит!

— Ну, хорошо, хорошо. Лошадей ковать...

— Лошади тыфу! — опять сплюнул цыган уже прямо на дорожку. — Лошадей задаром подкую, настоящую работу давай! Бороны давай! Много борон давай!

Я кое-как поднял его за подмышки, усадил на стул и вызвал главного агронома.

— Много у тебя борон неисправных? — спросил я несколько заискивающим тоном, давая понять, что уже не держу на него никаких обид.

Клековкин криво усмехнулся.

— Ты лучше своих первотёлок считай. По второму году доятся, а всё в девках числятся...

— Это не твоё дело... — вспыхнул я.

— А бороны, выходит, твоё?

— Моё!

— Ну, тогда сам и считай! Только гляди, не получилось бы у тебя с этими боронами, как у того председателя с Черевкова.

— У какого ещё председателя?

— А которому баржу-то красили...

— При чём тут баржа?

— А при том. Заплатил он им денежки, а потом глядит: у баржи-то всего один бок покрашен, что от берега. Председатель за ними вдогонку, а они ему: так, мол, в договоре записано, начальник. Мы, цыгане такие-то, с одной стороны, а ты, стало быть, председатель и члены правления, — с другой стороны...

— Ай, ай, ай! — замахал Будулай руками. — У такого умного начальника и такой глупый агроном...

— Ну, это ещё неизвестно, кто тут глупее, — сказал Клековкин и, демонстративно пнув дверь кабинета, вышел.

О количестве борон в колхозе, конечно, никто не знал: ни бухгалтер, ни инженеры, ни экономисты, ни бригадиры. Одни говорили — сто, другие — четыреста, а третьи загибали вообще под тысячу.

Я заглянул в расценки. Дело получалось совершенно копеечное. Правка и заточка зубьев стоила одну десятую копейки, столь же дёшево расценивалось откручивание и закручивание гаек, правка поперечин и так далее. Я махнул рукой и не стал указывать в договоре количество борон, а указал только расценки.

— Умная голова! — похвалил меня Будулай и тут же исчез, словно дематериализовался, а я ещё долго ходил по кабинету, довольный потирая руки и предвкушая, как будет меня хвалить, вернувшись из отпуска, председатель за это необычайно выгодное дельце.

После обеда в колхозе началось, однако, что-то непонятное. Хотя Будулай и уверял, что у него никого нет, кроме жены и опухших от голода де-

тишек, к конторе прибыл целый обоз. Цыгане прямо под окнами разбили лагерь и, несмотря на мои энергичные протесты, стали свозить сюда же бороны. Вскоре ими была завалена уже половина сквера. Наступила ночь, но подвоз борон не прекратился.

До самого утра в селе скрипели повозки, гремело железо, и слышались гортанные крики цыган.

К полудню боронами была заполнена не только вторая половина сквера, но и прилегающая к конторе улица. Цыгане привезли из гаража десятка три старых автомобильных покрышек, запалили несколько огромных костров, повесили над ними железные бочки с гудроном, и вскоре Яков Михайлович Свердлов на своём постаменте от копоти и гари стал больше походить на беспризорника, а флаг трудовой славы — на какой-то пиратский стяг...

В дело, по моему наущению, вмешался было участковый, но цыганки подняли такой гвалт, что милиционер, заткнув уши, тут же убежал к себе в участок и больше не показывался.

С нехорошими предчувствиями я, точно Наполеон, сложив на груди руки, смотрел в окно на эти странные огни. Позади меня в полном безмолвии стояли главные, старшие и просто рядовые специалисты во главе с конюхом Евстигнеичем.

— Как вы думаете, что они собираются делать? — спросил я Евстигнеича в расчёте на то, что он лучше других сможет объяснить поведение цыган, поскольку, как и они, всю жизнь имеет дело с лошадьми.

— Да уж хорошего ждать не приходится, — задумчиво ответил Евстигнеич, почёсывая у себя в затылке. — С ними только свяжись... Я-то ведь, ежели бы не они, может, теперича начальником всего “чермета” работал или ещё повыше... А вместо этого должности лишился да ещё и насудился, как самый распоследний жулик.

Евстигнеич в волнении стал закуривать, рассыпая по полу махорку.

— Вызывает меня снова начальник и говорит: поступило, слышь, указание от цыган бытовой лом принимать. Ну, принимать так принимать. Стал принимать. А они до чего додумались: сдадут мне телегу этого хлама, поедут будто выгружать, а сами в повозку другую лошадь впрягут и опять ко мне на весы с той же телегой. Месяца три вот эдак-то одну повозку сдавали, пока ко мне из ОБХСа не пришли...

В конторе, несмотря на закрытые окна и форточки, стало нечем дышать от резиновой гари, и мои сослуживцы, обрадовавшись этому обстоятельству, потихоньку разбрелись по домам. Ушёл на конюшню и Евстигнеич, одарив меня на прощание долгим сострадательным взглядом.

Цыгане между тем сложили бороны друг на друга большими штабелями и стали их поливать жидким гудроном. Часа через два всё было кончено, и в кабинет ко мне вошёл Будулай в сопровождении двух молодцов самого что ни на есть разбойничьего вида. У одного глаз был залеплен чёрной круглой заплатой, у другого в ухе болталась настоящая пиратская серьга, а из-за голенища выглядывала рукоять полуметрового кинжала, какими в деревнях режут свиней.

— Принимай работу, начальник! — бодро сказал Будулай и панибратски похлопал меня по плечу.

— Что, уже всё сделали? — фальшивым голосом спросил я.

— Всё, начальник!

Мне ничего не оставалось, как подняться и идти с проверкой, тем более что злодеи зашли с боков и сперва легонько, а потом всё ощутительнее стали подгалкивать меня под рёбра.

В сквере Будулай, словно полководец, махнул рукой, и весь табор от мала до велика, словно в бой, ринулся на штабеля. В считанные минуты бороны были раскиданы вдоль села вверх зубьями.

— Проверь! — приказал Будулай. — Зубья проверяй! Гайки, поперечины! Всё проверяй. Доволен будешь. Цыган дело знает!

Уже чувствуя, что влип в какую-то историю, я лихорадочно принялся искать недочёты. Увы! Их не было... Зубья и в самом деле были на месте и не шатались. В порядке были и поперечины.

— Ну-у, и сколько же вы хотите? — спросил я.

— Согласно расценкам, — пожал Будулай плечами. — Семьсот борон, семьдесят тысяч зубьев, столько же гаек, поперечины, покраска... три тысячи сто двадцать три рубля семнадцать копеек.

— Сколько? Сколько? — переспросил я, похолодев.

— Три тысячи! — махнул рукой Будулай. — Остальное пусть идёт в пользу колхоза... Что мы, не советские люди, что ли...

— Позвольте, выходит, что вы все зубья правили?

— Все, — охотно подтвердил Будулай.

Тут, наконец, я сообразил, в какую ловушку попал, и попробовал выкрутиться.

— А как докажете?

— А ты, умная голова, как докажешь? Бороны-то исправны.

Те же молодцы привели меня в контору. Кабинет мой на глазах превратился в какой-то толкучий рынок.

— Деньги, деньги давай! — понеслось отовсюду. — Бумагу подписал, а теперь в кусты!

— Не выйдет, начальник! Закон на нашей стороне...

Тут, подступив ко мне, заорали, завизжали цыганки, размахивая перед моим носом руками. Потом заверещали цыганята, которых матери специально щипали и рвали за уши.

— Деньги давай! Давай деньги! Кушать хотим! — кричали они.

Даже махонькие детишки, которые, наверное, и ходить-то ещё не умели, ползали у меня под ногами и, цепляясь за штаны, пищали:

— Дядя, вай, вай, теньги! Дядя, вай, вай, теньги!

Сами цыгане стояли молча и нельзя сказать, что угрожали мне железными вилами и кнутами, но держали их так, что всё можно было подумать...

Главбух, конечно, платить наотрез отказался. Цыгане на моих глазах оплевали, обругали его и, что-то полопотав по-своему, стали стаскивать в контору узлы, матрасы, чугуны и даже конскую упряжь.

Я, взявшись за голову, ошалело бродил по опустевшему кабинету, из которого загадочным образом исчезли все карандаши, ручки, бумага и даже портреты членов Политбюро. Под окнами в сквере свободно ходили кони, объедая с клумб поздние цветы. Двое цыганят бросали камнями в "Доску почёта", целясь в передовиков. Я несколько раз до крови ущипнул себя за руку. Нет, это был не сон, и чуда не произошло. Мало того, в форточке появился дупоглазый цыганёнок и стал поливать меня водой из велосипедного насоса...

...Осада длилась три дня. На четвёртый, когда в моём кабинете цыганки устроили что-то вроде детского сада, мне пришлось сдаться. Я взял отложенные на мотоцикл деньги и отдал их Будулаю. Недостающую сумму мне собрали сердобольные доярки...

Цыгане уехали в тот же день, но на этом дело не кончилось. Через неделю меня вызвали в прокуратуру и предъявили иск о хищении новых борон из соседних колхозов. Правда, учитывая моё чистосердечное признание и то, что к тому времени я вернул все бороны их владельцам, меня судить не стали, а ограничились лишь мелким штрафом, приобщив топорик к делу как вещественное доказательство.

РАЦУХА

Из-за меня, дурака, считай, мы Пашки-то Белоглазова и лишились. А какой слесарь был! Не только в нашем колхозе — в районе таких слесарей не было. Да что там район — во всей области если десяток таких наберётся, так и дай Бог. Ничего у него от рук, бывало, не отобьётся: ни доильные аппараты, ни тракторные двигатели, ни котлы паровые, ни, тем более, наши фермерские железки. Что угодно починит. Да мало того — ещё и гарантию даст!

А всё началось с того, что попросил я его однажды центрифугу покрутить, когда делал контрольную дойку и определял количество жира в моло-

ке. Должен сказать, что процедура это долгая, нудная, да к тому же и не безопасная, потому что дело имеешь с концентрированной серной кислотой. Сначала в жиромер заливаешь эту самую кислоту, потом — пробу молока, потом — изоамиловый спирт, потом закупориваешь жиромер пробкой, потом греешь его в водяной бане, потом закладываешь в центрифугу и крутишь её минут десять. Опять греешь его в теплой воде, и уж только после этого в нём над тёмной жидкостью появляется жёлтый столбик молочного жира. Вот и канителишься...

Пашка смотрел на меня, смотрел, а потом и спрашивает:

— Это сколько же крутить-то?

— Считай, — говорю. — В центрифугу входит двадцать четыре жиромера, а коров у меня тысяча.

— Чокнуться можно! — изумился он. — Неужели попроще ничего сообразить нельзя?

— Сообрази, если можешь...

И что вы думаете? Забрал у меня он все справочники, взял отпуск, закрылся у себя в сарае и через месяц приходит на ферму с чемоданчиком. Открывает его, сует провод в розетку, достаёт пробирку и говорит мне:

— Наливай молоко!

Ну, я налил, конечно, усмехаюсь, потому что знаю: ничего у Пашки не выйдет. Сотни, а может, и тысячи специалистов-животноводов думали над тем, как упростить жиропределение молока, и ничего ни у кого толком не получилось.

А Пашка, между тем, сунул пробирку с молоком в свой чемодан, нажал кнопку, и стрелка на шкале от старого мотоциклетного спидометра остановилась на тридцати седьмом делении.

— Пожалуйста, — ухмыльнулся он. — Три и семьдесят две сотых процента. Можешь проверить на своей шарманке.

Я, разумеется, проверил. Жирность молока точно совпала с Пашкиной.

— Наверное, не веришь? — спросил он у меня.

— Конечно, не верю. Вот если у тебя сто проб сойдётся, тогда ещё куда ни шло. А так — кто же тебе поверит: считай, у половины моих коров жирность три и семь десятых...

— А по мне — так хоть у всех проверяй. У меня — как в аптеке!

— Ну, давай, давай...

Я начал проверять пробы за Пашкиным прибором и не поверите: всё у меня сходилось тютелька в тютельку. Не успею я ещё и кислоту в жиромеры налить, а Пашка уже кричит:

— Первая проба — три семьдесят шесть, вторая — четыре и одна сотая, третья — три и двадцать четыре сотые... Бракуй к чертям свою корову, совсем одной водой доится... В четвёртой пробе — три и девяносто пять сотых...

Я вовсе выбился из сил и на двести сороковой пробе махнул рукой.

— Сдаёшься? — подступил ко мне Пашка.

— Сдаюсь... — озадаченно ответил я.

— То-то и оно. Если хочешь, я и сливки могу проверить.

— Сливки?

— Раз плюнуть.

Я черпанул в пробирку из фляги отстоявшихся за ночь сливок.

— Двенадцать с половиной процентов, — через секунду сообщил Пашка и снисходительно похлопал меня по плечу.

— Может, ты и сметану, можешь замерить? — осведомился я.

— Сметану не могу, шкалы не хватит. На ней гляди, всего сто сорок делений. А для сметаны надо, наверно, двести или того больше. Но если тебе надо для сметаны, то могу и это устроить. Только спидометр тогда не от мотоцикла, а от самолёта надо...

— Ну и ну, — почесал я в затылке. — Как ты додумался-то?

Пашка пожал плечами.

— Чего думать-то... Вот фотоэлемент, вот лампочка, вот твоя пробирка с молоком между ними.

— Ну, и что?
— А то. Жир-то в молоке в шариках или нет?
— Ну, в шариках.
— А раз в шариках, то чем их больше, тем света меньше падает на фотоэлемент, и наоборот. Врубился?
— Врубился, — ответил я, невольно переходя на Пашкину терминологию.
— Фотоэлемент соединён со спидометром. Всё проще пареной репы...
— Да если это все так, тебя же деньгами завалят. Ты, понимаешь, что сделал-то?

Пашка опять пожал плечами.

— Я на деньги не жадный.

— А слава?

— Мне и на славу наплевать. Главное — вам мороки не будет. А то каждый месяц крутите... Озвереть можно.

Пашка запаковал чемоданчик и широким жестом положил его мне на стол.

— Пользуйся моей добротой!

— Да ты что, дурак? Вези его в областное управление сельского хозяйства. Тебе там за такое изобретение на “Москвича” или даже на “Жигули” дадут...

— Что у них там, валяются деньги-то?

— Да не в этом дело. Ведь с этим прибором тысячи людей на фермах освободить можно. Ты посчитай: в каждой области триста-пятьсот колхозов и совхозов. Стало быть, столько же и людей занято жиропределением. А по Союзу? А ещё молокозаводы! А кислоты сколько съэкономится, спирту изоамилового, центрифуг, электроэнергии... Да ты, дурак, всё молочное дело перевернёшь со своим прибором, тебя десятки людей благодарить будут, на руках носить...

— Так уж и десятки...

— Конечно, даже сотни тысяч! Ведь все, как мы, маются с этим жиропределением. А тут человека на район поставь и пожалуйста: один справится.

Пашка недоверчиво покосился сначала на меня, потом на прибор и поглубже натянул на голову свой замасленный картуз.

— Давай, давай, не раздумывай. Завтра же забирай свой прибор и в отдел животноводства. А я тебе бумагу напишу, что прибор опробован в производственных условиях и дал отличные результаты...

Уговорил я, в общем, Пашку.

Уехал он и как в воду канул: неделю нет, две, три... Потом прибегают ко мне его мать, Нюра Васиха, и давай ругаться.

— Ты, — кричит, — грамотный, а чему Пашку-то, сына мово, научил! В кутузку парня законопатил ни за что, ни про что...

— Как в кутузку?

Нюра пошарила в юбках, вытащила письмо и помахала им перед своим носом.

— Гляди вот, любуйся! Я тебя за хорошего человека почитала, а теперь тьфу! И не подходи больше, когда доярки твои заболеют. В жизнь подменять не пойду...

В письме Пашка сообщал, что осуждён на пятнадцать суток за хулиганство. Оказалось, что своим аппаратом он разбил кому-то голову.

Это было настолько невероятно, что я решил на другой же день поехать и всё разузнать на месте, а может, и помочь чем бедному Пашке.

Искать заведение, где отбывал он свой срок, долго не пришлось. Оно оказалось рядом с автовокзалом. Да и упрасивать о свидании тоже никого, к счастью, не потребовалось. Пашка, весело насвистывая какую-то городскую, незнакомую мне песню, чинил в заведении электропроводку.

— Павел, расскажи, чего вышло-то? — спросил я, протягивая ему пачку сигарет.

Он закурил и пожал плечами.

— Тут и рассказывать нечего. Которому ты бумагу-то написал в областное управление, его на месте не оказалось: в командировку куда-то отправили...

— Ну?

— Я уж было обратно собрался, а тут и подвернулся этот брюхан-то рыжий.

— Какой брюхан?

— Ну, Деревянко-Перекобыльский-то, что у них там этой рационализацией заведует. Спрашивает, чего, мол, у тебя, не рацуха? Рацуха, говорю, вот: прибор сделал, жир в молоке определять. Он на меня посмотрел, как на дурака, и закатился хохотать. Лучше бы ты, говорит, сюда вечный двигатель привёз или ещё чего поуднее. За границей все учёные над этим делом уж сто лет бьются, и ни хрена у них не получается... Тут я, ни слова не говоря, р-раз ему твою бумажку-то в зубы. У него сразу весь смех прошёл. Залез передо мной, забегал, прямо так и стелется. Затащил в свой кабинет, в кресло усадил, чаем поить начал. Потом давай мне всякие глупые вопросы задавать, мол, что такое молочный жир?

— Чё вы, масла коровьего не видали, что ли? — спрашиваю. — Молочный жир — масло коровье и есть, по три двадцать...

— А что ещё тебе по составу молока известно? Что ещё в нём есть?

— Это любому дураку известно: обрат да сыворотка.

— Эх ты, говорит, темнота, в молоке-то больше сотни всяких соединений: и белки, и кислоты, и витамины, и микроэлементы, и аминокислоты. Даже золото есть, сколько-то там миллионных долей.

— Ну, и что?

— А то! Ты же в случае чего не сумеешь все это объяснить-то комиссии.

— Мне, говорю, и объяснять нечего. Раз вы знаете, вы и объясняйте.

Гляжу, обрадовался он. Приборчик мой к себе под стол пихнул, а в бумагу-то рядом с моей свою фамилию записал. Потом сбегал куда-то, по плечу меня похлопал и шепчет на ухо:

— Надо ещё, слышь, Петра Петровича в бумагу-то включить, он эффект какой-то считать будет...

— Мне что, говорю, включай.

— Семёна Феоктистовича обходить неудобно...

— Пиши и его.

Записал, в общем, он и Петра, и Семёна, и ещё сколько-то человек. Дал мне бумажку в гостиницу.

— Жди, говорит, мы теперь это дело быстро обтяпаем.

Я заселился, жду. День жду, два, три... Потом деньги у меня кончились. Прихожу в контору-то, так мол и так. Тут один чернявенький похлопал меня по плечу и говорит:

— Не мучайся, парень, езжай домой. Потому что они на приборчик твой уж и патент получили, и денежки...

— Как получили?

— А так вот, молча, по тысяче рублей...

Ну, я к этому Деревянко-Перекобыльскому. Захожу. Он заюлил, завертелся, заизвинялся. Конечно, говорит, маленько неудобно получилось, потому что ты в списке оказался одиннадцатый. Начальство и вычеркнуло тебя, чтобы, значит, у всех сумма-то недроблёная получилась. С ним ведь, слышь, не поспоришь, с начальством-то...

— А ты, спрашиваю, получил?

— Получил.

— Ну, так дай мне хоть на дорогу сколько-нибудь.

Он руками развёл. Всей бы, говорит, душой, да нет с собой ни копейки. У нас деньги-то в руки не дают, а на книжку сразу переводят. Порядок такой...

— Да за такие штуки! — взвился я. — Ему прямо по морде надавать надо было!

Пашка тяжело вздохнул.

— Так оно и получилось... Как стал я прибор-то забирать, этот Деревянко-Перекобыльский вцепился в него, заверещал, будто кастрировать его собираюсь, да ещё и лягаться начал. Тут я и не выдержал...

— Так, может, сходить мне к начальнику милиции-то, я ходатайство от колхоза вот привёз насчёт тебя.
— А зачем? — пожал Пашка плечами.
— Ну, чтобы тебе сбавили срок-то.
— А чего его сбавлять-то. Он у меня неделю назад кончился.
— Погоди, а домой-то чего не едешь? — изумился я.
— Как чего? Работаю я здесь. Начальник-то милиции как узнал, кто я такой есть, так мало того, что срок мне скостил, а и к себе на работу оформил. Я теперь в два раза больше получаю, чем в колхозе-то, да и работа у них не бей лежачего. Не то что у вас: всю жизнь по колено в грязи да в навозной жиже...

КЛАССОВЫЙ ПОДХОД

Где-то вскоре после этого дело было. Подходит ко мне сторож Еврасим и говорит:

— Дал бы ты мне, мил-сын, почитать что-нибудь от скуки. Только чтоб без политики. За эту политику-то у меня при Сталине и деда, и прадеда, и батьку — всех расстреляли, а я на Урале десять лет лес валил.

— Да у меня ничего, кроме Гоголя, нет.

— Это востроносенький-то? — оживился дед. — Который “Тараса Бульбу” написал?

— Да.

— Ну, давай его. Ладно, он вроде бы мужик ничего, безвредный.

Ушёл дед Еврасим, а под вечер гляжу — обратно бежит. Положил книжку на стол и скорей к двери.

— Чего, дед, не понравилась? — спрашиваю.

— Нет, не поглянулась, паря, — ответил дед, боязливо оглядываясь по сторонам.

— А почему?

— Сумнительная она и вредная, ежели к ней классовый подход сделать.

— Да почему? — изумился я.

— А вот возьми хоть и этого Собачкина.

— Собакевича, наверно?

— Ну, да, косолапого-то. С одной стороны, он ведь помещик?

— Помещик.

— Сплататор, стало быть?

— Выходит так, эксплуататор.

— А с другой стороны, если к нему классовый подход сделать, то что получается?

— А что? — заинтересовался я, потому что с этой стороны ни к Собакевичу, ни к самому Гоголю, кажется, ещё никто не заходил.

— А ты погляди, ведь он губернаторских-то сплататоров чисто по-нашему, можно сказать, по-партийному, поливает...

— Ну, и что, раз характер у него такой?

— С таким карахтелем его в книжку не надо было...

— Да почему же, Еврасим Фатеевич?

— Двuruшный человек. Ему бы надо одно что-нибудь: за помещиков, дак за помещиков, а ежели за трудовое крестьянство, дак за трудовое крестьянство — по классовой-то борьбе.

— Подожди, дед, — опомнился я, — ведь тогда ещё никакой классовой теории не было, при Гоголе-то?

— Мало ли что не было. Всё равно лучше бы его в книжку не вставлял. Хоть и лаёт он этих сплататоров, а всё равно человек ненадёжный, двуличный. И на руководящую работу его выдвигать, я думаю, тоже нельзя.

— Подожди, да кто его выдвигает-то?

— Это я так, к примеру. Конешное дело, кто его выдвинет, беспартийного-то. А с другой стороны, если бы и выдвинули, скажем, председателем нашего колхоза, то не поднял бы он его. Потому что человек не только двурушный, а и под себя гребёт, как теперешние председатели.

— Но ведь он и крестьянам жить давал. В книжке-то ясно написано, что крестьяне у него справно жили.

— Э-э, парень, — махнул дед рукой, — по теперешним временам этого Собачкина быстро скинули бы. Теперя начальству привыкли угождать-то, а не крестьянину. А при Сталине его, небось, и посадили бы за разбазаривание али расстреляли бы, как батька моего, дай Бог ему царства небесного...

Разговор принимал какой-то совсем чудной, можно сказать, анекдотический характер.

— И этот, буйная головушка, картёжник-то, тоже не поднял бы колхоза, — продолжал дед Еврасим.

— Ноздрёв, что ли?

— Ну! Пропил бы всё за милу душу, как Яшка Селезень. Тот, помню, после войны-то последние вожжи пропил. Бывало, меринком-то тычиной и правишь. Надо вправо повернуть, дак тычину-то слева заносишь, а влево — дак наоборот...

— Ну, а вот Плюшкин поднял бы колхоз? — с нарастающим любопытством спросил я.

— Этот поднял бы, — уверенно отвечал дед Еврасим. — Уж этот доглядел бы за каждым...

— А не погноил бы продукцию-то?

— Нет-нет, — отрицательно замотал головой дед. — Начальство не дало бы. Со всего району технику нагнали бы, а вывезли и жито, и снопы, и кожи. И этот, Чичиков, тоже поднял бы. Только он, я думаю, не согласился бы в председатели. Ему по уму-то да по обходительности — в районе сидеть али даже в области...

— Так ведь жулик он?

— А кто теперь не жулик? Главное — чтобы дело шло...

— Так что ты всё же вредного-то в ней нашёл? — спросил я, потому что в своём классовом подходе дед явно противоречил сам себе.

— В книге-то?

— Ну.

— Как это что? Али не понимаешь? — подозрительно покосился на меня дед и опять стал оглядываться по сторонам.

— Нет, не понимаю.

— Насмехаешься, небось, над стариком?

— Ей-богу, не понимаю, Еврасим Фатеевич!

— Дай-ка её сюды, книжку-то... Вот, погли-ко, что твой Собачкин на этом листке-то в ней выкусывает. Ведь ни в какие ворота не пропихнёшь! Губернатор, слышь, первый разбойник в мире. Дайте ему ножик, да выпустите на большую дорогу, дак за копейку зарежет. Он, да ещё этот, с вицей-то губернатор.

— Вице-губернатор, — поправил я.

— Вот я и говорю: губернатор, да второй губернатор, который с вицей-то, — это, слышь, Гога и Магога, и весь город у них такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все, слышь, христопродавцы...

— Ну, и что из этого? Тогда время такое было, все чиновники воровали.

— Эх, вы, молодёжь, — покачал головой дед Еврасим. — Подумай-ко: губерния-то что по-настоящему?

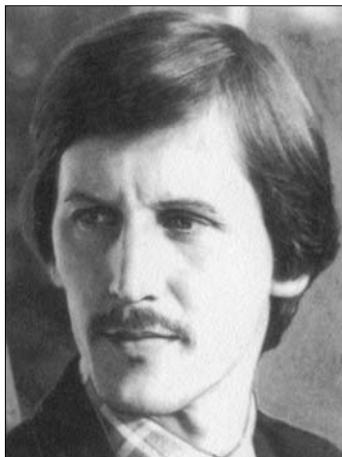
Я пожал плечами.

— Область, наверное.

— То-то и оно, что область. А губернатор-то, да этот другой-то, с вицей-то, да председатель казённой-то палаты, на теперешние-то деньги, кто? Вот то-то... Нет уж, мил сын, раз ты ничего не понимаешь, дак послушай меня, старика, спрячь эту книжку подальше и никому не показывай али же вовсе выбрось. За такие книжки, в случае чего, дак по головке-то не поглядят...

Вот после этого и пошёл по селу слух, будто я что-то замышляю против обкома партии и даже Центрального Комитета. Приехали *бойцы невидимого фронта*. Оружия у меня, конечно, не нашли, но барабан с вазелином и бутыл с карболкой забрали. Якобы из них, если смешать с аммиачной селитрой, то запросто можно взрывчатку сделать. Со мной после этого уж и здороваться в колхозе все перестали. А тут ещё Нюра Васиха распустила слух, будто я самый главный чернокнижник Союза ССР. И метнулся я на Урал...

МИХАИЛ КАРАЧЁВ



ЗА РОДИМОЙ ОГРАДОЙ

* * *

Это хрупкое время не право,
Как ледок на осенней реке,
Что вмерзает в прибрежные травы
И хрустально звенит в ивняке.
Не удержат усталые травы
На остывшем родном берегу —
Водяною холодною лавой
Унесёт в ледяную шугу...

Первый снег налетает неожиданно
На лесную забытую глушь,
И душа отзывается давним
Ожиданьем безжалостных стуж.

День смеркается. Путник размеренно
Топчет грязь на дороге лесной
И выходит к родимому берегу —
К деревушке за тёмной рекой.

КАРАЧЁВ Михаил Иванович родился в 1953 г. в посёлке Лаптюг Вологодской области. Служил в армии, окончил филологический факультет Вологодского пед-института. Долгое время руководил на Вологодчине государственной дирекцией по охране и реставрации памятников истории и культуры. Член Союза писателей России. Автор нескольких стихотворных сборников. Ныне руководит Вологодской областной организацией Союза писателей России.

В смоляной леденеющей лодке,
Что по тросу стальному скользит,
Он стоит, опьяневший без водки,
И во мглу ледяную глядит.

Над стремниной тягучей, глубокой
Трос качается, лодка скрипит,
И по сердцу скользит одиноко
Одинокость прибрежных раки.

А в лесной затаённой округе
Над забытым жильём, над рекой
Вырастает слепящая вьюга,
Оглушая высокой тоской.

И забвенья беспамятный холод
На безудержной тёмной волне
Рвёт и треплет слабеющий повод
В ненадёжном скрипящем челне.

Отчего же восторженным стоном
Вырывается вздох из груди
И, сливаясь с окрестностью, тонет,
Окликая в кромешной дали!

ОДА ЛАПТЮГУ

Здравствуй, Лаптюг, родной лесопункт,
Ненадёжный хранитель наследства!
Не сберечь тебе родственных пут
Послевоенного детства.

Всё ты отдал родимой стране
Трудового во имя салюта.
Ничего не оставил себе,
Кроме бедного в жизни уюта.

Твои дети ушли в города
Старикам умирать недалече.
И жильё не согреть в холода
Остывающей каменной печи.

Все побиты в округе леса.
Молевого весеннего сплава
Растворилась, как дым в небесах,
Трудовая победная слава.

Сколько выпито в мае вина!
Сколько плясок в кирзовой обуви!
Не забудь же, родная страна, —
Эта жизнь сожжена на распутье.

И в забвении жизни без слёз,
Под ночным полыхающим небом,
Как Архангел, гудит лесовоз
И уносится в вечную небыль.

Так сияй же, небесный чертог,
Оглашайся для памятной славы
Русской пляской кирзовых сапог
На забытых просторах державы!

* * *

Твоя душа безверьем связана,
И тайны нет в твоих глазах.
Морозной ночью жизнь рассказана,
Рассыпана в словесный прах.

Морозной ночью свет безвестности
Летит к остывшему окну,
И взор твой тает в бесконечности
И согревает пустоту.

* * *

Отпусти меня, жизнь, по течению вверх.
Я забуду всё, я забуду всех.

Отпусти меня домой, в утро раннее,
На родное крыльцо, в даль туманную.

Отпусти меня домой, как мальчика маленького,
Дай заплакать, обнять мою маменьку.

Удержи меня, жизнь, на родном крыльце,
Майским ветром согрей слезу на лице.

Детский сладкий страх накануне дня
Овладеет мной, далеко маня.

НЕДОЛГОЕ ЭТО МГНОВЕНЬЕ...

Утихнет сердечная смута.
Тревожный расступится воздух.
В застывшую эту минуту
Далёкий даруется отдых.

Недолгое это мгновенье
Догонят оставшие годы,
И дом в позабытом селенье
Наполнится снова народом.

И плачут знакомые лица,
И голоса над столами,
И заоконная птица
На свет ударяет крылами!..

Но это недолго продлится,
И в хаосе зреет восстание:
Неведомой силой томится
Грядущее ожидание.

Так юное сердце томится
Безмерностью тающей жизни
И в чуждые дали стремится,
Родные забыв укоризны.

Так буря несёт с чернозёмом
Иссохшее старое семя
И рвёт, и терзает, не внемля
Мечтаньям о мире зелёном.

Мерцает бессмертная сила
В туманах небесного света,
Но кровь холодеет по жилам
Живого не слыша привета.

И снова сердечным тиранством
Срывает родимые звенья,
И в согнутом, мутном пространстве
Гудит и терзает забвенья!

* * *

В сумерках майского сада
Плачет-поёт соловей.
Где ты, подруга-отрада?
Сердце его пожалей.

Сколько любви безответной
Он рассыпает вокруг!
В песне его беззаветной
Счастья сердечный испуг.

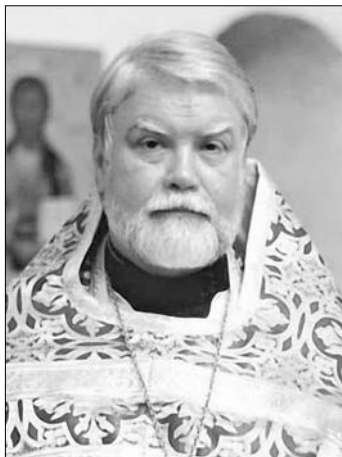
Сколько тоски и участия
Рвёт он из худеньких жил!
Дайте хоть капельку счастья
Тем, кто его заслужил.

Радуйтесь песне беспечно,
Верьте любви соловья...
Скоро почувете вечный
Холод родного жилья.

И не удержит ограда
Радости в сером саду.
Будут искать за оградой —
И всё равно не найдут.

В сучьях остывшего сада
Сердца приветного нет,
А за родимой оградой —
Мгла, уходящая в свет.

о. ЯРОСЛАВ ШИПОВ



НЕЧТО НЕПОПРАВИМОЕ

РАССКАЗЫ

ТРУДОДЕНЬ

Было мне тогда, наверное, лет двенадцать. Неожиданно меня взял в напарники самый знатный рыболов нашей деревни. Начать с того, что он много лет провел на дипломатическом поприще за границей и вооружился превосходнейшими снастями, каких у нас в ту пору нельзя было увидеть даже во сне. А еще он умел подобрать насадку, меняя червяка на хлебный мякиш или на тесто, в которое добавлял то анисовое масло, то губную помаду с кондитерским запахом. Рыбачили мы под мостом, где глубина достигала десяти метров, что, безусловно, нравилось лещам. Ловили с лодки, подвязывая ее к обрезкам арматуры, торчащей из железобетонных опор. В мои обязанности входила заготовка червей и работа с подсачком при вываживании крупной рыбы. Промысел складывался удачно, и каждый день мы кого-нибудь угощали.

Занятие наше, начинавшееся глубокой ночью, неукоснительно останавливалось в семь утра, когда к мосту приближался речной трамвайчик. Надо было собрать все снасти, оттолкнуть лодку от бетонной опоры и удерживать ее так, пока не утихнут волны, поднятые суденышком. Действия эти мы отработали до совершенства: дипломат упирался ногой, я — веслом. Но однажды совершенство нам изменило: может, оттолкнулись мы слишком сильно,

ШИПОВ Ярослав Алексеевич родился в 1947 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. С 1979-го по 1981 год работал в журнале "Наш современник". Автор нескольких книг прозы. Член Союза писателей России. С 1991 года — священник. Служил на отдаленных сельских приходах. В настоящее время служит и живёт в Москве.

а может, волна превзошла обычную высоту... Точно одно: напарник мой не удержался и упал в воду. Так, весьма решительным образом, нормальное течение дня сменилось чередой неожиданных событий.

Забраться в лодку не получалось даже с моей слабой помощью: одежда намочилась, и он никак не мог заползти на борт. Пришлось мне буксировать его, но не к нашей деревне, до которой было порядка двух километров, а к соседней, располагавшейся за мостом. Добрались. Выйдя на берег, он судорожно сбрасывал с себя куртку, рубашку, ботинки, брюки... Остался в голубых шелковых трусах, широкополой соломенной шляпе и, дрожа от холода, засеменил босиком к ближайшей избушке, над которой так притягательно вился печной дымок. Я — следом. Миновав сени, он деликатно постучал в дверь — ответа не было, постучал снова, чуть громче — никто не отозвался. Тогда он приоткрыл дверь и, стоя в проеме, сделал официальное заявление:

— Я дипломат, работал консулом...

Где он работал консулом, я не услышал: чугунок с вареной картошкой, словно из пращи, вылетел в нашу сторону из ухвата — хорошо, что дипломат успел затворить дверь. Мы постояли молча, потом он говорит:

— Может, вы попробуете?

Я догадывался, что прилетевший к нам чугунок не один в печке, но отступать было некуда.

— Теть! — закричал я. — Мы дачники! Из Булавина! Дяденька с лодки упал — промок весь!

— Дачники? — переспросила она, открывая дверь. — Тогда заходите. Дайте, я только картошку соберу — поросенку варила.

— Доброе утро! — поздоровался дипломат, одной рукой снимая широкополую шляпу, другой — прикрывая пройму на голубых трусах. И торопливо зашлепал к печке.

Хозяйка выдала ему женский халат, потом спустилась вместе со мной к реке, чтобы забрать намоченную одежду. А я взял свой простенький спиннинг, саморучно сделанный из можжевельника, и пошел вдоль берега, забрасывая похожую на окунья блесну. Называлась она “Отличная”. Бросил несколько раз и поймал первую в жизни щуку.

Положил ее на траву, метрах, наверное, в десяти от берега, чтобы не убежала обратно. А сам засуетился: кидая и кидая блесну — может, еще возьмет. Вдруг вижу: моей рыбины нет. Я — вдоль берега: туда, сюда — нет. Поднимаю глаза — а щука на взгорке, большой черный кот пытается утащить ее. Отвоевал я добычу: хвост был слегка погрызен, а все остальное — в сохранности.

Солнышко стало пригревать, я понял, что рыбалка закончилась, и пошел домой. Дипломата не стал тревожить, полагая, что он вполне мог задремать, пока его одежда сохнет на печке.

Когда я предьявил рыбу отцу, он искренне изумился. А потом озадачил:

— Ты же собирался теребить лен. Сегодня начали...

Да, собирался. Я так полюбил этот лен в пору цветения, что хозяйка обещала взять меня с собой, когда наступит время уборки. Однако мы с консулом поднимались рано, еще до того, как бригадир, ездивший на телеге, постучит в окно рукоятью кнута. И ведь с вечера не было никаких разговоров про лен, а за ночь все перевернулось. Может, конечно, агроном приезжал: тот гоняет на стареньком мотоцикле по деревням, дает всякие распоряжения... Я бросился через огород в поле. Нашел нашу хозяйку, она показала, что надобно делать, и оставила меня. Впрочем, оказываясь неподалеку, каждый раз поправляла мои снопы, говоря: “Ладонки малы — неухватисты. А так — ничего, справляешься”. Обедали мы на бригадирской телеге: женщины угощали друг дружку молоком, хлебом. И меня накормили. А потом опять: правой рукой выдергиваешь, в левую — кладешь...

Домой вернулся без сил. Хозяйка сказала, что заработал я один трудодень. Позвала в кладовку, где у нее стоял мешок с пшеном, и говорит: “Возьми, сколько сможешь”. Зачерпнув ладонями зерно, спрашиваю:

— Это и есть трудодень?

— В наилучшем виде.

— А что с ним делать?

— Ну, иди покорми Пеструшку.

Пеструшка эта была некогда сбита грузовиком, но не насмерть, хотя расстрепало ее обстоятельно. После таких событий курицу ожидала безоговорочная лапша, однако мне удалось защитить Пеструшку, а потом и вылечить. Я прибинтовывал поврежденное крыло, мазью, взятой для моих царапин и ссадин, смазывал ободранные лапы. Наверняка, делалось все это не лучшим и не самым правильным образом, но Пеструшка выздоровела и стала отличать меня от всех прочих людей. Старалась, например, лично мне сообщить, что снесла яичко, и показывала, где оно.

Я вышел во двор, позвал Пеструшку, и она, бросив куриное стадо, прибежала.

— Вот, — говорю, — я тебе трудодень заработал, — и протягиваю ладони.

Пеструшка угостилась. Тут остальные куры подоспели и скорехонько расклевали пшено. За ужином, когда мы ели приготовленные отцом щучьи котлеты, хозяйка сказала:

— С рыбалкой у тебя получается куда лучше, чем с земледелием. Так что, сынок, лови рыбу, а сельское хозяйство оставь другим.

Ей тогда выписали целых одиннадцать трудодней.

СНЕГОПАД

Мы стояли на трамвайной остановке у сквера. Падал снег. Я знал, что этот невысокий человек в очках с толстенными стеклами большой поэт, но стихами его в те времена не интересовался. Впрочем, одно, самое знаменитое стихотворение о войне, в памяти держал.

Волею очень давних, фронтовых обстоятельств, он был дружен с родителями дорогой моему сердцу девушки. И много лет прожил в доме, где жили они. Потом переехал. А сейчас мы стояли перед окнами того самого дома и смотрели, как падает снег. Хлопья мягко ложились на ветви старых деревьев, на узоры чугунной ограды, на рельсы, на асфальт, на головы и плечи прохожих.

— Когда-то давно, — он помолчал, вспоминая, — когда-то давно этот прекрасный снег я уже видел. И самое странное, что видел здесь же — на площади Борьбы.

Подождал трамвай. Поэт не захотел садиться.

— Знаете что, — предложил он вдруг, — идемте-ка лучше пешком — нам ведь недалеко. Жалко оставлять такой снегопад.

Прошли Палиху, потом Лесную. Терзаемый наивными размышлениями о литературе, я, старшеклассник, задавал ему вопросы, которые должны были показаться нелепыми, однако он отвечал. И вот, когда я глубокомысленно изрек, что стихи писать труднее, чем прозу, он покачал головой и сказал неожиданное:

— Поэзия зарегулирована, она зажата рифмой и ритмом. А проза — свободна, в ней — безграничный простор. Если стихотворение, даже самое гениальное, положить на музыку, — выйдет всего лишь одна мелодия, ну, может, с некоторыми вариациями. А в прозе — столько мелодики, столько интонационного разнообразия. Вон Петр Ильич в “Пиковой даме” переложил на музыку несколько страниц пушкинской прозы — потрясающее богатство мелодий! Так что у прозы можно многому поучиться. Я, между прочим, так и делаю: учусь писать у русской прозы — честное слово.

А когда в метро расставались, он сказал, что поминок не любит еще с войны и что бывшие соседи его за этот год сильно сдали — особенно мать.

МИХЕЙ

Первый самолет доставил меня в большой северный город, второй — в старинное село на берегу широкой реки, третий должен был улететь в таежную глушь, но разгулялся шквалистый ветер, и небо закрыли. Местные жители, предполагавшие отправляться кто в большой северный город, кто со мною в деревню, разошлись по домам, остались только два дядьки да я. Мы поднялись на второй этаж бревенчатого сарая, который служил и аэровокзалом, и гостиницей с десятиместным номером, разместились на кроватях и стали ждать достойной погоды. Две пары пилотов устроились против нас и завели негромкий разговор о начальстве, жаловании, запчастях... Дядьки, лежавшие рядом со мной, обсуждали что-то электротехническое — они обеспечили село телефонной связью и теперь возвращались в Москву.

Свет не зажигали, и, когда стемнело за окнами, у нас тоже стало темно. Пилоты переговаривались все реже и реже, дядьки было совсем затихли, пожелав друг другу спокойной ночи, но потом между ними возник разговор, который меня не только заинтересовал, но и встревожил.

Тот, что лежал на соседней койке, задумчиво произнес вполголоса:

— Странное дело эта охота: человек пролетел полторы тысячи километров на двух самолетах, да ему еще на третьем лететь... Спрашивается: ради чего?..

Похоже, он полагал, что все уснули, — вопрос его обращен был словно к самому себе. Однако второй дядька сонно пробормотал:

— Пуще неволи...

— А зачем? Ты понимаешь?

Тот вздохнул, освобождаясь от дремоты, и сказал, что не может объяснить, а вот его старший брат понимает, поскольку отец у них был охотником, и старший брат свидетельствовал эту страсть. А младший не застал — отец рано умер. И рассказал, что у старшего на работе появился парнишка, который в восемнадцать лет купил ружье и, как только наступает охотничий сезон, увольняется: отпуск-то ему еще не положен. А по возвращении брат снова принимает его. Без всяких вопросов: охотник, и этого достаточно. Из уважения к отцовской привязанности, хоть сам нисколько ей не подвержен. Сейчас парнишка снова ушел с работы и отправился куда-то на север, чуть ли не в эти края.

Тут вспыхнула ревность: вдруг неизвестный ровесник опередил меня и занял прекрасные утиные плесы, о которых мне рассказывали студенты-геологи? Но по размышлении признал, что места в тайге нам хватит, а с земляком будет даже повеселее. Разговор завершился, и все уснули.

Утром, когда погода исправилась и нас по громкой связи стали вызывать к самолетам, я услышал знакомую фамилию, отчество и понял, что один из ночных собеседников был братом директора моей типографии, а значит, таинственным парнишкой-охотником оказывался я сам... Тысячи километров тайги раскинулись передо мною, и застоявшийся Ан-2 лихо рванул с земляной полосы сельского аэродрома.

Приземлились на луговине. Летевшие со мной пассажиры знали, куда им следует направляться, и сразу ушли, а я остался перед начальником аэропорта — человеком в куртке-канадке и форменной фуражке “Аэрофлота”. Надо заметить, что разобранный ружье было в рюкзаке и зачехленные стволы лишь ненамного высовывались сбоку от клапана.

— Турист? — поинтересовался начальник.

— Нет, — говорю.

— Геолог?

Опять: “Нет”.

— Журналист?

Я отрицательно помотал головой.

— Что — охотник?

— Охотник.

— Так бы и сказал! — воскликнул он, распахнув руки, словно для объятия.

Я молчал, ожидая, что последует за этим излиянием чувств.

— Тебе надо к Михею, — с ходу определил начальник аэропорта.

Я согласно кивнул.

— Далекое? — спрашиваю.

— Семьдесят пять километров — дня за три дойдешь.

— Дня за три, — прикинул я, — может, и дойду. А куда идти-то?

Оказалось — просто: через деревню, а дальше левым берегом реки, никуда не сворачивая. Хотя куда тут можно было свернуть, я даже впоследствии, прожив на реке месяц, так и не понял — тайга непролазная. Мы попрощались, и я пошел. К Михею. За семьдесят пять километров. Меня в этом предприятии ничто не смущало, и вот почему. В те далекие времена был чрезвычайно распространен самостоятельный туризм: пеший, байдарочный. Мои старшие братья отдавали хождению по стране все свободное время — и меня привадили, так что еще в отрочестве я приобрел опыт таежных походов. Однако ружье заставило разлучиться с пожирателями километров — сезоны не совпадают, да и содержимое рюкзаков различается: туристы берут все, что может понадобиться, а охотники только то, без чего нельзя обойтись. Сейчас у меня не было даже палатки: вместо нее — кусок полиэтилена. Если к стволу старой ели привязать на небольшой высоте веревку, другой конец которой крепится к соседнему дереву, накрыть веревку пленкой, чтобы образовалась двускатная крыша, приткнуть пленку сучками к земле, напихать под кровлю побольше лапника — можно будет переночевать даже в сильный дождь. Особенно благодатно, когда нижние ветви дерева образуют шатер.

Прошел я деревню, во дворе у последней избы мужик мастерит лодку. Увидел меня и спрашивает:

— Куда направляешься?

— К Михею.

Он отложил топор:

— Погоди малость, надо ему сметанки свезти. Да и хлебушка не мешало...

Мужик оказался родственником неведомого Михея, и время пути моего вместо трех суток пешего хода заняло на моторке всего семь часов.

В охотничьей избе прожил я до холодов. По ночам ловили рыбу: хариусов, сига, налимов и щук. Днем я старался добыть дичь для пропитания, а Михей настраивал капканы и ловушки: он был промысловиком — зимой охотился на пушного зверя. Если не везло с дичью, жарили рыбью икру: положишь на горячую сковородку — она сразу белеет, перевернешь на другой бок — через минуту готова.

Шли дожди, и Михей частенько ругал израненную на войне руку, которая отказывалась работать: побранит, побранит — глядишь, она и послушается. Мы с ним задружили... Такой уж народ фронтовики — люди цельные, великодушные — не задружить невозможно. Я их застал еще множество и тем счастлив.

Когда начался ледостав, меня подобрал рыбак, спускавшийся с верховьев реки. Михей выкатил бочку соленой рыбы — мой заработок. Я совершенно не представлял, каким образом везти ее на трех самолетах, и решительно отказался. Тут к Михею присоединился рыбак, и они стали доказывать мне, что забрать трудовую долю — мой беспрекословный долг. И если я откажусь, их представления о добре, справедливости и смысле жизни вообще могут разрушиться. А таежники эти, следует указать, были старообрядцами, то есть порядок ценили неопишимо. Стоговались на двух ведрах — это я хотя бы мог унести в руках. Однако носить не довелось.

Рыбак приволок эмалированные посудины на аэродром, переговорил с начальником, тот пошептался с пилотами, и, когда прилетели в старинное село, пилоты перегрузили ведра на другой самолет. То же случилось и в большом северном городе. А в Шереметьеве рабочий на электрокаре довез мою долю до стоянки такси. Вот какой благодати сподобился я по просьбе Михея: охотник присил — и этого оказалось достаточно. Вообще-то он Клим. Климент. Михей — от фамилии, для своих.

Мы долго переписывались, я посылал ему рыболовные снасти, он мне зимою — замороженных глухарей. Потом я стал ездить в другие края, и пе-

реписка угасла. А теперь... Да что теперь? Прошла целая жизнь с того дня, как мы отпраздновали его сорокалетие.

Но вот что интересно: начальник аэропорта при первой нашей встрече даже не полюбопытствовал, откуда я: охотник и все, этого было достаточно.

НЕЧТО НЕПОПРАВИМОЕ

Год был холерный. Актриса заболела. График съемок пришлось изменить. Отправили телеграммы актерам, находившимся в отпусках. Одно послание почта вернула: “Такого адреса нет”. Режиссер сказал: “Без этого человека фильм не состоится. Надо искать”. Работали мы в Латвии, а искать предполагалось в Литве. Литовские актеры, участвовавшие в съемках, тоже признали адрес явной нелепостью, однако вспомнили, что нужный нам человек отдыхает, как правило, где-то под Каунасом. На уединенном хуторе. Возле озера. Сверх этого земляки ничего не знали. Режиссер спрашивает меня:

— Найдешь?

Это он вовсе не от избытка доверия, а по причине моей малоценности: я был рабочим в съемочной группе, и без меня советский кинематограф вполне мог обойтись.

— Попробую.

— Сколько надобно денег?

— Пятьдесят рублей.

Он сказал, что этого недостаточно, и дал шестьдесят — минимальная по тем временам зарплата. Так платили и мне на съемках.

До Каунаса я добрался легко. На автостанции увидел схему здешних маршрутов — там было нарисовано озеро, но автобусы к нему не ходили, сворачивали куда-то в сторону. Взял билет до этого поворота, протянул кассирше телеграмму с неправильным адресом — она лишь пожала плечами.

Доехали до небольшого селеньица, вышел я на главной площади — куда теперь? Пустынно, и спросить не у кого... Из открытых дверей костела доносилась органная музыка: звучал Бах. Причем инвенцию эту я когда-то играл в музыкальной школе. Но недоставало одной нотки — фа диеза. Заглянул в костел: над входом балкончик, а там, судя по всему, инструмент. Вскоре меня обнаружили, и музыка прекратилась. Исполнитель встал — это был парнишка моего возраста. Он произнес что-то по-литовски. Не понимая, я развел руками.

— Вам — что? — музыкант перешел на русский.

— А где фа диез? — спрашиваю.

— Нет фа диеза, — и вздыхает.

— Без фа диеза нехорошо.

— Плохо, — соглашается он, — может, вместе посмотрим?

Я поднялся по узкой лесенке. В компании мы оказались смелее и разобрали фисгармонию, насколько возможно: один из клапанов был зажат иссохшей мышкой.

— Похоже, — говорю, — костел ваш не сильно богат.

— Да уж куда там...

И рассказал, что учится в консерватории, приехал к родителям на каникулы, заодно хотел подработать, но платят мало. Я в ответ — про себя: где учусь, куда устроился на все лето, сколько платят. Заодно показал злосчастную телеграмму. Парень и говорит:

— Надо спросить у ксендза — он тут все знает, — и ушел.

А я уселся за инструмент, накачал педалями воздух, взял аккорд и замер от восхищения — настолько богат и объемен был звук. Просмотрел ноты — репертуар органиста, разобрал с листа пару несложных вещей, а потом стал играть все, что взбрело в голову. К полной моей неожиданности, особенно впечатляло органное звучание русских песен: скажем, из “Тонкой рябины” получался настоящий хорал. Музыкант принес добрую весть: слово, которым в телеграмме обозначался район, являлось названием конезаво-

да в двадцати километрах отсюда. Слова, именовавшие почтовое отделение и хутор, оставались пока загадкой.

На прощание он сказал:

— Ксендз живет рядом, окошки открыты...

Я ему:

— Прости, друг!

— Да нормально все, не волнуйся. Ему очень понравилась одна песня. Говорит, с детства ее очень любит. Он вообще-то питерский, из русских литовцев. Не наиграешь? Там что-то про столетнее дерево, а какое — забыл...

Стал я перебирать известные мне деревья, пытаюсь найти столетнее, и, в конце концов, оно отыскалось:

— “Липа вековая”?

— Точно! Играй!

Липа, надо сказать, звучала не менее грандиозно, чем рябина. Органист повторил за мной мелодию этой старинной песни, и мы расстались.

Конезавод пришлось искать на попутных. Сначала это был мотороллер, потом — мотоцикл, за ним — колесный трактор конезавода и в конце пути — велосипед, на раме которого мальчишка доставил меня через сосновый бор к потаенному хутору. Я уже знал, что вместо почтового отделения в наш адрес была вписана речка, зато хутор именовался правильно — но кто ж знает его за пределами ближайшей округи?

Жилые и хозяйственные постройки, соединенные черным от времени дощатым забором, образовывали квадрат. Толкнув калитку, я оказался на просторном дворе. Прикинул, где тут вход в жилье, и постучался. Ответа не было. Вошел в дом, спросил:

— Есть кто?

— Да-да, — услышал я хриплый, простуженный голос.

Так началось знакомство с человеком, без которого наш фильм не мог состояться. Тут же он через распахнутое окошко представил меня своей жене: она собирала грибы в тридцати метрах от дома. Потом накопили червей, я получил удочки, лодку и выехал на середину обширного озера, чтобы в совершенно прозрачной воде наловить рыбы. Ужин получился богатым: хозяйка нажарила и подосиновиков, и окуней.

Спросил я про загадочный адрес. Они долго не могли ничего понять, однако сошлись вот на чем: режиссеру попала записка, оставленная приятелем-актеру, который собирался заехать сюда на машине. И в качестве ориентиров были упомянуты конезавод и речка.

— Оказалось, что дело это вполне поправимое, — приветливо сказала жена.

— Как, впрочем, все и всегда, — заключил супруг.

— Нет, — возразила она неожиданно строго, — не всегда: а лишь до тех пор, пока о нас кто-то молится.

С командировкой моей все сложилось удачно, а десять рублей я сберег и возвратил режиссеру. Зимой театр, в котором служил этот актер, был в Москве на гастролях. Мы встретились после спектакля, вспомнили подосиновики, окуней, телеграмму. “Я ведь оставлял им почтовый адрес! Но в кино всегда что-нибудь да напутают, — смеялся он, — впрочем, как говорит моя жена: “дело это вполне поправимое”.

“Пока о нас кто-то молится”, — добавляла она.

Через несколько лет я узнал, что молиться о нем никто не сможет.

ТОРЕАДОР

Мы тогда бродили по мелким речкам, в которых водился хариус. Тверская губерния, триста верст от Москвы, а рыбешка — вполне сибирская. Проводником был местный писатель, изучивший здешние края до такой мелкой степени, что прослыл еще и краеведом. Ночевали в лесу — на лапнике у костра и, конечно, не высыпались. И вот как-то возвращаемся: вышли к

тракту напротив небольшой деревеньки, ждем автобуса. День солнечный, теплый. Приятель мой устроился на скамье под железным навесом, означавшим автобусную остановку, а я рядышком прилег на траву, по-весеннему яркую, совсем еще не запыленную.

— Тебе здоровья не жалко? — спрашивает.

Он старше меня и, конечно, мудрее.

— Жалко, — говорю.

— Земля-то еще холодная.

— Холодная, — но подниматься не хочется.

— Ну, лежи...

И я лежу.

Солнышко греет, гудит шмель, разморило. И тут произошло что-то неразборчиво шумное: я успел приподняться на локте и увидел, как, срывая с петель калитку, в огород крайней избы вламывается огромный розовый бык, а какой-то человек, убегая от него, заскакивает в сооружение известной надобности. Бык не останавливается, и через мгновение дощатая будка взлетает ввысь и рассыпается там, словно от взрыва. Человек, совершив над штакетником подобие мертвой петли, падает на дорогу, но тут же встает и бросается вдоль домов. Вероятно, чтобы отыскать себе более спасительное убежище. Однако преследователь, сотворив разгром, успокоился и побрел восвояси. Я спросил у приятеля, почему он розовый. Оказалось, что на самом деле он бежевый, а солнечное освещение придает ему столь неожиданный колорит.

Происшествие получилось ярким и молниеносным, однако многозначительность его открылась нам только поздней осенью.

В летнюю пору мы этой рыбалкой не занимались: хариус, известное дело, рыба нежная, хранению не поддается. Весной и осенью еще куда ни шло, да и то мы старались как можно скорее отдать улов кому-нибудь в путных селениях, а уж летом, по жаре — безнадежно, пропадет сразу.

Вышло так, что одно из наших осенних путешествий завершилось в той самой деревне. Моросил невесомый дождик, но теперь я, конечно, не лежал на траве, а сидел рядом с приятелем под навесом. Сидим, вспоминаем весенний случай, и тут из-за той же крайней избы появляется все тот же бык. Правда, на сей раз действительно бежевый. И теперь он ни за кем не гонится — его ведет на веревке молодой паренек в плаще. Когда они поравнялись с автобусной остановкой, сам собой возник разговор, и нам открылась трагическая пастораль быка Платошки.

Выяснилось, что человек, убежавший от него весной, работал здесь пастухом и, похоже, был сильно подвержен губельной страсти винопития, из-за чего иногда засыпал в тени под кустом. Тут руководство коровами безраздельно переходило к Платошке, который в поисках более тучных пастбищ мог увести все стадо незнамо куда. Случалось, на поля, засеянные совсем для другого предназначения. Начальство было недовольно таким пастухом, а он в отместку истязал животину: зайдет, бывало, на скотный двор, где быка подвязывали за продетое в ноздри кольцо, и бьет его палкой, приговаривая: “Я тебе устрою корриду!”. Весной это противостояние едва не завершилось бедой — дощатое сооружение выручило. А неделю назад, когда пастух в бессчетный раз превзошел все пределы и уснул под кустом, Платошка растоптал его насмерть. Парень, который оказался подпаском, повис у быка на шею, но воспрепятствовать не сумел, и жизнь сельского тореадора бесславно оборвалась. Платошке за это преступление вынесли скоропалительный приговор — на бойню.

— Все теперь называют его убийцей, — сказал паренек, — а он вообще-то тихий... и умный... и коровы его уважают... Ну, бывайте. Пойдем, Платоша.

Бык, неподвижно мокнувший все время нашего разговора, смиренно шагнул за подпаском. Шел он спокойно, не ведая за собой никакой вины, и покачивал головой в такт шагам, как это принято между всеми его сородичами, ступающими по земле.

ЖЕНСКОЕ СВОЙСТВО

Мы проводили целые дни на моторках в поисках рыбы, а встречались только за обедом и ужином. Обычно они слегка опаздывали, но деликатно, совсем немного.

Первым в кают-компанию заходил глава семейства: коренастый мужчина преклонных лет. Следом — супруга, под стать ему: невысокая, крепенькая, такая же серебристо-седая. За ними — зять, дочка, подруга дочери и, наконец, муж подруги. Все поочередно желали мне приятного аппетита и чинно рассаживались. Старики ели, не поднимая глаз, молча, сосредоточенно. Вилками и ложками действовали в столь единодушном согласии, что последний глоток чая получался у них одновременно. Промокнув губы салфеткой, они вставали и, пожелав остававшимся приятного аппетита или спокойной ночи, уходили в каюту.

У зятя то и дело звонил телефон, и начинался интереснейший разговор о тонкостях исполнения фортепианных пьес Гуммеля, Франка, Герольда, Филда и еще каких-то композиторов, о которых я прежде слыхом не слыхивала. Добиваясь нужной нюансировки, зять напевал отдельные музыкальные фразы, повторяя их неоднократно. Похоже, он был преподавателем серьезного заведения. Третий мужчина был тих, молчалив и малозаметен. Зато подружки болтали безостановочно.

Их разговоры позволили мне предположить, что вся компания, за исключением, пожалуй, музыканта, знакома по жизни в каком-то закрытом городе. Несколько лет назад отец — человек явно авторитетный — переехал с семьей в Москву, где дочь его вышла замуж. Подружка оставалась на прежнем месте, а ее благоверный занимался там же чем-то компьютерным. И вот они съехались, чтобы отдохнуть в дельте Волги на маленьком теплоходе, переделанном из речного трамвайчика: теперь в нем были каюты. И новообращенная москвичка без устали выясняла про общих знакомых:

— А Танька Романова как?

— Нормально. Муж — компьютерщик, двое детей.

— А Милка Девяткина?

— Ходит к ней пожилой мужичок...

— Постоянный?

— Даже не знаю. Вот Катька Сухощкая мается: то один, то другой, то третий — и все без толку, не везет. И девка красивая...

— Не расплнела?

— Пока в форме — сорок шестой размер.

Беседы эти текли и текли за каждой трапезой: “А Нинка?.. А Лариска?.. А Райка?..”.

Иногда воспоминания усложнялись:

— А эту помнишь: до седьмого училась у нас, а потом перешла в другую школу? Забыла, как ее...

— У которой в первом классе был голубой бант?

— Не голубой — бирюзовый.

— Ну, бирюзовый, в крупную клетку, да?.. Любаша Тихонова. По мужу Пенькова. Развелась — пил страшно. Теперь одна сынишку воспитывает.

Однажды жена музыканта стала рассказывать, как они ездили в Австрию слушать разных замечательных исполнителей.

— А ностальгией ты не страдала? — поинтересовалась подруга.

И тут впервые к разговору присоединился отец семейства:

— Ностальгия, барышни, это мужское свойство, — сказал он, не поднимая глаз от рыбной котлеты.

— А наше — что? — спросила дочка с детской кокетливостью.

— Ваше — замуж.

— И все?

— Замуж, замуж и замуж, иначе вы как собачонки бесхозные.

— А рожать детей? — присоединилась подруга.

— Дело хорошее, но сперва — замуж.

— Некоторые женщины утверждают, что и без мужей им вполне комфортно, — продолжила подруга.

— Врут или нездоровы.

Жена его никак не реагировала на происходящее — даже бровью не повела. Закончив ужин, по обычаю, одновременно, они пожелали всем доброй ночи и, не поднимая взоров, ушли.

Капитан теплохода был моим давнишним приятелем — я знал его еще молодым, когда он ходил на “Ракете” с подводными крыльями. Поинтересовался у него насчет компании.

— Папаша-то академик, — сказал капитан, — по атомной части. Он в здешние края много лет ездит — наши мужики его знают. Говорят, раньше останавливался только на брежневской базе и рыбачил с охранником, а теперь ученые эти никому не нужны.

— А что, — спрашиваю, — он такой замкнутый, а жена его вообще молчит?

— Старая закалка — привыкли к секретной жизни. А по мне — компания замечательная: не напиваются, не хулиганят, с теплохода не прыгают. Я же обещал тебе, что люди будут приличные!.. Насчет рыбалки, конечно, не все... Академик, понятное дело, профессионал. Жена не ловит, но постоянно при нем: у него хворей без счета, а она врач, следит за ним неотрывно. Если ей что не понравится, сразу ему какую-нибудь таблеточку или укол. А когда он чего-нибудь выловит, она радуется, как дитя. Пятьдесят лет вместе, представляешь? Он баб по кочкам несет — дым коромыслом, а ее — ни-ни, даже голоса никогда не повысит. Зятек — тот рыбачит неплохо, с увлечением, хоть и блажит в телефон. Дочка тоже умеет — отец еще с малолетства ее пристрастил. А третья пара совсем никудышная. Мужик съездил разок — не понравилось, теперь сидит безвылазно у компьютера. Жена ругается: ей этот компьютер и дома уже опротивел, хочет рыбу ловить. Может, захватишь ее с собой?.. Спиннинг у них какой-то есть — пусть кидает. А она тебе будет леску в поводки продевать — ты же, поди, не видишь. Завтра утречком порыбачите, лодки пришвартуем и спустимся километров на пять пониже — где-то ведь должен быть судачок.

Оставшиеся до конца недели дни женщина путешествовала со мною. Выловленная рыба, что большая, что маленькая, приводила ее в состояние такого восторга, какого я за долгую жизнь не встречал. Иногда я даже отклонялся удильнице, потому как наблюдать за проявлением столь значительных чувств было куда притягательнее, чем таскать жерехов и окуней. Однажды она, словно рассуждая сама с собой, обронила:

— А вообще академик прав: нам главное — замуж, и почти все равно, за кого.

Помолчав, добавила:

— Я вон выскочила и страдаю теперь: мы друг другу совсем чужие. Но двое детей, и маяться так до самой смерти.

Мне казалось, что брак подруги ее более гармоничен, и я сказал ей об этом.

— Да что вы, — махнула рукой, — муж помешан на классике, а она классику на дух не переносит — ей джаз или рок подавай. Но первое время, чтобы охмурить, ходила с ним на концерты, хотя и плевалась потом. Ну, выскочила. И до сих пор плюется, хотя на концерты уже не ходит.

— А родители? — спросил я.

— Это другое дело. Я ведь их с детства знаю, и они всю жизнь как единое существо. Хотя характеры непростые. Что-то в людях теперь поменялось. Я как-то спросила, и академик ответил, что поменялось совсем немного. “Раньше, — говорит, — пели: “Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви”, а теперь поют: “от твоей”, вот и вся разница”.

Когда рыболовный тур закончился, теплоход возвратил нас в городскую действительность. Пройдя регистрацию, мы ждали посадки на самолет. Музыкант, стоя у окна, не отрываясь от мобильного телефона, напевая время от времени обрывки мелодий. Красивых мелодий, а значит, девятнадцатого столетия. Или восемнадцатого. Компьютерщик сидел с ноутбуком на коленях и напряженно гляделся в экран. Родители были, как всегда, рядышком и не поднимали задумчивых глаз. А подруги все щебетали, слышалось только: “Постоянный?.. Разведен?.. Часто встречаются?..”.

ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ



УСПЕНИЕ

ПРОВОДЫ

Городок в три квартала, по торбе на каждом горбу,
чем-то с путником схож, натрудившим в скитаниях ноги,
что, в село на закате войдя, постучался в избу
и стоит на пороге...

И осенней листвы набивается полный карман,
и ложится туман от реки до ближайшей заставы...
Отбывает состав. Приближаются дни ледостава.
Ты глядишь на часы. Я листаю затёртый роман.

Здесь костры полыхают, здесь пригород охрист и ал.
Возникая вдали, станционный гудок-пересмешник,
как беспамятства сон, настигает и бьёт наповал,
и последний обходчик здесь ладит последний скворечник.
Здесь босяк-сухоей по окраинам пегим бежит
и, срывая бельё, за околицу волоком тащит.
Здесь, врезаясь нахрапом в соломенные рубежи,
полуночный экспресс воспалённые бельма тарашит.

Захолустьем зовутся тот выезд и эта гряда
городских тополей, отороченных ряской заката...

КИРИЛЛОВ Илья Николаевич родился в 1981 году в Оренбурге, окончил Оренбургский педуниверситет. Публиковался в местной периодике, в журнале "Москва", в антологии Оренбургского областного литературного объединения имени В. И. Даля "Внуки вещего Бояна" и др. Лауреат Всероссийской Пушкинской премии "Капитанская дочка" во второй номинации (1999), премии альманаха "Гостинный двор" для молодых поэтов "Чаша бытия" (2013). Живёт в Оренбурге.

Не прощайся, не смей! — нам одна и звезда, и беда
в этих парках пустых, нас с тобой приютивших когда-то.
Не прощайся, не лги! Нам от рода на тёмном роду
чьей-то волей дурной предначертано стать у дороги,
на исходе времён задыхаясь в тоске и бреду
и встречая в лицо похоронные чёрные дроги.

Не стремленьем твоим, но свинцовым томленьем моим
обретает округа подобие лика и взора.
Лишь ступи за порог — и на веки опустится дым,
и качнётся у ног крестовидная тень семафора.
Что там зреет в тумане? Что тлеет? Дорожной сумой
сиротливое сердце под ношей своей тяжелеет
и, лелея обиду, свой ход оборвать не умеет,
и немеют уста, что разомкнуты страстью самой...

Как репей на пути, обречённый принять без остатка
всё, что гневный чугунок выговаривает по слогам,
я стою на перроне. Один. Объявляют посадку.
Затопив окоём, подбирается полночь к ногам.
Так гляди же, сверчок, приживальщик, нахлебник, иуда,
как темнеет ограды узор остывающий и
за вагоном вагон исчезает во мраке, покуда
жизнь теряет разбег и ложится на плечи твои.

Август 2008

КНЯЗЬ ГЛЕБ

*Не ходи, брат! Отец твой
умер, а брат твой убит...
“Сказание о Борисе и Глебе”*

...У того оврага ветер травы косит,
сух простор бесхозный и бездомен путь.
Здесь никто не встретит, ни о чём не спросит,
только стрепет крикнет и не даст уснуть.

Что им сердце, что им
пламенный осколок,
у престола мира незрелый плод!
Каково вам слушать ночи напролёт
ветер от Смядины?..
Тёмен лог и долог.
Чуть мерцают звёзды сквозь туманный полог.
Сладко ль спится, княже, меж гнилых колод?..

И рассвет по-лисьи проступает в небе.
— Горе мне, Борисе!
— Горе, горе, Глебе!
К Муромской заставе поспешает вестник.
— Горе, Ярослав!

— Горе, горе, крестник!
Направляясь к месту, натяни поводья:
днесь твои убийцы режут сыр и хлеб.
И, необозримый, точно половодье,
зной в степи осенней вырос и окреп.

Задержись, помедли на речном пороге:
днесь крамола рыщет, из родимых мест
пламень погребальный в раскалённом роге,
как дурное семя, разнося окрест.

Сгинь же, затеряйся в гибельных просторах.
Клевер да гречиха твой укроют путь.

Стрепетиных крыльев неотвязный шорох
мне ночами, брат мой, не даёт уснуть.

УСПЕНИЕ

Скорой осенью веет.
Деревенский народ
на Успенье говеет,
лишку в рот не берёт.
Проку пить, если вялый,
неустроенный вид
не язвит, как бывало,
но, как прежде, трезвит?

Сквозь сады-огороды
выйди в голую степь,
где ветра-нищоброды
рады в дудку свистеть,
где и дуб не напрасно,
если днесь не зачах,
подымает пространство
на могучих плечах.

Вновь полны буераки
лебедою на треть,
что дрожит в полумраке
так, что больно смотреть.
Приглядишься и послушай:
как дымок по золе,
бродят тёмные души
по вечерней земле.

Им позволено было
за последней чертой
бурый цвет чернобыла
заплетать с чередой;
города и деревни
обходя стороной,
слушать ветер над древней,
над осенней страной.

Дай же, сердце, взглядеться,
перед тем как уйти,
в край, где резвое детство
воду пьёт из горсти,
где нечаянный вечер
беспечален и мглист
и для памяти вечен
каждый сброшенный лист.

О, куда же нам деться,
если крылья простёр
этот вяжущий сердце
горемычный простор,
этот тракт нелюдимый
так разумно молчит,
этот воздух сладимый
так полынью горчит!

ИЗ “ГРОЗНЕНСКОЙ ТЕТРАДИ”

Так, должно быть, едут на войну:
сеет дождь, и лязгают колёса,
тяжкий гул чугунного колосса
над рябой и чёрной гладью плёса
гонит эха встречную волну.

В заливных лугах, как в старину,
ряд за рядом клонятся колосья.
Как со дна глубокого колодца,
из окна зриаешь на страну.

...Я, должно быть, чувствую вину,
я, должно быть, с совестью в раздоре,
раз на жёлтом глиняном просторе
сеет дождь, куда я ни взгляну.

Нам скорбеть, должно быть, не с руки —
все падём: вы — в том, мы — в этом веке,
но невольно вздрагивают веки,
лишь повеет холодом с реки.

Нам ведь тоже боязно в окно
бросить взгляд и выглянуть наружу:
чёрным дымом мир заволокло,
рвётся дней льняное волокно.
Нас ведь тоже призовут к оружию
и мобилизуют на войну...

Я, должно быть, чувствую вину.
Я, должно быть, чувствую вину...

* * *

Сжигают листву по предместьям;
натянут канатом витым,
каким-то неясным предвестьем
возносится к облаку дым.

Ваш ровня по слову и делу,
по взору и духу — родня,
в родные до дрожи пределы
вступаю, как в область огня.

Объятый мучительным жаром,
минуя ряды бочагов,
как по пламенеющим мшарам,
вдоль зыбких иду берегов.

Не глину в печах обжигают,
не жгуче цветёт сухоцвет —
то, Родина, путник шагает
на твой очистительный свет.

И Родина всеми тылами
тому, кто охвачен в кольцо,
сквозь пепел и жёлтое пламя
вдруг пристально смотрит в лицо.

— Скитаясь по чуждым пределам
в сиянии чуждого дня,
о, сыне мой, словом ли, делом
ты не отступил от меня?

— Встречавшимся разным пройдохам
о разном далёком трубя,
о матерь, ни взором, ни вздохом
я не отступил от тебя!

И вновь на разбитой дороге,
подобный приبلудному псу,
свои вековые ожоги,
как знак благородства, несую.

МАРС АХМЕТШИН



ЧЕТВЁРТЫЙ СТОЛ

ПОВЕСТЬ

Рамазан Галиевич Тимерханов работает в Союзе писателей в должности литературного консультанта. Сегодня он уходит домой с работы не в лучшем настроении. Ещё бы! Через месяц писателю Гали Курманаю исполняется семьдесят, а тут, как говорится, “конь ещё не валялся” — подготовка к юбилею фактически даже не начиналась. “Нет спонсоров”, — оправдывается сам Гали-агай. Да только Рамазану Галиевичу от этого ничуть не легче. Если что не так, спрашивать будут с него. А он должен был — что уж там говорить! — подуетиться раньше. Юбилейный вечер запланировали ещё в прошлом году и предварительно договорились провести его в Доме актёра.

Планировать-то можно что угодно. Но попробуй-ка осуществить задуманное! Взять хотя бы проблему с буклетами, пригласительными билетами и афишами. Этот вопрос висит пока в воздухе, ибо всё упирается, как водится, в финансы.

Согласно постановлению правительства, средства для проведения торжественных мероприятий выделяются заслуженным людям не к каждому юбилею, а на пятидесятилетие, на семьдесят пять или сто лет. Во всех остальных случаях о финансировании приходится заботиться самим юбилярам. Если у них, конечно, есть желание отмечать крутую дату с размахом. Что касается Гали Курманая, то своё мнение он высказал сразу, наотрез отказавшись от официальных торжеств.

АХМЕТШИН Марс Аглиуллович родился в 1948 году в деревне Сафарово Миякинского района Башкирии. Окончил Башгосуниверситет. Работал в газетах, был главным редактором Госкомитета БАССР по радиовещанию и телевидению. С 1991 года возглавляет Башкирское отделение Литературного фонда России. Автор многих книг. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живет в Уфе.

Всё так, но только члены правления Союза писателей отказ его не приняли. Они настояли на своём и были, в принципе, правы. Ведь, как ни крути, Гали Курманай — личность известная. Он из тех прозаиков, чьи книги никогда не залёживаются на книжных прилавках. И несмотря на то, что как писатель Гали-агай не особенно плодовит, авторитет его в литературном мире достаточно высок. При этом держится он весьма скромно. Иной раз — даже чересчур. Приходя на собрания, например, старается сесть подальше, на трибуну не лезет и на общих снимках всякий раз оказывается где-то на заднем плане. А когда понадобились фотографии для юбилейного буклета, наскрёб всего лишь парочку. Это уже просто какая-то патология! За семь десятков лет можно было, наверное, набрать снимков не на один альбом...

Рамазан Галиевич вошёл в подъезд, поднялся к своей квартире и, не переставая досадовать на старшего коллегу, резко нажал на звонок. Он подождал немного, нажал во второй раз, но никто ему так и не открыл. Пришлось извлекать из кармана ключ и самому отпирать дверь. Записку на тумбочке в прихожей он заметил лишь после того, как разулся. “Рамазан, мы с Лейлой пошли по магазинам искать мне туфли. Суп в холодильнике. Разогрей сам. Аклима”, — написала жена.

Эта записка оказалась каплей, переполнившей чашу его терпения. Она привела Рамазана Галиевича в ярость. “Ох, уж эта Лейла!” — в сердцах проговорил он сквозь зубы, сетуя на дочь. Вечная история: ей ничего не стоит подбить мать на какую-нибудь авантюру вроде похода по магазинам, в театр или на концерт. Улизнут вот так, с бухты-баракты, без всякого предупреждения. Хоть бы об этом подумали, что ли, — каково ему после работы томиться в одиночестве несколько часов!

Рамазан Галиевич, недолго думая, направился к выходу. А зачем ему, собственно, сидеть дома и терпеливо дожидаться их прихода! Он знает, как развеять тоску-печаль. Стоит только перейти дорогу, и ты уже в “Уньше”, где всегда найдётся добрая кружка пива.

В это кафе Рамазан Галиевич захаживает регулярно — раз-другой в месяц. Как всегдадата его здесь хорошо знают. Вот и сегодня, едва он расположился за одним из столиков, подоспела официантка Азалия.

— Здравствуйте, Рамазан-агай! — приветливо улыбнулась молодая женщина, блеснув жемчужными зубами. — Вы уж меня извините, но эти столы мы сейчас будем готовить для банкета. Придётся вам пересесть в другое место... Видите четвёртый стол у стены?

— Ладно, ладно, сейчас пересяду, — сразу же согласился он и спросил: — Как поживаешь, Азалия?

— Спасибо, пока нормально. Ничего нового. Работаю. Всё так же спую без конца туда-сюда: из кухни — в зал, из зала — на кухню... — устало произнесла официантка и поинтересовалась: — Сами-то как?

— Тоже всё по-старому. Хожу, как заведённый: утром — на работу, вечером — с работы. Решил вот к вам наведаться...

— Вот и ладно, я сейчас всё принесу — и ваше любимое пиво, и рыбку. А вы пока устраивайтесь за тем столиком, — быстро проговорила официантка и, грациозно покачивая стройной фигуркой, удалилась на кухню.

Тем временем Рамазан Галиевич перебрался за четвёртый стол возле стены.

Азалия не заставила себя долго ждать.

Выпив залпом чуть ли не половину кружки, Тимерханов отправил в рот ломтик копчёной рыбки, начал жевать и вдруг снова вспомнил о Гали Курманаяе. Только на этот раз ветеран недолго владел его мыслями.

— Разрешите пристроиться? — раздался вдруг рядом мужской голос. Рамазан Галиевич встрепенулся и поднял взгляд на незнакомого мужчину:

— Пожалуйста.

Тот пояснил, усаживаясь напротив Тимерханова:

— В зале столько свободных столов, а мне почему-то указали именно этот. Я вам не помешаю?

— Ну, что вы! Конечно, нет.

Мужчина осторожно поставил пиво на стол. Взяв из солонки щепотку соли, он посыпал её на край кружки и сделал несколько неспешных глотков.

На вид ему было лет семьдесят. Среднего роста. Волосы редкие, седые. На лбу, вокруг глаз и губ — глубокие борозды морщин. Выцветшие брови. В карих глазах — печаль. Лицо аккуратно выбрито. Одет опрятно. Чистая синяя рубашка, хотя и немного вылиняла, тщательно отутюжена.

Отпив пива, незнакомец причмокнул от удовольствия.

— До чего же мне нравится разливное пиво. Сегодня оно особенно вкусное, холодненькое. Сразу чувствуется — свежее. Не зря его *живым* называют. Баночное или в бутылках я не признаю. Чёрт знает, что туда наливают. И потом, чаще всего такое пиво оказывается просроченным. — Рассуждая таким образом, мужчина снова обсыпал солью край кружки.

Какое-то время Рамазан Галиевич пребывал в замешательстве, не зная, как реагировать на его слова.

— Вы верно подметили, *живое* пиво с баночным не сравнишь. И вправду, вкусное и холодное, — решил он, наконец, поддержать разговор, а сам подумал с удовлетворением: “Вот и хорошо, хоть есть с кем поболтать”.

— Знаете, по-моему, я вас здесь и раньше видел. Лицо вроде бы знакомое, — сказал, пристально глядяваясь в Рамазана, незнакомец. — По-моему, мы с вами даже сиживали за одним столом.

— Всё может быть.

— А меня вы не помните?

— Нет.

— Ну, что ж, тогда давайте знакомиться. Меня зовут Мустафа, Мустафа Усманович Каримов.

— А я — Рамазан... Рамазан Галиевич Тимерханов.

Они пожалы друг другу руки.

— Вы часто бываете в “Уньше”? — спросил Мустафа и в ожидании ответа взялся за кружку.

— Да как сказать... Летом, в такую вот жару, частенько после работы заглядываю. Зимой — редко. А вы?

— Каждый раз, когда на рынок приезжаю. Сам-то я в Нижегородке живу.

— Вон как, — сказал Рамазан Галиевич, после чего сделал несколько глотков и, поддев вилкой очередной ломтик копчёной рыбы, отправил его в рот.

Так, слово за слово, мужчины разговорились. Обсудив растущие цены, сошлись на том, что инфляцию уже ничем теперь не остановишь. Потом переклочились на другие глобальные проблемы. Когда же наступила заминка, Рамазан Галиевич полубонытствовал:

— А где вы работаете, Мустафа Усманович, если не секрет?

— Нигде.

— На пенсии, что ли?

— Да нет...

Тимерханов растерялся. Почему не на пенсии? Ему же где-то уже под семьдесят.

— А сколько вам лет? — спросил он.

— Пятьдесят.

Ну и дела! Не может быть. Шутит, наверное... Но, судя по всему, ему не до шуток.

— Сами-то вы, Рамазан Галиевич, где работаете? — поинтересовался Мустафа.

— В Союзе писателей. Я литературный консультант.

— Вы что, писатель?

— Да так, пишу понемножку.

— И книги у вас есть?

— Есть.

— Надо же, с кем свела судьба! Сижу за одним столом с живым писателем. Просто не верится! — В волнении Мустафа схватился за кружку. — Придётся тогда познакомиться с вами поближе.

Размякший было от удовольствия Рамазан Галиевич насторожился.

— Так ведь мы с вами вроде бы уже познакомились. Вы — Мустафа, я — Рамазан.

— А я говорю про настоящее знакомство.

— Так вы хотите, чтобы я рассказал вам про семью, про родню и дал свой адрес? — с озабоченным видом произнёс Рамазан Галиевич.

— Нет, что вы. Вы меня не так поняли, — усмехнулся Мустафа. — Как раз наоборот — я сам могу рассказать вам о себе, о своём прошлом. — Он откинул назад волосы. — Потому что вы писатель.

— Ну, да, писатель. И что из этого следует? — продолжал недоумевать Тимерханов.

— Кто знает, может быть, вас заинтересует моя судьба, и вы возьмётесь написать обо мне. Скажем, в газету или ещё куда.

— Вы, что, герой труда или ветеран-афганец?

— Не то и не другое.

— А кто же вы тогда?

— Бывший зек, — глядя в сторону, с грустной усмешкой промолвил Мустафа. — Я несколько раз сидел.

— Что-о?! — чуть не задохнулся от неожиданности Рамазан Галиевич. Но он быстро взял себя в руки и осведомился: — За что сидели-то?

— Сажали, вот и сидел. В первый раз — за дело. А потом — без всякой вины. Если у вас есть время, я мог бы рассказать обо всём по порядку. — Мустафа глотнул пива. — Давно хотел душу кому-нибудь излить. И, считаю, мне просто повезло, что вы писатель.

Рамазан Галиевич приготовился слушать. В кафе было немногочисленно. До начала банкета оставалось ещё время. За столиками возле стены сидели мужчины, где по двое, а где — втроем, и, пошивая пиво, мирно беседовали. Азалия и другие официантки ворковали о чём-то с барменом.

Мустафа сделал ещё несколько глотков и начал свой рассказ.

— Так вот. Родился я, значит, в деревне. У отца и матери нас было трое. И все — сыновья. Самый младший — я. Старшие братья были близнецами. Окончив в деревне восьмилетку, оба уехали в Уфу, поступили в профтехучилище. Решили выучиться на каменщиков. Жили в общежитии, домой приезжали каждую неделю. Тогда через нашу деревню часто ходили уфимские автобусы и грузовики. Братья помогали родителям по хозяйству. Старики много хворали. Мать всю жизнь высоким давлением мучилась. Отец страдал от сахарного диабета. Потом ему даже инвалидность дали. Тяжести нельзя было поднимать. Из еды мало что можно было. Я — ещё маленький. Так что братьям моим доставалось. Они и дрова, и сено заготовливали, и навоз из-под скотины выгребали. Место у нас не лесное. Оттого печь топить приходилось чем попало, в основном же — ивовыми ветками. В любую погоду запрягали лошадь в телегу или сани и тащились к ивиюку. Жили очень бедно, еле концы с концами сводили. У матери не было никакой специальности. Она нигде не работала. А отец чуть ли не задарма трудился там, куда посылал его колхозный бригадир и где полегче было.

Когда я заканчивал седьмой класс, в семье нашей случилась страшная беда. Однажды мои братья, возвращаясь на выходные домой на грузовике, попали в аварию. Погибли оба. Мать не выдержала страшного удара, слегла да так и не оправилась — скончалась примерно через месяц после случившегося в райбольнице.

И остались мы с отцом вдвоём. Жить стало ещё труднее. Бывало, остановит меня кто-нибудь из односельчан на улице, хлопает по спине и приговаривает: “Ай-хай, каково теперь будет Усману. Такое горе, а сам инвалид. Ладно, хоть ты, Мустафа, подрасти успел, для работы годишься”. И я поневоле почувствовал себя взрослым, хоть и перешёл всего лишь в восьмой класс. Почти вся работа по дому легла на мои плечи. Мне ещё повезло, что рядом всегда был мой друг Раис. Он жил по соседству и старался помогать, когда мне приходилось выполнять какую-нибудь тяжёлую работу. Раис заглядывал к нам постоянно, по несколько раз на дню. Мы выросли вместе. У нас с ним был даже свой “телефон”. Протянули мы между крышами наших сараев катушечную нитку, концы пропустили в спичечные коробки. В условленный час он поднимался на крышу своего сарая, я — своего, каждый прикладывал к уху спичечный коробок, и мы начинали разговаривать: “Алло, алло!..” Слышимость была нормальной.

В год, когда у нас в семье случилась трагедия, решил я во время летних каникул подзаработать — нанялся пастухом пасти колхозных телят. По правде говоря, на эту работу “назначили” моего отца, но пасти должен был я. Этой новостью я поспешил поделиться с Раисом, но он опередил меня, сказав: “Можешь ничего не говорить. Я всё знаю, мы ведь вместе будем работать...” “Как так?” — удивился я. “Когда Усман-агай сообщил моему отцу, что тебя на лето берут на работу, тот сразу же пошёл к председателю колхоза и потребовал: оказывается, вам нужны два пастуха. Давай оформляй и моего сына, нечего ему в каникулы прохлаждаться, воздух пинать. Пускай ребята вдвоём поработают”. Ты же знаешь, у моего отца тоже нет постоянной работы”.

От радости я схватил друга в охапку. Это же здорово — всё лето мы проведём вместе! Вот так и началась наша трудовая биография — с работы пастухами!

Ферма находилась в восьми километрах от деревни. Хотя — какая это была ферма! Слишком громко сказано. Деревянная избушка да загон для скота. Рядом протекала речка. Берег на той стороне — плоский, дальше — взгорье, а у подножия — березняки да осинники. Мы должны были пасти там телят, потом гнать их несколько километров на водопой.

Поначалу работа казалась нам лёгкой, но очень быстро приелась. Мы проводили все дни на пастбище до самого начала учебного года. Обезжжали стадо на лошадях. Выгоняли телят на заре, почти двести голов. Водим по пастбищу среди деревьев, а часов в одиннадцать идём к речке. Трава там сочная. Телята быстро насыщаются и не торопятся уходить с берега. Пока они отдыхают, мы перекусываем. Паёк — так себе: чай с сахаром из бутылки, хлеб, яйца да зелёный лук. Мясо нам редко когда попадало. Да и откуда возьмёшь, если нет лишней скотины — коз или овец. Лишь изредка отцы привозили нам сметану, масло, курятину. Хорошо ещё, что была ягодная пора. Земляники и ежевики ели мы до отвала. Только ведь одними ягодами сыт не будешь. От недоедания похудели. Попробуй-ка целые дни напролёт скакать верхом! Молодняк-то резвый. Это тебе не медлительные, грузные коровы. Иной раз разыграются, совсем как ребятки: прыгают, бодаются и брыкаются. А некоторые, когда оводы одолевают или жара, убегают, так что приходится за ними гоняться и кнутом возвращать обратно в стадо. От крика даже голос садился. А иногда, бывало, и запоешь с тоски хриплым голосом. В дождливые дни было особенно мутрно. Мы мокли и мёрзли. Но даже тогда не уходили с пастбища, так как нам нужен был привес, за который доплачивали. В неделю раз навевывались из колхоза для проверки. Взвешивали каждого бычка и постоянно хвалили нас. Еще бы, за сутки некоторые телята набирали по целому кило, а то и по полтора.

Когда нас навещали, мы радовались, так как говорить нам с Раисом было уже не о чем. Иногда мы с ним даже без чая обходились. Ложась спать, заводили будильник. Без него никак нельзя. Разоспимся, а вставать надо чуть свет. Бывало, так замотаемся, что засыпали прямо верхом. Иногда даже с лошади падали. И решили мы тогда спать по очереди. Устраивались где-нибудь в тенёчке на траве. О бане не могло быть и речи. Какая уж там баня! Намылимся хозяйственным мылом, ополоснёмся в речке — и всё. Одежду на смену отцы привозили. А когда волосы у нас отрастали, они же их подрезали ножницами.

Два с половиной месяца провели мы на колхозном пастбище. Конечно, было тяжело, что уж там говорить. Наши ровесники тем временем всю отдыхали, купались, загорали, ловили рыбу, развлекались. Некоторые даже ездили в город к родственникам. Мы с Раисом, конечно, немножко им завидовали, но при этом нисколько не унывали и были даже довольны, ведь наши отцы благодаря нам раза три или четыре получали в колхозной кассе деньги — довольно-таки приличную сумму. Нашего заработка хватило на обе семьи. Приделеси немного. И с харчами получше стало. Вместо постной затирухи ели иногда суп с кусочками мяса и вермишелью. Кроме ржаного хлеба стал у нас появляться и белый. Позволяли себе сахар и даже конфеты. В начале лета отцу прибавили пенсию по инвалидности. И, вдобавок ко всему, он и сам начал участвовать в разных колхозных работах.

На всю жизнь мне запомнился первый учебный день в школе. Он стал для нас настоящим праздником. На торжественную линейку пришёл председатель колхоза. В своем выступлении он перечислил учеников, которые помогали летом колхозу. Особо отметили нас с Раисом. Мы получили от начальства часы в подарок, а директор школы вручил нам похвальные грамоты.

Как же мы гордились собой в тот день! Но самым приятным и важным для меня стало повышенное внимание со стороны моей одноклассницы Гульсии. Когда вручали часы, она не сводила с меня глаз, всё время улыбалась и сильнее всех хлопала в ладоши. Было видно, что искренне за меня радуется. Я был просто на седьмом небе от счастья.

В нашем классе были, конечно, девочки красивее её. Но лично я никого, кроме Гульсии, не замечал. Она казалась мне самой милой и обаятельной. Брови у неё были не очень густые, но красиво очерчены. Мне нравилось в ней всё: и толстые косы, и вишнёво-алые губы, стройная фигура и высокая, развитая не по годам грудь. Среди девчонок она была самой активной. Успеваемость — так себе, ниже среднего, зато в общественных делах — заводила. Любила спорт. Во время соревнований по бегу или по лыжам никому не уступала первенства. Да и в самодеятельности была настоящей звездой. Сцену Гульсия обожала. Хорошо пела и плясала. А когда ставились спектакли, все главные женские роли доставались ей. Бойкая, отчаянная, за словом в карман не лезет. Язычок — что бритва. Одним словечком любого разила наповал. Наверное, поэтому даже самые смелые и решительные ребята не смели к ней приблизиться, хотя и поглядывали в её сторону.

А ведь в школе были парочки, которые обменивались письмами и записочками, дарили друг другу всякие штучки вроде вышитых платочков, а то и встречались тайком по вечерам. В седьмом классе я тоже порывался несколько раз отправить Гульсие письмо, но так и не решился. Боялся, что откажет мне, развонит о моей любви подружкам, засмеёт, осрамит перед всеми. Такое у нас случалось...

— Я, между прочим, тоже в седьмом-восьмом классе вздыхал по одной девчонке. Первая любовь... — решил вставить слово внимательно слушавший Мустафу Рамазан Галиевич. — Только она была постарше и училась на класс выше. Наверное, поэтому мне и в голову не приходило признаться ей в своих чувствах. Школу она закончила, естественно, годом раньше и сразу же уехала куда-то. Пути наши разошлись в разные стороны и навсегда. На то она и детская любовь.

— А у меня, Рамазан Галиевич, всё по-другому вышло, — покачал головой Мустафа и продолжил: — Как-то в середине зимы родители нашей одноклассницы Салимы уехали в другой аул к родственникам на свадьбу. И вечером того же дня мы собрались у них дома на аулак. Гульсия тоже пришла. О том, чем мы там занимались, рассказывать не буду. Вы и сами прекрасно знаете, как проходят такие посиделки.

— Ещё бы, я ведь тоже вырос в деревне, — подтвердил, улыбнувшись, Тимерханов.

— Так вот, когда вечеринка кончилась, я решил проводить Гульсию. И когда ближе к полуночи все стали расходиться, увязался за ней. Сам удивляюсь, как у меня на это духу хватило. Как сейчас помню, о чём тогда думал: “Если я сегодня этого не сделаю, то уже никогда не смогу. Или сейчас или никогда!..” И что вы думаете? Всё вышло как надо. Когда мы вместе выходили, Гульсия, смеясь, спросила: “Неужто ты хочешь проводить меня, Мустафа? Вот здорово!” Я вначале остолбенел, не знал, как расценить её слова. То ли издевается, то ли на самом деле согласна. И только после того, как она сказала: “Раз уж такое дело, пошли вместе”, — я облегчённо вздохнул и зашагал рядом с ней.

Под ногами поскрипывал снег. На улице было безветренно, тихо. Небо — тёмное-претёмное, а из-за снега казалось, будто всё вокруг освещено лунным светом. Романтика, да и только! Мы молча брели вдоль забора. И вдруг Гульсия хватала меня под руку. “Раз уж вызвался провожать, чего молчишь, будто язык проглотил? Скажи что-нибудь”, — усмехнулась она. Я же, как будто только этого и ждал, взял да брякнул, будь что будет:

“Я тебя люблю”. Гульсия резко остановилась, выдернула свою руку и уставилась на меня. Она хотела что-то сказать, но передумала и пошла дальше. Я с дрожащими коленками поплёлся за ней. Какое-то время мы оба молчали. И мне эти несколько минут показались целой вечностью. “Всё кончено, Мустафа. Поворачивай назад. Она тебя не любит”, — только успел подумать я, как Гульсия вдруг остановилась, приблизилась, схватилась за воротник моей телогрейки и притянула меня к себе. Потом положила обе руки мне на плечи и прошептала: “Ты мне тоже нравишься”. Я, не зная, что делать, невольно схватил её в объятия.

До сих пор не могу взять в толк, как я на такое решился. Мы замерли. Я изо всех сил прижал Гульсию к своей груди. Что я тогда чувствовал, словами не передать. Щёки у нас пылали. Она словно обжигала моё лицо горячим дыханием. И вот наши губы сблизились... Это был первый поцелуй в моей жизни. Такого наслаждения я никогда прежде не испытывал. Даже представления не имел, что в жизни бывают такие сладкие мгновения!..

Короче, с того самого вечера мы подружились. Только, в отличие от других, не прятались, не писали друг другу никаких записочек, не дарили на память всякие безделушки. Нашу дружбу мы ни от кого не скрывали, потому что Гульсия была не из тех, кто боялся чужих пересудов, и таиться от других не привыкла.

Да, какое благословенное это было время, когда каждый вечер спешишь на свидание. Тогда мы просто купались в океане любви! Как будто весь мир был совершенным, всё вокруг казалось таким чудесным, и любое дело было по плечу! Я даже в учёбе подтянулся и с лёгкостью справлялся со всеми делами по хозяйству. Возмужал. Умудрялся подменять на работе отца. Но и тогда далеко не всё было так уж безоблачно. Настроение омрачали две вещи. Во-первых, состояние отца с каждым днём ухудшалось, хотя он и крепился, стараясь не подавать виду, как ему худо. Во-вторых, я заметил, что Раис охладел ко мне. Но я не очень-то переживал.

Так пролетел год. Мы закончили восьмой класс. Я хотел продолжать учёбу. В то лето работы в колхозе для меня не нашлось. Да и времени, в общем-то, не было. В июне сдал экзамены, а в августе пришлось готовиться к новым, чтобы попасть в девятый класс. Дело в том, что мы, одиннадцать человек из восемнадцати выпускников восьмого класса, подали документы в среднюю школу, которая находилась в деревне Байтал, в четырёх километрах от нашей. То же самое сделали ребята из пяти других окрестных аулов. А принимали всего лишь двадцать пять человек. В Байталовской школе хотели, конечно, увеличить штат учителей и открыть несколько параллельных девятых классов, но район не давал на это разрешение. Отговаривались тем, что нет средств.

В общем, желающих продолжить учёбу набралось больше сотни. А на всю округу другой средней школы, кроме Байталовской, не было. Потому и решили там устроить по всем предметам экзамены. Мне повезло — из всех наших односельчан я один их выдержал. Десять моих товарищей вернулись домой ни с чем. Среди них была и Гульсия. Но она не унывала. Не такой характер, чтобы из-за этого убиваться. Взяла и быстренько переметнулась в Салаватское медучилище. Перед отъездом сказала мне: “Давай учись, заканчивай десятилетку, тебе обязательно надо поступать в вуз. А я поработаю немного после училища и тоже подамся в мединститут”. После этого я отказался от своей затеи ехать вслед за ней в Салават, где предполагал устроиться на химкомбинат.

Вот так оказались мы порознь и общаться стали лишь письмами. При каждом удобном случае Гульсия приезжала в деревню, и тогда мы с ней встречались.

В течение двух лет я пешком ходил в Байтал. Было очень тяжело. Почти весь день проводишь в школе, а дома дел — невпроворот. Раис мне не помогал, да и не смог бы, если бы даже захотел, потому как сам в то время учился на шофёра. А когда вернулся через год с лишним в деревню, с головой ушёл в работу. Всё время проводил в рейсах. Как я уже говорил, отношения у нас к тому времени сильно изменились. Конечно, я догадывался,

в чём дело: между нами встала Гульсия. Но мне трудно было его понять. Я думал: вот дурак, разве можно отказываться от дружбы, если девушка предпочла меня?!

А отцу между тем становилось всё хуже и хуже. Он решил по-своему помочь мне, освободить от лишних забот и за два года избавился от скотины и птицы — часть распродав, остальных забил. При этом всё время внушал мне: “Не вздумай бросать учёбу, сынок”.

Хозяйство наше окончательно пришло в упадок: дом обветшал, изгородь покосилась. А однажды отец вошёл в дом, рухнул на кровать и за три дня до выдачи мне аттестата умер. Доконал-таки его диабет.

Свет померк для меня в тот день. Всё обрушилось в одночасье. Теперь у меня не было ни отца, ни друга, ни живности. Последнее, что ещё оставалось, — наша старенькая изба, которой я вскоре тоже лишился. Я уступил её за бесценок односельчанам Аксан-агаю и Марьям-апай, которые после долгой отлучки вернулись в деревню и проживали во временке. Продав дом, тут же уехал в Уфу. Там я отнёс документы в Башкирский университет, хотел поступить на физмат, да не прошёл по конкурсу. Нужно было искать работу. За деньги оформил временную прописку и устроился на ткацкую фабрику грузчиком. Выбора у меня не было — ведь с такой пропиской никуда больше не брали.

Работая, я не переставал надеяться, что на следующий год мне всё же повезёт, и я сумею попасть в университет. Гульсия тем временем училась в Салаватском медучилище. Мы продолжали с ней встречаться, пусть и не так часто, как раньше, — то в Уфе, то в Салавате. И переписывались.

Но верно говорят, что от судьбы никуда не денешься — мечтам и планам моим не суждено было сбыться. В мае следующего года меня забрали в армию. А Гульсия даже проводить не приехала...

Мустафа призадумался и умолк, а когда очнулся, обратился к Тимерханову с неожиданным вопросом:

— Вы курите?

— Курю.

— Тогда, может, выйдем на улицу, сделаем перекур. А заодно и разомнёмся маленько.

— Давайте, — охотно согласился Рамазан Галиевич, поднимаясь с места. — Только сначала Азалию предупрежу, чтобы приглядывала за нашим столом.

— Стоит ли её беспокоить. Никто сюда не сядет. Любой поймёт, что место занято. Мы же пиво не допили.

— Вы так думаете? — пожал плечами Тимерханов.

— Конечно.

Мужчины направились к выходу.

Рабочий день давно уже закончился, а солнце ещё и не думало садиться. Что ни говори, дни в летнюю пору длинные. Жизнь в самом центре города просто кипит. Машины идут потоком. Возвращающиеся с работы люди как будто не торопятся расходиться по домам. Рядом находится продуктовый магазин, двери которого почти не закрываются. Одни выходят, другие заходят. А кто-то останавливается поболтать со знакомыми.

Наблюдая за происходящим вокруг, Рамазан с Мустафой молча курили. Чуть позже, затушив сигареты, перекинулись парой замечаний о погоде, о том, какое жаркое выдалось нынче лето, и вошли обратно в кафе.

Вернувшись за стол, Рамазан Галиевич первым возобновил прерванную беседу.

— Значит, мы остановились на том, что вас забрали в армию, — решил напомнить он и поинтересовался: — Кстати, а где вы служили?

— Давайте-ка сперва пиво допьём, — предложил Мустафа и пошутил: — А то испортится.

Мужчины разом подняли кружки и опустошили их.

— Так где же вы всё-таки проходили службу? — повторил свой вопрос Тимерханов, заинтригованный рассказом нового знакомого.

— А может, ещё по одной кружке пропустим? — медлил тот.

— Я не против. Только уговор — я вас угощаю, ладно?

— Воля ваша.

Рамазан подозвал официантку.

— Азалия, налей-ка нам, милая, пивка.

— Сейчас, Рамазан-агай.

Когда девушка принесла новую порцию прохладного пива, мужчины с наслаждением сделали по глотку, после чего Мустафа, наконец, продолжил:

— Вот так я угодил в армию. А служил я на Украине, в Одессе, в морских погранвойсках. После учебки меня по собственному желанию направили на водительские курсы. Потом два года шоферил при штабе погранотряда, который находился прямо в центре города. И за это время я ни разу не побывал в отпуске.

— Почему?

— В те времена погранвойска подчинялись КГБ. Дисциплина была наистрожайшая. Там не имело значения, сколько у тебя заслуг — похвальных грамот, значков и званий. Всегда находились причины и отговорки, чтобы отложить отпуск: то военные учения, то подготовка к встрече какого-нибудь генерала, то якобы вот-вот появятся нарушители границы... Какой уж там отпуск, когда четырёхчасовое увольнение — и то было редкостью. А всё дело было в том, что наше начальство старалось не допускать лишних контактов пограничников с населением. Перестраховывались, как только могли, всеми правдами и неправдами. Как-никак — государственная граница!

Во время службы меня удостоили самой высокой чести — сфотографировали рядом со знаменем отряда. Наградили также знаками “Отличник-пограничник”, “Отличник Советской Армии”, произвели в сержанты и дали первый разряд по самбо. А перед демобилизацией моё имя даже внесли в “Золотую книгу” отряда... — не без гордости перечислил Мустафа свои армейские заслуги и, вдруг спохватившись, смущённо промолвил: — Постойте-ка, а чего это я так перед вами расхвастался! Ещё подумаете обо мне невесть что.

— Зря вы так. Всё нормально. Вы же ничего не присочиняете, — поспешил успокоить его Тимерханов, поудобнее устраиваясь на стуле. — Раз уж обещали рассказать о себе, постарайтесь ничего не утаивать... А как же Гульсия? Вы так и продолжали с ней переписываться?

— Да-а... — тяжело вздохнув, протянул Мустафа. — Первое время мы писали друг другу, а потом переписка наша прекратилась.

Рамазан Галиевич вопросительно глянул на собеседника, и тот пустился в объяснения.

— Со дня моего отъезда не прошло и полгода, как Гульсия, окончив учёбу, вернулась в деревню фельдшером. Устроилась в медпункт, сменив Сабиллю-апай, которая проработала там всю жизнь. Я часто получал от неё письма. Она писала, что очень довольна своей работой, признавалась, что скучает по мне и ждёт не дожждётся, когда приеду в отпуск. Я отвечал, что приехал бы обязательно при первой же возможности, да только меня не отпускают. А примерно за год до демобилизации письма от Гульсии приходиться перестали. Выяснять, что к чему, я не стал. Да и обращаться было не к кому, ведь близких людей в нашем ауле у меня не осталось. В общем, я тоже замолчал. Молодой был и, наверное, слишком гордый.

— Грустная история, — заметил Тимерханов, покачав головой, и предложил ещё раз промочить горло.

Они сделали по несколько глотков.

— А дальше? — горел желанием узнать Рамазан Галиевич о развязке отношений Мустафы с его подругой. — Что было потом, уже после того, как вы отслужили?..

— Вот потом-то всё как раз и пошло у меня наперекосяк.

— Как так?

— Вернувшись из армии, я первым делом отправился на фабрику, откуда меня забирали на службу. Решил снова устроиться туда на работу. Но мне отказали из-за просроченной прописки. Даже водителем не взяли. А кто меня к себе проишет?! Делать нечего, пришлось возвращаться в деревню.

Семья Аксан-агая встретила меня хорошо. Видимо, из чувства благодарности за то, что я по дешевке продал им свой дом. Собрали гостей из ближней округи. Многим захотелось посмотреть на бывшего соседа. Только Раиса среди них почему-то не было видно.

Застолье превратилось в настоящую пирушку. Выпивки было много, благо я притащил ещё с собой целую сумку. Шум-гам. Выйдя с мужиками перекурить, я стал осторожно расспрашивать их про своих одноклассников. Ну и, понятное дело, больше всех меня интересовала Гульсия. Вот тут я услышал такое, что просто отказывался верить своим ушам. Представляете, мне сказали, что она замужем за Раисом!

— Ничего себе! — невольно воскликнул Рамазан Галиевич. — А что ещё вы о ней узнали?

— Да много чего. Поначалу у Гульсии всё складывалось нормально, хоть работа и была не из лёгких. Ещё бы, ведь наш медпункт обслуживал ещё две соседние деревни. Ей как фельдшеру доставалось по полной программе — приходилось носиться туда-сюда, а транспорта нет. В таких случаях Гульсия была вынуждена обращаться к Раису. Тот и возил её к тяжёлым больным или на прививки по деревням, а когда и в райцентр — за лекарствами, зарплатой или на совещания. За услуги же, сами понимаете, надо платить. Вот Гульсия и расплачивалась за каждую поездку спиртом. Раис поначалу уносил его с собой, вышивал дома. Со временем же, особенно когда они с Гульсией возвращались поздно вечером, стал употреблять прямо на месте, не выходя из медпункта. Ничего удивительного, чем же ещё холостяку заняться! В армию его не брали, поскольку он жил вдвоём с престарелой матерью. А тут Гульсия под боком, в невестах засиделась. В общем, кончилось тем, что вечера они стали коротать в медпункте вдвоём, а на столе, само собой, — спирт. Понятно?

— Как не понять! Известное дело, — кивнул Тимерханов и поморщился. — А от выпивки один шаг и до...

— Вот именно! — не дал ему договорить Мустафа. — Я далеко, чуть ли не на краю света. Служу безвыездно. К тому же моя Гульсия, скорее всего, не очень-то верила, что я вернусь. Вот и стала понемногу ко мне охладевать. Короче, однажды вечером, приняв как следует, Раис овладел ею... Вскоре после этого свадьбу сыграли, да только жизнь у молодых, как мне рассказывали, не заладилась с самого начала. Сплошные скандалы. Я решил, что всё это из-за меня: видно, не совсем забыла Гульсия нашу с ней любовь.

Застолье в тот день затянулось допоздна. В хмельном угаре мне до смерти захотелось повидаться с моей бывшей девушкой. Недолго думая, вышел я во двор, якобы покурить, а сам перемахнул через забор — и напрямик к Раису.

Что было потом, хоть убейте, не помню. Обо всём узнал от других.

Раис открыл дверь, хотя он и его мать уже к тому времени улеглись спать. Гульсии дома не оказалось. И вот, значит, сели мы за стол, стали разговаривать. За беседой уговорили половину початой Раисом бутылки. А как только я заикнулся было о Гульсии, мать его не выдержала и выложила всё начистоту:

— Эх, Мустафа-сын, дружок твой Раис совсем озверел. Как придёт домой, за жену принимается. Избивает её, из дому гонит. Сегодня тоже поставил ей синяк под глазом и выгнал. А сам кричит: мол, почему не рожашь? И корит её за то, что не была девственницей. Ох, как надоело мне всё это! Устала я, просто сил нет...

Услыхав такое, я набросился на Раиса:

— Как ты посмел поднять руку на мою Гульсию?! Да тебя самого раздолбать мало. Ты же настоящий предатель! Ты предал самого близкого друга. Негодяй! Подлец!..

А потом, применив один из приёмов самбо, я швырнул его на пол и избил до такого состояния, что он угодил в больницу.

Пока я с Раисом расправлялся, тот, лёжа в луже крови, орал:

— Забирай себе свою сучку, эту алкашку Гульсию! Потаскуха несчастная! Путалась с кем-то, а теперь родить не может.

Утром меня забрали в милицию, увезли в райцентр. Состоялся суд, и загремел я на два года по 113-й статье.

Потом узнал всю правду о своей бывшей подружке. Оказалось, что она тоже не без греха. Ещё будучи в медучилище, залетела, забеременела от кого-то и сделала аборт. А к моему возвращению в деревню уже успела превратиться в пьянчужку.

— Видать, с горя запила, оттого что родить не могла. А спирт всегда под рукой. Да и попробуй-ка выдержать издевательства от нелюбимого мужа... — попытался найти ей оправдание сердобольный Рамазан Галиевич.

— Может, и так... Об одном я тогда горевал: что не смог сходить на могилы родителей и братьев.

В этот момент у Тимерханова зазвонил мобильник.

— Ты куда это запропастился? — накинулась на него жена и добавила не без ехидства: — Хочешь сказать, что идёшь с работы? Что-то уж больно долго добираться... Мы тут с Лейлой по магазинам пробежались. После этого она довезла меня до дома и уже давным-давно уехала. Так что давай возвращайся-ка побыстрее. Никуда не заходи. Я жду.

— Мне пора, — заторопился Рамазан Галиевич, берясь за кружку. — Супруга меня потеряла. Договорим как-нибудь в другой раз. Вот только пиво допью и побегу. А вы как, остаётесь?

— Посижу ещё немного. Меня ведь никто не ждёт. — Мустафа был явно разочарован. — Жалко, что не удалось рассказать вам всё до конца.

— Я же вам не зря сказал, что мы ещё встретимся. Мне обязательно надо дослушать вашу историю. — Сказав это, Тимерханов допил остатки пива, позвал Азалию, расплатился и поднялся с места.

— Если заранее не договориться, вряд ли мы здесь встретимся. Может, оставите свой рабочий телефон? — попросил Мустафа.

Рамазан Галиевич без колебаний достал ручку, написал на салфетке номер мобильного и попрощался.

— До свидания... — нерешительно промолвил его новый приятель.

“А почему я, собственно, так быстро вчера откланялся?” — задал вопрос самому себе Тимерханов, явившись на следующее утро на работу. На жену сослался — нашёл причину! Нет, надо было всё же дослушать Мустафу до конца. Похоже, хлебнул он в жизни немало горя. Недаром несколько раз за решёткой побывал. Надо бы из него всё выпытать. Может, и в самом деле пригодится...

Он пожалел, что не записал номер его телефона, и тут же подумал: “А впрочем, вряд ли он у бедолаги есть. Хорошо ещё, что я не побоялся дать ему свой. Теперь остаётся только ждать его звонка”.

Рабочий день начался, как обычно. Первым делом Рамазан Галиевич разобрал на столе бумаги. Потом он вышел во внутренний дворик и выкурил в одиночестве сигарету. После перекура вернулся в кабинет и просмотрел список намеченных на сегодня дел. Разумеется, все пункты осуществить ему не удастся. Он понимает, что это нереально, но, как всегда, надеется, что успеет.

И тут зазвонил телефон. Тимерханов вздрогнул и поднял трубку. Это был Гали Курманай.

— Рамазан-кустым, здравствуй! Ты, наверное, поминаешь меня, старика, недобрым словом, — хихикнул он. — Вот, решил позвонить тебе с утра пораньше. Хочу предупредить, что собираюсь заглянуть к вам в Союз. Насчёт юбилея потолковать...

— Так прямо сейчас и выходи, Гали-агай, — с готовностью откликнулся Рамазан Галиевич. — Буклет обсудим.

— Сейчас?

— Ну да, а чего тянуть?

— Хорошо, скоро буду...

В трубке послышались короткие гудки.

Тимерханов выложил на стол текстовый материал и фотографии. Всё вроде бы есть — и статья, и фрагменты воспоминаний, и высказывания о творчестве. Только этого ведь мало. С поэтами намного проще — пустые

места можно заполнить стихами. А вот с прозаиками, как показывает практика, значительно сложнее. Ведь отрывок из произведения не присобачишь...

В дверь просунулась голова машинистки Раили.

— Рамазан-агай, вас вызывает шеф.

— Иду.

Председатель правления Союза писателей Рахман Тамьянович встретил литконсультанта с улыбкой.

— Как дела, Рамазан Галиевич?

— Пока не жалуюсь.

— Я хотел поговорить с тобой о нашем юбиляре Гали-агае. Как продвигается подготовка? Времени не так уж много осталось. А проблема с Домом актёра пока ещё не решена. Сам-то заходил?

— Да вот буквально только что звонил. Я попросил его прийти. Скоро будет. Может, зайти к вам?

— Совсем не обязательно. Обсуди этот вопрос с ним сам. Если Курманай намерен проводить творческий вечер, будем рады, поддержим его, поможем в организации. А не хочет — неволить не будем. Ты же знаешь, что семидесятилетний юбилей официально не отмечается.

— Хорошо, я поговорю, — пообещал Рамазан Галиевич и удалился.

Курманай и в самом деле не задержался.

— Салям, Рамазан-кустым! — приветствовал он Тимерханова с порога.

— Здравствуй, Гали-агай, — приподнялся тот из-за стола. — Айда, присаживайся.

— Спасибо, только рассиживаться я не собираюсь. Не хочу отрывать тебя от работы, — торопливо проговорил Курманай, устраиваясь напротив. — Как всё-таки хорошо, что я близко живу. Не успеешь из дому выйти, и уже на месте.

— Фотокарточки-то принесли?

Курманай запустил руку в карман пиджака.

— Кое-как нашёл. Спасибо дочке, выручила. Оказывается, моя Лилия завела специальный альбом для семейных фотографий. — Он разложил перед Тимерхановым снимки и предупредил: — Только уж не забудьте, пожалуйста, вернуть. Дочь строго-настроено наказала забрать их обратно.

— Всё отдадим в целости и сохранности, какой разговор!..

Рамазан Галиевич принялся рассматривать фотографии, внимательно изучая надписи на обороте, затем отобрал из них штук шесть, а остальные вернул хозяину.

— Пожалуй, хватит. Сейчас уже можно приниматься за макет.

— Ты вроде бы говорил, что буклеты обойдутся в десять тысяч?

— Ну, если не десять, то восемь как минимум.

Курманай достал из кармана пачку денег.

— Как ты сказал, так я и принёс, — заявил он. — Здесь ровно десять. Больше у меня нет.

— А как же афиши, пригласительные, аренда?.. Да и артисты задарма выступать не станут. Кроме того, нужно будет оплатить банкет, автобусы.

— Рамазан-кустым, — смущённо начал Гали Курманай, ёрзая на стуле. — Давай-ка мы проясним с тобой это дело до конца. — Он поспешно встал и, прежде чем продолжить, походил по комнате. — Вот что я думаю, дорогой. Не будем ломать голову. Выпустим буклеты, и хватит. Не хочу я ни вечера, ни банкета. Ну, посуди сам. Если бы у меня были десятки романов и повестей — тогда другое дело. Каково творчество — таким и должен быть юбилей. Вот я и подумал: зачем мне высовываться? Соберу родственников и самых близких друзей в какой-нибудь столовой или, на худой конец, у себя дома. И ладно... Зачем создавать людям лишние хлопоты? Я вам и так благодарен за то, что в Союз меня приняли перед моим шестидесятилетием. А больше мне ничего не надо.

— Значит, вы не согласны проводить свой юбилей на республиканском уровне?

— Нет, дорогой мой, не хочу.

— Жаль... И всё же давайте не будем пока отказываться. Подумайте ещё немного.

— Да я уж подумал, Рамазан-кустым. И давно всё решил. Так что не уговаривай. Нет у меня таких денег, не заработал. Спонсоров богатеньких тоже не имеется. Да и, честно говоря, какое у меня право сидеть перед большим залом и выслушивать славословия?

— Ну, что я могу сказать, воля ваша, — развёл руками Тимерханов.

— Спасибо, кустым! — лукаво улыбнулся Курманай, протягивая ему руку.

— А буклет? — спохватился Рамазан Галиевич. — Мы же договорились обсудить вместе, что и как.

— Да ладно уж, какой от меня толк. Уверен, ты и без меня справишься. По этой части я, мягко говоря, не очень-то силен.

Ловко увернувшись, Гали Курманай спросил для приличия о том о сём и распрощался.

Сбитый с толку Рамазан схватился за сигарету и вышел во двор.

Этот Гали-агай в своём амплуа. До чего же славный он человек — такой простой, неприхотливый и деликатный. Боится лишний раз стеснить, побеспокоить кого-то. Но ведь он, в сущности, прав. На проведение семидесятилетия средства, к сожалению, не выделяются. Ну, а без буклета никак нельзя. Так что придётся в первую очередь заняться макетом и сдать его как можно скорее в издательство... Материала хватает. Фотографий тоже теперь достаточно. А насчёт Дома актёра посмотрим. Может, что и получится.

Как писатель, Гали Курманай, безусловно, талантлив. Только творчество его, увы, невелико. Всю жизнь он проработал в газете, возглавлял отдел сельского хозяйства. А что за работа у журналиста, всякий знает. Сплошные командировки по заданиям редакции. Гали-агай объездил республику вдоль и поперёк. И даже после того как пенсию оформил, продолжал работать, наконец, лет шесть или семь, потому что главный редактор не хотел его отпустить. Ясное дело: Курманай — ценный кадр, вряд ли кто знает сельское хозяйство лучше него. Вот и удерживали, сколько могли, несмотря на возраст. На счету ветерана множество статей. Он поднимал серьёзнейшие проблемы, публиковал замечательные очерки о передовиках труда. Бывало, писал и на другие темы. Материалы Гали-агая выходили чуть ли не каждую неделю. Трудно даже представить себе, сколько бессонных ночей провёл он ради них! И ко всему прочему занимался ещё общественной работой. Около тридцати лет был председателем профкома редакции и членом всевозможных комиссий. При этом добросовестно относился к своим обязанностям, всегда и везде трудился с полной отдачей. Да если бы он хотя бы часть потраченного на всю эту суету времени использовал для литературного творчества, пусть даже один или два дня в неделю, то нынешний свой юбилей встречал бы с целой вереницей томов!

“Вместо двух-трёх статей ты мог бы в месяц писать по одному рассказу как минимум. Знаешь ведь, как любит твои произведения народ. В магазинах книги твои днём с огнём не сыщешь. Их разбирают чуть ли не за неделю”, — говорили Курманаяу. Но тот пропускал такие советы мимо ушей. Не хотел, видно, гоняться за двумя зайцами — слишком любил журналистскую работу.

Что поделаешь, каждый живёт своим умом. Гали-агай прожил на свете семьдесят лет. Кто сейчас помнит его многочисленные статьи, репортажи и очерки? Зато книги востребованы. Только их у него немного. А впрочем, и не скажешь, что мало: он автор семи книг. Кто-нибудь мог бы возразить на это: “Разве дело в количестве? Важнее всего качество”. С этим, конечно, не поспоришь. Но хотелось бы всё-таки видеть побольше таких качественных, *читательных* произведений. А то вон сколько макулатуры пылится на складе книжного издательства в Уршаке. Нет для писателя большей радости, когда он видит, что книги его пользуются успехом.

Выкурив сигарету, Рамазан Галиевич вернулся в кабинет и приступил к своим обычным обязанностям.

Звонок раздался лишь через три недели. Произошло это в пятницу, под конец рабочего дня.

— Здравствуйте, Рамазан Галиевич. Это я — Мустафа. Как у вас дела?

— Мустафа Усманович?! А я и не узнал вас по голосу. Мы же с вами по телефону ни разу не разговаривали, — не скрывая своей радости, воскликнул Рамазан Галиевич. — Здравствуйте, здравствуйте! Куда же вы подевались? Ни слуху, ни духу! — И, словно испугавшись, что тот может повесить трубку, заявил без обиняков: — Нам бы встретиться.

— Встретиться надо. Потому и звоню. Вы не очень заняты?

— Рабочий день кончился. Так что я свободен. Где встретимся? Там же, в “Уньше”? Вы, случайно, не оттуда звоните?

— Да нет, из автомата.

— Ладно. Вы пока ступайте. Я тоже скоро буду.

Прибрав на столе, Рамазан Галиевич вышел из здания Союза и поспешил к трамвайной остановке.

Мустафа поджидал его у входа в кафе.

— Ещё раз здравствуйте, Мустафа Усманович! Я не очень задержался? — приветствовал его Тимерханов, протягивая вперёд обе руки.

Тот сделал то же самое.

— Салям, салям, Рамазан Галиевич. Я только что подоспел.

— Ну, тогда зайдём.

Официантка Азалия встретила их улыбкой и, тут же приняв озабоченный вид, захопотала.

— Куда бы мне вас пристроить? В пятницу у нас всегда полно народу. — Она обвела беглым взором зал и, махнув рукой в сторону четвёртого стола, сказала: — Там сидит всего один человек. Он уже давно здесь и, кажется, собирается уходить.

— Спасибо, Азалия!

Увидев решительно приближающихся к его столу посетителей, мужчина вскочил с места.

— Сидите, сидите. Мы вам не помешаем, — торопливо проговорил Мустафа, дотронувшись до его плеча.

Но тот, наскоро расплывшись с официанткой, направился к выходу.

— Сестричка, — обратился Тимерханов к Азалии. — Принеси-ка ты нам сегодня водочки, а на закуску...

— Нет, нет, — перебил его Мустафа. — Водку я пить не буду. Нельзя мне водку. Сердце не позволяет. А от пива не откажусь...

— Тогда и мне пива с сушёными кальмарами. Да принеси чего-нибудь поесть. Можно гуляш. Мы ведь ещё не ужинали после работы. А чай — не обязательно.

— Рамазан Галиевич, я не голоден, — сказал Мустафа, растерянно взглянув на Тимерханова.

— Ничего, поешь со мной. Я угощаю. Надо как следует подкрепиться, а то ведь разговор будет, как я понимаю, долгим.

Мустафа вынужден был согласиться.

Как только Азалия принесла заказ и расставила всё на столе, мужчины подняли кружки с пивом и, чокнувшись в честь встречи, выпили.

— Ну, а теперь поговорим, Мустафа Усманович, — начал Тимербулатов. — Только сначала объясните, почему же вы так долго мне не звонили.

Тот ответил не сразу, прежде дожеввал полоску кальмара.

— Приболел я. Сердце у меня барахлит. Я теперь ни на что не годный. Тюрьма сделала своё дело.

— Ну, зачем вы так. Глядя на вас, не скажешь, что вы больны.

— Спасибо на добром слове.

— Чего это мы о болезнях заговорили! — бодро воскликнул Рамазан Галиевич и, кивая на тарелки с гуляшом, предложил: — Давайте-ка лучше сперва подзаправимся. А потом я вас послушаю.

Они перекусили, после чего Мустафа Усманович не спеша приступил к своему рассказу.

— Как вы уже знаете, в первый раз отсидел я два года по собственной вине.

— А потом сумели на работу устроиться?

— Сумел. Я, конечно, слышал до этого, что бывших зеков не очень-то жалуют — редко бывает, что на работу берут. Но лично мне повезло. Когда

вернулся в Уфу, встретил одного знакомого с ткацкой фабрики. Он работал там водителем, а я загружал машины товаром для отправки. Мы с ним, конечно, не дружили, но были в хороших отношениях. Так вот тот человек сказал, что устроился на таксомоторное предприятие. Я попросил его помочь мне с работой, и он поддержал. Во-первых, благодаря ему я стал таксистом, а во-вторых, он помог мне с жильём, предложил пожить у его матери в Нижегородке.

— Домой, в деревню, не ездили?

— Куда там! Стыдно было односельчанам на глаза показываться. Забыл я в родные места дорогу, — с грустной усмешкой ответил Мустафа и, махнув рукой, продолжал: — На такси я неплохо зарабатывал. Скопил денег на кооперативную квартиру и даже начал подумывать о женитьбе. Да вот только планы мои рухнули в одночасье.

— Как же это случилось?

— Спрашиваете, как случилось... Было это зимой. Так вышло, что меня пригласили в райотдел милиции на дежурство. По положению таксистов вроде бы не должны были привлекать. Чёрт его знает! Я в этих делах не разбираюсь... Да если бы и разобрался, не стал бы лезть на рожон. Так уж начальство распорядилось. Видимо, в тот день гаишных машин не хватало. Короче, пришлось мне вечером дежурить вместе с лейтенантом Бурангуловым. Мы патрулировали с ним улицы. За два часа инспектор оштрафовал двоих за нарушение. А ближе к полуночи обогнала нас какая-то белая "Волга". Разогналась не на шутку. Превышение скорости — налицо. "Похоже, пьяный за рулём, — сказал Бурангулов. — Сейчас или аварию сделает, или кого-нибудь задавит. Айда, Мустафа Усманович, догоним!" Сказано — сделано. Я сильнее нажал на газ. У меня тоже была "Волга". Не помню, сколько перекрёстков проехали. Когда мы уже совсем, было, нагнали ту машину, она вдруг выскочила на полосу встречного движения. Ехавшие навстречу прижимались к обочине, уступая ей дорогу. Инспектор кричит в мегафон: мол, водитель белой "Волги", немедленно остановитесь! А тот — ноль внимания. Смотрим, "Волга" уже обгоняет автобус. Тот взял вправо, заехал на тротуар и остановился.

— Обгоняй, быстрее! — завопил лейтенант.

Я насилу догнал и перегнал лихача. Кручу руль то вправо, то влево и постепенно замедляю скорость. В один момент изловчился и, встав поперёк, загородил дорогу. Белая "Волга" резко затормозила и чуть не врезалась в нас.

Мы вышли. Бурангулов осторожно постучал в окошко. Но никто не откликнулся. Он попробовал открыть дверцу. Она была заперта. Лейтенант постучал сильнее, и тогда нам открыли. За рулём оказалась женщина лет пятидесяти. Без головного убора и в дорогой шубе нараспашку. На шее — золотые цепи в несколько слоев, в ушах — увесистые серьги, пальцы унизаны сверкающими кольцами и перстнями. Рядом сидел солидный дяденька того же возраста, что и она, в норковой шапке.

— Чего вам надо? — грубо спросила женщина.

Бурангулов отдал по-военному честь, представился и попросил предъявить права.

— А больше тебе ничего не надо? — с издёвкой спросила она.

Лейтенант, до этого никогда не слышавший такого обращения со стороны нарушителей, сначала растерялся. Но тут заговорил спутник грубиянки.

— Камария, посиди спокойно, — сказал он, вылез из машины и, пошатываясь, подошёл к нам. Вытащив из внутреннего кармана какой-то документ, протянул его инспектору.

— Я — советник юстиции Ямалов. Прокурор этого района. А это моя супруга.

Лейтенант обомлел от неожиданности. Он не знал, как себя вести. Угрозидло же его напоротья среди ночи на пьяного прокурора! С ним-то, может быть, всё ясно. Он показал удостоверение. Задерживать прокурора не положено, и надо бы его отпустить. Даже если доложить об этом начальству, лейтенанту скажут, чтобы он обо всём забыл: мол, ты ничего не видел, а мы ничего не слышали. На том и кончилось бы. Но в том-то и дело, что

за рулём был не сам прокурор, а человек, не имеющий к правоохранительным органам никакого отношения. Пусть это даже и прокурорша. Только ведь муж, конечно же, в обиду её не даст.

— В гостях были... — начал объяснять прокурор. Но тут заорала его жена:

— Нашёл перед кем оправдываться! А ну садись, поехали!

— Я тебя прошу, помолчи, пожалуйста, — попробовал урезонить её тот и повернулся к нам. — Давайте уж как-нибудь уладим этот вопрос, ребята...

Однако Бурангулов решил не сдаваться.

— Прошу меня извинить, товарищ прокурор, но я не могу разрешить ни вам, ни вашей супруге управлять машиной в таком состоянии. Мы ведь видели, сколько было по вашей вине аварийных ситуаций. Вы только чудом избежали гибели. Нельзя же так жизнью своей рисковать!

А уж про то, что по их вине могли погибнуть другие, лейтенант и заикаться даже не стал.

— Ну, и что? Что мы должны, по-твоему, делать? — раздался хриплый голос из салона. — Тащиться пешком через полгорода, что ли?

— Зачем пешком? Позвоните какому-нибудь знакомому, который поблизости живёт. Пускай он вас отвезёт.

— Ишь ты, какой умник выискался! Долго думал?! — всё больше заводилась женщина. — Погоди у меня, с тобой ещё разберутся где надо.

Прокурор снова повернулся к ней.

— Камария, угомонись, пожалуйста!..

Но та вдруг резко повернула ключ зажигания и включила заднюю скорость. Видимо, она слишком сильно нажала на газ, потому что мотор заглох. Женщина ещё раз попыталась завести машину, переключилась на первую скорость, однако, не сумев объехать нашу “Волгу”, ударилась своим бампером в наш бампер и остановилась.

Бурангулов схватился за рацию.

— Товарищ лейтенант, не нужно никому звонить, — умоляюще произнёс прокурор.

Но тот его не послушался, и минут через пять подоспел наряд ГАИ.

— Старший инспектор капитан Азнагулов, — представился один из прибывших. К нему присоединился сидевший за рулём сержант. Они потребовали у женщины водительское удостоверение.

— Ну, что будем делать, товарищ прокурор? — спросил Азнагулов. — По закону мы сейчас должны начертить схему столкновения, а с женой вашей... Кстати, как к ней обращаться?

— Камария Талиповна.

— Так вот, мы должны провести экспертизу, выяснить, выпила Камария Талиповна или нет, составить протокол, а машину вашу отправить на штрафную стоянку.

— Чего-чего?! — угрожающе зашипела не выходящая из салона женщина. — Держи карман шире! Как бы не так! Завтра же вылетишь у меня из милиции!..

Ямалов, не выдержав, прикрикнул на жену.

— Замолчи сейчас же, говорю я тебе!

Потом повернулся к Азнагулову.

— Товарищ капитан, давайте сделаем так: я напишу, что к инспекторам претензий у меня нет, а вы сядете за руль и отвезёте нашу машину в гаражный кооператив, который находится рядом с нашим домом. Это недалеко отсюда, минут десять езды.

— Ну, что ж, ладно. Из уважения к работникам прокуратуры сделаем... — сказал Азнагулов, вернул прокурору удостоверение и, пожав ему руку, повернулся к нам. — Лейтенант, мы поедем, а вы пересядете в эту машину и доставите товарищей куда следует.

Сделав распоряжения, он направился вместе с сержантом к своему “узику”.

— Действительно, зачем нам с ними связываться, лютых врагов себе наживать, — прошептал Бурангулов. — Я сейчас пересяду к этой парочке

и поведу машину, а ты, Мустафа Усманович, тихонько езжай за нами. Доведем их до места, а потом уж решим, как быть с бампером.

Когда подъехали к гаражу, прокурор принялся искать ключ. Он даже заставил жену выйти, перетряс её сумочку и обшарил карманы шубы. А когда нашёл, долго возился, пытаясь вставить ключ в замок.

И тогда лейтенант распорядился:

— Мустафа Усманович, я пока посижу, а вы пособиите прокурору. Я забрал у того ключ и без труда отпер дверь гаража.

В этот момент появился откуда ни возьмись сторож.

— Вы кто такие?

— Мы из ГАИ, — сказал Бурангулов, вылезая из белой “Волги”, и протянул мне ключи. — На, загни машину в гараж, а я пока запишу фамилию и адрес этого товарища. Он нам может пригодиться как свидетель.

Сказав это, лейтенант отвёл сторожа в сторону.

Я загнал “Волгу” в гараж. После этого мы простились с прокурором и охранником и пошли к моей машине. Только женщины в тот момент почему-то не было видно.

Где-то через час дежурство наше кончилось. Доставив инспектора до места, я оставил свою “Волгу” в таксопарке и поехал домой.

Когда я уже, расстелив постель, собирался укладываться спать, в дверь постучали. Открыв, увидел милиционера.

— Собирайтесь, вас ждут в РОВД.

Я наспех оделся, и меня увезли.

Проходя по коридору, я услышал женский крик и грязную брань. Это была Камария Талиповна. Столько отборных матерных слов мне не приходилось слышать даже в тюрьме. Она не стеснялась никого, включая стоявшего рядом начальника штаба горотдела внутренних дел. Прокурорша не переставала орать своим грубым, хриплым голосом, не обращая никакого внимания на мужа, который пытался её успокоить.

— Похоже, из-за бампера проблемы, — прошептал лейтенант Бурангулов, прибывший чуть раньше меня.

Но как оказалось, дело было вовсе не в бампере.

Выяснилось, что у прокурорши пропал ридикюль из крокодиловой кожи с большой суммой денег. Она утверждала, что в нем было три тысячи долларов, шесть тысяч рублей и дорогая косметика.

— Ворюги! Морды ментовские! Я всех вас в тюрьме сгною, — орала она. Меня и Бурангулова завели в кабинет на допрос. И допрашивал нас не кто-нибудь, а сам начальник РОВД, его заместитель по кадрам, дежурный ГУВД, дежурный управления личной безопасности. Чуть позже прибыл и заместитель прокурора города.

В кабинете стоял гвалт. Продолжая бушевать, Камария трясла заявлением о пропаже. Собравшиеся начальники по очереди, один за другим, допрашивали нас. Зато прокурору и его жене вопросов никто не задавал.

Один только начальник РОВД посмел заикнуться:

— Камария Талиповна, вам придётся пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови.

Но не на ту попал.

— Ха-а!.. На экспертизу?! — взбесилась прокурорша. — Ментов своих выгораживаешь, да? Ничего не выйдет! Я найду на вас управу!

Досталось и мужу.

— Ну, а ты чего застыл?! Не видишь, как тут преступников покрывают?

Тот сидел, низко опустив голову, и молчал.

Заместитель прокурора города потребовал немедленно разыскать виновных и сурово их наказать.

Стали давить на нас с лейтенантом Бурангуловым. Но мы, естественно, отпирались, вины своей не признавали. А допрос всё тянулся. Больше всего досталось мне. Я ведь был последним, кто сидел в той злополучной “Волге”.

Мой напарник сумел отвертеться: мол, когда он подехал к гаражу, вместе с ним в машине сидели оба — и прокурор, и его жена. Не мог же он, дескать, вырвать ридикюль у них из рук.

Я уверял, что никакой сумочки и в глаза не видел, но мне не верили.

А прокурорша разбушевдалась тем временем не на шутку.

— Нечего с ним чикаться! Это он ридикуль спёр! Ещё отказывается. Да у него на лбу написано, что он жулик!

— А у вас на носу написано! — не выдержал тут я.

— Что написано? — удивилась прокурорша.

— То самое, что вы пьяная в стельку.

Ну, та опять в крик:

— Не твоего ума дело, бандюга!

— Да, жалко, что лейтенант пошёл у вас на поводу, не отвёз вашу машину на штрафную стоянку, а вас самих — в вырезвитель. Послушался капитана. Теперь вы, вместо благодарности, пытаетесь взвалить вину на невиновных. А кто знает, может быть, и не было никакой сумочки. Кто же берёт с собой в гости столько денег, — не унимался я.

На этот раз вышел из себя прокурор.

— Значит, по-твоему выходит, что мы врём?! Решил из нас обманщиков сделать, на посмешище выставить? — От возмущения он покрылся красными пятнами. — Да за такие слова я тебя...

— Посмотрите-ка на него, вместо того чтобы сознаться и вернуть ридикуль, он ещё и охаивает нас! — снова набросилась на меня его жена. — Наденьте ему наручники и в камеру!

В этот самый момент в битком набитый кабинет вошёл начальник городского ГАИ. Оказывается, ему сообщили о том, что случилось, когда он был в гостях, на свадьбе. Но несмотря на то, что его оторвали от праздничного застолья, начальник постарался вникнуть в суть дела и задал самый толковый вопрос:

— А вы не могли, Камария Талиповна, выронить свою сумочку возле гаража, когда ключ искали?

Прокурорша как завизжит:

— Да вы за кого нас принимаете?! Мы, что, по-вашему, рехнулись, чтобы такими вещами разбрасываться!

— И всё же, — настаивал начальник ГАИ. — Почему бы нам не съездить прямо сейчас на место и всё как следует не проверить? Может быть, ваша сумочка валяется там где-нибудь в снегу?

Остальные с ним согласились.

И вот среди ночи по улицам города проехал кортеж из восьми машин. Как будто на праздник какой собрались! Едем с сиренами и мигалками, а редкие встречные машины уступают нам дорогу.

Так, целым косяком, явились мы к гаражному кооперативу. Навстречу выскочил перепуганный охранник с фонарём в руке. Пятнадцать человек, скрипя зимними ботинками, начали прочёсывать местность. Но всё без толку: сумочка так и не нашлась.

Стали расспрашивать сторожа: мол, кто открывал гараж да кто загонял туда “Волгу”.

Он указал на меня.

— Я же говорила, у него на лбу написано, что жулик! — злорадствовала прокурорша, напирая на меня. — В тюрьму его! За решётку, немедленно!

— Да ведь я ни в чём не виноват! Никакой сумочки не видел. Если не верите, обыщите мои карманы, машину.

— Как же, ты давно уже всё припрятал куда надо. А ну, говори, где мои деньги, воруяга! Не отдашь — в тюрьге сгниёшь!..

— Камария, не заводись. В милиции ему быстро язык развяжут, — оттащил её от меня прокурор.

После этого меня затолкали в милицейскую машину.

Вот так, на основании одного лишь заявления жены прокурора, стал я подозреваемым. За три часа составили протокол и, как полагалось, объявили мне о моих правах.

— У вас есть адвокат и близкие родственники? — спросили. — Мы им должны сообщить.

— Нет у меня никого, — ответил я.

На рассвете меня посадили в КПЗ — камеру предварительного заключения. Потом я попал в СИЗО, то бишь следственный изолятор, где дожидался суда. Чуть ли не каждый день на допрос водили. Мои сокамерники предупредили, что по 158-й статье мне светят два года.

Как-то раз ко мне привели журналиста из одной большой газеты. Он интересовался моим делом. Я выложил ему всё как есть и заявил, что абсолютно не виновен. Журналист посочувствовал мне, ободрил и ушёл.

День суда помню как сейчас. На остатки денег я, хоть и с опозданием, нанял адвоката. Но тот не смог мне ничем помочь. Куда ему было тягаться с целой оравой обвинителей! Все были настроены против меня: и следователь, и адвокат прокурорши, и начальник следственного отдела, и вызванный в качестве свидетеля Ямалов, и сторож, и судья. Говорили, что я якобы не имел права садиться в машину без хозяина, что в гараж проник с целью кражи, а во время обыска в моей комнате будто бы нашли крупную сумму денег, в том числе долларов.

— Это же мои собственные сбережения. Я копил деньги на квартиру, — пробовал объяснить я.

Прокурорша, которая присутствовала на суде в качестве потерпевшей, услышав мои слова, взвилась:

— Неправда, это мои деньги! Я их узнала. А куда дел мою дорогую косметику? Отдавай, ворюга! Зэк! Мы через газету всю подноготную про тебя узнали. Оказывается, ты уже сидел. Теперь тебя надо не на два, а на семь лет туда засадить!

Я был поражён. Про какую газету говорит эта дрянная баба? Потом узнал, что посетивший меня в тот день журналист накатал статью “Кто сидит в СИЗО?”, в которой изобразил меня грабителем, жуликом и назвал рецидивистом.

Приговор суда просто оглушил меня. Мне впаяли не два года, как я ожидал, а целых пять лет, по 161-й статье. Думаю, большую роль здесь сыграла та самая статья...

Мустафа умолк.

— Да-а... — протянул потрясённый его рассказом Рамазан Галиевич. Он какое-то время молчал, не зная, что сказать. А как только пришёл в себя, схватился за кружку. — Давайте-ка выпьем. И гуляш, наверное, уже остыл.

После этого оба выпили по полкружки пива и закусили мясом.

— Мне ещё ни разу не приходилось закусывать пиво гуляшом, — неожиданно заметил Мустафа.

— Вы же сами от водки отказались. Я предлагал.

— Что поделаешь, раз нельзя.

— Я вас понимаю, — кивнул Тимерханов и, горя желанием услышать историю до конца, нетерпеливо спросил: — Кто же всё-таки украл сумочку? Вы ведь пробовали искать, но не нашли. Не могла же она испариться.

— А её и не крали. Когда я отсидел свой срок и вышел на волю, первым делом захотел установить истину и стал искать Бурангулова. Но не нашёл. Сказали, что из ГАИ он уволился. А вот старика-охранника застать удалось.

Мы с ним поговорили.

— Эй, браток, нет в этой жизни справедливости, — начал он. — Сумочка-та ведь нашлась. Пока вы возились с дверью, а потом машину внутрь загоняли, прокурорша отошла за гаражи, чтобы нужду справить. Там и обронила свою сумку. Я нашёл её весной, когда снег растаял. Столько добра в ней оказалось, просто жуть. Сперва я решил скрыть это от хозяев. Но совесть не позволила. И, откровенно говоря, побоялся. Вон ведь что с вами сделали! В общем, в тот же день отнёс я им находку. Думал, спасибо скажут. Да где уж там! Ещё строго-настрога предупредили: “Не вздумай никому проболтаться, не то пожалеешь”. Даже пытались сунуть мне тысячу. Только я не взял.

— Ну и ну-у... — только и сказал Рамазан Галиевич, тяжело вздохнув.

Сидевшие в кафе мужчины попивали пиво и курили. Но, несмотря на это, дыма в зале почти не было. Видно, кондиционер исправно работал.

Рамазан Галиевич, тоже решив затыннуться, достал сигареты с зажигалкой и выложил их на стол.

— Давайте, Мустафа Усманович, покурим, — предложил он.

— Спасибо. У меня свои есть. Выйдем на улицу?

— Зачем. Посмотрите — все в зале курят.

— Ну, тогда и нам, наверное, можно.

Они не спеша выкурили по сигарете, отпили пива, пожевали кальмаров.

— Ну как, рассказывать дальше? — неуверенно произнёс Мустафа, воспритительно взглянув на Тимерханова.

— Конечно, конечно! Мы остановились на том, что вы вышли из тюрьмы... Наверное, сразу в таксисты подались?

— Куда там! В таксопарке мне отказали. Шутка ли — два раза сидел. От меня все шарахались — и приятели, и прежние сослуживцы. К тому же у меня не было ни жилья, ни прописки. Бабушка, у которой я квартировал, к тому времени умерла. А в её доме жили другие люди. Они знали, что я прожил там пять лет. Им было также известно, что меня посадили по навету. И поскольку приткнуться мне было некуда, вошли в моё положение и разрешили пожить у них до осени в сарае. Раскладушку дали.

На следующий день я обошёл всю округу в поисках работы. Один из соседей предложил вырыть у него в саду бассейн. Другой поручил перекрыть баню. Я занимался этим спозаранку, до того, как начнёт припекать, а днём копал бассейн. Вечером снова лез на крышу. Поначалу удавалось поспать не больше пяти-шести часов. И я очень сильно уставал.

После того как вырыл бассейн и заменил крышу, работы не было. А с наступлением холодов жить в сарае уже было невозможно. К тому времени закончились и заработанные за лето деньги. Тогда я отправился в тубдиспансер... Пока сидел, заработал туберкулёз — обычное дело для таких мест. Спросил, возьмутся ли меня там лечить. Взяли. Без всякой прописки. Аж не верилось. Бывают же добрые люди на свете! Медики относились ко мне так же, как и ко всем остальным, лечили на совесть, кормили, ухаживали.

Пролежал я там до Нового года. А когда вышел, понял, что райская жизнь кончилась. Работы нет. Мороз. Тёплых вещей нет, а одежда, которая была на мне, истрепалась. Пришлось скитаться по подъездам домов в районе рынка, ночевать там. Раньше ведь двери подъездов не запирались. Да и бомжей вроде меня в те времена не так много было. Питался в столовых обедами, собирал и сдавал бутылки. Так я познакомился с Сираем и Нуриёй — мужем и женой, тоже бездомными. По их совету в середине января я поехал в Шакшу, в ночлежку.

Это был аккуратный такой одноэтажный дом. Вокруг — чугунная ограда. Меня хорошо встретили. Директор проверил мой паспорт, познакомил с распорядком и предупредил, что не сможет держать меня больше месяца. Администратор попросил заполнить кое-какие бумаги, после чего выдал пижаму, халат и отвёл в комнату.

Здание очень напоминало сельскую больницу. Везде чистота, порядок. В комнатах живут по три-четыре человека. Есть кухня, из удобств — душ и туалет. Персонал: директор, администратор, фельдшер, санитарка, завхоз и сторож. А было нас, бомжей, около сорока.

Ночевал я там в течение месяца.

— Ночевал? — переспросил удивлённый Рамазан Галиевич. — Получается, вы там не жили?

— Не зря же я назвал это заведение ночлежкой. В том-то и дело, что нам разрешалось только ночевать, — с горечью произнёс Мустафа и продолжил. — По утрам все расходились, кто куда: на базар или на заработки. Вечером опять собирались. Те, кому удавалось что-нибудь раздобыть, делились друг с другом перед сном или сами съедали. Готовить на кухне запрещали, но кипятилок было всегда.

Всё бы хорошо, да только ночевать там больше месяца, к сожалению, не полагалось. Директор предупредил меня об этом, как я уже говорил, ещё в самом начале. Можно было разделить этот срок на три части — по десять дней на весну, зиму и осень. Дальше уже нельзя.

В общем, после тубдиспансера я месяц прожил, если можно так сказать, в шакшинской ночлежке. А выйдя оттуда, снова оказался на улице. И всё по новой: холод и голод. Хорошо ещё, что выдали мне напоследок, пусть и неновую, но всё же тёплую одежду.

Куда бы я ни сунулся — на вокзал или в какой-нибудь подъезд — меня отовсюду гнали. Больше недели я так скитался, пока не встретил знакомую пару — Сирая и Нурию. И они, представляете, забрали меня к себе в гости...

Рамазан Галиевич в изумлении уставился на собеседника.

— Да-да, в гости. А жили они в люке на теплотрассе. Откроешь крышку и спускаешься по лесенке. Кубатура невелика: ширина — примерно два с половиной, а длина — три с половиной метра. Только высота побольше будет. Главное, там было тепло, ведь внизу проходят трубы с горячей водой. Хозяйка застелила их сверху старыми досками. Была у них разная утварь — посуда, матрасы с подушками, одеяла. Хоть и старьё, а всё же лучше, чем ничего. Люди добро такое выбрасывают, оставляют возле контейнеров на помойках, не желая держать дома старые вещи или то, что осталось от покойников. А эти подбирают и сносят в свою каморку. У них в “комнате” даже свет был — две керосиновые лампы.

В честь моего прихода хозяйка выставила на ящик, который служил им столом, пару бутылок вина. Ну, мы и выпили, так сказать, за встречу.

И тогда Нурия поведала свою историю.

Она родилась и выросла в деревне, окончила там школу. Поскольку работы в колхозе не было, год прожила на шее матери. Отец спился и умер раньше времени. Ей бы замуж, да не на кого глаз положить. И тогда подалась Нурия за счастьем в Уфу. Ей повезло. Вскоре она обзавелась семьёй. Родила сначала сына, потом дочку. Но постепенно жизнь её пошла кувырком. Стала выпивать. Каждый раз, когда подавала, муж избивал её. Но она всё равно продолжала. И однажды Нурия, на теле которой уже не было живого места от мужних кулаков, плюнула на всё и ушла из дома. Вот так в сорок лет стала она бомжом, то есть человеком без определённого места жительства.

— Рыбак рыбака видит издалека, — вставил своё слово Сирай. — Она сама подошла ко мне, чтобы познакомиться.

— Так оно и было, — подтвердила Нурия. — Я первой с ним заговорила, потому как издалека было видно, кто он. Сирай — тоже деревенский. В Уфу попал так же, как и я: хотел на работу устроиться. Но не смог и уже три года перебивается макулатурой и бутылками. Я рада, что его встретила. Вдвоём полегче. Он, конечно, моложе меня на пять лет. Но мы с ним живём, как муж и жена. Сирай меня не обижает и защищает от других бродяг.

В тот день “застолье” наше затянулось допоздна. Я тоже рассказал им про свою жизнь. Потом Сирай сходил за новой бутылкой, и после того, как её допили, улеглись спать.

Так вот втроём дотянули мы до начала мая. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было счастливое времечко. Жизнь наша была отлажена. Во сколько бы ни ложились спать, рано ли, поздно ли, поднимаемся наутро спозаранку и отправляемся на свою “территорию”. Копаемся в контейнерах и мусорных ящиках, заглядываем под скамейки, обходим подъезды. Бутылок набирается порядочно.

Не каждый пойдёт ночью в ресторан или в кафе, а особенно молодёжь. Где возьмёшь столько денег! Вот и пристраиваются где-нибудь во дворах на скамейках или в подъездах и выпивают. Нам, бомжам, это только на руку. Сколько недоеденной закуски после таких пирушек остаётся: куски хлеба, колбасы, сыра, ну и, само собой, кучи окурков... А самое ценное — пустые бутылки. Это же наш главный заработок, наши денежки!

Мы дожидаемся, когда народ разведется по рабочим местам, и ещё раз “проверяем” контейнеры. Ведь утром туда выбрасывают скопившийся за сутки мусор. Вот мы и рылись в нём, выискивали то, что годится в пищу, и заполняли большие пакеты, в которых до этого относили бутылки в пункт приёма стеклотары. Не пропускали и выброшенные шмотки.

“Почистив” контейнеры, заходили в магазин, покупали водку, дешёвое вино или одеколон и возвращались “домой”. Как придём, принимаемся за

еду, совмещая обед с завтраком. Мечем на “стол” всё, что добыли. Тут тебе и выпивка, и чёрствый хлеб, огрызки булок, и несвежий торт, изюм или подгнившие яблоки... Напробовался я тогда всякой всячины!

Жаль, что недолго это продолжалось. Кончилась наша лафа!

Однажды, когда мы, набив карманы деньгами и одеколоном, а сумки — жратвой, возвращались, как обычно, к себе, за нами увязался один бомж, знакомый Сирая и Нурии. Звали его Кутдус. Он трижды сидел за кражи и драки.

Мы с ним выпили, разбавив водой тройной одеколон. Пойло быстро ударило всем в голову. Языки стали у нас заплетаться, а Кутдус, давно не знавший женской ласки, начал приставать к Нурие. Вначале Сирай ограничился предупреждением. А тот и в ус не дует — продолжает липнуть к его женщине. И утомился лишь после удара кулаком.

От сигаретного дыма в каморке стало совсем душно, и я выбрался наружу, чтобы подышать свежим воздухом. Но не прошло и трёх минут, как из открытого люка выскочила Нурия.

— Там такая резня!.. Разними их, пока не поздно, — бросилась она ко мне.

Пока я соображал, что к чему, снизу показалась голова Сирая.

— Мустафа, помоги мне... — еле проговорил он, протягивая мне руку, в которой держал окровавленный нож. Лицо у него тоже было в крови.

Я насилу выволок тяжёлого, словно битком набитый мешок, Сирая наверх. Выхватив из его руки нож, я отбросил его в сторону.

— Что стряслось? — спрашиваю.

— Слушай, я ведь порешил негодяя...

— Ты с ума сошёл?!

— Я предупредил его раз, другой. Он меня не послушал...

— Что же нам теперь делать?

— Подождём прямо в люке.

— Как тебе такое в голову пришло! — Я был в отчаянии.

— Только так! Пускай там не останется никаких следов. Нурия, спустись, собери что нужно. И не забудь про газеты в углу.

Та послушалась, но тут же пулей вылетела обратно, успев прихватить при этом кипу газет.

Сирай сложил их вместе, поджёг и сбросил вниз... После-этого мы разошлись. Я пошёл в одну сторону, Сирай с Нуриёй — в другую.

Опросив бомжей и хозяев ближайших домов, участковый быстро вышел на наш след. И уже на следующий день нас задержали.

Как выяснилось, Сирай нанёс Кутдусу шесть или семь ножевых ран. И тот сразу же испустил дух. А от сброшенной в люк горячей кипы газет его тело сгорело, но только наполовину.

Когда следователь брал показания у Нурии, та заявила, что я тоже участвовал в убийстве. Эксперты это подтвердили, поскольку на ноже были обнаружены не только отпечатки пальцев Сирая, но и моих. Узнав об этом, я стал клясть себя за то, что взял в руки нож.

“Я ведь только забрал его из руки Сирая”, — оправдывался я. Но мне не поверили. А Нурия упорно настаивала на своём. Видно, думала, что так ей удастся скостить её сожителю срок. Вот дура баба! Не соображала, что групповое преступление карается гораздо строже.

На суд явилось столько народу, что не всем хватило места. Мы даже подумали было, уж не весь ли город собирался! Оказывается, недавно в газете был напечатан материал “Пожар в люке”. Об этом мне рассказали чуть позже. Автором был всё тот же журналюга, который когда-то ослабил меня в своей статье “Кто сидит в СИЗО?” Хоть бы раз встретился с нами, поговорил бы!.. Так ведь нет, не посчитал нужным. А сведения ему дал, скорее всего, следователь.

Как и в тот раз, его статья сильно повлияла на решение суда. В те времена газетное слово имело почти такую же силу, что и закон. И приговор был очень суровым. Нам с Сираем дали по пятнадцать, а Нурие — восемь лет.

Прервавшись, Мустафа взялся за сигарету и не спеша чиркнул зажигалкой. Рамазан Галиевич тоже приготовился закурить.

После перекура Мустафа раскрыл было рот, чтобы продолжить свой рассказ, но Тимерханов опередил его, спросив:

— Постойте, а на апелляцию подавать не пробовали?

— Пробовал, да какой толк? Решение суда менять не стали. Ещё бы! Убийство, совершенное с особой жестокостью. И потом, кому это надо — возиться из-за какого-то бомжа! Небось, только рады были упечь меня в тюрьму, чтобы одним бродягой в городе меньше стало. Ничегошеньки в мою пользу, зато свидетели обвинения были.

— И куда же вас определили?

— В Салават, в четвёрку — в четвёртую колонию особого режима. А куда отправили Сирая и Нурию, не знаю.

— Что это за колония?

— Для особо опасных преступников: убийц, бандитов, террористов и рецидивистов... В общем, для самых отъявленных злодеев.

— Вай, вай!.. Невинного человека — да в такой ад! — в волнении воскликнул Тимерханов и нервно забарабанил пальцами по столу. — Какой ужас! И вас продержали там целых пятнадцать лет?!

— А как же иначе?..

— Говорят, за примерное поведение иногда сокращают срок...

— Бывает, идут на ослабление режима за хорошие трудовые показатели, за активное участие в общественной работе... Только это не мой случай. Вы ведь уже поняли, что я невезучий по жизни. Неудачник. Да и, честно говоря, не очень-то я стремился на свободу.

— Почему?

— Сами подумайте, что меня ждало на воле. Опять в бомжи? Бродить в лохмотьях в поисках еды, вызывая у нормальных людей отвращение? А тут тебе и крыша над головой, и постель, и кормёжка. Пусть не досыта, но с голоду умереть там не дадут. Хлеб есть, каши — пшёнка, перловка да овсянка, салаты, суп из рыбных консервов или щи. Хотя, конечно, тюрьма есть тюрьма. И каждый привыкает к ней по-своему. Разный там народ. И не только закоренелые злодеи. Встречаются и кающиеся грешники, и сломленные. А что я? Никаких привязанностей — ни семьи, ни детей, ни хозяйства. Какая мне разница, где жить. Зона — дело для меня привычное. В первый срок меня от всего воротило, а за следующие пять лет прошёл “закалку”. Так что я быстро освоился в грязной, душной и вонючей камере, свыкся с атмосферой злобы, коварства, жестокости и беспредела.

— Даже представить себе страшно, чего вы там за пятнадцать лет потерпелись.

— Ну, что вам сказать... Испытание было, конечно, слишком суровое. В камере, где нас было десятка три-четыре, приходилось жить бок о бок со всякими. И не только общаться, но и дружить. Если записать все их прозвища, тетради не хватит. Не каждый поймёт, что они означают. Попробуй-ка угадать, что такое “вертухай”, “шнифер”, “маровихер”, “скокар”, “елды”, “халамадник”, “пустяник”, “брус”... Одного зовут петухом, другого — бакланом, третьего — дергачом. На зоне так проще общаться. Только я отказался от клички. “Не сердитесь, — сказал. — Мне моя вера не позволяет”. Да уж, повидал я там, одним словом, немало. Всё было — и драки, и убийства, и изнасилования. Ну, и парочки, само собой, были... Не понаслышке знаю, кто такие опущенные. Я уж не буду рассказывать вам подробности, Рамазан Галиевич. Не хочется вспоминать. Да вы наверняка и сами знаете, какая у экзотов жизнь. Сейчас об этом много пишут в газетах и журналах, по телевизору и в кино показывают.

— Да, я в курсе... Ну, а что было потом, когда освободились?

— Видите ли, примерно за год до освобождения случилось со мной непредвиденное. Дело в том, что на зоне разрешается переписка. Мне этим правом воспользоваться не довелось. Но как-то раз вручили письмо. Кому адресовано, непонятно. Конверт, как водится, вскрыт. Достал я, значит, письмо и читаю: “Товарищ! Пишет вам незнакомая женщина. Я не думаю, что

в тюрьме сидят одни лишь отпетые преступники. Среди вас должны быть и хорошие люди. Мне сорок пять лет. Я одинока и бездетна. Есть у меня дом и сад. Если после освобождения вам некуда идти, приезжайте ко мне. Познакомимся. Адрес на конверте. Малика”.

Позже я узнал, почему это письмо без адресата вручили именно мне. Так распорядился начальник. Он сказал: “Передайте осужденному Мустафе Каримову. Ему некуда идти”.

Я решил ей ответить. Подробно описал, как сюда попал. Поблагодарил за доверие и приглашение. В конверт вложил свою старую фотокарточку. И вскоре получил ответное письмо.

Так завязалась наша переписка. Когда до окончания срока оставался месяц, Малика написала мне: “Можно с вами повидаться?” Я призадумался. В общем и целом провёл я за решёткой двадцать два года. Чего только за эти годы не испытал! Возникли проблемы с сердцем. И выгляжу я чуть ли не двадцать лет старше. Словом, испугался, что не приглянусь ей, и ответил: “К сожалению, посторонних на зону не пускают. Через месяц приеду сам”.

— Ну, и как прошла ваша встреча? — бодро спросил Рамазан Галиевич и отпил пива. — Расскажите.

— Значит так. Вышел я на волю и напрямик отправился к Малике в Нижегородку. К счастью, она оказалась дома. Это была среднего роста полноватая женщина с круглым лицом. Чёрные волосы с проседью. Мы очень сдержанно поздоровались. От смущения Малика сначала не знала, как себя вести, потом пригласила меня в комнату, а сама пошла готовить чай. Я достал гостинцы. За столом познакомились поближе. Она рассказала мне про свою жизнь, я — про свою. Замужем Малика никогда не была. Выросла в семье единственной дочерью. Когда родители умерли, осталась в этом доме одна. После окончания училища устроилась поблизости в школу поваром. И сейчас там работает. А когда я спросил у неё, почему не вышла замуж, отшутилась: мол, никто на неё внимания не обращал. Я уж не стал допытываться.

После чая вышел покурить. В голову лезли всякие мысли. Я признался себе, что Малика мне не очень понравилась. Какая-то чужая. Но подумал, что, может быть, постепенно привыкну к ней. Прошёлся по двору. Дом у Малики был небольшой, одноэтажный. Крыт шифером и до того старым, что начал уже зеленеть. Осмотрел я баньку, сарайчик и потемневший дощатый туалет.

Пока ходил, ломал голову. Что же мне делать? Остаться или уйти? А идти-то некуда. И решил попробовать: если Малика согласится, останусь у неё. А там посмотрим. Но, как потом выяснилось, тревожился я понапрасну. Малика не стала скрывать, что приняла меня сразу. Так мы начали с ней жить. А через полгода, привыкнув друг к другу, расписались. Жена прописала меня у себя и помогла устроиться в школу, где сама работала, охранником. На другое я не годился.

Тогда-то, чуть ли не впервые, почувствовал я вкус к жизни. С женой мне повезло. Малика оказалась милой, доброй, сдержанной женщиной, хорошей хозяйкой. Со мной вела себя уважительно, всегда была приветлива. Может быть, именно за эти качества я и полюбил её. Мне захотелось жить полноценной жизнью. За два года нам удалось многое сделать по хозяйству: покрыть дом жестяной кровлей, заменить старый сарай и туалет на новые, подремонтировать баню, обтянуть ограду новой сеткой. Поскольку я был ночным сторожем, днём мог сколько угодно заниматься садом. Растил овощи, зелень, ягоды.

Сам не заметил, как пролетели восемь лет. И хотя здоровьем своим похвастаться не могу, за эти годы я узнал, что такое настоящее счастье. Да вот только недолго оно продлилось.

— Как же так?

— Видите ли, через восемь лет нашей совместной жизни Малика трагически погибла.

— Ничего себе! А что случилось?

— Как-то поехала она в выходные в Сипайлово на рынок, чтобы купить себе сапожки. На обратном пути села в “Газель” рядом с водителем. А вы

ведь знаете, какие лихачи эти водители маршруток. Уже на спуске к Нижегородке их микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли три пассажира. И среди них — Малика.

— Нда... — задумчиво промолвил Рамазан Галиевич, покачав головой. — Какой ужас!

— Уже скоро год, как я живу один.

— Не думали ещё раз жениться?

— О чём вы говорите?! Я сам кое-как держусь. Когда Малики не стало, сердце совсем из строя вышло.

После этого наступила длинная пауза. Рамазан Галиевич с рассеянным видом зажгёт сигарету и поднёс её ко рту. Вслед за ним закурил Мустафа.

— Именно эту историю вы мне и хотели рассказать? — спросил после пары затяжек Тимерханов.

— Именно.

— А как сложилась судьба у Гульсии? Вам известно о ней хоть что-нибудь?

— Немного. Лет пять тому назад встретил я как-то случайно на улице одного земляка. От него узнал, что Гульсия разошлась с мужем, когда я ещё первый срок мотал, и уехала в Сибирь. Вот и всё, с тех пор о ней — ни слуху ни духу. А Раис женился на другой, — сказал Мустафа и, вдруг оживившись, выдал: — Да, кстати. Я ведь выведал фамилию того самого журналиста. Так и хочется пойти к нему и плюнуть прямо в лицо.

— А как узнали-то?

— Пошёл в республиканскую библиотеку, просмотрел подшивки старых газет за те годы, нашёл и записал. Зовут его Галимьян Курманаев.

— А?! — Рамазана Галиевича будто громом поразило.

— Что это с вами? Вы его знаете?

— Да нет... Но фамилия мне вроде бы знакома.

Мустафа вполне удовлетворился его ответом и, отложив сигарету, поднял кружку.

— Давайте-ка допьём наше пиво, — предложил он. Поговорив ещё немного, мужчины засобирались домой.

Когда они, расплатившись с Азалией, выходили на улицу, Тимерханову пришла неожиданная мысль.

— Мустафа Усманович, — обратился он к спутнику. — Можно я вас провожу?

— До Нижегородки, что ли?

— А почему бы и нет?

— Ну что вы, Рамазан Галиевич. Не стоит беспокоиться. Я сам доеду.

— Я не шучу. Вы рассказали про свою жизнь, и мне захотелось взглянуть на ваш дом. Пойдёмте на стоянку. Вон таксисты нас ждут...

— Пускай ждут. Зачем деньги на ветер бросать...

— Ладно, ладно, Мустафа Усманович, это мои проблемы, — по-дружески похлопал его по плечу Тимерханов.

Вскоре они подошли к стоящим впереди “Жигулям”, сели и уехали.

Примерно через месяц после их последней встречи, в понедельник, в кабинет к Тимерханову заглянул Гали Курманай.

— Здравствуйте, Рамазан Галиевич. Как поживаете?

— Нормально, — сухо ответил тот на приветствие.

— Вот, пришёл за буклетами. Говорят, они были готовы ещё на той неделе. А вы почему-то меня не известили.

— Понимаете, тут такая суета. Совсем запарился. Главное — буклеты уже есть...

— Есть-то есть, да мне не терпится взглянуть.

Рамазан Галиевич потянулся за свёртком на соседнем столе, достал оттуда один буклет, молча протянул его Курманаеву и уставился в лежащую перед ним бумагу.

Гали Курманай, даже не присев, принялся внимательно его изучать.

— Отлично! — заключил он с довольным видом, закончив, и положил буклет на стол. — Даже не ожидал, что так здорово получится. Удачный макет, спасибо. Я могу взять часть?

— Забирайте хоть всю пачку.

Гали Курманай с недоумением посмотрел на консультанта.

— Рамазан Галиевич, что с вами? Вы сегодня не такой, как обычно. Случилось что-нибудь?

— Я же вам сказал — очень много работы. Такая запарка! — откликнулся Тимерханов, стараясь не встречаться с ним взглядом.

— Понимаю, тогда не буду вас больше отвлекать, — заторопился Курманаев. — Дайте мне мою долю, и я пойду.

Но Рамазан Галиевич решил удержать его.

— Гали-агай, присядьте, пожалуйста. У меня есть к вам один вопрос.

Тот послушно сел.

— Фамилия “Каримов” вам ни о чём не говорит?

— Да как сказать... — растерянно пожал плечами Курманай, сиюсья вспомнить. — Каримовых много. Кого конкретно вы имеете в виду?

— Мустафу Усмановича Каримова.

— Мустафа, Мустафа... Вроде припоминаю.

— Лет тридцать тому назад вышла статья “Кто сидит в СИЗО?”. Вы её автор?

— Да, да, вспомнил. Было такое дело. А зачем вы спрашиваете?

— Зачем спрашиваю, говорите... Насколько мне известно, вы занимались сельскохозяйственными темами.

— Верно. Ну, и что?

— А зачем же тогда взялись за криминал? И почему выбрали именно СИЗО?

— Так решил редактор. Гатауллин, который писал на эти темы, был тогда в отпуске. Вот мне и поручили сходить в следственный изолятор и срочно подготовить материал.

— А вы не поинтересовались, почему так срочно?

— Конечно. Редактора попросил об этом его знакомый прокурор по фамилии Ямалов. Сказал, что мы уделяем мало внимания работе правоохранительных органов и проблеме преступности.

— Почему же вы выбрали именно Мустафу Каримова?

— Редактор велел. Он дал мне конкретное указание, назвал фамилию.

— Ну, а статью “Пожар в люке” помните?

— Помню.

— Хотите сказать, её вы тоже по заданию редактора написали?

— Естественно! Он вызвал меня к себе и сказал: “Звонил прокурор Ямалов. Оказывается, тот самый Мустафа Каримов, про которого ты писал, совершил ещё одно преступление. Да пострашнее первого. Он зверски убил и сжёг человека. Немедленно отправляйся за материалом”. Не моя это тема, но что поделаешь. Как говорится, хозяин — барин...

— Вы хоть встречались с тем преступником, побеседовали с ним?

— Нет, меня к нему не пустили. А сведения дал следователь, который вёл его дело.

— Получается, что вы, когда писали свою статью, опирались только на них?

— Да. Но я не понимаю, зачем вы затеяли этот разговор, вспомнили про давнишние мои статьи.

Рамазан Галиевич проигнорировал этот вопрос. Он протянул Курманаю свёрток с буклетами и сказал:

— Забирайте всю пачку. Вы же сами за них заплатили.

— А себе разве не оставите?

— Это не обязательно.

Вконец растерявшийся Гали Курманай нерешительно поднялся со стула, постоял немного и двинулся к выходу. Остановившись перед дверью, он обернулся.

— Чуть не забыл, Рамазан Галиевич. Я решил отпраздновать свой юбилей в ресторане “Батыр”. В эту пятницу, начало — в 17 часов. Приглашенный занесу в четверг. Если вас не будет на месте, машинистке оставлю. Приходите вдвоём с килен. Только не опаздывайте. Ладно? До свидания!

— До свидания!

Кое-как дождавшись, когда посетитель выйдет, Тимерханов порывисто вскочил с места и в волнении стал шагать по кабинету туда-сюда. “Вот тебе и Гали Курманай, наш уважаемый писатель!” Рамазан Галиевич просто не мог в этой ситуации обойтись без сигареты и отправился во внутренний дворик, продолжая переваривать свои впечатления. “Зачем ему было братья за чужую тему? А уж коли взялся, надо было хорошенько изучить материал. Подумал бы, как отзовутся его статьи на судьбе обвиняемого. Они ведь и в самом деле повлияли на решение суда, отправившего за решётку совершенно безвинного человека, причём дважды...”

Размышляя таким образом, Рамазан Галиевич вдруг спохватился: а куда пропал Мустафа? Почему столько времени не звонит? Я бы сам позвонил, да у него нет телефона. Надо будет съездить к нему, как только освобожусь немного. Где-то в конце недели.

Приняв решение, Тимерханов докурил сигарету и вернулся в кабинет.

В пятницу, во время обеденного перерыва, Рамазан Галиевич сел в маршрутку и доехал до остановки, находившейся недалеко от того места, где проживал Мустафа. А вот и его дом с жестяной крышей. Месяц тому назад Тимерханов довёз сюда Каримова на такси. Тот пригласил его в дом. Приятели поговорили за столом, чаю попили. Потом Рамазан Галиевич уехал...

Калитка оказалась запертой. Тимерханов долго стучался, но никто так и не откликнулся. Тогда он попробовал позвать хозяина, и на его зов из дома напротив вышла пожилая женщина.

— Вы к Мустафе? — спросила она. — Да.

— Так его нет.

— А где он?

— Мустафа умер. Уже полмесяца прошло.

— Умер?!.. — вскрикнул Рамазан Галиевич.

— От инсульта. Свалился прямо у себя во дворе. Я это дело увидела и вызвала “скорую”. Только вот спасти не смогли. Через пару часов, после того как в больницу привезли, скончался.

— Где его похоронили?

— Кто знает... Близких у него не было. А таких, как он, морг вроде бы сам хоронит.

Вне себя от потрясения, Рамазан Галиевич вернулся на остановку и вскоре уехал. Выйдя из автобуса, он пошёл в столовую, чтобы пообедать. Но в таком состоянии кусок в горло не лез.

После обеда Тимерханов направился к месту работы, но поднялся к себе не сразу. Он зашёл во внутренний дворик и пробыл там достаточно долго. Рамазан Галиевич никак не мог прийти в себя от оглушительной новости. В голове роились разные мысли и образы. Он видел перед собой лицо Мустафы, вспоминал эпизоды из его рассказа. И потом, пройдя в кабинет, был не в состоянии на чём-либо сосредоточиться. Так и просидел два часа кряду в оцепенении за столом. А когда опомнился, забрал у машинистки оставленное для него накануне приглашение и покинул здание Союза.

Доехав на трамвае до Центрального рынка, он пошёл не направо, в сторону своего дома, а к подземному переходу, решив навеститься в “Уньш”. Войдя в кафе, Тимерханов напрямик направился к четвёртому столу, за которым в последний раз сидел вместе с Мустафой. Заметив его, подоспела официантка Азалия.

— Здравствуйте, Рамазан Галиевич, как поживаете?

— Спасибо, милая, хорошо.

— Что-то вид у вас нездоровый. Приболели?

— Да нет. Я с работы. Устал немного.

— Будете пить своё любимое пиво?

— Как обычно.

— Закажете на двоих? Ваш друг, наверное, тоже скоро подойдёт. Уж больно долго вы с ним в тот раз сидели.

— Да, да. Принеси парочку, — машинально сказал Тимерханов.

Азалия появилась через несколько минут, принесла на подносе две кружки пива и тарелочку с копчёной рыбой.

— Вот ваш заказ, пожалуйста.

— Спасибо, родная!

Как только официантка отошла, Рамазан Галиевич взял вилку, хотел по обыкновению протереть её, но вазочка для салфеток оказалась пустой. И тогда он достал из кармана чистый носовой платок. А вместе с ним выпал пригласительный билет. Тимерханов нагнулся, поднял его с пола, скомкал и, поскольку урны поблизости не оказалось, вынужден был сунуть его обратно в карман. Посмотрев на часы, он сказал себе, что банкет по случаю семидесятилетия Гали Курманая начался уже около часа тому назад.

Рамазан Галиевич долго не сводил глаз с кружек, стоявших перед ним. Через некоторое время он поднял одну из них и, глядя на другую, проговорил вполголоса: “Ну, ладно, Мустафа, пусть земля тебе будет пухом, а душа успокоится и блаженствует в раю...”

Перевод с башкирского Гузэль Хамматовой.

ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ



А Я ПОДОЖДУ...

СТАРШИЙ БРАТ

*Памяти сестры Лидии
и брата Валерия*

Пью из гранёного стакана
И поминальную пою
О том, как три политикана
Украли родину мою.

Не подавились за кордоном,
Когда отрезали ломоть
Моей земли с крестовым домом,
Моей родовой кровь и плоть.

Своих границ нагородили,
Порвав державу на куски.
Возликовали, зачудили
Новопрестольные царьки.

БОЯРИНОВ Владимир Георгиевич родился в 1948 году на Алтае в селе Солдатово Восточно-Казахстанской области. Учился в Томском политехническом институте. В 1968 году в газете "Томский комсомолец" появилась дебютная подборка стихотворений. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в издательствах "Современник", "Советская Россия", "Столица", "Ключ". Автор многих книг и журнальных публикаций. Председатель правления Московской городской организации Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. В 2012 г. награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

Не вдруг звезда с Кремля упала.
В краю, украденном вчера,
Не вдруг сестра моя пропала —
Пропала без вести сестра.

Забили вусмерть, загнобили,
Промыли косточки стократ —
В семипалатинской могиле
Обрёл покой любимый брат.

Как атом потрясал мандатом
На право жить и умирать,
Так здесь пугают старшим братом
Ополоумевшую рать.

Где наш орёл в державных высях
Нисходит по кругам утрат,
Я на плите могильной высек
Всего два слова:

“Старший брат”.

* * *

Вот они: лес и купава,
Где похоронена мать.
Глянул — и сердце упало!
Некому сердце поднять.

Долго ли будет пылиться?
Долго ли будет пылать?
Долго ли будет томиться:
Где похоронена мать?

Вот они: лес и купава,
Вот и сосновая рать.
Где моё сердце упало —
Там похоронена мать.

ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Белит комнату мама.
Белизна потолка
И белее тумана,
И белей молока.

Как под тем небосклоном
Перепёлка поёт.
Как над тем полигоном
Гриб из пекла встаёт.

Это вам не вполсилы
Целину поднимать,
Это вам не тротилы —
Это кузькина мать!

На шальные просторы
Вырывается дрожь.
Прямо к сусликам в норы
Осыпается рожь.

Клочья атомной пены
Суховой поволок.
Осыпаются стены,
И трещит потолок.

Белит комнату мама.
Белизна потолка
И белее тумана,
И белей молока.

Не промолвит ни слова
И не станет корить —
Прослезится и снова
Начинает белить.

— Что ты делаешь, мама?
— Потолочек белю.
— Что ты делаешь, мама?
— Христа ради терплю...

ЗАСТУПНИЦА

Я бегу. Полки разбиты.
Отступая налегке,
Укрываюсь от обиды
На заветном чердаке.

Здесь ветра свистят, как черти;
Здесь уже который год
После бабушкиной смерти
Богородица живёт.

Мы давно уже знакомы,
И, похожестью маня,
Всё глядит она с иконы,
Словно бабушка моя.

Пусть она меня в обиду,
Словно бабушка, не даст;
Пусть рассердится для виду
И прикрикнет: “Вот я вас!..”

ГРИШКА МЕЛИХОВ

Как лозняк, чихвостил Гришка
Беляков и коммунык.
“Сабли наголо — и крышка!” —
Приговаривал казак.

А без куража и риска
Разве станешь казаком?
Вот вопрос: каким бы Гришка
Оказался стариком?

Он, хлебнув с избытком лиха,
Снова бы не задурил?
Он сидел бы тихо-тихо
И махорочку курил?

Стал похожим бы на зайца
С переливом в седину?

Чтоб таким не оказаться,
Он и сгинул на Дону.

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Стародавнему сказанью
Нет начала и конца.
Едет поезд под Рязанью,
Кто-то машет мне с крыльца.

Мы не знаем, не гадаем,
Но и через триста лет
Стенька Разин и Гагарин
Нам ещё помашут вслед.

Я ПОДОЖДУ

Звезда сорвалась и разбилась в осколки,
В крещенскую стужу алтайские волки
Отпели звезду.
Промёрзли кристальные млечные воды,
Свернули мережи кипучие годы,
А я подожду.

В глухой полынье утопилась удача,
Терпенье моё захлебнулось от плача
У всех на виду.
А счастье в соседнем дурдоме хохочет,
Всерьёз о кладбищенской доле хлопочет,
Но я подожду.

Любимая, если ты не заблудилась
И сердце в осколки ещё не разбилось,
Не смёрзлось во льду, —
Ты вспомни, как мы в полынью угодили,
Как медленно сани под лёд уходили, —
Ты вспомни, ты вспомни,
А я подожду.

Уходит ли время, уходим ли сами,
Как наши крылатые с песнями сани
Ушли на беду, —
Никто на стенания не отзовется,
Сквозь наши бураны никто не пробьётся...
Но я подожду.

АПОФЕОЗ

Художник беспощаден
И дерзок без вины:
Василий Верещагин.
“Апофеоз войны”.

Нет, не были ошибкой
От родины вдали
И “Скобелев под Шипкой”,
И горькое “Вошли”.

От всех других отличен
Несхожестью лица,
Он не реалистичен,
Он честен до конца!

Хвала и честь герою
Бессмертного полка
За правду, что порою
Бывает так горька!

РИСТАЛИЩА

Ристалища краеугольных вопросов
От первых зарниц и знамений красны:
— К барьеру! — кричали наследники россов.
— К чертям! — отвечали с донецких откосов.
— Опомнись, Шевченко! —
— Уймись, Ломоносов!
— Пресны ваши слёзы и вирши квасны!

Чернобыль распростёрся над сватом и братом.
Гори-догорай, горевая заря!
Кто семипалатинской выпечки атом
Пронёс втихаря по украинским хатам,
Хлеб-соль преломил и покрыл его матом?
Ищите-свищите того кобзаря!

Гори-догорай, горевая лучина!
Примолкли соседи, друзья не спасут.
Одним — от лампы.
Другим — триедино.
Молись, Мать-Россия!
Дивись, Украина! —
Славяне на Страшный собираются суд!

РОМАН СЕНЧИН



НА НОВОМ МЕСТЕ

РАССКАЗ

Из книги “Зона затопления”

В квартире Алексей Брюханов не курил. По осени, до морозов, выходил на лоджию, жался там на свободном пятачке в окружении коробок и мешков, торопливо вызобывал сигарету, давил окурочок в старой кружке, заменяющей пепельницу. Возвращаясь в комнату, натёкался на недовольные взгляды жены или дочери.

Однажды жена не выдержала:

— Дует, как в трубу прямо. Простынем ведь. И ты простынешь — в рубахе вон...

Алексей не стал спорить, просто, когда снова захотелось курить, отправился с кружкой на площадку.

Постоял, соображая, где бы лучше пристроиться. У двери не надо: что толку, что вышел, — всё обратно в квартиру затаянет. Да и соседские двери рядом. Дальше — мусоропровод, но напротив него — лифт. Тоже неудобно. Вышел на лестницу. Поставил кружку на ступеньку, сел рядом. Достал сигарету, щёлкнул зажигалкой.

Бетонная ступенька покалывала холодом. “Надо бы плашечку подложить. Хм, но её сперва найти надо”.

Присел на корточки, посмотрел в окно. Окно было мутное, видно мало что. Тем более седьмой этаж. Но если даже подняться и подойти к стеклу,

СЕНЧИН Роман Валерьевич родился в 1972 году в городе Кызыл Тувинской АССР. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые публикации в Москве — в журнале “Наш современник”. Автор романов “Минус”, “Нубук”, “Ёлтышевы”, “Информация”, сборников рассказов “Иджим”, “День без числа”, “Абсолютное соло” и др. Живёт в Москве.

то и тогда ничего интересного не увидишь: внизу — лента улицы Маяковского, напротив — обшитые сайдингом двухэтажные бараки-деревяшки. За деревяшками пятиэтажные дома...

В деревяшках живут, в основном, семьи тех, кто первым приехал сюда готовить место под электростанцию. В пятиэтажках — семьи специалистов, служащих. А им вот, как их тут прозвали, — утопленникам — отгрохали девятиэтажный дом. И не один... Ясно, что переселенцев в Колпинске не очень-то любили. Им, дескать, лучшее, для них создают или выскивают рабочие места, по их жалобам пытаются принять решения хоть и не в срочном порядке, но в первую очередь. И это за счёт уменьшения внимания к тем, кто родился здесь или живёт десять-двадцать лет. Гниль деревяшек прикрывали, и вроде всё в порядке...

Не раз Брюханов слышал от разного рода начальников, обращённое местным: “У меня переселенцы!” Мол, не до вас сейчас...

Хм, а переселенцам он говорил наоборот: “У меня с местными проблем по горло!” Удобная тактика, конечно...

Брюхановым повезло. Алексей без большого напряжения нашёл работу электромонтёра на Колпинском лесоперерабатывающем комплексе. Жена Елена, которая в деревне не работала лет пять (негде было!), здесь устроилась в строймаркет “Фортуна” кассиром торгового зала.

Дочь перешла в седьмой класс, и с ней оказалось четверо ребят из родной школы в Пылёве. Так что не шибко-то тяжело было втягиваться... Хотя... что значит “не шибко тяжело”, “повезло”...

Искусственный город, возникший из-за ГЭС, на высоком неудобном месте вдалеке от реки, от тайги. Стоит на голом взлобке, открытом всем ветрам. Не чувствуешь здесь защиты гор, деревьев, что была в деревне. Деревни ставили в укромных местах, спокойных, удобных. Подолгу, годами, выбирали, изучали места, где лучше поселиться, а если понимали, что ошиблись, переносили срубы. А как тут? Девятиэтажки не перенесёшь.

Сколько по Сибири понастроено в последние полвека городов, посёлков, и сколько брошено. Стоят теперь в болотах, в тундре облупившиеся многоэтажные дома, ржавеют трубы котельных, скрипят качели на детских площадках, обваливаются памятники, крошится асфальт тротуаров. И такая стоит тишина, какой и в самой глухой тайге не услышишь; а если зазвенит где висящий на последнем гвозде лист жести, то станет ещё тошнее...

А ведь когда-то думали, что селятся там навсегда, обживая дикое место, убеждали себя, что необходимо именно здесь работать для Родины, что в их-то городке будет всё справедливо, по уму и по совести, со смыслом. Не как у других.

Но кончился деловой лес, иссякло золото, не нужен стал асбест, или кобальт, или уголь, ошиблись в богатстве залежей нефти, поменялись планы военных, и городок становился лишним... И прекращал своё существование.

Алексей был уверен, что рано или поздно то же произойдёт и с Колпинском. Сейчас он растёт, бухнет, как огурец в горящем парнике, но вот прогорит нажём, и огурец на холодном воздухе скукожится, зачихнет... Уже идут обсуждения, куда девать все эти тысячи рабочих, занятые на строительстве электростанции. Куда их потом деть, чем занять...

Кто-то будет строить алюминиевый завод неподалёку, кто-то переедет ниже по реке воздвигать новую станцию, новую “гидру”, как здесь говорят. Кто-то вернётся на малую родину, а остальные? То большинство, что пустило здесь корни, у кого здесь родились дети, кто устал мотаться по стране?

Тот лесоперерабатывающий комплекс, куда устроился Алексей, создали два года назад специально для того, чтобы людям, в основном переселенцам, было где работать, и на самом деле он был убыточным, по крайней мере, пока... Сначала, услышав про это, Алексей не поверил, а через какое-то время, когда рабочие стали возмущаться задержкой зарплаты, им объяснили, что они такие и чего стоит их труд.

— Из милости, получается, работаем, — усмехались мужики после собрания. — Пустоту делать поставили, чтоб чем-нибудь занимались.

Это людей, конечно, оскорбило, труд потерял смысл, и многие собрались увольняться. Исккали, куда бы перейти, и не нашли. Город был перегружен населением, почти четверть взрослых сидела на пособиях.

— Советовали в Железногорск ехать — у меня ж техникум! А я, дурак, — “родина, родина”, — жалел теперь Дания Заборцев, молодой женатый парень, уроженец деревеньки Косой Бык. — В Железногорске, говорят, с работой приемлемо.

— Угу, приемлемо, — отвечали ему. — Забастовки там.

— Да это не в нашем Железногорске! В Иркутском. В нашем всё чикипуки: закрытый город, льготы, внимание.

— Вот именно — закрытый. Туда не каждого пустят.

Дания от этого замечания сразу приосанился и ответил:

— Я и есть не каждый. Меня для этого четыре года учили. — Но тут же его плечи снова повисли. — А вот приходится... Жена всего затыркала: денег мало, сама без работы, квартира, как картонка... И соседи всё собачатся.

— А кто соседи? — спросил Брюханов.

— Устряловы. Димка с Маринкой. Из Большакова. Не знаешь?

Брюханов пожал плечами: может, и знал, но не помнил сейчас.

— Ребёнок у них, года три. А сами вот-вот разведутся. Всё к тому...

Да и мы с Анькой на грани... Бляха, детей жалко.

Брюханов сочувствующе качал головой, а сам думал о своей семье.

У них тоже трещина за трещиной. Без криков, скандалов, медленно, но явно разваливается семья. Там, в деревне, случались разные ситуации, переживали сложные периоды, но были одним целым: муж, жена, дочка. А здесь всё сильнее разделяются на трёх отдельных людей. По вечерам и в выходные томятся в этой квартирке, раздражают друг друга, друг другу мешают.

Ещё недавно Алексей жалел, что нет у него сына, сейчас же не то чтобы радовался этому, а с каким-то трусливым чувством представлял, что бы было, если бы у них было двое, трое, четверо детей. И дело не в двух комнатах — их могло бы быть и четыре, но всё равно тесно, неудобно, неудобно. Так бы слонялись из угла в угол или таращились тупо в телевизор. Только не втроём, а вчетвером, впятером.

На родине, в Пылёве, большую часть времени семья проводила на воздухе; даже зимой находились дела во дворе. Ребятишки по полдня играли на промерзшей до дна пабереге — есть не загонишь. Здесь же оказались словно заперты в квартире, и, главное, покидать её не хотелось. На работу, в школу отправлялись через силу; долго собирались, проверяли, не забыли ли чего, всячески оттягивали момент выхода за дверь, вызова лифта... И не то чтобы город пугал, но неприятно, неловко, нехорошо было там. А в квартире тесно, муторно... “Привыкнем, — успокаивал-заклинал себя Брюханов. — Привыкнем”.

Но вот минул почти год, как переехали, а что-то не привыкалось. Наоборот, тоска только росла, всё больше царапала. Самое страшное — всем троим снилось и снилось их Пылёво. А уж сны не закажешь, не выберешь, нежелательные не остановишь. Не переключишь на другое, как канал телевизора... И после таких ночей просыпались бессильные, усталые, будто высосанные...

Дочка после школы скорей возвращалась домой, сидела на диване без дела. Просила купить компьютер, провести интернет.

— Ну, хоть немного освоимся тут и купим, — отвечала жена. — Тебе тахту кушить надо, а то эта кровать — гамак какой-то уже... Надо было ту бабушкину забрать...

— Мне и так удобно.

— Удобно! Стулой станешь, как Настя Бакова, и что делать с тобой?.. Вообще ничего не хватает. — Елена начинала оглядываться. — Чегохватишься — нет. Говорила же, а мне: “Да там купим, дешевле купить, чем везти”.

Алексей понимал, что упрёки относятся к нему, но отмалчивался. Действительно, это он настоял не брать с собой лишнего, а теперь как раз этого-то и недоставало. И купить — то денег не хватает, то попросту нет в магазинах. Но, с другой стороны, куда тут всё влезет?.. Зато представлявшееся нужным, важным оказалось на новом месте громоздким хламом.

Кое-как придали квартире жилой вид, но лоджия всё забита — даже в солнечную погоду, если свет не включать, в большой комнате сумрак. И ни сарая, ни чердака... Добивались тут, чтоб в подвал пустили.

— Подвал технический, — ответили в ЖЭКе, — для складирования не предназначен.

И как хочешь, так и распахивай весь эт скарб! Поэтому и бросали, оставляли многое из того, что вроде как бы и не особенно нужно. К тому же, хоть и подсознательно, было желание начать жить в городе с чистого листа. Если уж оказались в городе, то и квартиру обставить по-городскому. Поэтому приходилось покупать то одно, то другое...

— У вас же в школе компьютеры есть, — вспоминал Алексей.

— Не хочу в школе.

— Ну, в деревне в школе сидела, домой не дозовёшься.

— А тут не хочу.

— Что, — старался угадать Алексей, — дразнят тебя, что ли?

Вполне могли дразнить, подшучивать. Во-первых, новенькая, а во-вторых, из другого мира. Вроде тот же район, но разница большая между городом и деревенькой за триста с лишним километров вверх по реке. Даже язык отличается. Алексей не раз, сказав привычное слово, ловил на себе недоумённо-насмешливые взгляды некоторых колшинцев. Иногда просили объяснить, что значит, к примеру, “каржавеет”, “подкурни”, и он не сразу находил слова, близкие по значению:

— Ну как... каржавеет, это... ну, грязнеет... Не грязнеет, а пылью покрывается... Такой, как коркой... Подкурни?... Это так вот, пригнувшись, пройти... снизу...

В деревне часто нужно было говорить быстро и коротко, чтобы одно слово заменяло собой несколько. Разгружают кузов леса, и нужно предупредить кого-нибудь, что сейчас его может задеть стволом, вот и кричишь: “Подкурни!” И тот, стоя спиной, нагибается, делает шаг в сторону. Крикнешь: “Пригнись!” — пригнётся, но не отшагнет, и вполне может прилететь по затылку... Или висит бельё во дворе, а соседи за забором что-то трясут — пыль столбом. А может, вихрь налетел. Вбегаешь в избу и говоришь жене: “Постирушки снимай — закаржавеют!” И жене всё становится понятно.

И вот, допустим, сказала дочь незнакомое остальным ребятам слово, и её начали поддразнивать, подшучивать, кличку какую-нибудь прилепили. “Каржава”, “Подкурка”, “Шляча”...

— Да никто не дразнит, — отводила глаза дочка. — Не хочу просто. Неинтересно там.

— Не пускают, что ли, к компьютеру?

— Пускают. — Щеки её стали краснеть, и Алексей не мог понять, то ли она не признаётся и досадует, что отец догадался, то ли сердится, что он подозревает её в слабости, в том, что позволяет над собой смеяться, не давая посидеть за компьютером в неведомом ему, Алексею, интернете.

— Пускают, — выдавила. — Просто — не хочу там. И всё.

— А ребята как? — Он перечислил земляков. — Учатся? Нормально?

— Так... — Но дочка тут же спохватилась, поправилась. — Да нормально вообще-то.

У неё у самой-то оценки были неплохие, у учителей — никаких замечаний. Правда, единственное: “Немного замкнутая, но, наверное, адаптируется, привыкнет”.

“Привыкнет, — слушая вернувшуюся с родительского собрания жену, повторял про себя, как спасение, Алексей. — Привыкнет... привыкнем. Куда деваться?”

Успокаивал себя мыслью, что дочка необщительная такая из-за возраста. Тринадцать лет, переходный возраст... Да и раньше, в деревне, они по душам разговаривали нечасто — как-то само собой шло и шло. У каждого были свои обязанности, не исполнить которые было нельзя, ибо каждый, даже семилетний ребёнок, понимал: жизнь будет хуже, стол беднее. И главное — каждый друг без друга не мог, поэтому даже если ругались, то коротко — ведь нужно было продолжать общее дело. Хоть и занимались каждый

своим, но всё-таки дело было общее. А здесь можно было и не замечать друг друга. Еда хоть какая-то в холодильнике найдётся, батареи тёплые, вода в кранах...

Вот так медленно, постепенно Брюхановы становились чужими. Даже ели вместе нечасто: у каждого свой распорядок жизни.

Алексей тяготился тем, что дочка не отвечает на его вопросы искренне, всё дуется чего-то, глаза отводит. Не в одном же компьютере дело... Но однажды она спросила его, и Алексей, услышав вопрос, так же, как и она недавно, отвёл глаза, не зная, что и как ответить. И почувствовал, как скулы запекло прилившей кровью.

Сидели в большой комнате вдвоём, жена была то ли в ванной, то ли на кухне, тихо бубнил телевизор, на экране мелькали картинки. И дочка спросила:

— А почему вы не стали сопротивляться, когда сказали, что нужно уезжать?

Потом, вспоминая этот дочкин вопрос, Алексей удивлялся, что сразу, мгновенно, понял его смысл. Да и дочка не сформулировала понятнее, значит, была уверена, что отец поймёт и так.

А ведь раньше, ещё в Пылёве, они ни разу не заговаривали об этом. Сосредоточенно собирали вещи, заботились о том, где бы достать побольше коробок, ящиков (у продавщиц на несколько месяцев была очередь за пустой тарой расписана), мешков. Потом съездили все втроём в город, осмотрели эту квартиру на седьмом этаже. Порадовались, что вроде бы никакого брака, и комнаты просторные, лоджия застеклённая, кухня удобная, унитаз работает... Дочка сразу стала представлять, где в своей комнате что поставит; была воодушевлена даже...

Потом — переезд, затем — угрюмость. А теперь — такой вот вопрос...

— И как ты представляешь себе это сопротивление? — спросил Алексей, понимая, что отвечать вопросом на вопрос неправильно. — Закрыться в избе и не пускать?

— Ну, не знаю. Подписи же, бывает, собирают, протестуют... Вон в Москве постоянно митинги.

— В Москве — да. В Москве Кремль... А нас тут — кто заметит?.. Ездил делегация в Красноярск, даже на заседание законодателей пробрались. Их выслушали и выставили... И ничего. — Но дочка спросила о другом — не о проблемах с переселением, а о самом переселении. — Почему стали переселяться?.. — Нужно было ответить, даже уже не столько дочке, сколько самому себе. — Если бы электростанцию лет десять назад строить начали, народ бы поднялся, скорее всего. А так — я вот, как себя помню, с самого моего детства, то и дело говорили, что вот-вот придётся нам уезжать. И тогда многие уехали, многие хотели уехать... В город верили тогда, и города были другими... Центры культурной жизни, прогресса... Да и, — вздохнул Алексей, — не поспоришь в советское время. Как это спорить — ведь всё для страны, всё для народа. Кто спорит — значит, враг... Но дело тянулось: то строили, то бросали, то насильно переселяли, то говорили “живите”, то один уровень водохранилища закладывали, то другой. Новый Кутай начали ставить, Новое Большаково, потом оказывалось, что и их затопит... Из людей за эти тридцать лет всю душу вытянули. И добились-таки, что мы сюда, как на крыльях, прилетели. Людям нужна определённая хоть какая-то.

И замолчал, понимая, что ответил не очень-то складно. И тут она задала новый вопрос:

— А правда, что ГЭС одному человеку принадлежит?

— Какому одному?

— Ну, этому, олигарху... Как его?..

— Баняку-то?

— Ну да!

— Нет, не совсем. Там у них и государственная часть, и... частная... Баняк по алюминию у нас... ну, в стране, главный, и как раз завод строят сейчас... Вообще, где частное, а где страны — не разберёшься. Как специально запутали, чтоб концов не найти.

“Не надо девчонке мозги засорять”, — остановил он себя, а вернее, и сам не знал толком, что говорить, как объяснить ей то, в чём и сам не разобрался, да и вряд ли разберётся...

Да что он, электромонтёр Алексей Брюханов, когда и премьер с вице-премьером разобраться не могут! С полгода назад показали в “Новостях” их разговор.

— Компания, которая управляет строительством ГЭС, оказывается, зарегистрирована на Кипре, — словно по секрету, но на камеры докладывал вице-премьер. — Она активно использует, скажем так, вексельные схемы в своей деятельности.

— И что вы предлагаете? — хмурясь, спросил премьер.

— Необходимо решить вопрос о перерегистрации в Российской Федерации.

— Решайте. Но нужно и наказать тех, кто способствовал выведению стратегического объекта со всеми юридическими правами за рубеж.

Вице-премьер быстро и мелко закивал:

— Мы готовим документы для передачи их в правоохранительные органы.

После этого известия люди в Колпинске слегка воодушевились, стали руки потирать: “Счас полетят воровские головушки”. Особенно сильно ждали, что разберутся с миллионером, алюминиевым королём Олегом Игоревичем Баняком. Не раз этого Баняка президент с премьером, не говоря уж про журналистов, ловили на очень сомнительных, явно противозаконных делах. Но всё ему сходило с рук: выслушает, потупившись, как нашкодивший школьник, нотацию от руководителей государства и — дальше... Теперь, говорят, почти постоянно живёт в Лондоне, оттуда управляет разбросанными по России комбинатами, заводами — империей Олега Баняка, — на родине лишний раз не появляется.

— Да кто его посадит, — не дождавшись скорой расправы, стали усмехаться одни. — Он же родственник Ельцина, *член семьи*...

— И что? — не соглашались другие. — Время переменялось... Да вот Путин как его тогда при всех: “Подойдите сюда и подпишите, чтобы людям оставили работу, платили деньги. И ручку верните”.

— А-а, цирк. Показуха.

— Не, мужики, сейчас Путин снова президентом станет и разгонит всю эту шуштуру! Крепко они в страну впились. Как клещи — с головой.

— Ну да. Тем более — не знает он всех подробностей. Как тут с нами, например...

— Хе-хе, не знает... Может, и не знает. А что, когда из премьеров обратно в президенты придёт, — узнает?

— Так-то оно так...

Брюханов соглашался то с одними, то с другими. Но всё-таки, считал он, суть не в том, что одних переселяли в нормальные квартиры, а других — в фанерки, которые сразу распользаться стали, третьи же до сих пор без жилья — не попали в списки, выпали из списков, не захотели подписывать ордера на то, что им предлагали. Да и не в том, что земли не дали: шесть соток под дачку — и те надо покупать... Не в этом...

Главное, что мучило: разве нет других, новых способов добывать электроэнергию, кроме как строить плотины, затапливать тысячи гектаров земли? Атомные станции ругают, но ведь они всё-таки разумней, чем вот это, то, что сделали у них. И их ГЭС не последняя, не доделка советского времени — собираются новую строить ниже по реке. И снова, значит, будут топить огромные территории, переселять людей, вырубать, жечь, бросать, судиться...

Но большинство не доискивается причин — большинство ругает следствие коренной ошибки. Или как это назвать? Как назвать уничтожение части страны? И если подсчитать, сколько затоплено, утоплено земли их каскадами ГЭС — Волжским каскадом, Енисейским, на Оби, на Каме, на Дону, — то ведь наверняка окажется, что в целом покрыта рукотворными морями очень даже немалая часть России. Одна пятидесятая, одна семидесятая... Да, права дочь: надо кушить компьютер, провестить интернет. Там, говорят, про всё написано...

Но даже если не так много проглотили эти водохранилища земли в километрах, то уж точно погублена лучшая земля. В их районе и в соседних

люди жили, в основном, в низинах вдоль рек, на островах были пахоты, на побережье сено косили, пасли скот. А сейчас глянешь — от истока до их плотины, на протяжении тысячи километров, почти не осталось природного берега. Все пашни, луга, покотины похоронены под водой. И теперь берегами стали склоны гор, топи и болота, гнилая тайга. А люди существуют в искусственных городах и посёлках вдали от то и дело меняющих свой уровень из-за сброса или набора воды запертых рек, на камнях или глине. И если в магазины не завезут в течение недели продуктов или на месяц задержат зарплату, начнётся голод. Запасы делать не из чего, да и хранить их негде.

Летом две тысячи девятого года, когда ещё деревни стояли почти целые, да и народ ещё оставался, по реке проплывали писатели. Среди них был и тот, что когда-то, во времена развитого социализма с его всесоюзными, всенародными ударными стройками, написал книгу о затоплении родных ему земель в этих же краях, на этой же реке. Там в семидесятые воздвигли электростанцию, и возникло водохранилище, поглотившее несколько деревень, заставившее жителей перебраться на новые, неудобные, неудобные места. Та ГЭС стала третьей в каскаде, их — четвёртая...

Алексей читал эту книгу школьником, и тогда горе её героев не очень задело его. Да и что может по-настоящему задеть человека лет в четырнадцать-пятнадцать? Наверное, лишь собственные переживания, личные... Наоборот, он слегка завидовал тем, кого переселяли: хотелось уехать из маленького, забытого Богом Пылёва.

Второй раз прочитал он ту книгу лет пять назад, когда переселение стало делом решённым. Читал и поражался: как после неё, так зримо показавшей ту уже давнюю теперь трагедию, такая же трагедия может повториться? И чем объяснить, что, с одной стороны, этому писателю именно за эту книгу продолжают давать государственные премии, называть его *нашей совестью*, а с другой — строить новую, точно такую же электростанцию, водохранилище которой вновь уничтожит ещё несколько деревень, а их жителей превратит из хозяев в унылых квартирантов?.. Вот президент благодарит писателя за его смелую правду, за нравственность и духовность, жмёт ему руку своей, той самой рукой, которой подписал документы, где прописано к такому-то сроку очистить деревни от людей, избы сжечь, лес вырубить, кладбища сровнять с землёй, и всё оставшееся затопить водой. И всё это для того только, чтобы вырабатывать электрический ток... Неужели нельзя было за тридцать с лишним лет изобрести что-нибудь, чтобы как-то по-другому его вырабатывать?

В школе учительница часто повторяла: “Литература учит. Учит, как надо, а как не надо, что хорошо, что плохо”.

Да, может, и учит, да толку-то... Внутри себя человек может быть сколько угодно и честным, и правильным, и справедливым, а обстоятельства постоянно заставляют его поступать против совести и убеждений. Хм, есть такая невесёлая шутка: “Трудно быть человеком — люди мешают”.

Писатели в тот раз целый день бродили по улицам, заходили во дворы, в избы, слушали людей, кивали, сочувственно вздыхали. Писатель, написавший книгу про свою затопленную родину, всё потирал глаза, кривил, как от боли, лицо. Молчал... Словно на место скорого природного бедствия они приехали, осматривали то, что должно быть вот-вот уничтожено каким-нибудь ураганом, цунами. Но ведь не природное бедствие надвигалось на деревню и на весь этот край, а рукотворное. Остановимое...

Если всем дружно заявить: “Нельзя!” — оно и не случится.

Но никто из писателей, сочувствуя, сострадав жителям деревень, предназначенных к затоплению, так и не сказал: “А давайте не уйдём! Остаемся. Не имеют они человеческого права гнать людей со своей родины”. Может, и глупо, и наверняка бесполезно, но чего-то такого большинство пылёвцев ждали. Убеждали писателей, что не хотят уезжать, не видят себя на другом месте. Даже желающие перебраться в город на людях выражались осторожно:

— Интересно бы, конечно, пожить благоустроенно, но жалко это всё... Ведь канет навечно.

Некоторые выкрикивали в отчаянии:

— На что нам кормиться?! Тут хоть картошки наростим, рыбы поймем, куриц держим... свиней. А там? Перемерём ведь с голоду-у!

Ирина Кайхер, социальный специалист, объясняла гостям, что это не просто эмоции:

— Тем, кто работал здесь в совхозе, выделены паи по двенадцать гектаров. У кого дом в частной собственности — жильё обещают предоставить в частную собственность... И это — всё. Ни земли не обещают, ни работы. А у большинства, да почти у всех, никаких сбережений — не из чего копить. Бросают людей, как в пропасть.

Писатели кивали, явно искренне разделяя боль будущих переселенцев, но отмалчивались. Не замечали или не хотели, боялись замечать ожидания местных, услышать от них сильные слова. Даже вопросы задавали скупо.

Лишь один раз, — по крайней мере, при Алексее, — старый писатель спросил о том, что могло бы взорвать людей:

— А если откажетесь выезжать?

— Да, мы этот вопрос поднимали, — сказала Ирина. — Нам ответили, что оценят на глаз избу, усадьбу, дадут на руки сколько там посчитают нужным — пятьдесят тысяч, семьдесят — и насильно посадят на паром, отвезут до города, а там дальше — как хочешь.

— Но ведь это незаконно! — возмутился другой писатель, полный, в очках.

— Да уж, наверное, незаконно. Надеемся, что до этого не дойдёт, но всё равно... Как люди жить будут, на что — не знаю...

— Оккупация! — плачущим голосом выкрикнул третий гость, с седой острой бородкой. — Пришёл враг! Будто при оккупационном режиме...

Старый писатель сморщил своё плоское чалдонское лицо, отозвался:

— Не в этом дело, Валя, не в этом... Если бы Россия была одна на этой земле, то можно было бы миновать. Но когда пошла такая гонка, что уж было делать? Пришлось соглашаться с этим со всем, и заваливать реки, пускать ракеты, поливать землю бетоном...

Вечером писатели сели в катер и отправились в Кутай, бывший райцентр, где ещё работала заежка.

Теперь, после вопроса дочки, почему не сопротивлялись, Алексей часто вспоминал о том писательском визите. И ведь, действительно, призови они, уважаемые, известные на всю страну люди не выезжать, остаться там — “Где тут у вас свободная избушка? Мы с вами!” — большая часть людей поддержала бы. Кто-то бы, конечно, уехал, но кто-то и остался бы. Только и ждали чего-то такого, какого-то подобного слова, поступка... И увидел бы тогда старый писатель, что не отступился народ. Поддержал бы и Кутай (а там тысячи три жило), и Сергушкино, и Проклово, и Усольцево, и Большаково...

Брюханов ярко, до мурашек, представлял себе это почти восстание и тут же хмыкал над собой, но от этих хмычков картинки становились только ярче и отчётливей, и даже как-то слаще... В детстве любил фантазировать, и вот на пятом десятке вернулся...

Порой он вполне серьёзно рассуждал: “Но хоть заяви они, что остаются в деревне, и там бы, наверху, перепугались. Такие люди, а готовы с народом... И ведь можно было если не спасти Пылёво, Кутай, то хоть бы участки под это выбить, условия получше... компенсаций добиться”.

— Тьфу! — отплевывался он: вместо сладости мечтаний, в которых он сам и остальные были героями, готовыми держаться на своей земле до последнего, становилось муторно, как только появлялись мысли-расчёты, обличавшие корысть.

Но корысть ли это — клочок земли под огород, под баньку, под сарай?.. Хоть было бы куда сунуться. В земле поковыряться, гвоздь в доску вбить.

“Долго мы здесь не протянем, взаперти, — слоняясь по квартире, думал Алексей. — Одуреем, перегрызёмся, разбежимся...”

И всё чаще выходил на лестницу, подолгу курил, сидя на бетонной ступеньке, подложив под зад один из прошлогодних дочкиных учебников.

АНДРЕЙ ШАЦКОВ



КАК ТЫ ГОРЬКА, ПОЛЫНЬ!

В НАЧАЛЕ ОСЕНИ

Изнывает душа от лесного осеннего счастья
Этой волглой травы, этой прелой опавшей листвы.
Это в жизни случается, только не часто, не часто.
Это чаще приходит в полночные тихие сны.

По ступенькам сбегу в морозящую с неба порошу,
Погляжу на летящие абрисы панцирных туч
И до них свою кепку с размаху, с разбегу доброшу,
Чтобы хлынул в пробитый прогал обжигающий луч.

И засветит вокруг медноцветная осени вапа,
А над ней заплещут закатный пурпур и багрец...
И не скоро Покров, и не скоро метельная вата
Упадёт на поля, на просёлки, на память сердец,

Что стучали когда-то почти в унисон над обрывом,
Под которым теперь собирается в стаи плотва...
И болеет душа не раскрытым доселе нарывом.
И надежда на теплую осень покуда жива!

ШАЦКОВ Андрей Владиславович родился в 1952 году в Москве. Автор одиннадцати поэтических книг. Член Союза писателей России и Международной федерации журналистов. Кавалер орденов преподобного Сергия Радонежского РПЦ и “Русская звезда” им. Ф. И. Тютчева литературного фонда “Дорога жизни”. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Главный редактор альманахов “День поэзии. 2008—2014”. Живёт в Москве и в Рузе.

В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Вот и всё... Переломлен у лета хребет.
Раньше — вскользь, ныне — в лоб эти дни замечаю.
Иван-чай да полынь — там, где цвёл первоцвет,
Да, пожалуй, не быть ни Ивану, ни чаю.

И соловушка в светлой дубраве умолк.
И ползут по Руси заполошные толки...
Потоптал луговины то ль конь, то ли волк,
Если только остались былинные волки...

Этим серым — Ивану служить нипочём,
Вынося на хребте из смертельного боя...
Перерублен у лета хребет не мечом —
Острым стрежнем днепровской воды голубою.

Что за диво? О чём бы сейчас ни писал,
Ожидая подспудно печальной развязки.
Это только Кошей своё царство проспал,
И добром завершаются детские сказки.

Но покуда стоят вековые леса,
И кузнечики в поле звенят беспечно,
Пусть в глазах у тебя не проглянет роса.
Не окончена лета великая тайна.

И быть может, на месте, доселе пустом,
Называемом исстари “Дикое поле”,
Мы посадим свой сад, мы построим свой дом,
Чтобы места хватило двоим — и не боле.

ПОЛЫНЬ

Полынь, полынь, ты всё-таки взошла,
А я уж не мечтал об этой встрече...
Земли касались ласточек крыла,
И громыхало где-то недалече.

И не хотелось сумрачно смотреть
На сомкнутую рать чертополоха.
Но миг пришёл — и сгнула мокреть,
И началась цветения эпоха!

И стало всё, как в прошлые года.
Сбывалась за приметой примета...
Но в вышине зажглась Полынь-Звезда,
И вспомнилось ещё былое лето,

Когда пропахли волосы твои
Прибрежной мятой и тоской полынной,
Когда мы шли по краешку стерни,
Как нам казалось — стёжкой былинной

Среди ещё не тронутых боров,
Среди лугов, томящихся в покое...
О, как тогда стучала в сердце кровь!
Сейчас не время вспоминать такое:

России неба вековую синь,
Распахнутую в честь моей державы...
А я не знал, как ты горька, полынь...
Вообще не знал, как звались в поймах травы!

НА РУЗСКОМ ХОЛМЕ

Взбегу на холм...

Н. Рубцов

И грянул гул... Такой во сне худом —
Предвестник гроз и неминуемой кары...
Отринь его, взойди на этот холм,
Чтоб обозреть далёкие пожары.

Как видно, Бог не зря сюда привёл.
На древнем дубе мрачно грает ворон.
Здесь у подножья сад когда-то цвёл.
Теперь он гол и от зазимка чёрен.

Под малокровным небом ноября
Услышь, как пульс в висках стучит набатом.
Твой пращур, на холме канон творя,
Был кметем, воем, ратником, солдатом!

Он принял смерть, но принял на миру!
И лёг со всеми в братскую могилу.
А ты — один, и твоему перу
Остановить набега не под силу.

* * *

Как жалко, что этих усталых снегов
По жизни осталось всё меньше и меньше.
Усталых друзей и усталых врагов,
Устало тебя покидающих женщин.

Ты даже их след замечать перестал
На выпавшей ночью метельной пороше,
Покрывшей ступеней резных пьедестал,
Что кажется каждое утро положе,

Чем в полночь, когда колотилась пурга
В закрытые окна — легка на расправу...
Как жалко, что рано устали снега...
И сколько им таять — неведомо, право.

ДМИТРИЙ ИГУМНОВ



ЛЮДИ ПРОШЛОГО ВЕКА

РАССКАЗЫ

ВАСЬКА

И в детстве, и в юности Василий Плотников был озорным парнем. Повзрослев, он не только продолжал озоровать, но и становился настоящим хулиганом. Но всё это было лишь до тех пор, пока Василий не встретил Екатерину, приехавшую в наш город откуда-то с Севера. Не понять — как, но их семейная жизнь превратила хулиганистого парня в уважаемого покладистого труженика.

Семья Плотниковых жила размеренной жизнью с приличным по тем временам достатком. Первым родился у них сын Володя, а вот дочка Лида появилась значительно позже — лет через семь после рождения брата. Всё шло своим чередом, пока не пришла на нашу землю беда: началась война.

Василий прошёл Великую Отечественную от начала и до самого конца. Вернулся домой. Израненный, перенесший тяжёлую контузию, с подорванным здоровьем. Дома фронтовика поджидало горе: его любимец, сын Володя, был осуждён и отправлен в колонию для малолетних преступников. Там он заболел туберкулёзом и умер. Екатерина не написала мужу об этом на фронт, пожалела его. Но теперь всё открылось.

Смерть сына сделала Василия каким-то совсем податливым воле жены. А Екатерина всё больше превращалась в семейного диктатора...

ИГУМНОВ Дмитрий Васильевич родился в Москве в 1937 году. Служил на Балтийском флоте. Окончил Всесоюзный заочный энергетический институт. В настоящее время преподаватель Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Автор книг прозы "Рыжий", "Кукуй". Живёт в Москве.

У нее почти всегда было строгое лицо со слегка прищуренными глазами и поджатыми губами. Одевалась она тоже строго и аккуратно, чего требовала и от мужа. При этом мужа она называла Васькой. И никак иначе. В таком её обращении звучало не пренебрежение, а скорее некая горемычность и снисхождение к своему спутнику.

В выходные и праздничные дни, особенно в теплое время года, немногочисленные вернувшиеся с войны мужчины-соседи любили собираться во дворе. Некоторые из них что-то мастерили, другие играли в домино или в карты, курили и втихаря выпивали “боевые сто грамм”. Воевали они на разных фронтах и в разных родах войск и теперь рассказывали друг другу разные истории из своей фронтовой жизни. Вспоминали однополчан, командиров и даже, случалось, рассуждали о вышем командовании. Возникали споры. О Жукове, как правило, говорили с уважением и одновременно с некоторым страхом. А вот о Рокоссовском — только с любовью.

Обычно Василий во дворе вёл себя тихо, неприметно. Но изредка в споре пробивался его буйный характер.

— Жуков есть Жуков! А Рокоссовский только Рокоссовский! — мог выкрикнуть Василий кому-то в лицо, сжав при этом кулаки.

Но тут же конфликт гасила его жена. Она высывалась из окна и отдавала команду:

— Васька, за молоком!

Или нечто оригинальное:

— Васька, чай кушать!

Невнятно бормоча что-то, Василий поднимался с лавочки и, волоча простреленную ногу, отправлялся выполнять очередную команду своего строгого командира.

Но, несмотря на явную диктатуру, Екатерина любила своего несчастного Ваську и уж, верно, гордилась им. Так же, как и дочка Лида. Во время войны был Василий разведчиком, много раз ходил за линию фронта, доставлял для командования важные сведения, приводил пленных немцев — “языков”. За свои подвиги получил Василий Плотников четыре ордена, два из которых были орденами “Славы”. Говорили, что хотели представить его к званию Героя Советского Союза, но нрав Василия помешал этому: числились за ним неуставные отношения с сослуживцами. Это и понятно: на фронте некому было обуздать его, не было рядом Екатерины...

После войны Василий работал в заводском сборочном цехе. Работником слыл неплохим, но уж очень был задирист, нетерпелив. Может, потаённая поведенческая находила бурный выход на работе? Словом, в нём уживались два человека: примерный тихоня дома и нетерпимый горлопан за порогом...

У Лиды был жених, которого звали тоже Василием, а полностью — Василием Васильевичем. Мать Лиды величала его именно так: по имени и отчеству. Встречала и угощала она будущего зятя с большим почтением. Во время его визитов всегда был накрыт по тем временам щедрый стол. С четвертинкой водки. Одна маленькая бутылочка — на двоих Василиев. В застолье будущая теща постоянно повторяла:

— Закусай, Василь Васильич, закусай...

Лида вскоре вышла замуж за Василия Васильевича, семья переехала в пригород, где строился мощный научно-производственный космический комплекс. Там у них родился сын Алексей.

Василий Васильевич оказался незаурядным организатором производства и быстро продвигался по службе: занял должность начальника одного из основных цехов комплекса. Его уважали и ценили коллеги-производственники и многие космонавты. Всё в семье у Лиды складывалось хорошо, крепко, счастливо.

Но неожиданно всё померкло: Василий Васильевич трагически погиб. Горе было безмерным.

Фронтвик Василий Плотников пережил своего зятя лишь на несколько месяцев. Он тяжело болел. Врачи уверяли, что это следствие контузии, полученной на фронте. Умер Василий тихо, на руках своей Екатерины, которая последние дни практически не выходила из больничной палаты.

После смерти мужа Екатерина Плотникова замкнулась в себе. Одевалась она с тех пор во всё чёрное, и до конца своих дней эта русская женщина соблюдала пожизненный траур по своему “Ваське”.

ДИМОКРАТИЯ

Ректора института звали Дмитрием Николаевичем Евтяровым. Личность была незаурядная: ректор высшего учебного заведения, не имеющий никакого отношения к подлинной науке. Зато был он выдающимся организатором и гениальным хозяйственником, прошёл войну и прекрасно разбирался в людях.

Будучи секретарём парткома одного известного в стране вуза, за какие-то особые заслуги умудрился он получить ученую степень кандидата наук (диссертацию ему попросту написали по распоряжению свыше). Вскоре уважаемого партийного работника назначили на должность директора филиала института. А уж после этого начался бурный профессиональный рост Дмитрия Николаевича.

Первым делом он занялся созданием базовых кафедр на ведущих промышленных предприятиях города. Это дало возможность увеличить число студентов и повысить уровень подготовки. Такой подход укрепил и деловые связи директора с руководством предприятий. А некоторые ведущие сотрудники с производства получили возможность дополнительно заработать: их оформляли преподавателями на полставки.

Скоро стало не хватать учебных площадей. И директору удалось какими-то загадочными путями получить в своё распоряжение четырехэтажное здание школы, находящееся в аварийном состоянии. Для его капитального ремонта вездесущий хозяйственник сумел привлечь разные силы: трудились и бригады профессиональных строителей, и студенческие группы, и даже солдаты стройбата.

С вводом в действие этого отремонтированного здания изменился и сам статус учебного заведения. Приказом министра филиал был преобразован в самостоятельный институт. Ректором института, естественно, стал Евтяров!

И всё равно, несмотря на получение нового здания, мест для занятий со студентами не хватало. Но ректор своим странным решением целый этаж отремонтированного здания занял теннисными кортами с сопутствующей структурой комфортного отдыха: банкетной комнатой, душевыми кабинками и прочим. В спортивном зале, только в зале, кафедра физкультуры иногда урывками проводила занятия со студентами, основное назначение этого помещения было иным: на кортах проходили неформальные встречи ректора с нужными людьми. И безуспешно!

Вскоре на окраине города началось строительство целого комплекса зданий института. Появились новые факультеты и кафедры, пришло много новых преподавателей. Дальновидный хозяйственник сумел собрать в своём институте выдающихся учёных. Обеспечил им хорошие условия для работы, солидную зарплату. Некоторые из приглашённых специалистов получили автомобили и квартиры. Все их усилия должны были быть направлены на получение выдающихся научных результатов и, конечно, на процветание института и в целом высшего образования.

Не забывая Дмитрий Николаевич и о своих личных интересах. В годы ректорства, как из рога изобилия, на него посыпались учёные звания и научные премии. Отгадка была проста: практически во всех монографиях, статьях, докладах и заявках на изобретения значилась фамилия Евтярова, хотя руководящий хозяйственник даже отдалённо не представлял себе, о чём там идёт речь. Только, пожалуй, звезда Героя Социалистического Труда являлась заслуженной наградой человеку, создавшему процветающий институт. Звание же академика и прочие атрибуты научного признания являлись чистойшей профанацией...

При этом все мало-мальски значимые решения принимались только ректором. Все ближайшие подчинённые, включая проректоров и деканов, являлись лишь исполнителями воли ректора. Такой стиль работы в институте ста-

ли называть “димократией”. Это оригинальное слово образовывалось от уменьшительного имени ректора — Дима.

В приёмной и экзаменационной комиссиях института обязательно присутствовал специально подготовленный человек, пользующийся особым доверием ректора. Он следил за тем, чтобы дети нужных людей успешно сдавали вступительные экзамены и без каких-либо срывов зачислялись в институт. На должностях профессоров на кафедрах нередко появлялись “мёртвые души”, которые, как вполне живые люди, получали зарплату. Некоторые, выработав таким способом определённый срок на занимаемой должности, даже получали аттестаты учёных званий. Эти и другие подобные действия “димократического” режима давали устойчивый результат: институт числился одним из ведущих вузов страны.

Конечно, не всем нравились заведённые ректором порядки. Поэтому поведение преподавателей находилось под постоянным и строгим наблюдением. Евтяров отлично разбирался в людях, а уж своё ближайшее окружение формировал очень тщательно. Словом, всё было под его контролем. Но случались и сбои... На одной из профилирующих кафедр работал доцент Крылатов Михаил Германович — энергичный правдолюб и потомственный коммунист. Он гордился тем, что его дед был не только знаком с Лениным, но даже одно время входил в его близкое окружение.

Так вот, этот доцент-правдолюб, хотя и в деловой форме, подчас всенародно выражал несогласие с “димократическим” диктатом. Открыто поддерживать его, за редким исключением, никто не решался — реакция ректората на такое вольнодумство могла быть крайне суровой, вплоть до увольнения бунтаря из института, поскольку механизмы реализации распоряжений ректора были хорошо отлажены. И всё же в те годы имелся скрытый рычаг коммунистической демократии — выборы членов парткома института проводились с помощью тайного голосования.

Разумеется, обработка голосующих была организована на самом высоком уровне, но всё равно результат оказывался неудовлетворительным: Крылатов постоянно избирался членом парткома. Окружение ректора негодовало. Звучали самые радикальные советы:

— Да выгоните вы его, Дмитрий Николаевич! Компромата на него хватает.

— Если вы считаете, что мало, то мигом наберём ещё. Какой засранец!..

— Как вы, Дмитрий Николаевич, можете терпеть такого поганца? Ведь он просто хочет утопить институт вместе с нами.

Ректор понимал всё не хуже, а лучше своих ближайших помощников. Он думал, думал и придумал. Мудрый хозяйственник выпустил приказ по институту, в котором Крылатов назначался заведующим кафедрой.

Ничто не изменяет человеческое существо так сильно, как власть! Ни деньги, ни слава, ни даже любовь, а только власть есть высшее мерило воздействия...

Нельзя сказать, что всё изменилось как по мановению волшебной палочки, но результат для правящей верхушки “димократического” режима не заставил себя долго ждать. Пламенный революционер всё больше и больше стал походить на конструктивного оппозиционера. Этого и добивался Евтяров! Преуспевающий хозяйственник интуитивно понимал, что ни одна сложная система, будь то техническая или человеческая, не может долго и устойчиво функционировать без отрицательной обратной связи или попросту — без оппозиции. Но эта оппозиция призвана не разрушать режим, а должна только устранять самые слабые и болезненные места его. В результате так и получилось.

Другие, менее яркие деяния ректора тоже были вполне успешны. Статус института продолжал расти. Его выпускники были нарасхват ведущими предприятиями страны. Лаборатории института продолжали наполняться прекрасным современным оборудованием, уровень научных разработок пользовался уважением не только в стране, но и за рубежом. Даже горбачёвская перестройка и последовавший за ним бандитский режим Ельцина до поры до времени не могли разрушить созданный Евтяровым храм высшего образования.

В то время особый интерес к институту стали проявлять иностранные фирмы. Заключались договоры на проведение совместных работ, давались гранты на обучение талантливых студентов, приглашались для чтения лекций ведущие преподаватели “оттуда”...

Время брало своё — состарившийся Дмитрий Николаевич должен был оставить пост, который он занимал не один десяток лет. “Демократия” заканчивалась. Были назначены выборы нового ректора. Почти единогласно избрали молодого, но уже имеющего мировую известность физика-теоретика. Этот настоящий учёный, эрудит, интеллигент всегда был доброжелателен и приятен в общении. Про него говорили: настоящий демократ — в хорошем смысле этого слова. Всё так, но физик не был хозяйственником.

За годы правления нового ректора и его “профессиональных управленцев” территория, занимаемая институтскими структурами, неуклонно сокращалась, и к концу пятилетнего срока уменьшилась в десять раз. Почти всё было разбазарено, разворовано, распродано... Про суммы денег, вырученных за это, знал только узкий круг управленцев. По институту ходили слухи, что бухгалтерия испытывает серьёзные трудности при расчёте заработной платы членов ректората — не хватало разрядов в вычислительной машине... Но зарплата преподавателей снижалась и к окончанию периода правления вновь избранного ректора сократилась почти в четыре раза. За это время не было приобретено ни одного нового прибора ни для учебных практикумов, ни для исследовательских лабораторий. Старое оборудование обветшало, уровень подготовки студентов катастрофически снижался. Многие молодые преподаватели ушли из института в поисках лучшей доли, а оставшиеся, в основном люди преклонного возраста, ещё пытались сохранить хоть какое-то подобие прошлого величия вуза. В среде преподавателей-старичков при любом удобном случае вспоминали о прошлом, о былом.

Однажды меня остановил коллега с соседней кафедры:

— Вы помните времена правления Дмитрия Николаевича?

— Как не помнить!

— А ведь мы тогда роптали, возмущались. Называли методы его правления “демократией”.

— И правильно, что возмущались!

— Правильно-то правильно... — грустно вздохнул коллега. — А сейчас что, лучше?

— Всё в мире относительно, — неопределённо отозвался я.

— Да... Но какие разительные перемены произошли при переходе от “демokratии” к демократии? А ведь в слове-то поменялась лишь одна буква!

Мы продолжали стоять друг против друга и грустно улыбаться. А что ещё оставалось нам делать?

БЕРЕГИНЯ

В кузове машины сильно трясло. На колдобинах грунтовой дороги фронтовиков подбрасывало вверх и мотало из стороны в сторону, и они громко ругались. Только лейтенант Чернецов за всю дорогу не проронил ни слова. Он направлялся в свою новую часть, в полк штурмовой авиации, и какая-то неопределённость тревожила его: он уже изрядно повоевал, будучи лётчиком-истребителем, а теперь ему предстояло быть в роли пилота штурмовика.

После лечения в госпитале Виктор Чернецов предстал перед медкомиссией. Мнения медиков разделились. Некоторые даже высказывались за то, чтобы признать его непригодным для службы в авиации. Но большинство военврачей признало лейтенанта Чернецова годным к дальнейшей службе, лишь с некоторыми уточнениями: пилотирование истребителя слишком опасно для перенесшего ранение лейтенанта, а потому ограничили допустимую для него скорость полётов параметрами штурмовика.

Вот и думал ас истребительной авиации, как теперь будет летать на тихомодном штурмовике... Кроме того, в истребителе он один, сам себе хозяин, отвечает только за себя, а теперь в экипаже будет ещё и стрелок. Эти мысли вызывали в душе его даже некоторую обиду.

В то время, когда лейтенант Чернецов трясся в кузове полуторки, его будущий командир майор Молчанов отчитывал старшего лейтенанта Рыкова за неуставные отношения со стрелком Екатериной Бойко. Отчаянная и удачливая в бою, она не переносила хамства своего командира.

— Отдавайте меня хоть под трибунал, товарищ майор! — заявляла она Молчанову. — Но летать с этим матерщинником я не буду!

Забот у майора Молчанова было хоть отбавляй: большие потери личного состава, пилотов не хватает, а тут эти девичьи выкрутасы. “Ладно, вот должен прибыть новый пилот, вроде опытный. К нему в экипаж и определю её”, — решил он.

Вечером того же дня в командирском блиндаже перед Молчановым стоял навытяжку лейтенант Чернецов:

— Прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы!

— Прибыл ты как раз кстати, — тепло, не по-уставному поздоровался командир полка. — Садись, отдохни с дороги... Расскажи, откуда ты родом? Где воевал?

Виктор отвечал на вопросы, а в конце беседы грустно добавил:

— Вообще-то я, товарищ майор, лётчик-истребитель, но после ранения списан к вам, в штурмовую авиацию.

— Да ты не горюй! У нас сможешь ещё ярче показать себя. Штурмовик — он и истребитель, и бомбардировщик, и небесный разведчик. Как раз подходит для такого аса, как ты...

— Спасибо, товарищ командир. Но мне бы на первых порах подучиться, понять боевые возможности штурмовика. Да и желательно в экипаж опытного стрелка.

— Есть у меня такой... — кивнул командир, улыбаясь. — Сержант Екатерина Бойко. Не удивляйся — боец она первоклассный. Потом ещё благодарить меня будешь.

Виктор молча принял это известие, но про себя слегка вознегодовал: “Вот и первый сюрприз”.

В девичьей землянке ютились радистки, работницы столовой и других вспомогательных полковых служб. Были среди них и три подруги — стрелки штурмовиков: Катя, Света и Тоня. Новость о прибытии в полк молодого пилота мигом облетела женскую часть личного состава.

Как только в землянке появилась Катя Бойко после знакомства со своим новым командиром, к ней подлетели подруги:

— Ну, как он тебе, Катюша? Понравился? — приставали девушки.

— Не знаю, — пожимая плечами, отвечала Катя. — Вроде бы вежливый, аккуратный... Посмотрим, какой он в бою.

Первые вылеты не были боевыми, они проходили в окрестностях аэродрома. Чернецов хотел почувствовать свой самолёт, понять его технические возможности. Но скоро “Ил” с новым экипажем получил первое боевое крещение в групповом вылете: прикрывали нашу танковую колонну. Там и произошла первая встреча с истребителями противника.

Катя ощутила класс своего нового командира — он мастерски увел их штурмовик из зоны огня “мессершмиттов”. Но и сам особо не стремился поразить их. “Что, он трусит?” — закралось сомнение в душу отважной девушки. Но бывший лётчик-истребитель понимал, что вероятность победы штурмовика в бою с быстрым и юрким истребителем невелика. Зачем глупо рисковать?

Катя этого ещё не понимала и после приземления, выпрыгнув из кабины стрелка, подошла к своему командиру и яростно заговорила:

— Товарищ лейтенант! — И тут же осеклась. Три ордена на груди командира враз охладили её пыл. — А за что вы получили свои ордена?

— За сбитые фашистские самолёты.

— И сколько вы их сбили?

— Официально шестнадцать.

— А не официально?

— Восемнадцать. Но служба наземного наблюдения, товарищ сержант, не всегда правильно учитывает.

— Знаю, — согласилась Катя. Она немного помолчала, а затем, улыбнувшись, сказала:

— Товарищ лейтенант, называйте меня просто Катей...

Лейтенант улыбнулся:

— Давай договоримся, что и ты будешь звать меня Витей. По крайней мере, когда мы одни.

— Постараюсь... Я постараюсь не подвести вас, товарищ лейтенант!

И стена недоверия между командиром и стрелком развалилась...

— Откуда ты родом? — спросил Виктор. — Судя по фамилии, с Украины?

— А вот и не угадал! — звонко ответила Катя. — Донская казачка я, с Ростова. А ты откуда?

— Родился и вырос я в старинном городке в верховьях Волги. Потом учился в Московском университете, потом война началась...

В тот вечер в девичьей землянке Катю опять окружили подруги: что да как?

— Пилот он классный, — рассказывала Катя. — Такие финты выделывал. Другие ребята в нашем полку так не смогут.

— А как парень? — посмеивались подруги. — Понравился?

— Да ну вас, одно на уме... — сдвинув чёрные брови, отвечала Катя. — Посмотрим, как всё дальше сложится.

Боевые вылеты проходили ежедневно, и даже случалось дважды в сутки. Майор Молчанов оценил уровень лётной подготовки Чернецова и стал поручать ему самые сложные задания, в основном разведывательные. Штурмовик Виктора ухитрялся почти не попадать под огонь вражеских зениток, уходить от бестолкновений с "мессерами". Умелое маневрирование и опытный стрелок, который пулемётными очередями отсекал атаки немецких истребителей, сделали экипаж одним из лучших в полку.

Но, как всегда, у таких успешных экипажей заводятся завистники. Бывший Катин командир Рыков не высказывал восторгов в отношении Чернецова, считая его очень осторожным, расчётливым, а однажды прилюдно в столовой обвинил его в трусости. Сам Виктор не дал волю своим чувствам, за него вступилась Катя. Она метнулась к Рыкову:

— Негодяй! — И размашисто влепила ему пощечину. — Ты и есть бездарность! Одно название, что лётчик...

Рыков бросился было на девушку, но однополчане скрутили его.

Через несколько минут, зло переглядываясь, Катя и Рыков стояли перед командиром полка.

— Что прикажете мне делать с вами? Отдать под трибунал? — негодовал майор Молчанов. — Идёт война! Весь полк воюют за Победу. А они устроили... Засранцы. — И наконец, припечатал: — Пять суток ареста! Каждому! Сдать оружие! — Затем выкрикнул дежурному офицеру: — Отведи их на гауптвахту!

На деле, однако, пять суток ареста превратились в одни сутки, да и то неполные. Обстановка на фронте требовала прикрытия войск с воздуха, а укомплектованных опытных экипажей штурмовиков было в обрез.

Теперь изо дня в день экипаж Чернецова был на боевых вылетах: воздушная разведка, прикрытия наступающих частей, атаки на скопление войск противника, а иногда — единоборство с "мессерами". В такие минуты Виктор отчаянно жалел, что пилотирует штурмовик, а не родной шустрый "ястребок". Но в то же время он постепенно проникался любовью к своему штурмовику, который он всё чаще называл "ласточкой". Да и о Кате, о своём стрелке, он думал уже больше, чем о сослуживце, но немного побаивался растущего в душе любовного чувства к ней.

Как-то раз лейтенанта Чернецова вызвали в штабной блиндаж. У командира полка Молчанова был важный гость — полковник из разведки армии.

— Мне рекомендовали тебя, Чернецов, как лучшего воздушного разведчика полка. Командование поручает твоему экипажу важное задание. — Полковник говорил спокойно, но как-то тяжеловесно. — Посмотри на карту.

Виктор и бывшие у комполка офицеры штаба склонились над разложенной на столе картой.

— По приблизительным оценкам разведки, — продолжал полковник, — в этих местах сосредоточен арсенал новейшего вооружения фашистов, прежде всего танков. Есть и склады горючего. Но где именно, мы не знаем.

После минутной тишины полковник чётко произнёс:

— Слушай приказ, лейтенант: пройти через огневое заграждение в центр скопления военной техники и сделать фотоснимки.

— Есть! — ответил лейтенант Чернецов.

— И обязательно вернуться живым с этими данными! Мы уже потеряли на этой операции три экипажа армии, три лучших экипажа. Так что надемся на тебя, Виктор... — Других слов не требовалось.

Вскоре Чернецов провёл инструктаж механиков: самолёт должен быть подготовлен к полёту безукоризненно. При этом разговоре была и Катя, но вопросов не задавала. И только когда они остались с Виктором вдвоём, спросила:

— Я уже поняла, что задание особенное... Справимся? — Она преданно смотрела ему в глаза.

— Должны справиться, Катюша. С Божьей помощью...

— Ты что, товарищ лейтенант, в Бога веришь? — изумилась Катя.

Виктор неопределённо покачал головой и тихо ответил:

— Разве есть люди, которые не верят в Бога?

— Почти все говорят, что не верят...

— Говорить можно всякое. А вера — она в душе. Может, кому-то и кажется, что он неверующий, но вдруг вера в нём просыпается... — Виктор усмехнулся: — Когда жареный петух клонет... На четыре часа утра у нас назначен вылет. Иди отдыхай, товарищ сержант Бойко.

И опять всё между ними стало ясно и определённо.

В назначенное время штурмовик Чернецова оторвался от взлётной полосы аэродрома и взял курс на запад.

Холмистая местность, обведённая карандашом на карте полковника, встретила самолёт-разведчик ураганным огнём зениток. Стало ясно: фашистам есть что охранять. Самолёт Чернецова то резко менял высоту, то выполнял замысловатые пируэты, всячески увертываясь от огня зенитных точек противника, то в отчаянном пике вторгался в сердцевину вражеской группировки и успевал запечатлеть расположение врага на фотоснимках.

— Всё! Задание выполнено, — сообщил Виктор своему стрелку. — Уходим!

Но просто так уйти не удалось. Немцы послали вдогонку два истребителя: советский разведчик не должен был раскрыть секретную базу вермахта... Скорость штурмовика не позволила уйти от вражеских истребителей — начался неравный бой.

— Давай, Катюша, давай! Я подведу “мессера” под твой прицел... Бей, милая! Вся надежда теперь на тебя...

Катя не промахнулась. Длинными очередями буквально изрешетила вражеский истребитель. Скоро они увидели факел падающего “мессера”.

— Молодец! Теперь так же с другим, Катюша, разберёмся!

— Не получится, Витенька! Я расстреляла весь боекомплект...

Чернецов быстро оценил обстановку: шансов уйти от истребителя почти не было. Вернее, было только один шанс — дерзкий трюк.

— Держись, Катюша! Держись изо всех сил!

Штурмовик сделал полупетлю и вдруг вошёл в резкое пике. Казалось, что самолёт попал в штопор, из которого уже не выберется. Немецкий лётчик, как увлечённый погоней охотник, погнался за советским штурмовиком, чтобы добить его. Земля приближалась с нарастающей скоростью. Ещё чуть-чуть, ещё... Но, не долетев до земли несколько метров, Виктор мастерски увёл самолёт от поверхности, вывел его в горизонтальный полёт и скользнул на своей “ласточке” поверх деревьев. Фашистский лётчик от такого пилотажа растерялся и, хотя из пике тоже вышел, но не смог вовремя подняться на нужную высоту, зацепил кроны деревьев, рухнул наземь.

— Кажется, пронесло. Как ты, Катюша?

— Нормально, — сдавленно отозвалась Катя.

— Потерпи немного. Скоро будем дома.

Героический штурмовик вышел встречать весь полк. Лейтенанта Чернецова, как только он выбрался из кабины, посадили в машину и отвезли в командирский блиндаж — на доклад о воздушной разведке. Катю тоже пришлось везти на машине — в санчасть. Она еле держалась на ногах.

Как только Виктор освободился в штабе полка, немедленно прибежал в санчасть проведать Катю.

— Ничего страшного, — успокоил его врач. — Она перенесла сильную перегрузку и обо что-то ударилась головой. Полежит, отдохнёт два-три дня и будет в полном порядке. А ты, лейтенант, не тревожь её. Ей покой нужен...

Но сама лихая казачка покоя не хотела. Уже на следующий день она заявила:

— Я здорова. И никаких ранений у меня нет.

— А что у тебя было? Девичий обморок? — ехидничал полковой эскулап. — Постельный режим на несколько суток. Это приказ!

— Отдохни, отдохни, Катюша, — увещевал её и Виктор, который навещал свою подчинённую несколько раз в день. — Наша “ласточка” пока тоже в пачинке. Механики говорят, им надо несколько дней.

Вскоре экипаж за успешно выполненное задание получил награды: ордена и очередные воинские звания. Старшими стали и командир, и стрелок: он — старшим лейтенантом, а она — старшим сержантом. Но по-настоящему отметить радостное событие не пришлось. В тот день, когда пришёл приказ о награждении, фашисты сбили штурмовик, в котором стрелком была Катина подруга Света. Так что Катя вместо праздничного застолья вдоволь наревелась в девичьем блиндаже.

Война продолжалась. Фронт перемещался на запад. Бои шли уже за Вислой. Эскадрилья штурмовиков “обрабатывала” шеренги немецких окопов. Беспорядочная стрельба со стороны отступающих фашистов велась со всех сторон. И однажды при заходе на очередную атаку крыло “ласточки” прошила шальная пулёмётная очередь. Управляемость самолета резко ухудшилась, и старший лейтенант Чернецов получил приказ командира эскадрильи выходить из боя. Ничего необычного не произошло, и Виктор стал аккуратно уводить штурмовик к своему аэродрому. Скоро под крылом уже замелькали занятые нашими войсками польские посёлки, показался взлётная полоса.

— На сегодня, Катюша, всё! — готовясь к посадке, сказал Виктор. Отклика не последовало. — Ты что молчишь?

Опять безмолвие. Тревожное предчувствие вмиг захватило сознание Виктора:

— Катюша, милая, что с тобой?! — с тревогой окликнул он.

И опять ответа не было.

Чернецов посадил машину и тут же перелез из своей кабины в кабину стрелка. Катя истекала кровью и уже не подавала признаков жизни. Подбежали техники, с их помощью Виктор вытащил из кабины Катю, на руках понёс к санитарной палатке.

Дежурный фельдшер быстро осмотрел Катю и сказал:

— Ей уже никто не поможет. Она мертва.

Виктор стоял оторопевший.

— Не она первая, не она последняя, — печально вздохнул фельдшер. — Она твоим стрелком была?

— Берегиней она моей была...

Виктор Чернецов ещё в детстве слышал, что в древности на Руси поклонялись богине, прозванной Берегиней, считалась она заступницей и охранительницей всего сущего. Слышал он и народное поверье: Берегиня — это невеста, которая умерла до свадьбы...

Виктор вышел из санитарной палатки и не знал, куда идти дальше. Стоял и смотрел в небо, чистое, светлое и такое жестокое, фронтовое...

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

— Ну что, Васёк, дёрнем по чуть-чуть? Грех не обмыть боевые наши медали, да и Кузьмича помянуть надобно.

Алексей Юрков скривил свою веснушчатую физиономию и, ловко перехватив левой рукой костыль, как величайшую драгоценность, достал из-под полы халата довольно вместительный пузырьёк со спиртом.

— Где же ты ухитрился раздобыть эдакое лекарство? — Василий был не столько удивлён, сколько воодушевлён стараниями своего давнего приятеля. — Ты, Лёш, просто фокусник.

Несмотря на стылую погоду, в неотопливаемой курилке прифронтового госпиталя сохранялся свой особый, простоватый уют. В притемнённом уголке, где перекуривали Василий и Алексей, появился бодрящий спиртовой запах. Слаженные действия остатков боевого расчёта зенитного пулемёта позволили осуществить приятный их сердцу ритуал успешно и быстро. Прошёл первый, слегка удушливый момент, и вот живительная влага разлилась по искорёженным войной телам друзей.

Ещё задолго до войны Василий и Алексей организовали своеобразную бригаду высококлассных слесарей. Василий был слесарем-лекальщиком самой высокой, почти *запредельной* квалификации. Алексей тоже был неплохим специалистом, хотя до уровня товарища, конечно, не дотягивал. Однако, не в пример другу, он обладал бойким жизнерадостным характером, да и не был обделён организаторскими способностями.

Постоянного места работы у друзей не было. В те годы за ними и закрепилось прозвище “летуны”. Обычно Алексей узнавал по своим каналам где, на каком производстве возникали проблемы с изготовлением уникальных слесарных изделий. Затем он связывался с руководством этих предприятий и предлагал свои условия для решения возникшей задачи.

Василий в этом процессе никакого участия не принимал. Зато потом наступал его черед. Основную, самую сложную часть слесарной работы выполнял именно он. При этом Алексей был на подхвате, проводил относительно простые, второстепенные операции. Выполнив заказ на одном предприятии и получив недурное материальное вознаграждение, друзья переходили на другое. Там они опять проводили аккордные работы, изготавливали сложные, порой уникальные, штампы и прочие изделия из металлов.

Так продолжалось в течение нескольких лет, но вот грянула Великая Отечественная война. В первые же дни после её начала был мобилизован Алексей. В то же время Василий как первоклассный специалист получил бронь от призыва в армию. Но, поработав какое-то время в тылу, он всё же ухитрился записаться добровольцем и ушёл защищать Родину.

Прошло года два, и вот на одном из перекрёстков фронтовых дорог кадычные друзья встретились. Танковая часть, в которой воевал Василий, выдвигалась на передовую, а её передвижение должен был прикрывать батальон зенитных орудий. В этом батальоне и служил Алексей. Встречу друзей описать невозможно... Такой искренней радости, что воспыкала в их сердцах, хватило бы на большой праздник всей армии. Добрый и чувствительный Василий даже заплакал, а вот энергичный Алексей с ходу начал действовать.

Прибежал он к своему командиру, капитану Обухову, и, нарушая все уставные нормы, буквально упал на колени. Его рассказ про своего товарища, состоящий, в основном, из превосходных степеней, оказался таким впечатляющим, что комбат оставил все неотложные дела и начал предпринимать всевозможные действия для получения в своё распоряжение этого слесаря-умельца.

Времени для переговоров было мало, а уж успехов в этих переговорах — и того меньше. Командир танковой колонны наотрез отказался передать зенитчикам своего лучшего механика. Что оставалось делать? В возникшей безысходности капитан Обухов решил созвать совет из ближайших помощников и организовать мозговую атаку. Прозвучали на нём разные предложения, но все они явно не могли принести положительного результата. Вре-

мя шло. И вот тогда поднялся старшина Склянкин Иван Кузьмич и озвучил замечательное предложение: преподнести командиру танковой части десятилитровую канистру спирта. Эту подарочную жидкость Кузьмич обещал выдлить из своего неприкосновенного запаса. Такое смелое и щедрое предложение сработало на отлично, и Василий из танкиста превратился в зенитчика. Друзья вновь были вместе.

Капитан Обухов слыл толковым командиром. Он быстро оценил талант нового бойца и применял его по прямому назначению. Через пару недель все механизмы батальонных зениток были идеально отлажены и работали прекрасно. О заеданиях затворов и прочих пакостях вскоре даже стали забывать. Вот только тогда Кузьмич начал понемногу успокаиваться, понял, наконец, что не зря опустошил батальонные припасы. И всё же старшина не был бы старшиной, если бы при удобном случае не указывал Василию на то, какую великую цену заплатили за него. Кроме того, злопамятный Кузьмич иногда напоминал и о том, что танковая часть, где служил Василий, почти полностью погибла, подорвавшись на немецких минных заграждениях.

Боевые будни сменялись другими боевыми буднями. Время шло, приближалась великая Победа. Но вот произошло совершенно непредвиденное. Немецкие части внезапно осуществили прорыв фронта на направлении, которое прикрывал зенитный батальон закадычных друзей.

Молниеносный бросок танкового соединения смял наши передовые порядки, и прорвавшиеся вглубь обороны “Тигры” и “Фердинанды” прошлись своими гусеницами по ближним вспомогательным частям. В центре этого прорыва оказался батальон капитана Обухова. Многие бойцы из личного состава погибли, а оставшиеся в живых были вынуждены отступить. Отступление это очень походило на самое настоящее бегство. Вместе с остатками своего батальона ретировался и его командир. Среди опрокинутых и помятых зенитных орудий и раздавленных ящиков с боеприпасами остались лежать исковерканные тела наших солдат. Проход фашистских танков по месту дислокации зенитного батальона практически не оставил даже раненых, если не считать двух солдат с простреленными ногами. Да, да, ими оказались старые друзья Василий и Алексей. Покалеченные ноги просто не позволили им последовать за своим командиром.

После скоротечного прохода немецких танков наступило кратковременное относительное затишье. Шок внезапного нападения стал проходить. Друзья очнулись и, оглядевшись в поисках спасительного укрытия, решили ползти к расположенному невдалеке заросшему оврагу. Как только двинулись они к спасительному месту, их настороженное внимание привлекли непонятные звуки, похожие на отчаянное кряхтение надрывающегося человека.

Валяющаяся поблизости зенитка поколыхалась, затем начала выправляться и вот постепенно приняла своё штатное, боевое положение. Из-под орудия показалась горбленная фигура старшины Склянкина.

— Что разлеглись? Нет, чтоб пособить старшему по званию.

Несмотря на разорванную гимнастёрку и затекший фиолетовой нахлопкой левый глаз, от Кузьмича исходил дух спокойной уверенности. Прочь уныние и страх!

Дальнейшие события развивались с нарастающей быстротой. Раны были плотно перевязаны, зенитка выровнена в чёткое, устойчивое положение, подобраны и уложены разбросанные поблизости боеприпасы. Оставалось только одно — снять с орудия зенитный прицел. Только в этом случае ствол зенитки можно было поставить в положение, необходимое для поражения наземных целей. Задача эта оказалась не из лёгких. Если бы не рукастый Василий, то трудно было бы рассчитывать на успех, по крайней мере, быстрый. Известными только ему аккуратными движениями слесарь-лекальщик, хоть и не с первой попытки, но всё же снял зенитный прицел. Теперь орудие превратилось в своеобразный скорострельный пулемёт.

Восхищённо оценив умение Василия, Кузьмич всё же не удержался и опять напомнил ему о невероятно высокой плате, внесённой за его переход в зенитный батальон.

Тем временем на горизонте показались автомашины немецкой пехоты. Кузьмич забрался на турель и приказал друзьям продолжать сбор боеприпасов. Ползок или на четвереньках раненые солдаты пополняли запас снарядов.

Дождавшись, когда немцы подошли поближе, старшина открыл огонь. Неожиданность такой встречи и большая скорострельность бывшей зенитки заставили врага отступить, причём отступить с большими потерями. Однако недолго длилась радость победы. Фашисты очнулись и открыли ответный шквальный огонь. Небольшой пятачок, занятый нашими героями, превратился в кипящую кашу из комков глины и остатков батальонной техники. Какое-то время старшина Склянкин ещё продолжал стрелять, но вскоре отрывочные очереди смолкли, и праведная душа оставила его истекающую кровью плоть.

Пусть и не тяжёлые, но многочисленные раны покрывали тела закадычных друзей. Помимо всего, Алексею оторвало по колено левую ногу, а Василий лишился двух пальцев на своей золотой правой руке.

Но главное! Главное было в том, что задержка немецкого наступления позволила командованию принять меры для устранения образовавшейся прорехи в нашей обороне. Кинжальная танковая атака с двух сторон отсекала, расчленила фашистскую группировку. Прорвавшиеся немецкие танки попали в “котёл” и вскоре были уничтожены.

— Вот мы с тобой, Васёк, и стали кавалерами пусть не орденов, но медалей. Причем, самых главных медалей — “За отвагу”, — Алексей бережно погладил блестящую на его груди новенькую медаль. — А вот наш Кузьмич уж не сможет обмыть свою боевую награду.

— А ему-то что дали? — правая рука Василия была по локоть запеленована бинтами и продолжала ныть так, что он не мог последовать примеру своего друга. — Ты ведь всё знаешь.

— Да, вроде, посмертно представили к ордену Отечественной войны второй степени.

— Почему второй?

— Почему, почему? По кочану, — Алексей одним из своих костылей пододвинул поближе к Василию стоящий рядом замызганный табурет. — Ты лучше, Васёк, присядь, а то свалишься. Послушай лучше сюда.

Хотя у Василия, в отличие от друга, сохранились повреждённые, но обе ноги, он не стал спорить и смиренно выполнил указание.

— Сел? Ну, хорошо, — продолжал Алексей. — А знаешь, чем награждён наш капитан Обухов? — его покрасневшее лицо резко усилило яркость веснушчатой россыпи. — Орденом Ленина!

— Вот это да! — Вася обалдел от услышанного. — Надо же! Так ведь он убежал с поля боя!

— Не убежал, а отвел остатки своей части на новые исходные позиции, чем и сохранил наш батальон. Кроме того, за счёт хорошего воспитания подчинённых комбат сумел организовать заслон на пути вторжения фрицев...

— Какой заслон?

— Какой, какой. Да наш, во главе с Кузьмичом.

— Никак не соображу, — Василий покрутил своей забинтованной головой. — Ведь получается, что герою Кузьмичу дали только вторую степень “Отечественной войны”, а капитану — высший орден? Ну и ну!

— Да не ершись, Васёк. Нашему-то старшине уж всё равно, а комбат ведь неплохой мужик. Так что просто прими к сведению. Лучше давай дёрнем ещё по чуть-чуть.

Несмотря на душевное негодование, предложение было принято Василием с благодарностью.

— Эх, Кузьмич, Кузьмич! Какие же он мне надфиля раздобыл. Даже тебе, Лёш, слабо...

— Да что надфиля! Вот мы с тобой сегодня обмываем медали, а чем чёрт не шутит, может, потом получим за подвиги и ордена. Может, даже и высший орден Ленина, — философствовал опьяневший Алексей.

— Какие же ты совершишь подвиги с одной ногой?

— Эх, Васёк, поднимись ты хоть раз выше уровня своих напильников! Пора бы знать, что орден Ленина даётся не только за ратные, но и за трудовые победы. Так что у нас с тобой всё ещё впереди, — с пафосом сказал Алексей и внимательно посмотрел на свой пузырьёк, в котором оставалось немного спирта. — Давай за наши будущие трудовые свершения!

При этих словах Василию стало совсем грустно. Он бережно поднёс свою культу к губам и тихонечко возразил:

— Какие, Лёш, свершения? Ведь ты знаешь, у меня на основной руке осталось только три пальца.

— Да не горюй ты, Васёк! Главное, что мы живы, а три пальца — это совсем неплохо, — убеждал друга уже изрядно захмелевший Алексей. — Сколько пальцев нужно иметь, чтобы удержать стакан? Два! А у тебя — аж три!

Время было совсем не позднее, и два друга ещё долго обсуждали планы и надежды на будущую мирную жизнь.

ГАЛИНА РУДАКОВА



КОГДА ЦВЕТЁТ СВЕТЛЫНЬ-ТРАВА...

* * *

...И как на сердце муторно, когда
несёт шугу осенняя вода
и нас пугает холодом зловещим,
когда на берег вытащен паром,
и лодка, что пустить пора на слом,
становится нужнее нужной вещи.

В деревне жизнь — она и так сложна:
хлебнёшь с пропажей горюшка сполна,
когда у лодки обмерзает днище,
и в заберегах скрыты берега;
а дома, как тепло ни сберегай,
его выносит мигом из жилища.

И это наша общая беда,
везде — чертополох да лебеда,
но крепко держит родина корнями,

РУДАКОВА Галина родилась в 1956 году в с. Кургомень Виноградовского района Архангельской области. Живёт в Холмогорском районе. Член АРО СП России. Автор книг "Созвездие любви", "В памяти сердца", "Даль синеекая", "Цветок лазоревый", "Слово старого реченья", "Бабушкины обереги" и "Кургомень". Лауреат областной премии им. Николая Рубцова 2005 года. Публиковалась в журналах "Двина", "Север", "Молодая гвардия", "Новая Немига литературная" (Белоруссия), "Бег", "Парус" и др.

и мы несём дрова и топим печь,
мечтая скинуть это бремя с плеч,
и просим Бога быть всё время с нами...

И так на сердце муторно, пока
не станет за ночь стылая река,
тогда, с собою взяв охапку веток,
пойдём дорогу за реку вешить,
и снова оживится жизнь в глуши,
когда на выходной дождёмся деток...

ЗИМНЕЕ ПОЛЕ... СУХИЕ БЫЛИНКИ

Зимнее поле... сухие былинки...
Месяца льдинки в небесном протает...
Словно бы кто-то окликнет:
— Галинка!..
Поле да ветер от края до края...

Словно в одном карандашном рисунке:
с бабушкой мы за столом своедельным,
мама в жакетке, с хозяйственной сумкой —
всё, что хранится в сосуде скудельном...

Может быть, это седьмая из вёсен:
бабушка стелет на снег полотенца...
Что там вода прибылая уносит:
Старенький мячик?.. а может быть, сердце?..

Мати посудой гремит спозаранку,
в вёдрах — с ледышкой вода прорубная.
Дышит дымком закоптёлая банка...
Дочи приехала — радость какая!

Ветер шуршит по кустам краснотала...
Всё, что осталось, — моё безраздельно!
Речка... колодец... и банька осталась...
Всё остальное — в сосуде скудельном.

Словно скрип снега на ветхом крылечке...
Ветер качает сухие былинки...
Нет ни крылечка, ни дома...
— Галинка!..
Снежные вихри несутся навстречу.

СОН ШМЕЛЯ

Сухие падают дожди, шуршат в траве бумагой мятой,
и пахнет свежестью и мятой, а сердце просит: “Подожди,
не уходи, ты так мне люб, о мой сентябрь златоволосый...”
Слетелись на окошко осы, слова любви слетают с губ...

Желтеет колкая стерня, солома светится янтарно,
едва заметен свет фонарный среди осеннего огня,
и только провода звенят
струной расстроенной гитарной...

То имитирует, шая, полёт шмеля осенний ветер;
последний одуванчик светел; едва крылами шеvelя,
в его пушистую постель приткнулся запоздалый шмель...
качает ветер колыбель...

Шмель засыпает навсегда, булавкой осени приколот,
и превратят вода и холод его вот-вот в кусочек льда...
Так и душа когда-нибудь найдёт другое измеренье:
речушкой спрячется под землю, на небе ли продолжит путь.

А ты побудь ещё со мной, избранник мой златоволосый,
а ты побудь ещё со мной!
Настанет время — без вопросов уйдёшь по лунному откосу,
Не тяготясь своей виной.

КОГДА ЦВЕТЁТ СВЕТЛЫНЬ-ТРАВА

Когда цветёт светлынь-трава, шепчи любовные слова,
зови искать цветок во мглу

лесных урочищ,
Пусть вспыхнет он в твоих руках, как поцелуи — на устах,
и мы найдём заветный клад купальской ночью.

Пусть не скроет ночь лица, светлее свѣтла месяца, —
а ясный месяц в вышине висит подковой;
пусть там, где речки светизна, русалка выплывет со дна,
а в травах возле берегов — свет светляковый.

Горят костры, и в полумгле деревья бродят по земле —
ты не найдёшь их поутру на старом месте;
на воды светлые реки бросают девушки венки,
и видит каждая из них фату невесты.

Когда цветёт светлынь-трава, шепчи безумные слова!
Ах, этот сказочный цветок скорей достать бы!
Скажи, ответь нам, светицвет, где клад зарыт, открой секрет!
А сразу после Покрова сыграем свадьбу.

* * *

“Кто уехал — тот и останется”.
Олег Чухонцев. “Южной ночью”

Я уезжаю, и я остаюсь —
Мысль быстролётна,
как ветер раздольный.

Словно иду по дороге окольной,
Издали вижу деревню свою...

Я уезжаю. Светает едва.
Сёстры проснулись
и доят корову.
Что же надёжнее óтчего крова?
Лишь ощущение любви и родства.

Словно бы вовсе и не далека,
Вижу, как будто смотрю из окошка:
Сено прибрали, копают картошку,
Звонкую воду берут с родника.

Словно заречным угором крутым
Я прохожу у изломистых сосен;
Словно бы сердце мне тронула осень
Листиком лёгоньким и золотым...

Я уезжаю. Бессильны слова.
Долго у медленной жду переправы.
Падает сердце

в пониклые травы...

Падает

в тёмные воды

листва...

ЛЕТО

Помнишь: июльское солнце над головой,
речка, петляя, внизу образует мыс.
В рощу сбежишь с угора узкой тропой;
сосны столетние вслед тебе

смотрят вниз:

там свой шалаш, к нему добредёшь пока —
и земляничин полон уже стакан.
А над большой горой плывут облака,
а за большой горой живёт великан,

смотрит издали на тебя

и является в твои сны,

ты же — в платьишке ситцевом,

солнышко по плечам,

и ладошки твои от земляники красны,

и мерцает в душе огонёк-свеча...

С бабушкой ты ходила сюда не раз
листья ольховые рвать

(говорили: “Смонуть бред”),

ну, а теперь иссяк её сил запас —

стала “совсем невладима” на склоне лет.

Всё здесь твоё: земляничный рай за рекой,
речка прохладная, роща, друзья, шалаш,
а на угоре — дом твой, подать рукой...
А землянику бабушке ты отдашь.

ВАЛЕРИЙ ИСАЕВ



БРЁХНИ

ПЛЯСУН

Ванька Пилюгин — наш березницкий гармонист — на вопрос, непременно возникающий в знак признания его высокого, а для некоторых и недостижимого мастерства, останавливая “исполнение” и, глядя в глаза вопрошавшему, отвечал так:

— С детства всё пошло. С детства... — А потом продолжал задумчиво, складывая на гармони руки и глядя куда-то вдаль, может, в то самое детство, о котором только что говорил: — Бабушка, бывало, начнёт тереть на тёрке что-нибудь... А я в пляс... Верить-нет, мог танцевать столько, сколько она будет тереть... Так то ж бабушка, родная кровь... Как же! Щадила. А мужики, как прознали про ту мою слабость, так иной раз и издевались просто: приходилось танцевать до упаду. Им-то что — смех, да и только, а мне какая радость была! Вот падал, верить-нет, у них на глазах, а ноги даже у лежащего так и ходили ходуном, продолжали своё радостное дело. Только им, видать, понять это не дано было — они своё получили и, перешагивая через меня, расходились по домам, уверенные, что ухайдокали пацана, лишили сил.

Им и в голову не приходило, что я-то благодаря им в очередной раз порадовался жизни, наполненной божественными звуками обожаемой мной уже в ту раннюю пору музыки. И невдомёк им — “истязателям”, — что не му-

ИСАЕВ Валерий Николаевич родился в 1941 году в Ленинграде. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. Доктор медицинских наук, действительный член Академии медико-технических наук. Работал по профилю в Рубцовске (Алтай) и в Москве. Автор 12 книг прозы и 6 поэтических сборников. Среди них «Огонь плящий», «Первый и последний», «На краю». Лауреат премии Александра Невского. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

чился я от их насмешки, нет! Я с нетерпением ждал, только виду не подавал, — а вдруг да спугну! — когда они снова одарят меня священными уже тогда для меня звуками, исторгаемыми не только тёркой (я ведь незаметно для них рос, вырастал!), но и звуками начинавшего работать двигателя, криками “доб-цобе” на волов, бречанием уздечек на рабочей лошади да просто стуком железки об железку... А призывающий к жизни крик петуха! А уж там оно само пошло-поехало. И стал я слышать музыку нашего сада, речки, луга... А уж про песни возвращавшихся с покосов мужиков и баб — про то я молчу. Я только теперь понимаю, что я жил в раю, только не знал про это...

Хочешь — сыграю твой портрет? Просто интересно — узнаешь себя или нет... Хочешь?..

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Это мне сам Виться Зизя рассказывал... Отец его — старший Зизя, — говорит, видит сон: подходит к нему женщина, статная такая, конечно, красавица, но с виду строгая и ответственная... Я, говорит, Зизя, твоя страна... Прими, говорит ему его страна, за твои многолетние труды в мирном и ратном деле вот эту тысячу рублей... И кладёт их на табуретку прямо перед ним. Табуретка низенькая, так что получилась так, что страна перед ним поклонилась чуть ли не в самые ноги... Не скрою, говорит, само по себе приятно было... Мало этого, так она ещё такой улыбкой одарила батю, что он готов был ещё одну жизнь протрудиться, чтобы она ещё раз так вот улыбнулась ему...

Спал дальше или не спал — и сам не понимал... только со стороны было видно, что всё руки к чему-то тянул — то ли к деньгам тем, то ли к ней, к стране своей — не поймёшь ведь, не спросивши... А как батю будить — нельзя!.. А наутро, чуть глаза открыл — давай отец искать те деньги...

“Я же заслужил их...” — приговаривал. А сам ту табуретку и так держал в руках, и эдак, и на просвет смотрел... Всю постель перерыл. — Ну, я же заслужил...” — говорит, а на самого жалко глядеть. Потом всех нас опрашивать стал с пристрастием, каждому в глаза глубоко заглядывал — подзревал... “Я же, говорит, заслужил... Я бы все свои долги... Я бы хоть один зуб себе вставил... Я бы...” А когда мы ему стали говорить: “Да ты, батя, сон с явью спутал...” — он отвечал дрожащим голосом: “Да сами вы дураки! Разве я не заслужил... Как вы не поймёте...” А сам чуть не плачет.

БЕССТЫДНИЦА

Янька, сосед, рассказывал, как ехал на катере от города до Березников... Хорошие времена были: автобусы из города до Березников один за другим мотались туда-сюда, сюда-туда... Не хотите на автобусе — пожалуйста вам, катер... На свежем воздухе, с ветерком, в прохладце — водичка рядом... Молодухи кругом, к любой подходи — твоя! Кругом вода... Отступить, как говорится, некуда... Не в воду же ей прыгать...

К одной — самой красивой, конечно, подхожу, — рассказывает, — подсел к ней, из одного подсолнуха погрыз с ней семечек... И говорю ей шутку, которая первой пришла в голову: “Если вы сейчас, красивая вы моя, думаете о том же, о чём и я... То как же вам не стыдно?...” Потом долго смеялись друг над другом. А через полгода поженились...

ПРИМЕТЫ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

В наших Березниках почему-то чуть ни в каждой хате висит икона Пантелеймона Целителя... Почему так — никто не знает... Но, наверное, оттого, что дух Пантелеймона присутствует в каждом почти доме и каждый из наших так или иначе рано или поздно задумывается над проблемами здоровья и находит какие-то свои решения.

Колька Лизы Трофим Пальча лечит уже готовые болезни, спасает то животину, то людей... А Ванька Дупин занимается, что называется, предупреждением их и в свободное от работы (и откуда только он его берёт?!) время сортирует наших безрелигиозных на слабых и сильных по своим, только ему известным, приметам.

Я как-то засиделся с ним на скамеечке — коров пригнали, можно было и отдохнуть, пока их доят. Много для себя полезного узнал. Ванька говорит, если с вечера до утра свежий молоденький мохнатый ещё огурчик есть и есть уголки с рамок из ульев всю ночь, всю напролёт, и ничего с тобой после этого не случится, — это хороший признак... Если камень, который ты до армии поднять не мог, не можешь поднять и в старости — значит, сил в тебе не убавилось... Если, чем громче председатель орёт на тебя, а ты его всё хуже и хуже слышишь, — значит, и со слухом у тебя всё в порядке... Если мужики говорят и слева, и справа, — куда ты смотришь? Федька или, там, Василий! Гляди: жена-то твоя... а ты ничего не видишь — значит, и со зрением у тебя всё хорошо... Если без слёз не можешь смотреть вслед улетающим по осени птичьим клиньям — значит, и душа у тебя на своём месте... А уж если ты в колхозном свинарнике простоял целый час и не зажимал ноздрей, и на ногах остался стоять, не упал...

ВЫСОТА ДУХА

К Анне Андреевне всегда захожу, когда мимо иду. Сам не знаю, почему... Красивая она женщина... Хотя и в годах уже, а чем-то веет от неё очень хорошим... Сколько лет хожу, а понять не могу, почему она такая и почему к ней так всегда меня тянет, и невозможно пройти мимо её одинокого дома.

— А почему, дедуш, одинокого? Она же вроде замужем была...

— Вот то-то и оно, что была... Была-была да и перестала быть... Узнала, что мужик изменил ей... Простить не смогла. Выставила его за порог... Как он только её ни просил... Как ни убивался... Сказала: “Нет!” — и всё тут. Он помучился, походил к ней, под окнами её настоялся... Кто-то его там и подобрал... Принял к себе... Так в Капустичах и прижился, семью завёл, ну, и всё такое прочее... Потом непрощённым так и умер... Теперь его могила самая ухоженная — одна такая на всё кладбище... Я долго и сам не знал — почему, кто за ней так хорошо ухаживает... А тут в очередной раз зашёл к Анне Андреевне. Поговорили... Я уж было и засобирился идти себе дальше, как сам будто бы разговор завязался про её прошлую жизнь. Про неверного муженька...

— Так и не простили вы его, Анна Андреевна?..

— Так и не простила... — отвечает. — Разве ж можно такое простить... — говорит.

Смотрю, собирается куда-то... Спрашиваю:

— Куда?

— Да к могилку же моего бывшего...

— Как так? Вы же говорите...

— Ну, это по-человечески я его простить до сих пор не могу, а по-христиански... Как же мне его не простить? Давно простила... Да и из Капустичей перестали ходить к нему... Как было не простить... И ты бы простила. Как же по-другому — нельзя...

Смеется... Взяла узелок и пошла себе по самому главному в жизни каждого человека делу.

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

Это дядька Петя из Корнева рассказывал...

— Говорю, — говорит, — Нюське, жене своей: “Нюсь, ко двору лошадь с санями подогнали... Собирайся, навоз будем на огороды возить из коров-

ника...” Зачем-то Нюська пошла в сенцы, что-то там стала искать... Да наткнулась на оставленное ею в день нашей свадьбы шитьё на пяльцах. Так как будто час назад она его оставила, девкой ещё... И иголка ещё с ниткой мулине, правда, уже выцветшей, будто только что воткнута. А ведь столько лет после свадьбы прошло — не сосчитать...

Потянулись её руки к шитью, взяла она те пяльцы, заулыбалась, — сама потом рассказывала Петьке, — и захотелось ей прерванное свадьбой дело продолжить... Иголку взяла было в руки... А пальцы-то не слушаются... Ещё раз попробовала. Не тут-то было... Вышла с пяльцами из сеней да к Петьке, мужу своему. “Ты что же, — говорит, — сукин сын, жисточку мою забельшил... Ты смотри, что ты со мной сделал... — И в нос Петьке шитьё-то тычет... — А ведь я лучше всех вышивала в деревне... А теперь... Смотри, паразит проклятый...”

Опустилась на пол и заплакала горькими слезами... Петька такого снести не может... Подходит, остороженько кладёт ей руку на плечо... А она ему: “Хотела продолжить шитьё, пустила руки с иголкой по старому ещё тому — девичьему — следу. А ничего у меня не получается... Захотелось, как раньше было... А руки-то огрубели от работы...”

Пальцы не слушаются. Нынешняя, теперешняя жизнь не пускает её в ту — прежнюю, молодую — колею, не отпускает, препятствует... Сидит, плачет. Обливается горячими слезами.

Лошадь всхрапнула за окном. Петька слова успокоительные Нюське своей кажет: “Не расстраивайся, Нюсенька, моя дорогая... Лом, считай, та же иголка... Ну, малость побольше только. А так... Почитай то же самое... Так что пойдём, поработаем, повышиваем с тобой вместе. И себе в удовольствие, и людям на радость. Ты будешь отламывать. А я носить. Не плачь. Пошли. Кобыла заждалась. Пора...”

ЧУДО-ЛЕКАРСТВО

Валентин Пилогин неделю, наверное, ходил и всё за сердце держался. Жаловался, что сильно болит в груди... Щемит, саднит, мучает... Крепко ему, видно, досталось, раз поехал в город, в Рыльск, в больницу — делать нечего. А сейчас добираться, сам знаешь как: машины не останавливаются, катер отменили, потому как денег ни у кого не стало — невыгодно... Да и несколько раз подряд грабили перевозчиков, отнимали сумки с дневной выручкой. Одного чуть не убили... Автобус раз в неделю ходит по той же причине: нет денег у народа. Сроду такого не было! Вот и приходится теперь на своих двоих...

Ну, добрался кое-как. Побывал у врача... Она ещё ему возьми да скажи: с вашим сердцем вам надо почаще у врача бывать... Она что, издевается? Это как же я могу с больным сердцем по десять километров — чаще-то! Вообще помру по дороге... Ну, да речь сейчас не о том... А речь о том, что выписала она Пилогину лекарство с каким-то длинным-предлинным названием. Таким длинным, что запомнить его невозможно...

Приходит Пилогин в аптеку за лекарством. Сердце, говорит, точно помню: пока стоял в очереди, ещё болело... Отстоял очередь, подошёл мой черёд, просовываю в окошко рецепт. Она щёлкала, щёлкала на машинке... и говорит — с вас... Ну, тут я не стану даже повторять её слова, чтобы не обидеть многих наших односельчан, у которых, как и у меня, никогда в этой жизни не будет таких денег... Да... Но, как говорится, рядом с печалью всегда ходит чуть не под ручку радость — так уж устроено в этой жизни...

Вдруг я чувствую, как боль моя в груди пропадает куда-то, растворяется, исчезает. И вот уже её и совсем не стало... Думаю, вот это лекарство! От одного упоминания о нём всё проходит... Во как помогает! Купить, конечно, его я не смог — кишка тонка... А вот написать название попросил у аптекарши на отдельном листочке. Как же — ведь точно так же с сердцем маются у нас, почитай, полдеревни: и бабка Хрестя, и Пудьяновы, и оба Жахтановы... Оно ж, наверное, любому подсобит, раз такой огромной силой

обладает! Пусть идут в город, пусть тоже спрашивают. Глядишь, и у них боли пройдут, как вот у меня прошли. От одного названия...

ИЗЛИШНЕЕ МИЛОСЕРДИЕ

— Дедуш, а правда, что ты даже председателем когда-то был?

— Был, внучек, да только очень недолго. Сняли меня, как объяснили, за излишнее милосердие...

— Почему?

— А ты послушай — и сам поймёшь... Как поставили, так сразу пересел я с пролётки на “козла”, на “уазик”, стало быть... Ну, едем это мы с моим шофёром... Забыл уже, как и звали, но хороший был шофёр, в войну боевые машины водил, на врага ходил... Да. Так вот едем как-то по главной нашей улице, от конторы как раз... Глядь, а прямо посередке Володька Мирнее — сдурел, что ли, совсем, — прёт на горбу два мешка краденого жита... Я по мешкам сразу увидал — колхозное, с ближнего амбара, по три пуда в каждом... Ну, едем... Я говорю шофёру: “Давай помедленней... А то догоним, смутит человека... Неловко будет и ему, и нам с тобой...” Ну, он, конечно, слушает меня. Притормаживает, ясное дело... А этот паразит, ты слышишь... Решил передохнуть... Скинул мешки ворованные, ещё и уселся на них. Ну, и — это уже неслыханная наглость! — достаёт из фуфайки численник, кiset с махоркой... И ты только представь себе такое — я, дак, например, до сих пор не верю сам себе! — начинает закуривать. Да не сразу разгорается у него огонь... Так он чуть ли не к нам за огоньком... Ну, слава богу, не успел... Я тогда сказал водителю своё председательское слово — строгое и решительное: “Давай, говорю, сворачивай на другую улицу”. Ну, вот так раз-другой, внучек, и сняли меня с председателей... Да... Ну, как его там — за излишнее милосердие — так сказали в приговоре...

СТОРОЖ

Дядька Ваня Дупин всю жизнь пчеловодом проработал... А тут стало не по силам ему ворочать перед зимой ульи, подтаскивать патоку в бидонах, разливать по вёдрам, подставлять к ульям — подкармливать пчёл своих любимых... Словом, поставили его сторожем на бахчу... Чего там... Самый тяжёлый кавун — считай, полведра воды. Это уж ему можно одолеть...

Сторожовское дело нехитрое. Знай, спи себе, да бердаш не выпускай из рук, чтоб со стороны видно было: сторожишь... Только проработал он на той должности всего одну ноченьку. Потом сам рассказывал... “День, — говорит, — прошёл — не радуешься. Ходишь — сторожишь, сидишь, лежишь, даже дремлешь, а всё одно работа сторожовская продолжается — ведь сторожишь же? А как же! Сторожишь... Понравилось мне днём. А как ночь пришла, так я, утомившись той сторожовской службой, стал засыпать хорошим непривычным даже для меня сном — раньше-то просто валялся с ног от усталости. А тут, как благородный, засыпаю от безделья... Ну, да ладно... Только заснул как следует, вдруг слышу совсем где-то рядом — т-р-р-р-р-е-с-ь. Я аж подскочил на своём месте. Головой о крышу шалаша — бац! — бердаш обхватил обеими руками, как утопающий за соломинку, за него ухватился — держусь... Зубами стучу — жду. Что дальше будет? А тишина... Выглянуть поначалу хотел — не стал: а вдруг да что-то там такое совсем уж страшное? Поостерегся на всякий случай. Решил характер показать — не выглядываю, и всё. Да оно и так ничего видать, темень стоит — глаз выколи...

Совсем уж успокаиваться стал, опять дрёма облаком заволокла и поднимает над землёй, засыпаешь, как дитя. Ещё подумалось мне на тех облаках: вот так-то бы всю жисточку работать, так бы и засыпать... А то ведь свалишься, бывало, от тяжкой работы рядом с кроватью, нет сил дойти до неё, так что родня подымает потом до подушек. Иной раз уронят, так и не проснёшься... Но чаще, правда, доносили благополучно...

И только это я так размечтался, вдруг слышу опять: т-р-р-е-с-ь... Но на этот раз уже совсем близко... Потом следом ещё и ещё, то слева, то справа. Тут я совсем перепугался. Да... Еле-еле утра дождался... Чёрт-те что в голову лезло...

А как утро сделалось — бегом из шалаша домой. Правда, бердаш не бросил. Потом вот прибег в контору, чтобы заявить, что больше я ни шагу на бахчу. Ещё бы! Ну, и стал рассказывать мужикам про те страшные шаги каких-то ночных то ли разбойников, то ли инопланетян-великанов... Бог их знает, кто они там такие. Только мужики меня на смех подняли...

— Эх, ты, — говорят, — войну, страсть какую, прошёл. А тут чего испугался... То ж арбузы переспевшие трескались — самое им время сейчас трескаться. Эх, ты... — И опять в хохот...

Но я им не поверил и от работы той смертельно опасной всё-таки наотрез отказался...

МИЛЛИОНЕРША

Про неё все как один — только с почтением, уважительно. И звали-то её, не как остальных — Валька, Янька, Колька Апатенков, Нехрюка... и опять Валька... Нет, что ты! Модистку звали по имени и отчеству — Зоя Фёдоровна, и никак не иначе... А ведь не за просто так... Ещё б! Каждому было известно в деревне, что Зоя Фёдоровна, в отличие от всех остальных, деньги делает. И потому, что одна она такая, и потому, наверное, что ни в нашей, ни в соседних деревнях таким делом — делать деньги — не занимался больше никто, решили мы подглядеть: как они проклятые делаются?

Чуть стемнело, мы у модистки уже под окнами. Заглядываем и видим: сидит Зоя Фёдоровна посередине хаты, на машинке швейной строчит. Вона денежки как делаются... А мы-то думали... Руки проворные такие — ну, прямо как у тётки Маруси продавщицы: так и снуют, так и находят сразу, что им нужно, и без всякой суеты, и без всякой паники — привычное дело.

Заглянули через час, через два, через три... светать уже стало... Она не останавливается... Ну, понятное дело, когда дело спорится, чего ж останавливаться! Живые деньги... Строчит, как пулемётчица... Вот что жадность с людьми делает! Остановиться такие уже не могут. Да и вряд ли что их остановит. Им, таким, и закон не закон. По закону ведь ночью спать полагается. А она нарушает...

Видим: палец наколола, аж вскрикнула! Любая б из наших бросила тут же свою работу, ещё б и матком запустила. А эта нет, так и тут не бросила! Вот что деньги с человеком делают... Ходит по хате, палец пораненный обсасывает... А всё равно с машинки глаз не сводит — всё мало ей. И всё ей нипочём — она, видите ли, деньги делает! Видали вы её!

И ведь, ты скажи, посмотреть на неё — ничего ж в ней такого нет. Ни за что не скажешь, что богачка... Такая же, как все безразницы бабы. И платок повязан, как у всех наших, и фуфайка на ней такая же, как у всех... Только один карман оторван — ну, то ж ясно: маскируется. И пот она со лба утирает так, как все остальные у нас в деревне. Только нас теперь не проведёшь! У наших-то пот трудовой, а у этой после того, что мы увидели той ночью, — другой, буржуйский... А так она — как все. Никогда не подумаешь даже, что миллионерша, что бешеные деньги по ночам делает.

ГОРЕ-ГЕРОИ

Ещё зачем-то говорят: “Народ безмолвствует...” Да ничего он не безмолвствует — он вопиет... Ещё как. Но только по-своему, по-православному, по-русски. Как это, спрашиваешь? А вот как... В какую деревню ни зайду — везде одна и та же история, только с разным концом... Господи, чего только не слушаешься! Как же народу хочется справедливости! Как хочется всем и каждому поквитаться с ненавистной, кровавой властью... И сразу же появ-

ляется очередной — только что в соседней деревне было уже их трое или даже четверо, в танке столько уже и не поместится, — а они всё одно... Не унимаются. Как же хочется свести счёты с чудовищем... Да. Как ни стыдно признавать это, скажут обязательно, что один из членов того танкового экипажа, который расстреливал живых людей в Белом Доме, — из их деревни...

Так начинали передо мной эту историю столько раз, сколько я входил в деревни не только нашей, Курской области, а по всей стране, куда бы ни приезжал, — даже в Анадыре, в Петропавловске-Камчатском, в Елизове... А вы говорите...

А дальше уже по-разному, в зависимости от людей, от характеров, от местных обычаев... А дальше обязательно что-то такое с ними, с этими горе-героями должно произойти, и непременно что-то ужасное: тот утонул, тот с ума сошёл, тот захлебнулся водкой прямо на глазах у всех, тот мясом поперхнулся или костью подавился. И всё смерти-то ужасные... Приводят свидетелей, которые всё это видели, до всего того своими руками дотрагивались... И вот теперь, не моргнув глазом, “свидетельствуют”: “Чтоб мне сквозь землю провалиться, если брешу!”

Слушаешь их и думаешь: как же деликатно наши русские люди откликаются на самые страшные несправедливости, низвергающиеся на них сверху в наше время в таком изобилии... И ведь берут на себя всю вину, что именно в их деревне родилось такое чудовище, а значит, и сами они в том повинны, скрипя зубами, а признаются. Да только желание справедливого возмездия, желание таким образом вступить в какой-никакой диалог с властью берут верх, и вот тогда-то и видно истинное отношение людей к происходящему... И потому получается, что в каждой деревне этих горе-героев, которые все, как один, получали награды. А иногда даже рассказывают, как оставшиеся от горе-героев ордена запечатывают и отправляют по почте на самый главный адрес страны: Москва, Кремль... Первому... Не припомню я других времён, когда так яростно швырялись бы наивысшими наградами... А вы говорите, народ безмолвствует... Не безмолвствует он. Слышать надо его научиться... Ведь только я один насчитал, перебираясь из одной деревни в другую, больше тысячи горе-героев. Столько и танков-то в стране нет... А ведь экипаж тот проклятый, что стрелял по Белому Дому, — всего четыре человека. Вот вам и любовь народа к своим властям! Да не безмолвствует народ. Он просто криком кричит... Да только его никто не хочет услышать.

О ПРАВДЕ

А вообще-то, дорогой внучек, всё, что я тебе рассказываю, — самые настоящие брехни... Послушай и забудь... Старайся в жизни по возможности быть поближе к ПРАВДЕ... Всегда будешь в выигрыше...

“СМЕРТЬ” ГАРМОНИСТА

На моих глазах это было.

Как сейчас помню: на свадьбе у Пилюгинской дочки, как раз на Бориса и Глеба, сцепился наш гармонист с магнитофоном. Он его, как только внесли и поставили в угол на тубаретку, заметил — всё кидал в его сторону подозрительные, а то и ненавистные взгляды; то через прищур, а то и открыто во все глаза — сразу почувствовал в нём своего врага. То было состязание не на жизнь — на смерть! Уж как старался Иван, какие взгляды-молнии метал в сторону своего соперника — этой проклятой машины, этого зеленоглазого циклопа!

А люди! Люди-то — и чтоб вовремя опомниться!.. Так нет! Слышали — не глухие! — как бедный Ванька изо всех сил рвал меха, старался ни в чём не уступить равнодушной одноглазой машине, весь в поту, голову уже чуть не на меха уложил — уморился состязаться — и исподлобья косился в сторону ненавистного аппарата, и прямо смотрел, и сверлил взглядом, а потом

стал уже и клонить голову на поле брани последний березницкий гармонист. А жестокие равнодушные танцующие люди нет-нет да и подойдут, да и крутанут какую-то ручку — городские, им виднее! — а машине что: глядит немигающим своим зелёным равнодушным глазом, как циклоп какой, и давай ещё шибче, давай ещё громче... Её звуки неживые — чего они стоят! А вот Ванька того гляди вместе с аккордеоном на пол вот-вот свалится, обессиленный и несчастный. Такого не случилось, конечно. Последней каплей для него стало включение магнитофона на всю мощь. Ну, куда простому человеку против техники! Тут все запрыгали, как козлы, как городские.

А когда ближе к утру уже хватились: где же гармонист?

Сказали, что видели его у речки, как подходил к Сейму, как раз к Чёртову Бешеному равцу... Место лешачье... Сказали, что с гармонью. Первое, что подумали: завалился, утоп с досады Ванька. Но нет! Через месяц-другой услышали наши свою музыку — живая! Но доносилась она уже не рядом с березницкой хаткой гармониста, а со стороны Стропиц, что в четырёх километрах от Березников.

С тех пор наши березницкие с тоской глядят в сторону соседней деревни, откуда нет-нет да донесутся с детства знакомые всем звуки родной гармошки, и проклинают ненавистный прогресс. А магнитофон тот бьёт как и включают, только те, кто с придурью или кто никак выздороветь от затяжной болезни какой не может. Слава Богу, такое нечасто случается.

СИЛА ВЕРЫ

— Бог есть! — всегда говорил Пилогин. Часто уточнял: — И он справедлив!

Так и в эту весну, когда случился разлив, и паводок подступался чуть не к порогу березницких хаток, Пилогин говорил, глядя на волну, подкрадывающуюся к высокому порогу его недавно подчепурённого дома:

— Вот гляди: казалось бы, самую малость — и всё! Ан, нет! Кто-то там сверху, — и он при этом задирает голову, а иной раз даже стучался головой о край дверной притолоки, — приглядывает за всеми нами, не даёт перешагнуть воде к нам за порог незваной гостюшкой. Вот подошла — и стой тут. Дальше — ни-ни! Дальше — люди. Не моги! И так из века в век... По той воде время можно было сверять — вот половодье есть, а вот уже и нет его. И ведь всегда так и было. А тут...

Думал так Пилогин и тогда, когда воды в доме стало по щиколотку, и когда по голенище, и когда по пояс. От своего не отступался. Кивал опять наверх, косясь на бантину, которая тоже могла бы больно ударить его по голове.

— Обо всех там забота имеется, а то как же... Так бы все и позаливались бы давным-давно. А вот живём же, радуемся.

Он, наверное, и под водой уже продолжал радоваться и верить, и даже мысли не допускал, что Господь может быть несправедлив и к нему, и ко всем березницким, иначе не нашли бы его после паводка с чугуном в руках у печного устья, с сияющим выражением улыбавшегося во весь рот спокойного лица, обращенного куда-то вдаль, наверное, в сторону надежды, в сторону, откуда должна бы прийти помощь, да вот не пришла...

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

— Дак ты бы прошёл да спросил у Кольки Пилогина. Ну, и что, что помер. А тебе что, это помеха, что ли? Всё при нём и осталось.

Только не начинай издалека, сразу к делу: так, мол, и так. Не было ещё такого случая, чтобы кто-то по настоящему, по стоящему делу не отозвался. Семён вон до сих пор с Веркой Апатенковой любовью крутит. Не докрутил при жизни-то. Иной раз вергается с кладбища — пол-лица огнём горит от Веркиной пощёчины. На люди не показывается — стыдно за то, что руки распус-

кает раньше положенного... А потом переждёт-переждёт — и опять туда, к могилкам. Так у них любовь, известное дело, — безделица. А у тебя-то совсем другое. Да гляди, сразу всего не выкладывай, а то ещё выскочит, высигнет да вперёд тебя до кузни, до оставленного тобой дела доскочит — он такой, я его знаю. Оглянуться не успеешь. Наши, березницкие, они такие! Сколько раз уже было. Так что шибко сразу не озадачивай. Потихонечку, помаленечку. Понимать должен. Сам когда-то на заслуженном отдыхе будешь. Слава Богу, все они, советчики наши, наставники, с нами — вот они, как говорится, под рукой. Без них куда? Да никуда! Давно попропали бы. А так...

ОЧАРОВАННАЯ ДУША

Началось всё с того, что на берегу нашего Сейма, как раз напротив Крючковщины, — не самого красивого места, — появился художник, конечно, из городских. Нашим не до того — работы во сколько, что в полях, что в огородах. Наломаетесь — не до художества, дух бы перевести. А этот гладкий такой, чувствуется — отдохнувший, не загнанный человек. Не ускользнуло от Колькиного внимания, как художник голову склонял на плечо, как щурился одним глазом, как руки, выпачканные краской, засовывал под бечёвочку вокруг пухлого живота. Как никого он не замечал вокруг — никого! Даже Кольку. Даже его! Как губы розовые, уже покусанные, покусывал, как... Да что там говорить — Колька всё успел разглядеть, всё запомнить, чтобы потом вот так-то вот самому... Сильно ему захотелось вот так же, как этот, городской, срисовать и это место с видом на Крючковщину, и другие — их Колька знал поболее, чем ЭТОТ!

Колька на такой случай проходил мимо — тоже любил с того места малой родиной любоваться, — находил время, хоть и короткое каждый раз, но зато радостное. Стал рядом — ну, конечно, с разрешения. Так вот, сначала вроде бы ничего особенного не происходило. А когда на холсте том самое любимое Колькино место стало вырисовываться, да как на грех один в один по похожести, получалось очень даже хорошо. Получалось две речки: на самом деле и на холсте. Ну, точь-в-точь. “Какую из них он с собой заберёт?” — заволновался Колька, заперезживал не на шутку. Не безразлично ему это было, ой, как не всё равно! Ну, очень уж они были похожи одна на другую! Ничего не скажешь... Тут и началось.

Зашлась Колькина душа. Поразила его та простота, с которой человек на глазах у всех среди бела дня кусок речки с самым красивым бережком себе в карман, можно сказать, кладёт — почти ворует. Слава Богу, своё взял, не наше, березницкое, — наверное, пронял Колька его своими попрекающими взглядами. Или ещё что похуже почувствовал — колькины-то кулаки от работы выросли во какие, да и стоял он от него не очень-то далеко, можно сказать, даже совсем близко...

Уже на следующий день видели Кольку в городе на базаре, где покупал он странные вещи: треногу, мольберт, краски, кисточку, одну, но колонковую, как в магазине насоветовали. Колька откладывать завидное дело не стал — слава Богу, и время нашлось для исполнения его невыразимого желания.

К Сейму отправился. Растопырил Колька на берегу треногу, в те же дырочки встрамил растопырки, как и художник городской, поставил перед собой мольберт и давай малевать. Так же откидывал голову то на правое плечо, то на левое, и шляпу сдвигал далеко на затылок (как только держалась!). Он и так, он и эдак: и из-под руки глядел, и отходил, и приближался. И так же делал вид, что никого вокруг не замечает. Оно, по правде сказать, и не было никого рядом. Но это уже и не так важно, а важно, что всё он делал, как ТОТ.

А ничего не выходит. Заозирался. В чём, собственно, дело? Ведь всё же делал, как полагается: и дырочка в дырочку, ну, и всё остальное... А спросить-то не у кого...

Колька ещё раз попробовал. Опять не получается, — нет таких мест, какие выходили на холсте из-под его руки. Нет! Не выходит! А почему? Вопрос тот как катком накатил — никуда от него!

Пошёл к людям. Помнил: люди про всё знают. Умные дураками прикинулись. А один дурак сумничал: взял да и объяснил Кольке, что к чему. Что, мол, дело вовсе не в том, чтобы в те же дырки треногу встрамлять, не в том, как голову на плечо скатывать, побряхтывать так же, как он, как он, шуриться, и даже не в том, как руки перепачканные краской за перевязочку на животе протискивать, а дело в том... Да лучше и не вспоминать про те слова. Не поверил Колька. Пошёл по свету правду искать с пораненным раз и навсегда сердцем. Да, а мольберт тот с треногой до сих пор на краю речки стоит как памятник лучшему движению очарованной Колькиной души. Иной прохожий так и слезу сронит. Отвернётся — расчувствуется: земляк всё-таки. Жалко. А время — что ему: идёт себе и идёт. Скоро снег выпадет...

Если попадётся Николай вам на ваших путях-дорожках — ничего про талант ему не говорите: не любит он это слово, даже, можно сказать, ненавидит и... глубоко презирает.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Председатель Сомов первым провёл день в открывшейся в Березниках библиотеке с читальным залом. Перед самым закрытием его с трудом разбудили. И не сразу он выпустил из рук толстую книгу “Математическое моделирование”, которую всё время своего пребывания в храме науки держал кверху ногами. Когда делился впечатлениями, не скрыл, что впервые в своей жизни отдохнул как следует.

Пример оказался заразительным, и теперь в библиотеку отправляются “пополнить” свои знания те, кто привык перевыполнять взятые на себя обязательства и соответственно уставать больше, чем другие — не читающие и даже не записавшиеся в столь необходимое на селе учреждение. Одно жаль — сроки пополнения знаний ограничены часами работы библиотеки, которые обозначены на выцветшей табличке рядом со входом.

КЛЕПТОМАНИЯ НАОБОРОТ

Вдовец-одиночка, бессемейный Фёдор Велихов — наш березницкий конох — любил бывать в городе. Возвращался из Рыльска всегда в приподнятом настроении, необычайно счастливым и до краёв радостным. Спросите, почему? Да вот, говорят, хворь у него такая — “клептомания наоборот”. Что это — никто до сих пор не знает, а знают другое: по приезде в город Фёдор, оглядываясь по сторонам, — наверное, чтобы никто этого не видел, — покупает в раймаге килограмм лучших конфет, а потом ходит по улицам Рыльска — по Володарского, Клары Цеткин, особенно почему-то его прихватывает по Карла Либкнехта, и, чтобы не дай Бог кто увидел, — в этом его проклятая болезнь, — тайком кладёт в карман первому встречному пацану конфетку. Но только чтоб никто, никто не увидел, ни одна живая душа, — чтоб не обнаружилась эта его хворь.

Слава Богу, ругать его некому, да и врачи говорят, что болезнь эта у него “прогрессирует”, ничего с этим поделать нельзя. Разве что в Курскую областную больницу обратиться. Дак пенсии Фёдора только на дорогу в один конец и хватит. Так и “мучается” человек: не отдаст кому что-нибудь — ходит сам не свой. Ну, больной — он и есть больной, что с него взять!.. Люди про ту его хворобу знают — как же! От березницких попробуй что утай! Так вот, чтобы помочь ему избавиться от страшного недуга, просят Фёдора съездить в город купить то тó, то это. А сдачу, говорят, возьми себе — ну, вы понимаете, на что. Он потом неделю-другую нормальный человек, замечательный работник, и к людям, и к лошадям уважительный. Но потом опять на него накатывает эта самая “клептомания наоборот”, будь она неладна.

МОНАМУР

Как раз под майские свинарю Кольке Фердинандову подарили авторучку и аккуратненький флакон французской туалетной воды. Надпись на бутылочке перевели со словарём: “Моя любовь”. Начальству хотелось, чтобы от свинаря хотя бы иногда поменьше воняло, когда он нет-нет да и появляется у начальства, ну, и чтобы с отчётами не затягивал — ручка теперь всегда при себе. Ещё и пожалели, что одну подарили. Всё-таки надо было две-три...

Но затея эта благородная провалилась на корню: вонь, исходившая от Фердинандова, стала только злее на фоне этой “Любви”. Так и то ещё не беда: свиньи поголовно с того злополучного дня награждения перестали принимать Николая за своего...

РЫБА

А знаешь, внучек, что рыбы в Сейме больше, чем воды?

Да-да! И не сомневайся. Да вот третьего дня приехали городские. Да как бросили шашку в Дёмкин Рог, ну, там где Чёртов Ровец, где на ямках так крутит, что аж дно видать в воронках, и сомы вылезают из воды по пояс и скалятся, — знаешь? Да. Так вот, как грохнуло там — аж небеса потускнели, и шишки в ближнем лесу с ёлок, да и не только с них — отовсюду наземь попадали... Верить-нет, всплыло столько рыбы, внучек, что вода сделалась как посеребрённая, и стали люди переходить по ней, аки по суху, с этого берега на тот... А иные так и по несколько раз...

КОЧЕГУРКА

Не могу забыть эту Кочегурку. Помнишь, как же она, бывало, складно пела... Как сочиняла на ходу всякие присказки, колядки, брёхны разные... А песни какие пела! А голос какой приятный был... Век бы слушал... А ведь позапрошлым или даже больше — видишь, уже и не помню точно! Вот она, людская память, какая... Так вот, стало быть, приказала наша Кочегурка долго жить.

Могилка её ждала как раз с того боку кладбища, где ручей течёт, — ну, помнишь, ближе к деревне, с того краю... Кто с чем пожаловал к ней на похороны. А я, как узнал, что песни те свои она сама же и сочиняла, — что б мне раньше-то узнать про то! — попросил бы, чтоб научила и меня: так мне хотелось тоже удивлять народ, радовать... Но опоздал я, как видишь...

Так вот, подкрался я бочком к гробу и положил ей туда общую тетрадку и наточенный химический карандаш... Даже два, а то и три — сейчас не скажу точно. Пускай себе пишет на здоровье... Ну, схоронили. Всё как полагается... Крест поставили — Шурка Каплин постарался: железный специально для неё выковал, все ж её любили, ценили, уважали... Ну, и всё. И разошлись по домам...

А тут третьего дня слышу: кричат с улицы: “Кочегурка!.. Беда!.. Погибает!.. Помогите, люди добрые...” Выбежал и я на улицу... “Что такое, — спрашиваю. — Что случилось?” А то, говорят, что ручей тот, что рядом с её могилой тёк, тёк-тёк, да и подмыл песчаный край кладбища... Рухнул он... Гроб Кочегуркин открылся, крышка с него сползла, чуть не придавил её... Надо спасать человека... Народ давай помогать ей — хорошая была женщина. Ну, кто что... А я опять бочком, бочком да к тому месту, где тетрадку положил... Глядь — лежит... Я её скорей взял... Отошёл в сторонку... Руки колотятся. Раскрыл... Верить-нет, а она вся как есть исписана, даже на корочках... Я её почерк хорошо знал, — она приходила к нам в хату письма дочечкам моим писала под мою диктовку, так что почерк её я и в потёмках признаю, — как не признать после всего, что было промеж нами... Так что ошибки тут быть никак не могло... Я аж отуманел... Лоб мокрый сделался, холодный... Ещё дальше от людей отошёл,

кинулся читать... А ничего прочесть не могу, — невозможно, слишком сырое место выбрали мы для неё, когда хоронили. Всё поразмывало... Ничего прочесть нельзя...

ЧЕРГЕНЧИХА

Ох, уж эта Чергенчиха! Во всех отношениях уникальная была женщина. Ну, во-первых, кузнец. Баба-кузнец — само по себе редкость... Так мало этого, — считай, первая красавица была, и не только в нашей деревне — во всем нашем Рыльском районе и доброй половине Корневского. Ну, и красавица была! Волосы длинные, как у русалки, глаза голубущие, плечи — сам понимаешь — кузнец! — косая сажень. Но в ней это не отталкивало. Наоборот, сильно даже притягивало. А главное её отличие от всех остальных наших баб было в том, что очень уж она охоча была до мужиков. Наши, может, и не уступали ей в том, да только всё молчком, скрытно... А эта нет — ничуть не скрывала свою эту слабость, а может, даже и выставляла её напоказ, чтоб видней было... А может, скрыть не могла... Тут разобратся с ходу трудно...

Ну, сейчас не об этом... Главное, что все знали: не откажет, если что... По первости мужики наши и соблазнились было. А то! Пышнотелая, красивая, аж жуть берёт, крупная, улыбчивая — ещё б не заприметить такую-то! Да и она не скрывала своего интереса к противоположному полу — к нам, стало быть, мужичкам. Интерес, как говорится, был обоюдный. Да только тот, кто, бывало, останется у неё в хате на ночь, тот утром уезжал на “скорой” в город в больницу с переломанным ребром, а то и с несколькими... Понятное дело — кузнец, силы невпроворот, а тут ещё и страсть своё дело делала — сил прибавляла, удваивала, а то и утраивала... Кто против такого напора устоит, какая кость выдержит... Вот и ломались, не выдерживали.

А она, змея, вырядится, намажется, напудрится, наодеколонится, волосы свои золотистые распустит, плечи расправит — смотреть страшно — настолько хороша, падлюка! — и айда в клуб на танцы... Идёт по деревне, как лодочка плывёт по тихому Сейму без вёсел, по течению плывёт, а несёт её то течение к её самым сокровенным желаниям — оно ж хорошо видно... Ну, кто понимает, конечно... В общем, идёт, плывёт она — глаз не оторвать. Наши-то, березницкие, про её проделки знали и про карету “скорой помощи” хорошо помнили... И как видели, что она к клубу подходит, — сразу врассыпную. Оставались в клубе только те, кто про то не знал или не верил: трое из Мазеновки, двое из Капустичей и никого из Кальчичеево, потому что там больше и не живёт никто.

ПРОВАЛЬЕ

Ты ж смотри, внучек, не ходи на Тарахово болото. Непокойное, нечистое, лешачье место... Помнится, мы с мужиками косили там сено, рядки клали, копицы ставили... Кто-то возьми да и скажи: “А что, мужики, сколько здесь живём, а про глубину провалья не знаем... Надо бы смерять...” Сказано — сделано. Нашли кирпич и кинули его туда, в темноту. Ждали-ждали... Тихо. Другого кирпича не нашли... Пошли дальше работать... Поработали себе в удовольствие. Пошли на обед... Пообедали. Отдохнули дома, кто за чем — кто за каким делом: кто плетни выпрямлял, кто сарай подпирал, кто кабана кормил. Кто чем занимался — делов у каждого хоть отбавляй... Вернулись косить на Тарахово болото. Ещё полдня косили... Темнеть уж стало... Мы про то провалье и думать себе забыли... Вдруг слышим — бац! Переглянулись друг с другом... Аж отуманели — вот какая у того провалья глубина... Так что не ходи лучше, внучек, туда, слышишь, не ходи. Целей будешь...

ВИСЛЮГА

В соседнем дворе у Валентина Пилюгина всегда было две собаки: Этаж и Этажерка... Тихие такие, спокойные собаки, кобель и сучка... Так вот приглядишься — Этажа больше нету. Почему, спросишь? А потому что нету больше во дворе и самого Валентина Пилюгина. Опять — почему? Да потому что он захворал и сыновья отвезли его к себе в Ставропольский край, в станицу Ново-Павловскую подлечиться.

А дело было так. Завёл сосед тех собак, чтобы поспокойнее жилось... А то стали по ночам мимо дворов какие-то незнакомые люди шастать. Что там у них на уме — поди-знай...

К ним как-то родня приехала “на денёк”. Приехали вроде не так уж и поздно — как раз ложились спать: то ли в девять, то ли в полдевятого... Ну, уже хорошо стемнело. Они — гости-то эти — и давай стучать к Пилюгиным то в окна, то в ворота крепко-накрепко запертые... Пилюгин так и не пустил их, хотя те клялись-божились, что родня, и всё такое... Лица свои под окна подставляли — ну, чтоб он их признал. Эх, лучше бы они этого не делали — он ещё пуще напугался... Так и сказал им — приходите по-светлому, тогда и разберёмся, кто да что...

Утром выяснилось, что приехали те всего-то на денёк. Только и осталось, что обняться им и сразу в обратный путь — больше времени у них не оказалось... После того случая и завёл Пилюгин собак... Да вот Этажерку сразу полюбил — с первого же взгляда, а вот с Этажом никак у них не получалось. Только, бывало, и слышишь с соседнего двора раздражённый голос Валентина: “Ишь, разлётся, дармоед, паразитюга проклятый... Вислюга... У-у-у, нищий... Змей исподлюбный... Чтоб тебе... У-у-у, невдалый... Кабыздох... Ни на что не годный... Дармоед бесстыжий. Родимец тебя подери...” — так ругался на Этажа Пилюгин.

Ругаться-то он ругался, а ведь того и не подозревал, что у кобеля того совсем другое предназначение было в жизни: любить Валентина Пилюгина... Да, да... Ты не поверишь... Лежит, бывало, посередь двора, свернётся калачиком и выслушивает те пилюгинские матюги да безропотно принимает пинки — и такое было... Валентин, когда разойдётся, бывало, многое себе позволял. Так вот, лежит себе и лежит Этаж и глядит из-под мохнатых бровей на Пилюгина самым наипреданнейшим на этой земле взглядом... Глядит и прощает... Глядит и прощает...

“Ругай... Ругай... Знал бы ты, для чего я на белом свете живу... Да тебя ж, дурака такого, любить...” Каждый из них знал своё дело. Каждый знал, для чего живёт на белом свете... Валентин Пилюгин — ругать пса, а Этаж — прощать хозяина... Веришь-нет, а заболел Пилюгин, увезли его сыновья далеко-далеко, и не стало во дворе Этажа... Не успел даже со своей Этажеркой как следует попрощаться... А ведь не в соседний двор отправлялся. В дальнюю-предальную дорогу... Считай, до самого Кавказа путь держал. Следом за своим любимчиком... Мир-то слухами полнится.

Вот и пришла новость: видели Этажа где-то под Белгородом... Ободранный, голодный, холодный... Потом уже в Минводах где-то... Еле ноги волочит... Потом... Да что говорить — всё ближе и ближе к станице Ново-Павловской... И вот уже совсем немного осталось... Говорят, уже ползком передвигался. Так что скоро уже и повстречаются... Вот радости-то будет обоим...

ВЕРА

Рассказывали, как дед твой Троша, когда городские электричество проводили в деревне, получился к концу дня вроде как обделённый: ну, не хватило на него в тот радостный для всех березницких день ни проводов, ни изоляторов. Одна лампочка да пара бракованных изоляторов с проплешинами, — битые оказались, ненужные, — только они и достались ему, да и те пришлось по потёмкам в траве шарить, чтоб люди не видали, чтоб не засрамили, чтоб ничего такого не подумали, не дай-то Бог...

А ведь он больше всех хлопотал, беспокоился. Давал советы, в которых никто не нуждался. Переносил лестницу-стремянку из хаты в хату. Помогал изо всех сил. Городским нравилось. Ещё бы! Человек на подхвате — кто ж откажется! И вот на тебе: у всех “ликтро”, а ему — одну лампочку и облезлые изоляторы. И хоть успокаивали его: “Завтра с утра начнём прямо с твоей хаты...” — но не из таких был твой дед, чтобы оказаться после всех, он же у тебя всегда первым должен быть во всём и везде. Какой там завтра! Жизнь научила — это завтра может растянуться навсегда, на всю, может, жизнь. Да и не из обидчивых был он, дед твой Трофим. Зря, что ли, толкался целый, почитай, день с электриками из Рыльска. За день нагляделся, что и как, — не зря присматривался, прислушивался, перенимал чужой опыт. И всё оценил и всё понял своим хватким крестьянским умом.

Когда пришёл к себе домой, прикрыл притолоку дверную покрепче... И сладил. Всё, как у тех, кто уже сидел по хатам под своими лампочками. Споровил дед всё, как у всех: повытаскивал шнурки из всех ботинок — получилась проводка ничуть не хуже, чем у других. Недостающие изоляторы разбавил катушками от ниток. Да, не забыть бы завтра подсказать городским свою придумку насчёт катушек — какая экономия получится! Отматывать ему некогда было — так с нитками и пошли в дело, ничего, сгодились и так. Получилось даже красиво — с бахромой. Мог бы и получше чего изобразить, да перебор ни к чему. И так хорошо! Проверил натяжение провода, как городские электрики проверяли: оттянул и отпустил спроворенную проводку. Она хлестанула по потолку, след оставила на свежей побелке... Эх, надо было бы постирать шнурки, прежде чем в дело пускать, да времени в обрез: не сделаешь сегодня — никогда, может, уже не сделаешь, так его учила жизнь, так подсказывал жизненный опыт. “Нормально”, — оценил, в конце концов, свою работу довольный Трофим.

Знай наших, березницких! Потом лампочку повесил к матице на самой середке хаты, рассчитал: тут, как ему показалось, ей самое место — во всех углах светло будет. Как-то обошёлся без выключателя. Да и зачем? Главное в этом деле — лампочка! Главное, свет — его и вовсе выключать ни к чему: столько дожидаться, а потом взять да выключить — подумать даже страшно!

Всё сделал Трофим, что выхватил из чужого опыта того суматошного дня его цепкий глаз. Всё перепроверил, когда показалось ему, что всё готово, и... сел на скамейку, которую поставил как раз под свисавшей с потолка лампочкой, обвязанной за цоколь шнурком, уставился на неё. В церкви так на образа глядят люди... И стал дожидаться. Потом прилёт...

Поту, когда председатель переступил порог ищенковского дома, комната была заполнена до краёв ярким светом. То ли от счастливой сияющей улыбки спящего на полу твоего деда, то ли от солнца, будто вкатившегося в то утро в его комнату. Председатель даже зажмурился — так много было этого света, каким-то особенным он был, этот свет, — уж очень желанным, ласковым и тёплым, как будто перепелиным крылышком оведал душу.

И впервые в своей председательской жизни, — веришь-нет, — не стал он подымать спящего своего работника, колхозника чуть свет, и потому что свет тот был необычный, и потому что до того светлого утра в жизни своей никогда больше не видел более счастливого человека, — вот рука и не поднялась.

ВЫГОВОРИЛСЯ

Не просто так я к вам взял и пришёл, дорогие мои соседushки. Желая признаться...

Жизнь мою к концу клонит, а совесть не на месте. Всю жизнь свою тот камень на сердце носил, вот и надсадился. Желая снять с души ту тяжёлую каменку — непосильную, злую и колочую.

Это ж с тех самых пор тянется, как все мы в колхоз пошли, бежком побежали. Вы-то про то позабыли, а я-то нет. Да, да с тех самых... В те па-

мятные денёчки как-то забрёл я на ваш огород — в самый конец, ближе к Звернику, к раkitам, кустам, к самому окрайку. На мельницу шёл — ну, да вы сами знаете. Да. Так вот, значит, гляжу это я — мешок лежит. Полнёхонький. Пузатый. Бокастый. На боку надпись неровная химическим карандашом: “Удобрение”. Сроду не пробовал, а слышать слышал: урожай от того удобрения сам в окна лезет, в двери стучится. Я ж до той поры обходился, чем Бог послал, — ну, вы сами знаете. А тут такое счастье само в руки идёт. Ну, бес и попутал. Не-е-т, я не сразу. Я день хожу — лежит, второй, десятый... Я и со счёту сбиваться стал, а он лежит и лежит, — и манит, что б его. Ну, в общем, чего ходить вокруг да около! Это я ему ноги приделал, взял я его на горб... “Будь что будет!” — решил тогда про себя. Ну, молодой, дурной был. Ну, сами знаете.

Ничем он мне в помощь не пришёлся, тот мешок. Удобрение то ни всходы не расправило раньше срока, ни плоды не налило. Всё как оно до того было, так и потом стало — ничего не поменялось. Слава Богу, вы не хватились того добра. Сам до сих пор в толк не возьму: как это вы забыли про такую ценность? Оно ж чего доброе — всегда к груди прижмёшь, чтоб никому... и долго про него помнишь. Ну, сами знаете. А тут?!

Ну, и пошла жизнь — идёт и идёт. С этого конца той истории всё как будто бы хорошо. Но с другого — душевного — просто беда! Лёг мне на душу камень — кража была, как ни крути. Вот и проходил я с этой каменюкой в груди, почитай, весь свой век. Шагал тяжелее других, среди людей находитея подолгу — как того хотелось — не получалось: каждый раз пора было глаза опускать свои бесстыжие да совеститься. Всё ж людей боялся: а ну, как кто видел, захватил... да помалкивает, да вот-вот заговорит... Врагу не пожелаю тех моих мучений. Жил, как подранок. Всё, казалось, презирают меня, про всё все знают, только не признаются, молчат до поры до времени.

Этот-то камень потяжелее будет, чем первый. Ох, как потяжелее. А тут светлое будущее, говорят, уже не за горами. А как мне туда с таким грузом? Ну, сами знаете. Ну, и вот тут на днях так придавили они меня оба два эти камня — хоть в пеглю лезь. А так хочется вольно пожить, с лёгким сердцем дожить свой век. Так что принимайте хоть и запоздалые мои, да извинения. А уж если соблаговолите, так и дайте прощение мне своё как можно скорее — измучился я, сил боле нет моих так жить, как я после того живу. Дайте, Христа ради!.. Ну, что вам стоит?..

Склонил голову Колька. Стоит. Ждёт. А сердце в груди, что кузнечный молот колотит: бух да бух. Того и гляди грудь разнесёт вдребезги. Наклонился, набычился, глазами за стены держится, чтобы не рухнуть перед ними наземь...

А соседи ему, веришь-нет, и говорят добрым-добрым голосом: “Зря ты так, Николай, убиваешься. Да что ж ты, Коленька, молчал столь долго? Да то ж и не удобрение вовсе было! А стало быть, нет на тебе греха. То ж обдумали нас. Тем якобы удобрением нас в колхоз заманили, а на поверку оказался мел толчёный. Мы его и выкинули подальше от дому, подале от порога, чтоб глаза не мозолил, про нашу страшную ошибку не напоминал. А ты попустому печалился такой срок. Зря мучил душеньку свою, терзал её попрёками ни за что, ни про что. Да, а по почерку на мешке угадали и руку счетовода нашего тогдашнего — Бицуру. Вот то грех так грех. Но он и сейчас, как встретится, — глаза, как ты, не отводит. Нет — то совсем другая порода, не наша, не березницкая. Мы его спрашиваем: что ж ты, сукин сын... А он в ответ каждый раз одно — как заучил: “Шутки понимать надо...” — говорит”.

Кольке и осталось только, что сказать им: “Ну, так я пойду...” Уже на пороге обернулся: “Может я, того, мешок хотя бы верну... С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну, вы сами знаете”. Ему ответили в один голос: “Да брось ты, Николай... Забудь”. А потом переглянулись между собой как-то совсем не так, как хотелось бы Николаю. “Вот не надо бы вот так-то прощаться, — подумалось ему, — больному от всего больно”. И он пошёл тогда. Молчком пошёл к себе по-первости дробными шажками, потом покрупнее, покрупнее, а потом и бежком побежал, дотла сторая от стыда и от обиды... Ну, прямо-таки дотла.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ДНЕВНИКИ ЧУЖОЙ СМУТЫ

* * *

Первое, что удивляет в Новороссии, — огромное количество бездомных собак и кошек. Люди уехали, животины остались и сторожат. Породистая такса в сотый раз лезет носом в высохшую коробку из-под “Активии”. Чем ближе к Снежному, тем чаще попадаются контуженые собаки. Не слышат машины, задумчивы. Ополченцы говорят: зимой собаки начнут сбиваться в стаи и дичать.

Кошки уже далеко от городов — в лесу — перебегают дороги. Охотятся в зелёнке. Пушистые, совсем недавно белые.

В Луганске проехали полгорода — ни одного жителя. Все окна тёмные. Разнообразные последствия бомбёжек. Потом вдруг встретили парня и девушку. Стоят на обочине и обнимаются. Впечатление, сложно поддающееся описанию: мёртвый город — и эти двое, потерялись... Потом дорогу перешёл спокойный китаец: Китай далеко, бежать некуда. И, наконец, на выезде встретился дед, выгуливающий собаку на поводке. Этот дед с собакой... ну, вы понимаете! Собака, говорю, на поводке. Наверное, это самая счастливая собака в Новороссии. Очень спокойно себя ведёт. Показалось, что она ужасно горда этим поводком. И дедом.

* * *

Перед Луганском проехали поле сгоревших подсолнухов.

Никогда и нигде такого не увидишь.

Судя по дороге — стреляли из миномётов.

В Луганске, как уже сообщалось, внешне — никого. Может, кто-то есть, но в 7 вечера — пустота. Остановишься — и как оглушило. Слышали когда-нибудь безмолвный город?

Город, где вообще — ни звука...

Это (дурное слово, но другого не подберу сейчас) заораживает.

Даже ночью такого нет нигде, ни в одном известном мне городе.

Только редкие таксисты летают, как бешеные. Они сейчас зарабатывают здесь больше всех.

Езда — не взирая на правила. Сразу вспомнился Грозный-96. Там мы тоже летали, как сумасшедшие (город после семи простреливался насквозь), и не было ни разу ни одной аварии. Я, по крайней мере, за два месяца не видел.

Вместе с тем, оцените: сообщили, что в мёртвый Луганск завезли большую партию машин. Мы мимо проезжали: *сауелле, hyundai*. Стоят на улице дикие, как те сиротливые коты, о которых ниже. “Видимо, застрахованы с нулевой франшизой”, – предположили спутники. То есть бомбёжка – и бабло твоё!

Ночной пейзаж за Луганском: убитая дорога, и горит поле. Апокалиптический вид. Тьма вокруг – и поле горит.

“Надеюсь, это не корректировщик...” – говорит водитель.

* * *

Первые две малороссийские женщины, которых я встретил в Новороссии, в приграничном селе Изварино.

Одна, лет 55-ти, говорит:

– Когда украинцы (называет их – “эти”) уходили из деревни – я к окну, показать им (показывает средний палец), из окна не видно, на улицу выбежала, кричу: “Да провалитесь вы все, ироды!”

Подошла другая, интеллигентного вида, рассказывает, как ругает своих знакомых мужиков, которые не ушли в ополчение:

– Вы думаете, русские должны приехать и всё сделать за вас?

Через минуту:

– Пусть украинцы приедут и заберут отсюда свои трупы (другое слово употребила, не буду повторять). Они не знают, сколько их здесь. Думают, тут им всё дёшево обошлось.

От себя: я так понимаю, надо придти сюда и убить этих женщин. И тогда точно дорога в Европу будет открыта.

* * *

Вчера проехали несколько десятков блокпостов, едва не половину Новороссии.

На каждом останавливались.

Вот теперь слушаем внимательно.

На всех – я подчёркиваю: на всех блокпостах стоят ополченцы.

Во-первых, визуально отличить контрактника от, назовём так, партизана несложно по многочисленным признакам. Во-вторых, в половине случаев выдает возраст: там стоят отцы, а периодически – деды.

Ну, и речь, конечно. Едва начинают говорить – сразу ясно, откуда люди родом. Все улыбчивые, мужики такие – аж светятся в темноте всеми глазами. “Как у вас тут, не шалят? – Шалят, шалят. – Ну, с Богом, ребята” (“г” фрикативное – “с бохом” звучит).

Под Донецким аэропортом есть чеченцы. Но они никакого отношения к ВС РФ не имеют, естественно.

Если увижу российскую армию – сообщу вам первым. А пока просьба: из Москвы не рассказывать о том, кто тут есть. Хотя... что вас просить...

* * *

Новоросский невесёлый юморок...

На обочинах луганской трассы стоят сгоревшие легковушки.

“Последствия медленной езды”, – сообщает наш водитель.

В каждой машине ехал человек. И не один.

Через пятьсот метров мы пробиваем колесо. Стоим посреди равнины голый, пишем на дорогу, потому что обочина может быть заминирована. Ну, то есть она точно заминирована, но никто не знает, где именно.

Остановилась ещё одна скоростная машина, полная весёлых вооружённых людей: “Вы чего, мужики, тут встали?”

Посмеялись вместе.

Запаска у нас была.

Ополченец: “А вот мост. Под ним мы прятались от “Градов”.

Мощный высокий мост наполовину обвалился, завалив одну полосу. Проезжаем в прогал.

“Характерно, что асфальт не потрескался”, — отмечает водитель.
Тут же рождается слоган: “ЛУГАНСК-АВТОДОР: ПРОВЕРЕНО “ГРАДОМ”.

* * *

Встречали трёх наших возвращённых пленных, двое добровольцев, один вообще не воевал, попал случайно.

При мне, с моего телефона, один позвонил жене (двое детей, дома цветущий бизнес, 70 дней в плену, весь перебитый, рубашку задрал: вот руку пытались отрезать — шрам), другой — матери.

Жена плачет: “Как тебя забрать?”

Последний раз ей звонили “правосеки” месяц назад, пробивали, не врёт ли пленный. И потом весь месяц она ничего о нём не знала.

Пока другой (50 дней в плену) говорил с матерью (долгий и муторный разговор), услышал, как он спрашивает: “Может, мне вообще домой не приезжать, мам?”

Вот так ещё бывает...

Его жена бросила, пока в плену был. Сам сказал.

Рассказывали, что бывают добрые “правосеки”, — успокаивали, не били. Бывают и другие. Совсем другие.

Ещё пограницы бывают добрые.

Украинские солдатики конфетами прикармливали, на день рождения одному из ребят приносили водки и шашлык. Храни вас Бог, солдатики. Спасибо вам.

Всё записали, но имён и мест, кто прикармливал, не выложим, мало ли что. Отучат конфетами кормить “сепоров” свои же.

А про тех, которые совсем другие “правосеки” или “СБУшники”, ничего не скажем пока. Ничего им не пожелаем.

* * *

А этот прикол слышали? Неделю назад нацгвардия похвалилась, что заминировали электростанцию под Луганском. На них свои же пшикнули: “На фиг вы хвалитесь? Спалимся же!”

Её, короче, взорвали на днях. Огромная территория без света. По коломыйскому каналу передали, что это российская армия расстреляла электростанцию. Потому что российская армия очень боится света и не любит воды. Расстреляла и сидит в темноте, сухая.

Но ведь верят, верят же!

* * *

Вчера днём впервые видел, судя по всему, десантуру на броне. Один БТР. Они весело проехали мимо. Мы им помахали, они нам. Ну, может, у них туристический заезд в регион, кто ж разберёт!

Ополченцы из местных рассказывают: знаете, как отличить, кто едет на танках — ополченцы или... не ополченцы?

Когда колонна из шести танков проходит на 60 км/ч по трассе, вписываясь в крутой поворот колея в колею, с математически идеальными интервалами, — значит, это не украинская армия. Это не шесть бывших танкистских водителей, которые когда-то служили в армии, а теперь снова решили тряхнуть стариной — таких тоже много среди ополченцев. Но и это не они.

Это кто-то другой.

По Донецкому аэропорту сейчас бьют из “Градов”.

* * *

Какие были времена, обсуждать не будем, а то утонем в ненужном споре. Скажем так: какие были нравы!

Ладно бы на Великую Отечественную — на так называемую “белофинскую”, то есть насквозь “империалистическую” едет добровольцем поэт Арон

Копштейн, прямиком из Литинститута (он погибает), едет молодой Слуцкий (ранен там и с денисдавыдовской бравадой пишет, что вырвало из плеча “на две котлеты”!).

В 1939 году Евгений Долматовский отправляется на освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии “из-под панского гнёта” (это мы Долматовского цитируем).

Долматовский, между прочим, на пару с Луговским сочиняют песню для того, чтобы воевать было веселее, крайне актуальную:

*Белоруссия родная, Украина золотая,
Ваши светлые границы мы штыками оградим,
Наша армия могуча, мы развеем злую тучу,
Наших братьев зарубежных мы врагу не отдадим.*

Песню назовут “Марш красных полков”, и она будет петься во всех частях.

В 1940 году Евгений Долматовский уже входит с советскими войсками в Прибалтику.

Про Отечественную вообще молчим: нынче всё чаще вспоминают про Хармса и всячески объясняют, почему же он говорил следователю, что хотел бы стрелять в красных офицеров, а не в немцев, а вообще отправились военкорами и обычными солдатами и Слуцкий, и Самойлов, и Межиров, и многие иные...

Возвращались в орденах, в шрамах.

Никак не могу понять, на какую войну в любом качестве поедут нынешние прогрессивные поэты и прочие блоггеры. Не знаю, в кого пальцем указать. Ну, Дима Кузьмин там, Миша Идов... Кто там ещё помоложе, сами подскажите, — можно такую войну представить?

Хармс победил Слуцкого, Самойлова и Долматовского. И Симонова, и Твардовского. Почти один сплошной Хармс вокруг. Одна проблема: никто из них даже и не Хармс!..

Почему говорю “почти”, потому что я тут с такими отличными ребятами военкорами познакомился, вай!

Один из замов по командной части батальона “Восток” сказал, что за убитого ополченца на той стороне платят 20 тысяч, а за журналиста российских каналов — сто. Дороже спецкоров-военкоров только командиры и всякие видные управленцы Новороссии.

— Да ладно!.. — не поверил один из военкоров. Они тут все скромные ребята. — Что-то не верю!

— Не веришь? — ответил ему ополченец с замечательным кавказским акцентом. — А давай проверим!

Среди спецкоров-военкоров есть тут Семён Пегов, который в статусе личных врагов Майдана пребывает с самого Майдана (он там сидел под снайперским обстрелом три часа, и потом его обвинили в том, что он сам этот обстрел и корректировал) и фигурирует в списках “врагов нации”.

Семён уже несколько месяцев в Новороссии (до этого был революционный Египет и прочее).

Он поэт. Стихи у него сногшибательные.

Так что не всё потеряно, друзья, не всё потеряно. Одни ходят на Марш мира, другие — под обстрелом ходят.

* * *

Едем несколько часов назад в полной темноте из Луганска по долинам и по взгорьям. В районе Дебальцево на блокпосту мрачно говорят:

— Мужики, навстречу идёт колонна. Судя по всему, не наши. Если что — вываливайтесь из машины и в лес.

Согласно киваем, мол, спасибо, непременно воспользуемся вашим советом. Неспешно движемся, обмениваясь мнениями. Двое в джипе, на двоих один ПМ.

В ближайшие десять минут никого не встречаем. На следующем блокпосту тормозят. Спрашиваем:

— Что была за колонна? Прошла?

– Да прошла недавно. Это часть укров вышла из окружения, перешла трассу и направилась дальше полем. На трассе они остановили автобус, всех выгнали, автобус расстреляли, совсем больные.

В общем, немножко разминулись мы с ребятами.

Предыстория нашей невестречи такова.

С утра я сделал пост о котле украинских войск в Дебальцево. Тут же пришли крайне осведомлённые читатели из Киева и стали смеяться. Котёл? В Дебальцево? Ха-ха-ха! Залез в украинскую прессу: так точно, пишут, что котёл – это “ватная” пропаганда, ничего такого нет.

Теперь о грустном.

Из котла вышла только часть украинских солдат, остальные пока там. Насколько далеко ушла эта часть, будет понятно утром. Резюмируем: пристегните булавкой свои языки к верхней губе и заходите в гости читать новости. Думаю, ни одного украинского журналиста в Дебальцево нет. Или со свободой слова у вас проблемы.

* * *

Ехали в “Газели” с выпущенными из плена ополченцами. Их было 14. Наконец, рассмотрел всех вблизи. И послушал.

Возраст 45–65 лет. В основном – чуть больше полтинника.

Если одним словом определить: работяги.

Но не деклассированный тип работяг – из убитых моно-городков, – а тот, прежний, советский. Когда работяга с завода записан в библиотеку, у дивана всегда лежит книжка с закладкой уголком страницы, а порой и в театр с женой ходит... и так далее. Думаю, многие помнят ещё этот тип: принципиальный, упрямый, правильный, читает “Науку и технику”, лоджию сам обустроил, плитку в ванной сам положил, отлично отгадывает кроссворды, но не потому, что нахватался ответов в других кроссвордах, а потому что твёрдо знает многие штуки на свете. Сыну объяснит ответ по истории или географии. Патриот, естественно. Одно время, лет 20 назад, был антисоветчиком, но за несколько лет прошло.

Этот рабочий тип я и узнал в автобусе с пленными. От них даже запах шёл прежний – рабочего человека, курящего, опрятного.

Мы там многие вещи обсудили, они дружно и хрипло, как и положено работягам, смеются (потом многие хватаются за рёбра – отбито нутро), все поголовно курят – торопливо, досмаливая, будто торопясь на смену. За четыре часа в машине никто ни разу не выругался матом.

Единственное отличие от того, советского типа – почти все крестятся, когда залезают в машину. Ехали ночью, линия фронта то приближается, то удаляется, а они только что из плена – ну, понятно.

Рассказывает один из них:

– В ополчение вступил в Славянске. Когда выходила колонна, я ехал за рулём грузовика, рядом взрыв – осколком ранило в переносицу. Машина врезалась. Потом гляжу – и бензина нет. Пока выскочил на дорогу – наша колонна прошла. Очень быстро неслись. Я забежал в какой-то двор. Не прошло и пяти минут – прямо вслед за нашей колонной идут каратели. Слава Богу, не рванулся навстречу – по-русски же говорят, сразу и не отличишь. Потом слышу: “Начинаем зачистку!” ...Спрятался в зелёнке, там и провёл всю ночь. В укромном месте закопал автомат и камуфляж. Вернулся домой, это было 6 июля. А 29 июля меня сдали местные доброжелатели: так и так, мол, ополченец. С тех пор был в плену.

– Семья есть?

– Жену похоронил. Один сын в Краматорске живёт, ему 25 лет. Другой воюет где-то. Но я пока не дозвонился до него – тут разве найдёшь кого...

* * *

Пленные, хоть сколько-нибудь не похожие на русских и похожие на кавказцев, рассказывают, что их жесточайшим образом били, чтоб они признались, что они чеченцы. Выбавали: либо ты агент ФСБ, если белый и русский, либо чеченец, если не белый и не русский.

Нацбол Симон – полуармянин, полурусский – тоже про это говорил. Будет видео.

Чеченцы здесь не кадыровские, а добровольцы, Кадырову категорически запретили перегон сюда спецов (а у него очень серьёзные спецы!).

По ощущениям – чеченцев украинские войска, мягко говоря, опасаются особенно сильно. “Чеченцы сделали себе хороший PR, – сказал мне один ополченец-осетин, с некоторым даже огорчением. – Русские – и те берут себе позывной “Чечен”. Зачем?!”

Про Моторолу я писал, как он врубал намаз, и на украинских позициях начиналась чудовищная и истеричная стрельба.

Моторола лично подползал к украинским позициям (он корректировщиком в Чечне был) и зарисовывал: вот тут у них – АГС (30-мм автоматический миномёт), вот тут – пулемёт и так далее. Возвращался и долбил “Ноной” (самоходное артиллерийское орудие, 120 мм). Причём повторял этот фокус не раз и не два. Намаз и “Нона” обошлись очень дорого той стороне.

...Прямо говоря, москалей на той стороне привыкли презирать, как недолюдей, а вот чеченцы – это да, это сила и опасность.

Подумал, что отношение в Европе к русским примерно такое же, как на Украине к чеченцам: “Таинственное и страшное зло, из области жуткого, иррационального, непобедимого”...

А мы вот к чеченцам спокойно относимся. Чеченцы и чеченцы, есть в России такой народ.

Мне Хасан позвонил в Донецк, мы с ним вместе служили в своё время в Грозном. Он говорит: “Ты на Украине, что ли? А ты что там делаешь?” “Тебя жду”, – говорю. Посмеялись.

Не жду, не жду. А то правда поверят.

* * *

Про одного ополченца говорят: едва началась тут война, он от нетерпения рванул в Славянск на велосипеде, ночью. Все его знали как конкретного ботана и такой ретивости никто не ожидал. Проехал 240 км. Выехал вечером, ехал всю ночь, на другой день приехал. Там уже были блокпосты, он на каждом останавливался и агитировал украинских солдат переходить на сторону ДНР. Его почему-то не убили, но тогда всё ещё только раскачивалось...

Так и добрался, в общем. Теперь у него две медали уже.

* * *

Актёр Максим Виторган написал, что с интересом читает мои заметки из Новороссии.

Первый же комментарий к его посту сделал Андрей Кавун. Комментарий такой: “Надеюсь, ему там башку снесут”. Ну, то есть мне. Башку.

Я глянул комментарий и вроде как забыл, таких доброжелательных кавунов ко мне заходят толпы. Чаще даже кавуних, а не кавунов.

А потом вдруг щёлкнуло: вроде режиссёр такой есть?

Вернулся к посту: а, да – он самый, автор очень крутого фильма “Кандагар”, идиотской “Охоты на пиранию” и очень стильного “Шерлока Холмса”, который мне ужасно понравился.

Кавун у нас, оказывается, во Львове родился.

Ну, это многое объясняет.

Если ты из Львова – ты вполне можешь пожелать парню из Рязани, чтоб ему снесли башку.

Я ему такого не пожелаю, тут Россия, Кавун вполне может и дальше своё кино снимать в проклятой оккупационной стране, никто ему ничего не скажет. И я тоже посмотрю его кино.

* * *

Вот Андрей Бильжо дал нам прекрасную иллюстрацию к вчерашнему моему посту про 15 тысяч на Марше мира и 15 тысяч в Новороссии.

Бильжо пишет: “Странные дела... Я заметил, и мне об этом сказал не один человек, а очень и очень многие, что когда они выходили из дома, то думали, что на марше никого не будет. Ну, или почти никого. **НО ШЛИ**. Это же, друзья мои, минуты **СМЕЛОСТИ**. Это потом, когда увидели толпу у рамок, то стало спокойнее. А когда выходили из подъезда, то было не очень комфортно. Эти минуты смелости испытывали, выходит, тысячи и тысячи людей. Выходит, не все так плохо. И даже не надо думать на эту тему. **ПУСТЬ ОНИ ДУМАЮТ. ЕСЛИ ЕЩЕ СПОСОБНЫ...**”

Там ещё три тысячи таких постов было. “О, мы сделали это!”

Оцените! Они собрались и вышли. И шли. “А вдруг нас будет мало? А вдруг прогонит милиционер?” Но дошли. Монстры.

А в Новороссии сидит и занимается вызволением пленных Симон, которого трижды выводили на расстрел, требуя, чтоб он оговорил товарища, а он не оговорил. И они, приставив ему ствол к голове, спускали курок. Три раза.

А в Новороссию приехал нацбол Рост, у которого жена беременная, но он ей пообещал, что вернётся.

А в Новороссии работает шесть месяцев, к примеру, военкор Женя Поддубный, которому в голову не придёт написать большим шрифтом про **МИНУТЫ СМЕЛОСТИ**.

В итоге мирные маршаранты ещё и предлагают “им” (это кому?) “подумать”. А то плохо будет, видимо.

Самим-то думать, вестимо, не обязательно. Мы уже знаем: ваше сногшибательное гвардейское мужество заменило вам рефлексию. Только отойдите за поребрик, пожалуйста.

* * *

Мы проезжали город Ровеньки с местным жителем. Он говорит: когда война началась, местные жители собрались бежать – в Россию, естественно, – и не по трассам, где были блокпосты, а по грунтовке. Шли колонной в 80 машин. Навстречу выкатились украинские танки и всю колонну расстреляли. Они думали, что это колонна ополченцев, наверное. Что она идёт в тыл им. Предполагаем, что так думали. Иначе вообще невозможно ничего объяснить. Машины начали разъезжаться, но куда там по полю уедешь! Погибло несчетное количество людей. Неприятная правда? Давайте вместе сделаем вид, что Россия пришла к вам с войной в ваш мирный дом, а вы тут ни при чём.

Это ужасное поле долгое время стояло, как картина из ада. Потом понемногу оттуда растащили то, что не сгорело. Теперь нам говорят: приезжайте в Киев, у нас нет никаких бандеровцев, вы сами их придумали. Ко мне вот только что заходила в *facebook* женщина с Украины и написала, что “напрасно украинская армия такая гуманная” и что “после себя украинским военным нужно оставить выжженную степь”.

Не нужны вам никакие бандеровцы. У вас и так всё есть.

* * *

Подвозили из Донецка мужика, которого недавно обменяли, – ополченец. Его, когда он пропал, спутали с кем-то другим, погибшим, и другого человека похоронили под его фамилией, поставили крест с табличкой. В общем, живёт человек, а у него могила теперь есть – фамилия, имя, всё как положено, только одна дата перепутана.

Мы подвезли человека до его могилы. “Дальше сам”, – говорит.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

СЛЕПАЯ ЛОШАДЬ ИСТОРИИ

Читаешь заметки молодого киевского журналиста Давида Заславского — будущего знаменитого фельетониста газеты "Правда" — о 1920 годе на Украине и с отчаянием осознаёшь, что разруха той гражданской войны словно бы перекочевала с некоторыми поправками в наши дни новой Украинской смуты 2014 года, что история "незалежной", словно старая слепая лошадь на хуторянском току, опять пошла по натоптанной колее, что характер киевской элиты и послушной ей уличной черни совсем не изменился: всё та же кровь, всё то же глупое коварство, всё то же конвульсивное национал-хулиганство, всё те же якобы стихийные погромы, всё та же простота, что хуже воровства (хотя воровства тоже хватает), всё те же лукавые советники-поводыри из мировой закулись. Разве что в 20-м году прошлого века это были немцы с поляками, а теперь американцы с европейцами, но при всех цивилизованных оккупантах "незалежные" хлопцы маршируют по улицам столицы чуть ли не с голыми задницами. Однако в 20-м году жовтоблакитников вместе с их советниками вышибли из Киева эскадроны Будённого. А сегодня кто их вышибет? Кто спасёт "незалежную"? Молодёжь сходит с ума под присказку: "Кто не скачет, тот москаль", олигархи и хунта, ненавидя друг друга, тащат ридну нэньку Украину в европейский Содом, творческая интеллигенция, возросшая в советское "оккупационное" время, от страха потеряла дар речи, а слепая лошадь истории из последних сил тащится по роковому кругу.

Станислав КУНЯЕВ

ДАВИД ЗАСЛАВСКИЙ

ПОЛЯКИ В КИЕВЕ В 1920 ГОДУ

I

Ещё несколько часов томительного ожидания. Днём вступила польская кавалерийская разведка — чистенькие вылощенные офицеры и солдаты на выхоленных лошадях. Они подъехали к городской Думе на Крещатике, и навстречу им вышло много поляков, большею частью интеллигентов, но были и рабочие, дамы и девицы с белыми цветами. Украинская интеллигенция вела себя сдержанно, ждала своих. По городу сейчас же разнеслась весть, что идут регулярные части, а партизан совсем нет, и еврейское население, придавленное страхом погрома, прибодрилось и тоже показалось на улицах. Правда, ходили слухи о погромах, учинённых на Волини поляками, и известно было, что легионеры забавляются милой шуткой: режут бороды старым евреям. Всё же это не массовая резня людей и не насилдование женщин. К вечеру улицы уже были полны народа; с любопытством присматривались к немногочисленным польским патрулям, сдержанно и чинно проходившим и занимавшим свои посты. На груди у многих киевлян появились красно-белые польские и жёлто-голубые украинские бантики. Поляки и украинцы чувствовали себя

именинниками. Русские в значительной своей части косились недоверчиво; чувствовали какую-то внутреннюю обиду даже те, кто рад был уходу советской власти. Евреи не смели верить, что прошли благополучно самые опасные минуты, и миновала угроза массового погрома. В толпе раздавались, правда, антисемитские выкрики, и совсем без “эксцессов” не обошлось. Но всё это пустяки были сравнительно с тем, чего ожидали и что могло быть.

Стало известно, что польские войска, не задерживаясь в городе, переходят по мостам на ту сторону Днепра, и что в Царском саду на высоком и крутом берегу установлены орудия. Ясно было, что без боя не обойтись. На другой день к вечеру загрохотали и заревели в самом городе орудия, и снова попрятались по домам люди, наиболее трусливые забираясь в подвалы. Палила польская артиллерия, и в ответ ей стали рваться над городом большевистские снаряды. До центра они не долетали, и потерпел многострадальный Печёрск, в котором и без того ни одного дома не осталось с целыми окнами. Когда выяснилось, что непосредственной опасности нет, на Владимирской горке собралось много народа, смотрели на артиллерийскую дуэль. Среди тёмно-зелёного ковра дарницких и броварских лесов появлялись белые комочки таявшего дыма: там верстах в 20 отстреливались большевики. Кано-нада грохотала и на следующий день, потом стала глуше; но она уж не умолкала совсем надолго. И в течение всего месяца, пока были поляки в Киеве, глухой рокот за Днепром напоминал, что большевики тут, залегли под Киевом, и война продолжается. Этот солидный басовитый рокот, ставший аккомпанементом польско-украинского альянса, имел большое политическое значение и стоил ряда речей на митингах и ряда передовых статей в газетах.

Он убил, прежде всего, одну иллюзию, весьма распространённую в обывательских кругах. Многие простосердечно верили, что поляки пойдут непременно дальше, будут гнать большевиков до Москвы, возьмут Москву и поконтчат с советской властью. Популярна была версия, что таково именно задание мистической во всемогуществе своём Антанты, что поляки выполняют поручение Франции, и следом за ними идут французы, румыны и, конечно, немцы, по которым донные тоскуют многие сердца на Украине. Казалось, что орудийные базы за Днепром — это лишь временное явление, и завтра-послезавтра они замолкнут навсегда. Но проходили день за днём, и снова повторялся отдалённый гул на черниговской стороне, и ясно было, что поляки дальше не пойдут, и что перешли они Днепр у Киева только для закрепления предместных позиций.

Тем не менее, в широких обывательских кругах прочно было убеждение в том, что с большевиками покончено навсегда. Та лёгкость, с какой совсем без сопротивления был отдан Киев, казалась признаком их слабости. Город видел небольшие отступавшие отряды плохо вооружённых оборванных красноармейцев; передавали, что это всё, что осталось от 12-й армии. Стало быть, Красная армия в войне с европейской регулярной армией обнаружила своё воинское бессилие и была разбита. В кругах местной интеллигенции, партийной и беспартийной, не было такой уверенности в том, что с большевиками покончено раз и навсегда. Напротив, были в этом величайшие сомнения. Повод к ним давал внутренне-фальшивый, искусственный польско-украинский союз, плохо маскировавший польскую военную оккупацию. А что такое оккупация, на Украине было хорошо известно по опыту 1918 года. Немцы с трудом справились с крестьянскими восстаниями, а были они тогда в силе и могли держать на Украине полумиллионную армию. Не подлежало сомнению, что с польскими войсками придут и польские землевладельцы, хозяйева богатейших имений и сахарных заводов на Киевщине, в Подолии и на Волини, и все те батьки-атаманы, которые вчера выступали против большевиков, завтра пойдут против поляков. Начнётся новая серия войн украинского народа за свою независимость с неизбежной новой “ориентацией на Москву”, — на этот раз Москву не “православную”, а “рабоче-крестьянскую”. При этих условиях даже слабая Красная армия может оказаться опасным врагом для поляков.

Уверенность обывателей окрепла ещё больше, а сомнения интеллигенции поколебались после эффектного парада польских войск, устроенного 4 мая. По улицам Киева, с Бибиковского бульвара на Крещатик к городской Думе и обратно, продефилировала целая дивизия (а кто говорил — корпус) войск всех родов. Это была немножко декоративно-оперная, но импозантная картина. Прежде всего, Киев давно не видал такого количества хорошо вымытых, чисто, даже щегольски одетых людей. Польские солдаты, видимо, готовились

к этому оперному параду, как к спектаклю, и где-нибудь под Киевом долго и усердно мылись, чистились, брились. Они шли нескончаемой лентой – пешие, конные, на орудиях, на броневиках, – и все, как один, блестя новеньким, с иголки, платьем, в чистых лакированных шлемах, в превосходно начищенных, совсем не запыленных башмаках, с полным набором оружия, тоже новенького, чистенького, ни разу не бывшего в употреблении. Три года не чистенный, небритый, пообносившийся и неряшливый Киев, разинув рот, смотрел на эту строго вымуштрованную уйму чистоты и воинского изящества.

Конечно, в памяти были ещё немцы, тоже чистые и аккуратные, поражавшие своей выправкой даже в те дни, когда началась в Германии революция, и когда, казалось, можно было расстегнуть хотя бы одну пуговицу у ворота. В Киеве заседал “Большой совет германских солдат”, но ни одной расстегнутой пуговицы нельзя было заметить на солидных фигурах, гулявших с сигарамы во рту по Крещатику. Немцы были чисты и аккуратны, но и у них был всё же на четвёртом году войны потёртый вид, и было среди них много стариков, много неуклюжих, мешковатых воинов из ландвера, так и не выучившихся молодцевато носить воинское одеяние.

А здесь весело и бодро шла под звуки военных оркестров цветущая молодёжь Польши, сплошь франты, сразу покоровшие сердца демократического женского Киева. И если так хороши были рядовые воины, то положительно подавляли великолепием своим офицеры и генералы. Это была уже не опера, а цирк, gala-выезд превосходных наездников, сплошь князей, баронов и графов по внешнему виду, на чудесных лошадях, каких только в цирках и на скачках можно видеть и каких Киев давным-давно не видал. В общем, это была сказочная феерия, неправдоподобная в обстановке и условиях современной войны, чудесное явление из другого мира и другого времени.

Киев давно не видал и такой полноты снаряжения. Роты, батальоны и полки шли в полностью укомплектованном составе, с большим количеством пулемётов, при орудиях – полный состав прислуги, за частями – лёгкий обоз с какими-то специальными повозками, двуколками. В довершение ко всему – при каждой части несколько мулов, навьюченных каким-то вооружением.

У военных специалистов этот парад мог бы вызвать какие-нибудь критические замечания. Профанов он подавлял окончательно и бесповоротно демонстрацией невиданной мощи. Куда же справиться оборванным, босым красноармейцам с их ружьями на верёвочной перевязи с этими несокрушмыми щёголями-европейцами!

Не было киевлянина, который не вспоминал бы впоследствии – кто со злорадной насмешкой, кто с обидной горечью – об этом эффектном параде. Но уже и тогда бросался в глаза чересчур элегантный, ненатуральный на войне, цирковой характер польской армии. Немногие, однако, это замечали.

Зато глубоко символическим и демонстративным было выступление украинского отряда. Украинцев было немного, сотни две, все – пешие. Они терпеливо дожидались своей очереди, лёжа вповалку на мостовой Терещенковской улицы. И когда прошли последние франты и щёголи, прогрохотали броневики и грузовые автомобили, потянулся жалкий хвостик этого блестящего шествия. Лениво и понуро шла в нестройных рядах колонна украинцев. На них были такие же, как у поляков, французского происхождения френчи, штаны, башмаки, но всё несвежее, подержанное, явно с чужого плеча, не подогнанное к росту и фигуре. И были они небриты и нестрижены и, увы, грязноваты. И болтались за спинами у них сумки различного цвета и вида. Офицеры были немногим лучше рядовых. И сзади на простых крестьянских лошадях в телегах с “дядьками” за кучера тащились потрёпанные пулемёты, перевязанные верёвками, – таков был обычный вид повстанческого отряда.

Это была живая картина польско-украинского союза. Комментариев не требовалось. Нельзя было яснее, громче, откровеннее сказать, в чьих руках реальная сила, кто подлинный хозяин на правобережной Украине.

II

Сразу, как ножом, отрезан был Киев от всей Советской России – и никаких известий оттуда. За Днепром начинался новый мир, ещё вчера так близко знакомый киевлянам, сегодня – более далёкий и чужой, чем Австралия или Африка. Ни одна живая душа не могла перейти линию Днепра.

А в городе новый порядок строился по старым образцам: один за другим следовали обычные первые приказы всех приходивших в Киев властей — о сдаче оружия, о регистрации офицеров, об учреждении милиции, о воспрепятствии выходить на улицу позже определённого часа. Население покорно подчинялось и выжидало, каковы будут дальнейшие действия новой власти. Новизна первых дней скоро прошла, потянулись будни. Открылись магазины и лавки со съестным, кофейные и ресторанчики. Поляков в городе было мало. Войска после парада ушли на фронт, остался лишь небольшой гарнизон. Думали, что вот теперь, с уходом большевиков, начнётся сразу оживление, установится связь с Европой, появятся товары. Но оживления не было; пустым и мёртвым оставался киевский вокзал. Говорили, что на пути своего отступления большевики взорвали все мосты, и поэтому нет сообщения с Варшавой. Но постепенно стали появляться крестьяне, и базары ожили. На базарах и начались первые столкновения населения с польской властью.

Поводом к недоразумениям послужил вопрос о валюте, самый больной при смене власти вопрос. Деникинцы, придя в Киев, аннулировали единым взмахом все советские бумажки, — и это сразу повредило им в завоевании народного расположения. Потом советская власть таким же манером аннулировала “добровольческие” бумажки. Все переходные монеты при смене власти были форменной пляской валюты, и наживались на этом спекулянты. Польское военное командование в Киеве не аннулировало прежних денег; даже советские бумажки были допущены к обращению, не был лишь обязателен приём их. Но был установлен принудительный курс, совершенно произвольный. Две украинских гривны приравнивались одному романовскому рублю, а в действительности он стоил дороже. Сравнительно высоко ценившиеся населением “керенки” были поставлены ниже “карбованцев”. Советские 100 рублей приравнивались 5 карбованцам, а на самом деле они стоили четверо дороже. Но всего больше вызвал недовольства произвольный курс польской марки. Она приравнена была 5 романовским рублям, чего, конечно, не стоила. В общем, население с официальным курсом не считалось, и базар устанавливал свои, тоже довольно фантастические расчёты. Путаница была большая, и многие торговки, в особенности крестьянки, отчаявшись разобраться в сложной таблице валютных единиц, отказывались от всяких денег, кроме царских. Не подчинялись базарному неписаному закону польские солдаты. Они брали продукты и товары и платили польскими марками по курсу коменданта города. Торговцы вопили, ругались; солдаты отстаивали свои права. Начальство убедительно показывало, что оккупация — это не пустое слово, и польское правительство не обязано заботиться об интересах киевских торговцев. И уже через неделю общественное мнение киевских базаров втихомолку проклинали великодушных “освободителей”.

В торжественных заявлениях представители польского командования доводили до сведения жителей, что Войско Польское пришло сюда не для завоевания края, а по приглашению украинского народа для освобождения его от большевиков, и что, как только восстановлен будет порядок, Войско Польское отсюда уйдёт. Говорили, что едет в Киев вместе с Петлюрой сам Пилсудский. Но прошла первая неделя, и вторая началась, а в Киев не приезжал никто из влиятельных политических деятелей Польши и никто из украинской Директории. Правительство украинское, — вернее, остатки его — переехало в Винницу. Там должна была сформироваться новая украинская власть, туда предполагалось перенести все центральные учреждения. Киев, по-видимому, не внушал ей доверия. Это сразу же усилило политическую неопределённость положения, придавало ему какой-то двусмысленный характер. В Киеве никто не знал, каковы условия договора между Пилсудским и Петлюрой, да и существует ли подлинно такой договор; никто не знал, что делается за пределами города и в какой мере верны слухи о жестокостью и прямолинейной полонизаторской политике польских военных властей в оккупированных частях Украины.

Украинская интеллигенция в Киеве была сильно потрёпана за время непрерывных переворотов. Левые социалистические элементы были увлечены большевизмом и образовали пёструю смесь левозерсовских национал-коммунистических и анархо-националистических групп. Были такие, которые успели побывать и в советских комиссарах, и в “батьках-атаманах”. Правые социалистические элементы постепенно разбежались во время разных переворотов — одни от большевиков, другие от деникинцев. Многие из тех, кто уцелел, эми-

грировали в деревню от голода. Часть разочаровалась и в политике, и в национализме. Остались в Киеве умеренные демократические группы, в большинстве своём культурные деятели и работники, примыкавшие в прошлом к партии украинских социалистов-федералистов (“эсеров”). Социалистическое правительство Центральной Рады и Директории не принимало их в свой состав, считая, что сотрудничество с С. Ефремовым и А. Никовским было бы компрометирующей их коалицией с буржуазией. Быть может, это обстоятельство, вынудившее социалистов-федералистов оставаться в лояльной оппозиции, помогло им сохраниться в Киеве вплоть до весны 1920 года. Эта группа была немногочисленна и невлиятельна; но к ней принадлежали лучшие, наиболее культурные элементы украинской интеллигенции.

Судьба Центральной Рады и Директории, пережитый за два года опыт партизанской борьбы против советской власти, ряд поражений революции на Украине — всё это привело умеренные группы украинской интеллигенции к мысли отказаться от насильственных переворотов и авантюристских предприятий. Многие вернулись к литературной и мирной культурной работе, от которой оторвала их революция. Выросшая за это время украинская кооперация привлекла их к себе на службу. Бывшие лидеры политических групп, дипломаты и министры стали скромными “управделами”, инструкторами, сотрудниками кооперативных изданий. Со своей стороны, и кооператоры украинские как-то оступились и охладели к политике. Выразилось это в росте компромиссных настроений и в готовности сотрудничать с советской властью при сохранении относительной независимости украинской кооперации. И как раз незадолго до прихода поляков у украинских кооператоров и деятелей украинского наркомпрода стали налаживаться недурные отношения. Практики и реалисты, украинские кооператоры с недоверием относились к попыткам вооруженной силой свергнуть советскую власть.

Наступление и приход в Киев поляков застали эти умеренные группы врасплох. Они не были в курсе украинских эмигрантских дел, не имели прямой связи с Петлюрой, не знали хода и сущности переговоров с поляками. Между тем, им надлежало сыграть теперь решающую роль. Левые социалистические группы были отменены всем предшествующим ходом событий. В pendant к правительству Пилсудского новая украинская власть могла быть социалистической по имени, но по существу она должна была проводить умеренно-демократическую программу, быть коалиционной, далёкой от всяких “экспериментов”. Только Киев и мог дать элементы для образования авторитетной на Украине власти, а в Киеве это могли быть только правые социалистические и умеренно-демократические группы. Пробыл час “социалистов-федералистов”: они принуждены были взять власть; кроме них, и некому было брать её.

В первые же дни возродился Украинский национальный комитет. Он существовал с первых дней революции, то замирая, когда политические партии могли вести открытое существование и стоять у власти, то воскресая, когда в подполье дружески объединялись вчерашние антагонисты — власть и оппозиция. Ядро Украинского национального комитета составляли правые украинские социал-демократы с В. В. Садовским во главе, социалисты-федералисты (Ефремов, Саликовский, Никовский) и кооператоры. Органом Украинского национального комитета была газета “Громадське слово” (“Общественное слово”), выходившая под редакцией А. Ф. Саликовского и В. В. Садовского.

Украинский национальный комитет видел в Петлюре своего национального героя и готов был его поддерживать: хотя идея государственного отделения Украины от России уже не пользовалась прежней популярностью в этих кругах, но бывших “самостийническими” в 1917 году, но к лозунгам о независимости Украины они не могли оставаться равнодушными. Союз с поляками внушал им сомнения. Они понимали, что это союз не столько против большевиков, сколько союз против России, что независимая Украина нужна полякам лишь как таран против Москвы. Нелегко было преодолеть традиционное недоверие к Польше. Известно было, что в восточной Галиции союз Петлюры с Пилсудским рассматривается как отказ от национальной программы воссоединения всех украинских земель. В глазах галичан этот союз был прямым предательством. Наконец, не было прочной уверенности в том, что Польша доведёт до конца войну с советской властью, что не пойдёт она на мир ценой отречения от украинцев.

Среди деятелей украинского национального комитета были сильны эти сомнения. Но успех поляков кружил голову; казалось, что большевики оконча-

тельно разбиты, и не только им не оправиться, но и России не встать на ноги. Кроме того, национальный долг не позволял оставаться в стороне в такую минуту, когда была провозглашена независимая украинская республика. А приезжавшие в Киев уполномоченные Петлюры передавали трогательные подробности сердечного союза, заключённого между Петлюрой и Пилсудским. Газета “Громадське слово” в первых номерах не подавала и признаков сомнения в прочности польско-украинской дружбы. Напротив, во всех официозных материалах газеты говорилось об исторической общности интересов Польши и Украины, и редакция её уверенно занимала антирусскую позицию. Политические деятели без особой охоты дали согласие войти в состав правительства, формируемого в Виннице. Начались переговоры между Киевом и Винницей, которые тянулись очень долго и завершились накануне того, как закончилась и вся недолгая польско-украинская эпопея. Кооператоры остались верны себе и от участия в правительстве отказались.

III

Поляки в миниатюре воспроизвели на Украине немецкий опыт. Шли они, по-видимому, с искренним намерением создать независимую Украину под фактическим протекторатом Польши и с верой, что такую Украину создать можно. Пилсудский был увлечён этой идеей, как до него подобной идеей был увлечён генерал Гофман. Оппозиционная Пилсудскому национал-демократическая польская печать относилась к затеянному им делу скептически, даже с тревогой. Но блестящий на первых порах успех заставил замолчать и скептиков. Победителей не судят, а Пилсудский был победителем и только что не въехал в Киев на белом коне. Старая польская газета *Dzennik Kijowski* была враждебна идее украинской независимости в эпоху Центральной Рады и гетманщины. Сотрудники этого органа польских помещиков на Украине не выражали доверия государственным силам и способностям украинской демократии и видели в торжестве украинства гибель польской культуры на Украине. Но теперь и *Dzennik Kijowski* переменил фронт, приветствуя украинскую независимую республику, и пустился в исторические изыскания с целью доказать, что только тогда процветала Украина, когда находилась под покровительством Польши. “Громадське слово” поблагодарило за тёплые чувства, но добавило не без язвительности, что в историю польско-украинских отношения обеим сторонам лучше не заглядывать.

Во всяком случае, первое время усиленно афишировалась польско-украинская дружба. Традиции революции успели выветриться, и дружба находила для своего выражения формы, хотя традиционные по-своему, но для украинской демократии не совсем привычные. Польские генералы у себя на банкете приветствовали речами украинских демократов. Украинский национальный комитет обедом чествовал польских генералов. Польскому военному командованию дана была, по-видимому, директива всеми внешними средствами подчеркнуть, что хозяева города – украинцы и только украинцы, а поляки – лишь гости, союзники, приглашённые защитники. Немедленно после вступления в Киев был назначен рядом с польским комендантом и украинский, а также украинский начальник милиции, украинский начальник гарнизона и т. д. – вплоть до украинского военного цензора, – впрочем, тоже рядом с польским. Декор был соблюден в полной мере. Но граждане, которым приходилось бывать во всяких учреждениях, с первого же шага убеждались, что ходить к украинским властям бесполезно. Они ничего не знают, бессильны и безвластны. Вскоре это до такой степени стало секретом полишинеля, что и в “Громадськом слове”, тщательно хранившем вид полного благополучия, стали прорываться нотки недовольства. Украинским деятелям поминутно приходилось отстаивать свои хозяйские права, которые нарушались поляками, как нарушались бы и всякой оккупационной властью.

Но в самом Киеве внешность украинской самостоятельности всё же соблюдалась. Польская военная власть держала себя корректно, особенно на первых порах. Зато приходили тревожные и неприятные вести из деревень. Здесь польские войска держали себя, надо думать, не хуже, чем все другие войска, перебивавшие на Украине, но и немногим лучше. Украинской власти тут не было никакой, а корректность считалась манерой, подходящей лишь для большого города. В деревнях войска не стеснялись: за реквизиции либо

не платили ничего, либо платили польскими марками, которые крестьяне не хотели брать. Стали доходить слухи и о расправах и репрессиях. Правобережная Украина полна была польских помещичьих имений. В Киевской губернии расположены были латифундии польских сахарных королей и магнатов. В 1918-м и 1919 годах сотни их были сожжены и разграблены, все имения перешли к крестьянам, разделившим между собой инвентарь, тысячи поляков экономов, лесничих, управляющих бежали, бросив своё имущество. Теперь крестьяне боялись, и не без основания, что вернуться прежние владельцы и, как это уже было при немцах, начнётся расплата. Правда, официально помещикам было воспрещено возвращаться в свои имения, но на Волыни они шли по следам польской армии и возвращались в свои усадьбы, где они уцелели. Крестьяне враждебно, с недоверием встречали польскую армию. Командование её, со своей стороны, смотрело на украинских крестьян как на погромщиков, гайдамаков, уничтоживших старинные шляхетские родовые гнезда на Украине, разгромивших очаги старой польской культуры. С польской армией и в рядах её пришли поляки – уроженцы Украины; среди них, наверно, немало было таких, кто лично пострадал от революции или имел пострадавших среди своих родных. Если присоединить к этому, что польскому командованию всюду мерещились большевики, причём оно не видело особенных различий между подлинными коммунистами и украинскими социалистами всяких толков и враждебно относилось к бесчисленным местным батькам-атаманам, то станет понятной та атмосфера взаимного недоверия, которая сложилась на Украине вскоре после прихода поляков и которую нелегко было рассеять даже искренними усилиями руководителей обеих сторон.

Нотки недовольства стали прорываться даже в сдержанных, высоко официозных статьях “Громадського слова”. Вопреки торжественным заявлениям, польская военная власть стала вести себя, как в завоеванной стране. Но со своей стороны недовольство стали проявлять и поляки, и, надо думать, недовольство обоснованное. Украинская газета должна была занять позицию обороны.

Поляков постигло то же разочарование, что и немцев. Они шли, думая, что стоит сбросить большевиков, кучку пришельцев, и Украина станет на свои ноги, создаст свою армию, правительство, администрацию, и польские войска будут подлинно гостями-защитниками, призванными лишь закрепить вооружённым своим присутствием польско-украинскую дружбу. Поход на Днепр казался военной прогулкой; таким он и был первое время. Лёгкий успех создал иллюзию, за которую полякам пришлось тяжело расплатиться. Украинские эмигранты уверяли, что стоит сбросить большевиков на правом берегу Днепра, и левобережье само подымется, встанет, как один человек, и ликвидацию советской власти украинское правительство легко довершит собственными силами.

Действительность складывалась иначе. Вопреки ожиданиям, восстание на правом берегу Днепра, в частности, на Полтавщине не вспыхнуло. Первые дни ходили слухи, будто Полтава занята повстанцами, будто загорелся тыл советских войск в Черниговской губернии, будто даже в Борисполе, ближайшей к Киеву станции, занятой Красной армией, идут бои между большевиками и петлюровцами. Слухи были правдоподобны, однако не оправдались. Вопреки всяким предположениям и планам, отдалённый гул орудий за Днепром показывал, что советские войска стоят тут, за Броварами и у Борисполя, и до сих пор не ушли. Польская армия, которая могла думать, что её роль ограничится оккупацией правобережья, а дальше будут идти и действовать украинские партизаны, вынуждена была либо идти вглубь России, в Черниговскую и Полтавскую губернии, либо ограничиться обороной и дать возможность противнику оправиться, собрать силы и перейти в наступление.

Но и тут, на правобережье, дела складывались не так, как ожидали поляки. Они шли, как приглашённые на Украину освободители; им обещано было, что их встретят с восторгом, окажут им помощь, и они окажутся в дружеской благоприятной среде. Как бы ни был велик скептицизм поляков, они не могли думать, что действительность так жестоко обманет их, и они окажутся среди врагов. Многие “боротьбисты” с уходом советской власти из Киева рассеялись по деревням с целью подышать восстания против поляков. Агитация против панов, идущих отбирать землю, имела некоторый успех. К украинским партизанам поляки относились, как к разбойникам, поэтому боялись образования у себя в тылу украинской армии. Отряду полковника

Омельяновича-Павленко, численно незначительному, но составлявшему главную силу петлюровской армии, был отведён особый фронт. В районе действий польской армии формирование украинских частей либо совсем не допускалось, либо тормозилось, и это приводило украинцев в величайшее раздражение. Несколько батек-атаманов, оперировавших под Киевом, переменили “ориентацию” и выступили против поляков. В результате полякам приходилось быть настороже не только в отношении большевиков, но и в отношении союзников. Передавали в Киеве, что в деревнях началась форменная охота за выхолощенными польскими конями. Ту дивизию, которая произвела в Киеве столь глубокое впечатление на параде своей непобедимой мощью, пришлось растянуть по огромному фронту, распылить на множество гарнизонов, охранных отрядов, патрулей. Польское командование было живейшим образом заинтересовано в том, чтобы образовалась сильная местная власть и прекращена была анархия. И можно допустить, что с полной искренностью представители польской власти в Киеве заявляли, что они содействуют организации украинского правительства, что они далеки от мысли взять на себя управление страной.

Но украинское правительство никак не налаживалось, а фактическое управление всё больше переходило в руки польского командования.

IV

Директория, то есть Симон Петлюра и кружок украинских политических деятелей сидели в Виннице. В Киев они не переезжали не то из стратегических соображений, не то памятуя уроки времени прихода немцев на Украину и разгона Центральной Рады. В Киеве правительство находилось бы в непосредственной зависимости от польского генерала, в Виннице была видимость независимости под охраной собственных войск. Сообщение было плохо налажено, и это ещё больше тормозило затянувшиеся почти на месяц переговоры об организации власти. Велись эти переговоры за кулисами, в печать и за пределы украинских кругов сведения о них не проникали, и было известно только, что идёт жестокая борьба. Столкнулись два мировоззрения, два “кружка”. Бывшее правительство, сохранившее “власть” в период эмигрантщины, сохранило и психологию, вынесенную из времён Центральной Рады, — словесный радикализм, партийную приверженность и ограниченность. Украинская интеллигенция (как и русская) много растеряла в своём бегстве за границу; но отлично сохранились центральные комитеты. Правительство И. Мазепы считалось социалистическим; во главе его стояли социал-демократы. В Каменец-Подольском, где некоторое время отсиживалось украинское правительство, существовал предпарламент, где опять-таки, как в Центральной Раде, большинство голосов принадлежало социалистам. Теперь надо было сформировать новый кабинет с участием киевлян, и притом умеренных. А киевляне, накопившие за время смены режимов богатый опыт, с нетерпимостью относились к старомодному радикализму слов и к старомодным учреждениям вроде предпарламента. В одном из первых выпусков “Громадське слово” с насмешкой отозвалось об игре в парламенты и высказалось за диктатуру. Столкновение “кружков” осложнилось личными столкновениями. Киевские деятели без особой охоты шли в состав правительства. Бывшие министры, напротив, весьма неохотно расставались со своими портфелями. По-видимому, немалую роль в затягивании переговоров играли и условия союза с поляками. В точности эти условия не были известны. Впоследствии их опубликовала советская печать, и в их числе была будто бы уступка Польше значительной территории на Волини и аграрная реформа под руководством министра-поляка с охраной интересов польских землевладельцев. Говорили, что этим министром назначается Стемпковский. Украинская печать эти слухи опровергла, а поляк Стемпковский, хотя и вошёл в состав правительства, но в качестве министра народного здоровья.

Как бы то ни было, под конец удалось с большими трудностями и с большим запозданием сколотить кабинет. В состав его вошли председатель Рады (советы министров) В. Прокопович, заместитель председателя и министр юстиции Андрей Левицкий, министр иностранных дел Андрей Никовский, министр внутренних дел Александр Саликовский, военный министр — начальник генерального штаба полковник Сальский, министр земельных дел Исаак Ма-

зепы, министр финансов Аполлинарий Маршинский, министр народного хозяйства Евгений Архипенко, министр путей сообщения Сергей Тимошенко, министр исповеданий Иван Ошенко, министр народного просвещения Пётр Холодный, министр почт и телеграфов Илларион Косенко, министр здоровья и обеспечения Станислав Стемпковский, министр труда Осип Безналко, министр по еврейским делам Пинхос Красный и государственный секретарь Виктор Онихимовский.

Правительство успело опубликовать декларацию — обычную демократическую декларацию, достаточно бесцветную, с указанием на тождество интересов Польши и Украины в борьбе с московским империализмом, с признанием национального равноправия всех народов, живущих на Украине, с указанием на то, что земля впредь до решения аграрного вопроса в парламенте остаётся в руках крестьян. В печати эта декларация появилась тогда, когда уже громче стал гул орудий за Днепром и когда уже нельзя было скрывать истину о наступлении Будённого.

Но ещё печальнее, чем с организацией центрального правительства, обстояло дело с организацией местной власти. Для этого решительно не было ни сил, ни людей. Малочисленность украинской интеллигенции дала себя знать ещё во время Центральной Рады и потом при гетмане. Пришлось звать на службу русских чиновников-специалистов, “фаховцев”, как их называют на Украине. И стало это слово — “фаховец” — столь же ругательным, как в советской России “спец”. В тех же смертных грехах обвиняли “фаховцев”, они были чужими, внутренними врагами, предателями народного дела, карьеристами. Но ничего нельзя было поделаться: украинские интеллигенты тонули бесследно в массе неукраинской интеллигенции. Так было в 1918 году, но с тех пор положение ещё более ухудшилось. Украинская интеллигенция была частью истреблена, частью разогнана, частью разбежалась. Разбежались и “фаховцы”: они были русские и не пришли ко двору при антирусской политике. Их не приглашали в правительство, да они и не шли.

Украинская власть сразу почувствовала пустоту вокруг себя. И вскоре “Громадське слово” горько жаловалось на политику национальных меньшинств, проявляющих неуместную сдержанность. Упрёк был направлен, между прочим, и в адрес евреев, которых с самого начала никто и не звал участвовать в правительстве и занимать ответственные посты.

Погромы на Украине, по жестокости и размерам превзошедшие резню евреев в XVII и XVIII веках, были ещё слишком живы в памяти. Они, в сущности, ещё не отошли в прошлое, потому что и на этот раз с уходом советской власти повстанцами было разгромлено несколько местечек. Погромная полуса связывалась с именем Петлюры, который не в силах был удержать своих атаманов от зверств и грабежа. Теперь украинское правительство призывало к национальному миру, но антисемитизм прорывался даже в прогрессивном “Громадськом слове”. Испуганные погромами, доведённые до отчаяния евреи были — вопреки социальной природе городского торгового мещанства — отброшены к большевикам. Еврейская молодёжь в Красной армии находила себе спасителей от поголовного истребления. В Киеве еврейская интеллигенция была особенно многочисленна; сюда, спасаясь от погромов, хлынуло население всех окрестных городов и местечек. Еврейская молодёжь в поисках заработка заполнила советские канцелярии, и в советской печати был поднят вопрос о “местечковом мещанстве”, которое изобилием своим грозит извратить пролетарский характер диктатуры на Украине.

Украинская печать продолжала разрабатывать благодатную тему о “местечковом мещанстве”: прозрачный псевдоним прикрывал осторожную антисемитскую игру. Конечно, теперь этому “местечковому мещанству” вход в канцелярии был наглухо закрыт, но заполнить пустые кабинеты было некому. Квалифицированная еврейская интеллигенция держалась в стороне, не доверяя прочности польско-украинской власти и не сочувствуя её антирусской политике.

Между тем польская печать сначала осторожно, а потом настойчиво стала твердить о том, что надо разгрузить польскую армию от функции гражданского управления, надо создавать органы местной власти. По-видимому, ещё более настойчивые требования предъявлялись и польским командованием, и ответом на это стала статья в “Громадськом слове”, которая в весьма раздражённом тоне говорила о тех “нетерпеливых”, кто требует “чудес”

от молодой украинской власти, к примеру, чтобы в 24 часа был изготовлен государственный аппарат... И в ряде статей газета разрабатывала тему об отступлении интеллигенции, о тяжком наследии, оставленном разрухой, о депрессивных настроениях и пессимизме, овладевших широкими кругами интеллигенции, ведущих к маразму и разлагающих всякую общественную работу.

Положение было действительно тяжкое. Не было людей, не было и денег. В отличие от других правительств, украинское не имело даже печатного станка. Был некоторый запас карбованцев ещё со времён Центральной Рады и гетманщины, и была надежда на поляков. Для реализации финансовых планов необходимо было время, но были и неотложные труды. Больницы, школы, детские приюты остались без средств, с советскими бумажками на руках. Надо было организовывать милицию, платить чиновникам, а денег не было. Чтобы облегчить жестокий денежный кризис, кооперативные союзы задумали выпуск кооперативных денег в виде чеков крупного и мелкого номинала. Этот проект обогатил бы коллекцию кредитных знаков за время революции новой разновидностью, но ему не суждено было осуществиться.

К концу первого месяца пребывания в Киеве польское командование пришло, по-видимому, к заключению, что рассчитывать на самостоятельность украинской власти не приходится и надо действовать собственными силами. За кулисами делались попытки нащупать соглашение с другими группами. Если бы оккупация затянулась надолго, польская власть могла бы повторить опыт немецкой власти. Кто знает, не встал ли бы снова вопрос о “гетмане” — более удобной форме прикрытия оккупации, чем демократическое правительство с парламентом.

Конечно, до самого конца официально был выдержан весь декор украинской независимости. Поляки сумели придать ему надлежащую театральность. Пилсудский обращался с Петлюрой, как с украинским монархом. Ещё недавно его, как беглеца, презрительно третировали в Варшаве и держали фактически под арестом. Теперь старательно выстраивали дешёвый реквизит почёта, льстящий национальному самолюбию. “Грамадське слово” с умилением описывало встречи Пилсудского с Петлюрой, в деталях копировавшие официальные встречи коронованных особ. Чтобы показаться народу, Петлюра приехал и в Киев. Украинцы встречали его с энтузиазмом, пели национальные хоры, на Софийской площади его благословило духовенство, в Софийском соборе был отслужен молебен. Церемония встречи напоминала встречу монархов в старое время. От былой демократической простоты ничего не осталось. Речи Петлюры были напыщенны и бессознательны. По-видимому, он и сам не замечал искусственности своей роли. Его окружал свой “двор” — немногочисленный, впрочем, и разъединенный интригами, соединившими в себе эмигрантское величие с провинциальностью захолустных углов.

V

Между тем, Киев жил своей жизнью — достаточно неприглядной жизнью. Исчез, правда, прежний надзор, тяготевший над каждым шагом обывателя, регламентировавший все его действия и помышления. Ожили снова базары, открылись лавки, в окнах магазинов появились соблазнительные булки и пирожные. Буржуазия первое время отдыхала душой и телом. Огромное большинство народа, особенно интеллигенция, стали очень скоро испытывать подлинный голод. Из всех бумажек рынок признавал только “царские”, их было мало, и запас их скоро истощился. В учреждениях служащим не платили жалованья, промышленные предприятия стояли.

Была надежда, что откроется дверь в Европу, наладится связь с внешним рынком, придёт капитал и оживится промышленность. Надежда эта поблекла ещё до того, как выяснилась неудача польской оккупации. Польская власть проявляла крайне слабый интерес к экономической судьбе города и края. Железнодорожная связь с Варшавой была восстановлена, и через неделю после прихода поляков начал циркулировать скорый поезд прямого сообщения между Киевом и Варшавой, однако оживления это не внесло. Скорее, напротив, железная дорога явилась руслом, по которому началась утечка остатков буржуазии, застрявшей в Киеве. В долговечность польской оккупации не верили, поэтому, кто мог, старался бежать. Но и те, кто оставался, не решались начинать крупных дел. Банки не открывались. Приезжавших в Киев новых лю-

дей поражала забитость, нерешительность, робость киевлян. Они не верили, что нынешняя смена власти станет последней. В атмосфере неуверенности в завтрашнем дне невозможна была нормальная экономическая жизнь. А со стороны поляков не было заметно желания помочь её восстановлению. В Киеве было немало поляков – владельцев промышленных предприятий; распространились слухи, что польские власти собираются вывозить в Польшу машины и оборудование с заводов. Эвакуация всякого имущества, действительно, происходила непрерывно. Рабочие были возбуждены этими слухами и волновались. Приостановились и те немногие предприятия, которые работали при большевиках. Они выполняли, главным образом, заказы для Красной армии. Полякам эти предприятия были не нужны. Безработица принимала хронический характер, и в рабочей среде в связи с денежным кризисом, полным отсутствием валюты нарастало озлобление.

Недовольство поляками питалось ещё и из другого источника. На железных дорогах начались увольнения русских служащих и замена их поляками. Не доверяя местному населению, поляки привозили с собой весь административный и технический железнодорожный персонал. Это была система, уже проведённая в жизнь на оккупированной территории Волыни. В Киев потянулись чиновники и рабочие со своими семьями. Стало известно о насильственной колонизации, которая объяснялась необходимостью принятия мер, обусловленных военным временем. Всюду на оккупированных территориях русские административные и учебные учреждения были закрыты, служащие уволены и вынуждены были покинуть насиженные места. Вообще русская часть населения остро почувствовала враждебное и пренебрежительное к ней отношение со стороны польско-украинской власти. Русский язык был признан только терпимым наряду с другими языками национальных меньшинств. Приказы властей печатались на украинском и польском языках. Русское население будировало втихомолку. В сочувственном тоне говорили о национальном подъёме в советской России, о патриотическом обращении генерала Брусилова к офицерам. Ходили слухи о том, что Брусилев и другие генералы вошли в состав правительства. Советская печать не проникала в Киев, но выходил подпольный “Коммунист”, в котором умело проводилась антирусская, оскорбительная для значительной части киевлян политика.

Недовольство охватывало и значительную часть еврейского населения, с которой польские солдаты только первое время держали себя корректно. Потому ли, что ослабела дисциплина, или же сменились стоявшие в Киеве части, но вскоре участились оскорбления евреев на улицах. Старым евреям солдаты с грубыми шутками и бранью наносили побои и тесаками отрубали бороды. Это не угрожало их жизни, не сопровождалось грабежом (хотя были и такие случаи!), но носило характер утончённого и жестокого издевательства, тем более оскорбительного, что происходило под прикрытием деклараций о культурной миссии, ради которой и пришли сюда поляки. Когда случаи нападения на евреев и отрубания бород стали повторяться, евреи снова спрятались по углам; по вечерам город пустел. На базарах солдаты своевольничали, в конфликтах власть брала их сторону, и жертвами всегда оказывались евреи. И что всего хуже – для евреев оказались наглухо закрытыми железные дороги: еврею, даже богатому, было совершенно невозможно поехать в Польшу. Некоторым евреям, пользуясь своими связями, удалось добиться разрешения, но на следующей за Киевом станции их высадили из вагона. Они отделились, впрочем, благополучно и лично не пострадали. Но много было случаев, когда евреев-коммерсантов, рискнувших выехать из Киева за товаром, избивали в вагонах, иногда насмерть, и выбрасывали на ходу из поезда.

О восстановлении экономической жизни, торговой и промышленной, при таких условиях нечего было и думать. Богатейший торговый центр Украины при поляках продолжал опускаться и нищать, как нищел и разорялся он и до них. Хорошо себя чувствовали только спекулянты, великолепно умевшие приспособиться ко всем и всяческим режимам. Облавы на спекулянтов устраивала царская полиция, потом советская милиция, теперь – польско-униатская стража. Вследствие прибыльности эти облавы превратились в регулярную охоту за евреями, проходящими по Крещатику. Спекуляция не прекратилась, но и деловые евреи старались пореже выходить из дому.

Жизнь становилась нестерпимой. Бестолковость её чувствовали все слои населения. Отрезанный от всего мира, предоставленный самому себе, без

промышленности и торговли, без денег и без подлинной власти, Киев обречён был на унылое, голодное прозябание. Ни при одном режиме, которые в начале века часто сменяли друг друга, в Киеве так не голодала интеллигенция, как она голодала при поляках.

Уже в середине июня в официальных сводках польского штаба появилось имя Будённого. О нём сообщали с пренебрежением: отряды его были разбиты, уничтожены. Тем не менее, они снова появились в ближайших сводках, а базарные слухи обнаружили его уже в Белой Церкви, недалеко от Киева. С тех пор имя Будённого уже не сходило со страниц газет, и однажды он даже в отчаянии, по мнению одной газеты, покончил с собой. Официальные сводки носили столь успокоительный характер, и так импозантно было впечатление от парада польских войск, что обыватели, действительно, не придавали большого значения рейду Будённого и скептически относились к пророчествам о близком уходе поляков. Коммунисты, оставшиеся в Киеве, уверенно говорили о том, что начинается большое наступление советских войск и что уход большевиков из Киева был только удачно задуманным манёвром.

Жизнь шла своим чередом. Правительство заканчивало переговоры и собиралось в Виннице приступить к делу. Люди с деньгами и спекулянты спешили насладиться обилием продуктов на базарах и их сравнительной дешевизной. Интеллигенция молча и уныло голодала. И вдруг, словно гром среди ясного неба, всех поразил слух: большевики в Бердичеве, глубоко в тылу у польской армии. И не успели обыватели оправиться от впечатления, произведённого этим слухом, как явилось второе известие: будённовцы в Житомире. Ночью Киев прислушивался к отдалённому немолчному грохоту: это шли обозы. Утром город был уже охвачен паникой. Предстояли снова бои под городом, а может быть, и в городе. Польская и украинская газеты пытались отрицать серьёзность положения. Командующим польской армией был генерал германской службы Смигли-Ридзы. С его слов было официально заявлено, что Киеву никакая опасность не угрожает, прорвавшиеся будённовские части уже окружены и ликвидируются. От себя газеты прибавляли, что Смигли-Ридзы ещё ни разу в своей жизни не отступал. Это должно было свидетельствовать об отличных боевых качествах польского генерала, но подействовало в обратном смысле. “Тем хуже, если не умеет отступать”, — думали киевляне.

Седьмого июля паника как будто улеглась, и казалось, что поляки, действительно, справились с прорывом. Дело их, однако, было уже проиграно, ореол непобедимости пропал, авторитет был подорван. Ясно было, что им надо уходить. По-видимому, и у них разочарование в Украине и украинцах было так велико, что пребывание в Киеве теряло смысл и привлекательность. В беседах отдельные поляки заявляли, что Киев отстаивать они не будут.

На следующий день и печать уж не могла скрывать истину. Трижды побитый и покончивший самоубийством Будённый не только захватил Бердичев, но и отрезал полякам все пути к отступлению. Разбросанная на большом пространстве польская дивизия подвергалась серьёзной опасности: ей грозило уничтожение по частям среди враждебного населения, готового начать охоту за польскими конями при первых же признаках слабости неприятеля.

Начались тревожные дни отступления, напоминавшего бегство. В панике бежали и поляки — жители Киева, боявшиеся мести со стороны советской власти, и те, что приехали из Варшавы. Железная дорога действовала плохо и где-то у Коростеня была перерезана, поэтому уезжали на автомобилях, на городских извозчиках, на телегах.

Польское командование, по-видимому, овладело собой и только в первую минуту проявило растерянность. Ему удалось собрать почти все воинские части и отвести их. Но нечего было и думать о том, чтобы вывезти со складов вооружение, тяжёлые орудия, огромные запасы продовольствия. Не желая, чтобы они попали в руки большевиков, польское командование распорядилось сжечь их. И среди бела дня запылали в центре города огромный бывший генерал-губернаторский дворец и прекрасное здание четвёртой гимназии. Затем подожгли занимающие громадную площадь пакгаузы на товарной станции и большой сахарный завод. Со всех сторон подымались к небу огромные столбы пламени и дыма. Казалось, что подожжён весь город, и ходили слухи о том, что будут взорваны водопровод, электрическая станция и арсенал.

Грохотали орудия, поставленные на высотах в Царском саду, на Печёрске, в Зверинце. Рвались над городом снаряды советской артиллерии, при-

двинувшейся к городу. И покрывая все эти звуки, наводя ужас на жителей, гремели взрывы на днепровских мостах. Несмотря на опасность, тысячи киевлян под обстрелом стояли на Владимирской горке, и многие со слезами смотрели на гибель Цепного и железнодорожного моста. Горели жёлтым в дневном свете, спокойным огнём все четыре моста. И было видно издали, как рухнул в воду настил, и повисли на быках цепи красавца — Цепного моста, гордости и украшения Киева.

Двенадцать раз менялась власть в Киеве, и несколько раз он оказывался под жестоким артиллерийским обстрелом. Нет в нём улицы, которая не носила бы следов революционной и военной бури. Но ни разу не было в Киеве разрушения, которое проводилось бы с таким холодным и жестоким равнодушием. Ни одна из проходивших через Киев армий не посягала на мосты. И при виде разрушаемых мостов, восстановить которые уже не удастся, при виде разрастающихся пожаров рождалось в киевлянах не только чувство злости и мести, но и чувство оскорблённого патриотизма, вражды к чужаку-завоевателю. Если бы и победили поляки, вернуться в Киев они бы уже не могли. И они знали это; и поэтому так безжалостно жгли дома и склады. И если бы у них было время, они сожгли бы всё, но они спешили уйти. Два дня Киев был окутан дымом, и даже на третий день ещё слышались взрывы. Уходя, поляки взрывали все стрелки на железных дорогах, водоканалы, мосты.

Отступление происходило, по-видимому, в порядке, и если у Красной армии был план окружить и уничтожить польскую армию, то он не удался. Поспешно, но в регулярном строю, потерявшие щегольской вид, но сохранившие воинскую выправку и дисциплину, проходили через Киев польские части.

Иной вид имел оставшийся в Киеве отряд, прикрывавший отступление, охранявший город. На складах, подожжённых поляками, было колоссальное имущество — мука, консервы, бельё и платье, керосин. Небольшую часть командование распределило между польскими гражданами, остающимися в Киеве. Они тащили, сколько могли захватить. Остальное было предназначено к уничтожению. И десятки тысяч народа, а вскоре — весь Киев, бедные и богатые, — были на станции у пакгаузов и в городе у горящих складов и старались вытащить из огня всё, что было можно. Польские солдаты выстрелами отгоняли толпу, но она лезла и лезла, некоторые падали, многие были ранены, и это никого не останавливало. Город принял страшный и отвратительный вид сплошного и безумного мародёрства. Польские солдаты приняли в нём участие. За плату они допускали к пожарищу и сами грабили. По всем улицам тянулись люди с мешками, ящиками и вёдрами; пудами тащили какао, шоколад, сотнями банок — консервы. Всё это тут же на улице перепродавалось. Раздувшиеся, как клопы, с набитыми сумками, из которых торчали продукты, безобразно толстые от надетых на себя трёх-четырёх костюмов, бродили потерявшие воинский вид польские солдаты, и их ловили высланные для борьбы с мародёрами польские военные патрули.

Багровое от пожаров небо, треск взрывающихся в огне ружейных патронов, стрельба, вой толпы, немолчная канонада за Днпром — всё это создавало кошмарную картину. Надвигалась угроза погромов. Люди, обезумевшие от жадности, готовы были передрасться из-за полусожжённой тряпицы, из-за лужи разлитого керосина. Польских солдат уже не боялись. На товарной станции в них стреляли с холмов, из-за заборов.

Тревожно прошла ночь на 11 июня, но утро и день выдались спокойными. Курились и догорали пожарища, и глухо звучали вдаль взрывы. Поляков не было видно в городе, но на окраинах ещё были их патрули. Артиллерийская стрельба умолкла. Подавленное неопределённостью, боясь вступающих советских войск, население сидело по домам, не решаясь продолжать грабёж складов. Вчерашнее погромное настроение прошло. Было тихо, спокойно и пусто на улицах. Говорили, будто уже образовался военно-революционный большевистский комитет, и было его вооружённое выступление в городе, и была перестрелка с поляками на Печёрске.

Утром двенадцатого появились в городе первые красноармейцы. Их встречали со сдержанным дружелюбием. Днём стали входить пешие и конные части. Не было киевлянина, который, глядя на оборванных, босых и в лаптях, с ружьями на верёвках красноармейцев, не вспоминал с иронией и злорадством об эффектном театральном параде польской армии. “Санкюлоты!” — это слово не раз произносилось в этот день с чувством уважения к победителю.

ТАТЬЯНА МИРОНОВА
доктор филологических наук

РУССКАЯ РОДОВАЯ ПАМЯТЬ

РОД И СЕМЬЯ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ

Каждый из нас принадлежит своему роду-племени. Именно так: сначала РОДУ, а потом ПЛЕМЕНИ. И спрашивали обычно по-русски человека, когда дели его впервые, сначала об имени, а потом — какого ты роду-племени? Род наш — яблоня, от которой мы, как яблоки, недалеко падаем, предыстория — залог нашего будущего и будущего наших детей. Не зря же существует понятие **благородный**, то есть произошедший из *благого, доброго* рода, по задаткам открытый добру, за кого предстательствуют благие предки-родичи.

Что есть наш **род** и каковы значения главных родовых понятий — семейных названий, с которым каждый из нас встречается при своем рождении и не расстается целую жизнь?

Слова, обозначающие кровное родство, — это **мать**, что значит — огромная, большая, главная, и **отец**, то есть родитель, от кого ты произошел. Есть еще в русском языке слово **батя**, родственное латинскому *pater*, оно означало — защитник. Детские наши слова **мама** и **папа** — это удвоенные слоги корней, обозначающих мать — МА и бату — ПА. Эти названия свидетельствуют о том, что в сознании ребенка, годовалого младенца, ибо с года у человека развивается членораздельная речь, существует четкое разграничение понятий его близких в семье. При этом мать для ребенка — главное, что есть на земле, а отец — защитник, основа детской безопасности.

Так что безотцовщина вполне осознается младенцем. Безотцовщина — это ребенок без защиты, он с рождения чувствует себя в опасности и на краю жизни, он под влиянием родного языка, смыслы которого заложены в генетической памяти, ощущает свою уязвимость, слабость, одиночество. А вот без матери — еще страшнее для ребёнка, ибо мать для нас — настоящий материк для маленьких островков, хоть и отрывающихся от нее рано или поздно, но непременно понимающих свою привязанность к питающему нашу жизнь корню. Незыблемость первых и главных слов детства, присутствие их с младенчества дает человеку опору на всю дальнейшую жизнь, отсутствие же у ребенка матери или отца делает его уязвимым. Сирота всегда вызывал и вызывает в народе острую жалость. И русский обычай требовал непременно приютить, обиходить, призреть сироту, за что прощались житейские грехи и искупалась любая вина пуще, чем строительством храмов. *Не церковь строй — сироту пристрой*. И как же изощренно лишают отца-матери детей нынешние европейские извращенцы, требуя изъять из детских представлений эти священные для каждого понятия. Дети, возвращенные извращенцами, могут ли во-

обще называться людьми, ведь в их картине мира отсутствуют два важнейших понятия — мать и отец.

Столь же значимы для нас и слова, обозначающие детский возраст человека. Слово **дитя** происходит от глагола **доить**, что значит кормить, дитя — это вскармливаемый материнской грудью младенец. Порой мы так и говорим — грудной младенец. **Чадо** — еще одно слово для обозначения детского возраста. Оно родственно английскому *Child*, немецкому *Kind*. Корень в этом слове индоевропейский и означает **начало**, в данном случае начало человеческой жизни. А вот слово **ребенок** относится к уже подросшим детям, вышедшим из грудного возраста, оно имеет значение — *маленький работник* и соотносится с корнем *роб-*, его мы знаем в словах *раб* и *работа*. Дети у русичей были сызмала работниками в семье.

Теперь взглянем на слова **сын** и **дочь**. Сын происходит от корня *суо-*, что значит родить, сын — буквально, рожденный матерью, обратите внимание на привязанность матери именно к сыну. Мы знаем это в повседневности: мать больше привязана к сыновьям, она их и защищает, и гордится ими, и привечает больше дочерей. Такой материнский инстинкт основан на древней традиции преемственности рода от отца к сыну. Мать, родившая сына, исполняет свой долг по отношению к роду, в который она вошла для того, чтобы продолжить его во времени и вечности. Она инстинктивно стремится сохранить сына еще и потому, что сын, согласно строгим русским обычаям, обязан кормить своих родителей до их смерти, он же наследник всего, что заработали и нажили мать с отцом.

Иное отношение в русской родовой традиции к дочери. **Дочь** в исконном смысле этого древнего слова, происходящего от глагола **доить**, имеет предназначение вскармливать, питать дитя, то есть дочь — это будущая мать. В языке отражалось семейное правило: дочь непременно уйдет из рода и будем принадлежать чужакам. Причем именно такая судьба дочери в ожидании неизбежной разлуки с родными и по сей день представляется в русской семье счастливой, отношение к *старым девам*, *вековухам* было и остается скрыто неприязненным, как к дочерям, не выполнившим исконного дочернего предназначения, заданного родным языком.

Имена **сын** и **дочь** закладывают в нас представление, что сын в семье важнее дочери, что сын есть тот, ради кого существует семья, кем крепится род, а дочь — это будущая кормилица и мать, но она будет принадлежать чужому роду. Из смыслов древних семейных слов проистекает парадоксальная мудрость старинной русской поговорки: *“Отца кормлю — долг отдаю, сына кормлю — в долг даю, дочь кормлю — в окно бросаю”*. Но что удивительно, при всей утилитарности и практицизме русских представлений о родстве, насколько матери любят и лелеют сыновей, признавая в них исполнение своего долга и предназначение продолжения рода, настолько отцы привязаны к дочерям, хотя девочкам, по определению языка и традиции, надлежит покинуть и семью, и род, и войти чужанкой в род незнаемый. Этот инстинкт тоже имеет оправдание в древнем укладе: сын — свой, никуда не денется, а с дочерью ждет разлука, и потому девушек в семье берегут, по русской традиции, не допуская даже к стряпне.

А теперь взглянем в ставшее сегодня обыденным — бросать семью, уходить к другой жене или к другому мужу, растить чужих детей, бросив родных. Подобное поведение свидетельствует о полном уничтожении в человеке понятия своего рода, в котором он — звено, передающее заветы предков грядущим поколениям. И сын у такого родителя, когда женится, не будет сохранять родовую память, и дочь, когда выйдет замуж, не будет знать, как хранить новый семейный очаг. Брошенные дети, дети из неполных семей редко когда имеют свои собственные счастливые семьи. А разрушение семьи ведет прямым путем к вырождению русского рода, ибо сын из семьи матери-одиночки не имеет примера отца для сбережения своего родового древа, а дочь из такой семьи не имеет примера матери для вставания в чужой род.

Есть ныне и более страшные признаки гибели родовой памяти. Сегодня мы наблюдаем утрату не только отцовских, но и материнских инстинктов. Образ жены-матери усиленно замещается в обществе образом жены-любовницы, а для женщины с подобной психологией дети вообще ни к чему. Уничтожаются коренные родовые понятия и при помощи таких чудовищных явлений, как суррогатное материнство, искусственное оплодотворение. Эти противое-

тественные вещи, становящиеся нормой, выжигают в русских душах человеческие представления о роде и семье, об отце и матери. Ведь теперь человека можно получить искусственно — из пробирки. Никто, правда, еще не изучал судьбы, психику, интеллектуальные и физические способности “пробирочных” человечков. Никто не отслеживал продолжительность их жизни, чем они болеют, рожают ли детей, поскольку первым “искусственным” людям сейчас чуть за тридцать.

Поучительны и древнейшие смыслы слов **брат** и **сестра**.

Брат исконно обозначал члена родового сообщества, то есть брат — не только кровный родственник, “сын моего отца”, но именно член своего рода. **Сестра** — это буквально своя женщина, женщина моего рода. Так что слова **брат** и **сестра** — родовые, а не семейные. А это значит, что мы и поныне испытываем братские и сестринские чувства к людям своего рода-племени, отличая их от чужаков.

Впрочем, обращение к незнакомым русским людям в зависимости от возраста — *мать, отец, браток, сестричка, дочка, сынок, дед, бабушка, тетенька, дяденька* — свидетельствует о сохранении русскими взгляда на свой народ как на родичей, несмотря на усилия современной пропаганды разрушать русские роды и семьи.

Мы не только к своему деду привычно обращаемся — дед! дедушка! Нет, мы так назовем любого русского старика, если хотим проявить к нему сдержанную теплоту и уважение. И интуитивно не ошибемся в таком обращении, потому что **дед** — это не только “отец моего отца”, это понятие шире, дед — значит — старший отец, старый представитель нашего рода племени. **Дед** в исконном представлении славян — прародитель наш, основатель рода, его творец. Слова *Дэв* в санскрите, *теос* в греческом, *Deus* в латинском, *Див* в древнерусском и русский *Дед* — одного индоевропейского корня, обозначающего Творца, Создателя. В английском этот корень тоже сохранился как родственный термин: *Dady* — так англичане в детстве называют отца. Так что русский *Дед* — однокоренной словам санскрита, латинского и греческого языков, именуемым так Бога.

Дед по-русски — тоже творец, создатель, родоначальник, в отличие от западноевропейских языков, которые видели в деде лишь “большого отца” — *grandfather, grossfater*.

Русское **уважение** к деду — это признание потомками его родоначалия, уподобленного Создателю, это почитание значимости и силы деда, таковы смыслы, хранящиеся в корне **вага**, наполняющем собой слова **важный, уважать, отвага**. Слово **дед** родственно и понятие **дядя**, — это наш старший родственник, вот отчего в ходу обращение у детей — **дяденька** к любому человеку из своей родовой.

Но обратим внимание, как из исконных смыслов этих слов проистекает русское требование уважения к старшим, которое диктуется на одной только традицией почитания старости. Уважение старшие члены рода — деды и дяди — по русскому обычаю должны заслужить, чтобы не избивать свои годы жизни по насмешливой поговорке “*Мудрость приходит со старостью, но чаще старость приходит одна*”. И потому, когда нам указывают на беспрекословное почитание стариков в обычаях горцев, как на достойный образец подражания, мы должны осознавать, что у нас существует своя традиция почитания старости — это уважение к достойно прожитой жизни человеком, не посрамившим своего рода-племени, преумножившим славу и достоинства своего рода-племени. И Дед — это тот, кто стал воистину прародителем доброго рода, ведь он соименит Творцу.

В названии **баба-бабушка**, которое также является родовым и семейным, высвечивается иной смысл. Если в западноевропейских языках обходятся простым наименованием — *grandmother, grossmutter*, то есть “большая мама”, то по-русски — мать одного из родителей — **бабушка, башка, баба** — это женщина, которая учит ребенка говорить, ибо происходит это слово от глагола речи — *баять*. Так проявляются в семейных словах родовые задачи женщины — она, жена и мать, то есть рождающая детей, воспитывающая их, и она бабушка, то есть обучающая говорить.

В описанных здесь древнейших русских языковых понятиях, в их иерархии очевидна исходная главенствующая роль мужчины в родовом и семейном строе жизни славян и русичей. У мужчины биологическая роль — он отец, ро-

дитель, но еще более важна его социальная роль — он — батя, т. е. защитник и покровитель, он — дед, что значит глава рода и его прародитель. Так что говорить о каком-то древнейшем матриархате в отношении к индоевропейцам в целом и русским в частности мы, опираясь на данные языка, не можем. Патриархальные отношения прослеживаются во всех русских родовых словах.

Сомнительно также и утверждение многих лингвистов, что родовые и семейные слова всего лишь отражение детского лепета. Дескать, как дитю в голову пришло, так и стали называться мать и отец. Но почему же тогда все дети одного рода-племени лепечут одинаково? Почему они не ошибаются, четко называя маму мамой, а бабушку бабой? На самом деле, МА, ПА, БА, ДЕ — это древние корни, носители определенных смыслов, заложенные в нашей генетической памяти, и лишь удвоение их есть отражение примитивной речи младенца, но все, кто наблюдал, как дети начинают говорить, знает, что ребенок уже с года никогда при обращении не перепутает в речи маму и бабу, папу и деда. Он осознанно пользуется семейными словами.

Существуют в русском языке и семейные слова иного рода, они обозначают не кровное родство, а **свойство** — родство по мужу или жене. Здесь очень важно понимать, что не случайно подобные связи названы по-русски свойством. Родня мужу и жене становятся между собой своими, то есть родными и близкими. Названия **свекр** и **свекровь** толкуются как своя кровь, этим обозначено принятие жены в семью мужа через кровь — рождение детей. **Тесть, теща** — буквально значат “те же есть”, что и свекр со свекровью. Причем именно **тесть** и **теща** позднее пришли в язык, чем **свекр** и **свекровь**, так как в русской традиции было свойственно принимать чужанку в семью мужа, а не наоборот.

Особый таинственный смысл имеет слово **невеста**. В нем прозрачно читается — **неведомая**, что значит — женщина, принятая из другого рода. Известная всем **сноха**, жена сына, в древности звучала как сын-оха, и так выглядит любое женское прозвище от имени или профессии мужа — Лукьяниха, Петруниха, дьячиха. Название **зять**, муж дочери или сестры, происходит от индоевропейского корня *gelos* — род, и действительно, зять — это человек, принятый в род. А в свою очередь, **шурин**, брат жены, ведет свое начало от корня *свой*, и является полной копией современного названия **свояк**. Не забытое еще в народе слово **золовка**, сестра мужа, ведет происхождение от корня *голова* и обозначает старшую, главную над невесткой в семье мужа.

Очень жаль, что слова, обозначающие свойство, исчезают ныне из русского языка. Эти понятия перестали иметь для русских значение, а значит, утратились или ослабли те родовые обязанности, которые исполняли в роду **золовки** и **шурини**. И потому уже озадачивают загадки типа “**Шуринов племянник как зятю родня?**”. Но сохраняются еще куда-то зятья и свекры, тести и тещи, сами понятия о родственниках-свойственниках, что показывают нам природную близость людей, связанных семейными узами, их непереносимое тяготение друг к другу и сохранение за ними долга несения родственных обязанностей.

Наша русская двух-трехпоколенная семья и многопоколенный род в весьма поврежденном виде, но все же сохраняются народной традицией и являются единственно возможными формами русской жизни. Если они исчезнут или утратят свой исконный облик, то придет конец и всему народу. Вот для чего мы напоминаем о заложенном в нашей генетической памяти понимании смыслов родовых и семейных слов.

Трехпоколенная семья — это именно русская семья. В Европе и Америке бытует ныне двухпоколенная семья — родители и дети. И лишь только дети западноевропейцев оканчивают школу, им указывают на порог, они уходят из отчего дома самостоятельно строить свою жизнь. Сегодня западноевропейская и американская семьи становятся и вовсе однопокольными, ибо западный человек часто отказывается иметь детей. У нас же, даже при отдельном проживании, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, тети и дяди образуют прочный семейный союз с детьми и внуками, который держится на взаимопомощи и поддержке друг друга. Мы еще не забыли, в отличие от западноевропейцев и американцев, что такое **род** и **семья**.

Род — происходит от древнего индоевропейского корня *ord*, означающего рождение и рост. Многопоколенное древо, корнями уходящее в землю, ибо там лежат поколения предков, дедов и отцов, и с проекцией будущих побе-

гов, еще не рожденных, но непременно должны увидеть свет. Таким представлялся русскому человеку **род**, состоявший из родовой, родни, родственников. Этот же корень дал нашему языку слово **ряд**, внесшее в русскую жизнь понятие порядка. Род — это не дикорастущий бурьян на пустыре государства, а упорядоченное родословное древо, растущее и множасьее согласно народным обычаям и многовековым законам. В строгой упорядоченности строится и **семья**, собирательное слово от корня *семь/земь*, обозначавшего в древности территорию, принадлежащую тому или иному роду. Изначально семья обозначала территорию родовой общины. Корень *семь/земь*, с близкими ему понятиями *земля, земной, наземь*, свидетельствует о том, что каждый род на Руси жил на своей земле и без нее не мыслил своего существования. А когда сегодня целенаправленно разрушают семью, то получается, что у человека вынимают из-под ног его землю. Он не чувствует под собой почвы, опоры, ибо семья — это его родовая “земля”, его пристанище.

Без понятия о роде невозможно и существование важнейшего для нас слова **народ**. Народ состоит из родичей, людей одной крови, одного корня, **народ** — это родовые ветви, взращенные из одного семени и исходящие из общего корня. **Народ** — это ныне живущие члены рода, те, кто народились, пребывают в верхней части родового древа, на его вершине. Они затем родят следующее поколение, состарившись, уйдут в небытие, и станут Родом для новых поколений своего народа. Сегодня очень важно, жизненно необходимо уметь проникнуть в смыслы этих слов для того, чтобы не забывать, кто мы такие, откуда вышли и куда уйдем, чтобы не отстать от своего рода-племени, превратившись в ничтожное перекати-поле, слабое скитальческое деревце без корней, без семьи, без отца-матери, без надежной опоры в жизни — родного народа и тысячелетнего русского Рода.

МУЖ И ЖЕНА — ТЕ ЖЕ МУЖИК ДА БАБА

Особые семейные имена — **муж** и **жена**. То, что они исстари называли не только семейную пару, но и любого мужчину и любую женщину, свидетельствует об исконной необходимости семейного статуса для каждого человека. Слово **муж** родственно понятию **ум**, оно происходит от индоевропейского корня со значением *думать, мыслить*. Иной смысл у слова **жена**, образованного от индоевропейского корня, означающего *рождать*. Язык наш изначально устанавливает четкое разграничение мужских и женских ролей, иерархию семейных отношений. В этой иерархии женщине отводится биологическая роль — рождающей потомство, а мужчине — социальная роль — думающего, то есть заботящегося о своих семье, роде, стране. В этой иерархии мужчина и женщина имеют особые общественные обязательства и несут особые семейные обязанности. И когда в нынешнем и прошлом веках насильно вводилось равноправие полов, то это взламывало архетипы нашего сознания, ибо генетическая языковая память диктует мужчинам и женщинам выполнять различные, заложенные Богом и природой задачи. Об этом гласят и суровые народные приговоры: “*Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком*”, “*Курица — не птица, баба — не человек*”.

Упомянем, что слово **человек** имеет родовой смысл — это ныне живущий представитель рода, где *чел* (древнее *кел*) есть род, буквально клан, а *век* (древнее *войк*) — жизненная сила, ее энергичное проявление. Причем слово **человек** изначально прилагалось только к мужчине, и это не случайно.

Задачи мужа и жены столь различны, что архетипы нашего сознания разводят мужчину и женщину на разные полюсы мира. Мужа мы мыслим, под диктовку архетипов нашего языка, стоящим по правую сторону от Творца, мужчина соотносится с понятиями дня, солнечного света и жизни. Жена в этой иерархии расположена по левую сторону от Создателя, она связана с понятиями ночи, лунного света и смерти. Эта исконная иерархия настолько прочно сидит внутри каждого из нас, что до сих пор порождает такие традиции и ритуалы, как расположение женщины слева от мужчины при выходе в свет и при рассадке за стол, как устройство застеек при пошиве одежды на правую сторону для мужчин и на левую для женщин. Приметы гласят: *лоб свербит с правой стороны, правая бровь чешется — челом бить мужчине, ежели с левой стороны лба почесуха — предстоит кланяться женщине*. Но по иным

архаичным поверьям, правое место в иерархии мира занимают ангелы, а левое – бесы. А русские поговорки подмечают природенную склонность женщины слушать бесовские наущения: *где черт не сладит, туда бабу пошлет*. Хотя зачастую говорят и так: *муж да жена – одна сатана*.

Впрочем, русский язык хранит и русский семейный идеал, когда *муж – голова, а жена – душа*. Язык наш закладывает в нас глубинные социальные задачи, которые мы стараемся выполнить в силу воздействия древних архетипов мышления. В русском языке семейные слова не только **муж** и **жена**, но и **мужик**, и **баба**. Почему именно они избраны как основные, повседневные знаки мужа и жены? В слове **мужик**, производном от слова **муж**, не только живо значение мыслительности, ума, в него еще привнесена идея ответственности за семью, слово это хранит в себе мысль о самостоятельности, мужественности и силе, недаром говорят слабаку – *ты не мужик*, подбадривают малодушного – *будь мужиком!*, и в похвалу мужчине обычно звучит – *настоящий мужик!* По-русски мужиком становится парень, когда женится. Поэтому без жены мужчина не мужик. Если к мужчине не приложимо слово **мужик**, это означает, что он не состоялся как член общества, он не может отвечать за своих близких, он слаб и беспомощен, ничтожен.

А у слова **баба** изначально значение *болтушка, балаболка, говорунья*, ведь корень *ба* – исконно означал *баять, балаболить, болтать*. Наша русская **баба** по сути своей – беспрестанно говорящая женщина. Давно подмечено, что женщины думают, когда говорят, в отличие от мужчин, которые сначала подумают, а потом скажут. Именно так заложено Богом и природой мыслить и говорить женщине, беспрестанно воспроизводящей речь, буквально не замолкающей – *ба-ба-ба*, потому что женская социальная задача есть обучение потомства родному языку, а для этого необходимо *баять* и *балаболить* без конца. *“Баба, что горшок: что ни влей – все кипит”*. *“Бабу не переговоришь”*. Женщине природой заложено именно много говорить, а не много думать. Думать за нее положено мужику. *“Баба, что мешок: что положишь, то и несет”*. У женщины в отличие от мужчины склад ума, который идеально выражен в формуле: *“Откуда я знаю, что я подумую, пока не услышу, что я скажу”*. Пословицы и поговорки описывают женский ум так: *“Пока баба с печи летит, семь дум передумает”*, *“У бабы волос долог, а ум короток”*, *“Бабы умы разоряют дома”*. Жене-бабе не нужно много ума, ее врожденные талант и Божье дарование – речистость. Неразговорчивая женщина – такая же ошибка природы, как болтливый мужчина.

Человеческая речь, язык жены и матери – это национальная картина мира, которую необходимо внушить, буквально заложить в уши потомству, картина мира, которую должен усвоить каждый ребенок в семье на протяжении первых шести лет жизни. Современные исследования показали, что в первые полтора года младенец запоминает до пятидесяти слов, причем уже к шести месяцам звуки, которые издает новорожденный, напоминают звуки его родного языка. К двум годам младенец знает уже около трехсот слов, в три года ребенок осваивает под тысячу слов, а к шести годам понимает примерно десять тысяч слов! – а значит, в совершенстве овладевает родным языком. Скорость обучения языку в детском возрасте составляет двадцать слов в день.

С колоссальной социальной задачей – научить своих детей родному языку – может справиться только **баба** – беспрестанно говорящая женщина. Она предназначена передавать молодому поколению наследие предков – родной язык и национальную картину мира. Не случайно слово **баба** является еще и термином родства. **Баба, бабушка, бабушка** – это мать одного из родителей, все свое время уделяющая внукам. Именно она рассказывает сказки, баюкает – поет колыбельные и потешки, не замолкает над младенцем ни на минуту, благодаря дару речевого общения, присущему всему женскому роду.

Женская русская речь весьма отличается от мужской. Женщина предпочитает описывать то, что видит, и то, что с ней произошло. Мужчины об этом иронически говорят: *“Приехала баба из города, привезла вестей с три короба”*. Женщина – бытописатель, а следовательно, она непрестанно ищет и находит новые формы выражения, творит новые слова, чтобы точнее и ярче отразить то, что видит. Все слова с уменьшительными суффиксами в русском языке придуманы женщинами. Потому что именно женщины, бабы говорят с детьми, сюсюкая и умиляясь. Сегодня во многих таких словах мы уже не видим уменьшения и умиления – миска, чашка, тазик, ложка, вилка. Но еще

в “Домострое”, своде хозяйственных правил XVI века, эти слова выглядели так: *миса, чаша, вила, ложица, таз*. Именно женщины в своем словоупотреблении привели эти слова в уменьшительно-ласкательную форму, а потом многие из подобных слов утратили первоначальный облик. Эта уменьшительность оттого, что женщины очень много общаются с детьми, с которыми разговаривают ласково. Общаясь, они обучают детей речи. Обучение речи, а не мысли, как раз и подразумевает описание всего, что попадает на глаза, и всего, что происходит и происходило в нашей жизни.

И в произношении женщина отличается от мужчины – тембром голоса, темпом речи, характером пауз, длительностью гласных. В разговоре мужчины сохраняют молчание 3,21 секунды, а женщины молчат лишь 1,35 секунды. И эта скорострельность речи получила в мужском сообществе точную оценку *“Лукавой бабы в ступе не утолчешь”*.

Женщины предпочитают вопросно-ответную форму общения, то есть диалог, и потому норовят на каждую реплику мужа непременно дать ответ-отпор. Мужчины выбирают монолог, где они могут четко изложить мысль.

Женщинам сподручнее размышлять вслух, и когда их собирается несколько, то звучит целый хор наперебой размышляющих баб. Отсюда формула коллективного женского мышления: *“Три бабы – базар, а семь – ярмарка”*. Мужчины думают не вслух, а про себя, потому они больше молчат, предпочитая пропускать мимо ушей и слова жены: *“Баба бредит, да кто ей верит”*. И говорят мужчины по очереди, выслушивая друг друга.

Мужчине важен смысл сказанного, а женщина наслаждается формой речи. Девочки раньше овладевают языком, осваивая звук за звуком, и начинают они говорить правильнее и чище мальчиков, сказываются природные женские задатки. Мальчики же долго помалкивают, а, заговорив, пренебрегают произношением. Зато с раннего детства любят делать умозаключения.

Женщины избегают грубых слов, не любят матерщины. Мужская же речь груба, для проявления власти и силы, для подавления собеседника в ней часто используется криминальный жаргон, так как он обладает особой энергией, позволяющей маскировать внутреннюю слабость человека. Именно от мужчин приходят в обиходную речь криминальные, энергичные слова: *накололи, кинули, наехали, мочить...* Женщинам не нужно демонстрировать силу, и они чаще всего игнорируют подобное словоупотребление. Мужчина же и по отношению к женщине должен постоянно выказывать свое превосходство: *“Баба с возу, кобыле легче”, “Бабе волю дать, не унять”, “Знай баба свое кривое веретено”*.

Мужчина и женщина не только по-разному говорят и мыслят, они природой и обычаем предназначены для разных дел. На Руси существовало четкое разделение мужского и женского труда. Обычай провел между ними черту, которую не переступают ни мужчины, ни женщины. Мужчина обязан пахать, косить, возить, подавать снопы, веять, сеять, рубить дрова и молотить. Женщина копает и полет огород, жнет хлеб и лен, обихаживает скотину. Сено гребут и сушат вместе, но эта работа считается в праздник. Замечательно, как русская традиция предписывает мужчинам и женщинам выполнять главные работы земледельца – пахоту, сев и жатву. Пахота и сев – это исключительно мужская забота. Будучи сеятелем, мужчина в русской традиции предстает главным кормильцем семьи, добывающим ей пропитание. Обычай предписывал, что сеятель должен выходить в поле чистым, в чистой рубашке и босиком. Тогда урожай ожидался хорошим. Женщинам было запрещено участвовать в севе. Зато именно женщины, согласно обычаю, были жницами. Жатва словно зеркальное отражение сева. Теперь уже женщина в преддверии жатвы мылась, надевала чистые одежды, убиралась в доме, застилала чистой скатертью стол, чтобы встретить дорогого гостя – Дар Божий – новый хлеб.

Разумеется, это по обычаю установленное распределение мужских и женских работ могло быть нарушено особыми обстоятельствами жизни. Во время войны женщине приходилось выполнять и многие мужские обязанности. Вынуждена была пахать, засеивать, ехать в лес за дровами. При этом на ней продолжали лежать все женские домашние дела, об этом сложена горькая частушка военных лет: *“Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик”*.

Замечательно, что даже пространство в хозяйстве делилось на мужское и женское. Баба была хозяйкой в доме, а мужик – за его стенами, во дворе, на улице, в лесу, в поле: *“Мужик с собакой во дворе горюет, а баба с котом в доме панует”, “Мужик в лесу не вор, дома не хозяин”*.

Нынешняя беспомощность и безрукость мужика связана, вероятно, и с нарушенной в русском народе традицией разделения хозяйственных работ. У бабы, что в городе, что в деревне, по-прежнему остаются ее бабьи дела, которых невпроворот. А мужик уже и не сеятель, и не пахарь, и во дворе, на улице не хозяин, ибо давно его пространство огорожено стенами квартиры или крохотных огородных соток.

Наши древние установления, продиктованные языком, рисуют нам традиционную русскую картину мира. Муж, мужчина, мужик отвечает за страну, общину, семью. Он обязан о них думать, заботиться, их возглавлять. Жена, женщина, баба призвана рожать детей и обучать их (ук- и ухо – однокоренные слова), обучать прежде всего родной речи, национальному самосознанию.

Из этого проистекает ряд правил, обычаев и законов русской жизни, согласно которым править в государстве и семье должен мужчина. Женщина во власти – недоразумение и беда. Жены должны быть у мужей в подчинении и под опекой, ибо, по народному убеждению, они не имеют своего разума. Мальчикам, после того как они научились говорить, требуется мужское воспитание, к семи годам, так было раньше, они поступали под мужскую руку. Отцы и деды обучали сыновей и внуков не столько говорить, сколько думать. Дочери в мужской расчет не шли. В русской крестьянской семье они находились исключительно под приглядом матери, сами готовили себе приданое, помогали воспитывать младших детей в семье и здесь обучались навыкам будущего материнства.

Начертанная издревле картина правильной семьи прочно сохраняется в наших головах, ведь ее рисует нам наш язык. Но юридические законы современного государства разрушают цельность воззрений.

Равенство мужчин и женщин разрушает семью, ибо жена вступает в управление и семьей, а муж устраняется от этого.

Необходимость женщинам зарабатывать на жизнь, быть пахарем и сеятелем, кормильцем семьи, разрушает ее представления о своих женских обязанностях – рожать, обучать языку. Материнство и воспитание перестают быть свойством истинной жены. А русские мужики, лишенные настоящей творческой работы, кормящей семью, теряют свое мужское начало, позволявшее им чувствовать себя кормильцами семьи и хозяевами страны.

РУССКИЙ ДОМ И РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Русское мирозерцание сформировано укладом нашей жизни, испытанным тысячелетиями. Современные удобства и технологические достижения сделали народы в бытовом отношении вроде бы одинаковыми, но не надо забывать, что научно-техническая революция, совершившаяся в два минувших века, незначительно повлияла на наши обычаи и склад характера. Мы в своих генах и мировоззрении по-прежнему несем память о жизни своих предков на протяжении многих десятилетий веков. Эта память определяет и наш характер, и наши привычки, и нашу способность к созидательному труду.

Русский домашний обиход весьма отличается от укладов других народов, даже соседствующих с нами, и эти отличия влияют на разницу в национальном строе жизни.

Взять, к примеру, дом, жилище русского человека. Исконно это землянка или полуземлянка с очагом, то есть дом, вросший в землю, или, как он истари назывался – хата. Хаты распространены были в южной Руси. Но помимо хат русские строили избы. Чем отличалась хата от избы? Хата поставлена прямо на земле, без фундамента и даже врыта в землю. Слово это происходит из индоевропейского корня *kouta/kata*, давшего в разных языках сходные названия, а в русском языке породившего еще одно слово, связанное с домом, – **кут** – угол в доме. Изба – известная больше в северной и средней Руси – сооружение ярусное, она возводится на фундаменте или подклете, в избе есть горница, размещающаяся наверху, как на горе. Вот почему на курьих ножках в сказке могла быть только избушка, но никак не хатка. И хата, и изба в старину топились по-черному, выпуская дым через волоковое окошко в крыше. Такая изба называлась черной или курной.

Само слово **изба**, или древнерусское **истьба**, означало “отапливаемое помещение”, то есть истопка, являющаяся однокоренным избе. О том же сви-

детельствует немецкое слово *stube*, означающее баню. Соединение северной избы и южной хаты явилось в средней России в виде избышек с завалинками. Вот так память о древних тысячелетней давности землянках живет в нас и по сей день, ведь завалинки – земляная насыпь, покрывавшая нижние венцы для тепла, до сих пор бытуют в России.

Но ведь землянка – это и жилище русского человека в крайностях жизни, в войну наши солдаты, партизаны, беженцы жили именно в землянках и легко вживались в неудобства земляночного быта, потому что подобное жильё существовало в родовой памяти предков.

Вспомним еще об одной особенности русского домостроения. У русских домов изначально прямоугольная форма, и все убранство избы было угловатым, имело жесткую геометрию. Печь, лавки, стол, полати, сундуки, – все вписывалось в четыре угла избы, а каждый угол имел свое предназначение. Красный угол – в нем помещалась божица, бабий кут – здесь возле печи, тоже имевшей прямоугольную форму, хлопотала хозяйка, кутник – придверный угол, где хранилась хозяйственная утварь и упряжь, тут хозяин занимался работами по дому, спальный кут – здесь за занавеской спали хозяева. В то же время жилое пространство избы делилось на две половины. В левой стороне, где был бабий кут, располагалась женская территория, размещалась печь, возле нее царствовала хозяйка-большуха. Правая часть избы с красным углом представляла собой мужскую территорию, здесь место хозяина, владыки дома. Мужская часть дома была парадной, праздничной, в ней принимали гостей, справляли семейные торжества, здесь же христианская семья молилась перед иконами. А женская половина избы была прибежищем другого мира, путь в которой открывала и преграждала печь.

Русская печь – почти языческий мир, вмещающий в себя “утробную” жизнь хозяев. В печи готовили пищу, на ней спали старики и дети, в ней мылись и даже парились. На печи лечились от ломоты и простуд. Печка-матушка представляла собой древнее языческое святилище очага, символ перехода в тайный сказочный мир. Через печную трубу, согласно поверьям, в дом проникали змей и черт, в нее вылетала наружу ведьма. Печным дымоходом уходила в небытие душа умершего, улетучивались через трубу доля и недоля хозяев, даже болезни изгонялись этим путем. Русская печь, массивная, крутобокая, с трудом натапливаемая, но долго хранящая и отдающая тепло, создавала чисто русский **уют** (таково особенное русское понятие, непереводаемое на другие языки мира), именно печь царила у русских, а не очаг в виде камелька, кострища, что на скорую руку раскладывали посреди жилого пространства в своих жилищах другие народы. И печь, вставляя своим квадратным основанием в землю, тоже укореняла русича на своей земле, крепя его как якорем к родному пепелищу. Само же понятие **пепелище** тоже не случайно бытовало в русском обиходе, ибо домашний огонь в русской печи постоянно поддерживали и сохраняли в виде горячих углей на “загнетке”, куда бережно собирали, прикрывали – загнетали головешки, не давая им остыть. Передавать домашний огонь в другие дома русские опасались, словно боялись расстаться со своим семейным оберегом. По древнему языческому поверью считалось, что вместе с огнем может уйти из дома достаток и благополучие. Сегодня это древнее воззрение сохраняется в забавном запрете делиться с соседями спичками.

Обратим внимание теперь на прямоугольные окна русского жилья, в которые глядят на Божий мир его обитатели. И что занимательно: в России окна обычно глядели на улицу, и глазастые – многооконные фасады домов не были упрятаны во дворах, а с любопытством взирали на все, что происходило на белом свете. Лишь сибирский разбойно-каторжанский край заставил русских заслонить свое жильё высокими заплотами, глухими заборами, оконными ставнями. Но открытость человеческого жилья всему белому свету и здесь сохранялась во множестве окон, возле которых уютно сживалось в непогоду и холода. Такая русская особенность домостроительства не случайна. Именно окно связывало русских с Богом и с миром предков. Без окон русские не мыслили жилья, недаром в сказках избышка на курьих ножках у Бабы-Яги “без окон, без дверей”, по нашему взгляду на мир, она неприемлема для жизни живого человека, а является обиталищем потусторонних сил. Это подтверждает и старое поверье, что увидеть во сне дом без окон предвещает смерть.

Без окон русские не только не мыслили себе жизни в родном доме, но вокруг окон вершились многие семейные обряды. Окно использовали для выноса покойника, в окно передавали ребенка с заклинанием, если младенцы в семье часто умирали, на окно клали блины и кутью, чтобы попотчевать души умерших предков в поминальные праздники. Известная примета, что птица, влетевшая в окно, означает близкую смерть кого-то из обитателей дома, основывается на представлении об окне как границе Божьего мира. Потому у русских через окно не разрешалось плевать, выливать помой, выбрасывать мусор, ибо за ним стоит Ангел Господень, и в этом смысле любой нищий, собирающий милостыню, воспринимался русскими как посланец Бога, которому нужно подать через окно кусок хлеба.

Сравним русский обиход с укладом кочевника, а таковыми являются и горские народы, в зависимости от времени года переправлявшиеся с верхних пастбищ на нижние, и степные племена, передвиравшиеся с места на место в поисках кормов для скота. Их жилища издревле совершенно иные. Юрта, чум, шатер, яранга имеют круглую форму, в них нет окон, а внутреннее убранство – ковры, кошмы, подушки – все мягкое и округлое. Схожи в мягкости убранства и каменные, а также плетеные сакли, кошары горцев. Они также не любят света, ограничиваясь одним-двумя крохотными оконцами. Эти жилища не врыты навеки в землю, не заякорены печью, вросшей в квадрат сруба, как у русских, они – временное пристанище для своих обитателей, готовых в любой момент сняться с места и отправиться куда глаза глядят. Эти в корне отличающиеся друг от друга жилища русских земледельцев и их соседей – кочевников связаны с образом жизни столь непохожих друг на друга народов.

Русские искони живут большой трехпоколенной семьей, отделение сыновей определяется материальными возможностями семьи построить еще один капитальный дом. А кочевники не привыкли жить большими семьями. Сын кочевника женится и сразу же ставит рядом с отцовской свою юрту. И точно так же различаются русская дружная общинность и индивидуализм кочевников.

Угловатость и жесткость домашней обстановки определяет русский природный аскетизм жизни, на лавке и на полатах не залежишься – бока заболит. Поэтому работа по дому, ремесло, рукоделие непременно сопутствуют нашему быту. Кочевника – степняка и горца, напротив, окружает мягкость домашней обстановки, что во многом объясняет их изнеженность, леность, склонность ко сну и медитации. Разные национальные типы домашнего поведения существуют и по сей день и отличают народы друг от друга. Русская выносливость, неутомимая работоспособность, терпеливость в домашнем быту получали первую закалку. Да, сегодня мы окружили себя мягкими восточными диванами, лентяйскими азиатскими креслами, и тоном в них после работы, забывая о русской традиции непрерывного труда. Мы вперили наши очи не в рукоделие или ремесло, а в мерцающий экран телевизора, держа голову и руки в непривычной для русского народа праздности. И потому мы перестаем быть самими собой, в отличие от кочевников, у которых праздность домашнего быта – тысячелетняя традиция.

Архитектура дома тоже сказывается на характерах русского и кочевника. Окна избы, выходящие на улицу, – буквально глаза дома, ибо **окно** происходит от слова **око**, – это наша русская открытость миру и людям. И свои знания о мире мы получаем прежде всего зрительно, потому глаголы **видеть** и **ведать** происходят из одного корня. Кочевые же народы познают мир прежде всего слухом, они замкнуты на себе, зарыты для мира, о чем свидетельствуют их наглухо закрытые от внешнего окружения жилища, а скрытность, замкнутость характера – особенность их поведения. Сегодня наша русская открытость миру работает против нас, ибо в круговерти наезжих народов русские чувствуют себя словно распахнутыми настезь. Продуваемые залетными ветрами и вихрями, русские чувствуют себя незащищенными перед лицом умеющего скрывать свои замыслы соперника.

Конечно же, кочевник с его неизменной в веках способностью к скитаниям и переходам будет отличаться от русского, привязанного пуповиной к родной земле и к вросшему в эту землю дому. Наши приметы и суеверия прочно крепят русича к родной земле. Даже уходим мы из дома по особым правилам, с тем чтобы в него непременно вернуться. В день отъезда кого-то из родных в избе не моют полов, не метут во дворе, чтобы не замести родной

след, по которому человек должен возвратиться домой. Наш русский характер не позволяет нам безоглядно покинуть родную землю, ища место, где сытнее и жить удобней, зато пришлые скитальцы и бродяги уже видят нашу территорию местом своего кочевья.

Домашний уклад, строение жилища, образ и устройство очага-печи, даже окна в доме влияют на национальный характер, формируя общие черты, свойственные представителям одного народа. И этот уклад надо сохранять, ведь он бережет нас как нацию. Старинные прялки, вышитые полотенца-обереги, самовары и колокольцы, деревянные избы и бани, тканые половики и оконная резьба должны напоминать нам, кто мы есть, они значимы для нашей души, они сохраняют в ней русское тепло в обезличенности городов и универсальности современной бытовой техники. Сохранение бытового уклада и национальной архитектуры позволяет удержать, не истощить русское национальное самосознание.

Вот почему вопреки всяким европейским и азиатским понятиям об удобствах и правилах современного отдыха мы так любим посидеть на завалинке деревенского дома и норовим хоть раз в году очутиться не в каменном мешке городской квартиры или фешенебельной гостиницы, а в деревенском бревенчатом срубе, подышать сосновым духом избы, погреться у печи, закидывая в ее раскаленное нутро звенящие от мороза поленья. Мы сокровенным наитием тянемся из городов в деревни, мечтая получить хоть клочок, но своей земли, где можно вкопать в землю хоть малую, но милую нам свою избушку или хатку. Голос предков в русской душе неизменно напоминает нам о такой необходимости, о необходимости вить родовое гнездо, которое невозможно устроить ни в квартире, ни в коттедже, ни во дворце, а только в избе.

Взгляните еще на один парадокс нашего времени. Крестьянская закваска заставляет инженеров и ученых, строителей и артистов, предпринимателей и писателей “ковыряться” в земле и обихаживать ее, не считаясь ни с потерей времени, ни со здоровьем. И наши массовые паломничества с весны на так называемые дачи, и упорная копка огородов, и счастливые сборы нехитрого урожая, — все это память о русских предках землепашцах, память, всполохами просыпающаяся в каждой русской душе.

В нас еще прочно живут приметы и поверья о запрете подметать пол в день отъезда родича, о птице, влетевшей в окно и предвещающей смерть, о запрещении разговаривать с ближними через порог, о непреклонном отказе поделиться спичками с недобрыми соседями. Кажущиеся сегодня суевериями, эти установки сохраняют связь современников с тысячелетними русскими обычаями и формируют в нас, русских, общий взгляд на мир. Современный уклад пытается изъять древности из русской картины мира, убеждая каждое новое поколение молодежи, что это всего лишь стариковские бредни, но проходит время, и взрослеющие поколения вновь возвращаются к древним поверьям, обычаям, приметам, грезят веками принятым обиходом жизни. Мы, рано или поздно, но возвращаемся к своей родовой памяти, словно по не заметенному родичами следу спешим домой, на нашу русскую Родину.

РУССКАЯ ХЛЕБ-СОЛЬ ПЛАТЕЖОМ КРАСНА

Есть на Руси старинная поговорка “Хлеб-соль помнится”. Она о том, что за всякое добро полагается отплатить добром. “Хлеб да соль”, — исстари говорилось при входе в русский дом. Символ “хлеб-соль” хранит память об исконных представлениях русского народа о достатке и благополучии.

Хлеб для русских не просто выпечка из пшеничной или ржаной муки, как сегодня принято считать, полагая хлеб одним из рядовых и “не самых полезных” продуктов питания. Нет, хлеб — это священный вид пищи, знак достатка и изобилия. Другие именованья нашей пищи — *хлебово*, *похлебка*, да и глагол — свидетельствуют о том, что именно хлебом был жив человек на Руси и хлебная пища составляла главное его кушанье. Русское присловье молвит: “Покуда есть хлеб да вода, все не беда”, “Калач приестся, а хлеб — никогда”. Почиталось законом жизни русского народа, если есть хлеб — будет жив человек, нету хлеба — не будет и жизни.

Обратите внимание на нашу народную традицию — все есть с хлебом. Мамы с бабушками нас с детства приучают: “Бери хлеб!”, “Ешь с хлебом!”. Ви-

димо, с древних пор мы ели главную русскую пищу — хлеб, а всем остальным, что Бог посылал труженику-земледельцу, хлеб закусывали.

Русские видели в хлебе дар Божий, но давался он лишь усердным трудом на земле. Земле-кормилице приходилось кланяться до седьмого пота. Хлеб, в котором соединяются помыслы и усилия человека в течение всего года, был не просто пищей каждого дня, он, уродившись или не удавшись, виделся земледельцу долей, выпавшей ему от Бога за труды и прегрешения. А доля, она же — участь, счастье или злосчастье — дана по заслугам от Бога и землематушки, и потому ее не отменить, и потому заработанный своим трудом кусок хлеба требовал от человека почти религиозного почитания. Господь же, по русскому разумению, никогда не оставит земледельца голодным: *“Дал Бог роток — даст и кусок”*, *“На Руси никто с голоду не умирал”*.

Вот как описывают этнографы русский ритуал выпечки первого хлеба: *“Хлеб сажали в печь в молчании, выпекать старались без посторонних глаз — от порчи. Считалось, что каждый должен съесть хоть немного от первого хлеба, чтобы весь год сытно жить. Когда хлеб поспевал, вся семья садилась за стол. Каравай разрезала бабушка. Начинала резать с нижней корки. Горбушки ели взрослые парни, девушки их не брали, а то муж будет с горбом. Дети дожидались, когда бабушка отрежет второй ломоть. Он назывался растительным и доставался ребятишкам. Они ели его, чтобы скорее вырасти. Третий ломоть назывался потягунчик, четвертый — ленивый. Они доставались тем членам семьи, что не в полную силу участвовали в семейном пахотном тягле. Когда каравай съедался, подбирали даже крошки, их не разрешалось оставлять или ронять”*.

Хлеб, как Божий Дар, в старину почитался оберегом, его клали в колыбель младенцу, брали с собой в дальний путь, чтобы охранял от напастей, обходили с хлебом загоревшийся дом, желая остановить распространение пожара. Защитительная сила хлеба делала его непременно даром в народных обрядах. Хлеб брали с собой свататься, хлебом встречали молодых из церкви, хлеб везли с приданым невесты, оставляли как жертву на могилах и на сжатом поле.

Хлебная основа — пшеничная, ржаная, овсяная, просяная — у всех главных русских народных блюд. Каша — матушка наша, ритуально подносились при окончании жатвы, на крестинах и свадьбах, поминальную кашу до сих пор знают в каждом русском доме, она называется *кутья*. Но она же, бессмертная русская каша, была ежедневным любимым кушаньем русских. *“Щи да каша — кормилицы наши”*. Квас тоже имел хлебную основу и такое же значение оберега, как и сам хлеб. Квас был обрядовым питьем на родинах, свадьбах и поминках. И он же в ежедневном употреблении за скромным русским столом, где так часто перебиваются с хлеба на квас да неунывающе утешают себя: *“Хлеб да квас — так и все у нас”*. Ритуальный древний смысл имел и другой хлебный напиток — кисель. Традиционный русский кисель — это запаренная кипятком мука, подслащенная и оставленная сбразиваться в тепле. Самыми вкусными признавались овсяные кисели, и их значение в русских обрядах тоже поминальное и жертвенное. Но они же были обиходной русской едой: *“Киселем брюха не испортишь”*.

Русская пища была не тяжелой для желудка, она по преимуществу растительная, жидкая, кислая, квашеная. Хлебово, щи, уха, каша, тюря, хлеб (кислый, на закваске), квас, кисель, а дальше пошли огурцы, капуста, редька и прочее. Наша русская неприхотливость выражена в поговорке: *“Ельник, березник — чем не дрова? Хрен да капуста — чем не еда?”*. А еще в русской жизни издревле существуют длительные посты, когда молочная и мясная пища вообще запрещена. В лишениях поста русские утешают себя присловьем: *“С поста не мрут, а с обжорства мрут”*. И посты, и исконный аскетизм русского пропитания сформировали наш характер — привычку терпеть, ради Бога и иных высших целей переносить лишения, даже такие тягостные, как голод: *“С голоду брюхо не лопнет, только сморщится”*. Многовековое умение переносить голод, посты, легкость русской пищи и привычка обходиться в еде одним только хлебом, — разве это не причина того, что русские вытерпели в 1941–1942 годах блокаду Ленинграда, выстояли при карточной системе в послевоенные голодные годы, стойко выживали в недороды и засухи. И при этом трудились на износ.

На первый взгляд, русская пища действительно не тяжелая, но на диво другим народам, ею насыщается земледелец при тяжелейших не в пример ко-

чевникам физических нагрузках. Но, очевидно, именно такая еда подходит русскому человеку, мы едим хлеб тысячелетиями и выживаем как раз благодаря ему. А потому по сей день: *“Не будет хлеба, не будет и обеда”*. И до сих пор наша праздничная еда – это не столько мясные и рыбные кушанья, а родные пироги – с капустой, с картошкой, с яйцами и луком, с мясом или рыбой. Без пирогов русский дом не русский, да и не дом вовсе. Так же, как и без блинов. Ведь недаром говорилось: *“Без блина не Маслена, без пирога не именинник”*.

Взглянем на блины во все глаза, как на солнце, образом которого они являются в русской традиции. Подобного кушанья нет ни у одного народа. Только славяне пекли блины, или, как говорят малорусы – и это исконное звучание слова, – *млины*, произошедшие от слова *молоть*. Круглые, золотистые, масляные, они утешали наши животы в языческие времена на праздниках встречи весны, называемых Масленицей, ими провожали русичи усопших в последний путь, клали их в гроб на долгую дорогу. А в христианскую эпоху блинами мы поминаем предков в поминальный день Радоницы и с блинами просим у них прощения в Прощеное воскресенье. Образ солнца, отпечатанный в блинном круге, согревает русича изнутри и обращает его к памяти о былых поколениях.

Итак, главное в русской национальной трапезе – *хлеб*, и он же выражает нашу русскую суть в понятии – *хлеб-соль*, ритуальном выносе угощения хозяевами дома на свадьбе, на новоселье, при приеме гостей, при встрече невесты и новорожденного младенца.

И если хлеб – это ритуальный символ достатка и благополучия, то соль – знаменье оберега, сохранения дома от нашествия злых сил, будь то колдуны на свадьбе, завистники на новоселье, чужие, неведомые люди, которых русский обычай гостеприимства обязывает впускать в дом, или люди еще не вполне родные для семьи – будущая невестка или будущий зять.

Потому и считалось, что *на соль да на хлеб супостата нет*. Заметим и такую нашу древнюю привычку: накрывая стол к обеду или ужину, мы в первую очередь ставим на столешницу солонку, подсознательно помня старинное поверье – не будет соли на столе, не будет обилия в доме. Оттого и старинная примета: соль рассыпать – к беде. Мы также подспудно верим, что нечистая сила не любит соли. Древний обычай посыпать колдуну могилу солью, чтобы дух его не возвращался в село, давно позабыт, но еще живо поверье, что если сказать вслед человеку, заподозренному в сглазе или порче, заветные слова: *“Соль в глаза!”*, то колдовские чары рассыплются в прах. И весьма употребительно в русском языке выражение *насолить кому-нибудь*, то есть досадить супостату, укротить тем самым нечистую силу. А еще существует древний обычай: в начале или в конце обеда, чтобы избежать напасти, съедают кусочек хлеба с солью.

Так что русская хлеб-соль – это не один лишь символ нашего гостеприимства, которым так злоупотребляют ныне чужие народы и полагают, что, войдя в русский дом, они благодаря нашему хлебосольству примутся в нем хозяйничать, ибо знают, что *русская хлеб-соль не бранится*. Русская хлеб-соль – это не столько символ гостеприимства, сколько оберег от чужих и недругов, *русская хлеб-соль платежом красна*, и потому, не дождавшись ответной благодарности за свой хлеб, русич непременно вспомнит о соли, как символе защиты дома, а значит, обязательно, в согласии с русской картиной мира, так насолит супостату, что тот не взвидит белого света.

У соседних, исконно кочевых народов другие обычаи трапезы, гостеприимства, да и застолье у них иное. Связано это с древнейшим различием наших культур. У русских издревле *культура производящая* – земледельческая, способность к каждодневному тяжелому труду отличает представителей такой культуры. А у горцев и степняков – кочевников – *культура присваивающая* – скотоводческая, она сродни древнейшему собирательству и не требует сверхусилий в течение года. Потому у горцев и степняков традиционная еда – их скот, за которым кочевник следует по выпасам, и который сам по себе и растет, и множится, и дает пищу, одежду, кров.

Присваивающая культура кочевья сформировала иной рацион кочевника по сравнению с земледельцем, его еда мясная и молочная, твердая, острая, пресная. Летом у кочевых народов преобладает молочная пища. Они не знают постов – долгого воздержания от мяса и молока, не обходятся, как мы,

легкими похлебками и тюрями, а едят запяченное мясо, жуют лепешки, пьют жирные хаши, угощаются густым харчо. Пища эта тяжелая для желудка и очень насыщенная жиром, хотя у кочевника-скотовода нет такого изнурительного труда, как у русского земледельца. Но, очевидно, именно она подходит для кочевника, подкрепляет его физические силы, насколько предназначено ему природой.

Что же есть традиционное питание в обиходе каждого народа? Конечно, это главная часть национального быта, согревающая душу родным очагом. А еще это одна из основ национального самосознания, позволяющая чувствовать свою связь с предками. Недаром именно национальная пища является жертвоприношением, которым воздает человек благодарность Богу за его благоволение к семье и роду. И мы, русские хлебопашцы, всегда приносили сначала языческим богам, а потом Богу Истинному Христианскому в пресуществленных дарах самое дорогое, что у нас есть – хлеб, а наши соседи мусульмане, исконные кочевники, резали на исламских религиозных праздниках свое лучшее достояние – скот.

Производящая и присваивающая культуры столкнулись сегодня в споре за первенство в России. И пока при потворстве властей побеждают и верховенствуют те, кто искони привык присваивать себе все, что встречалось на пути его кочевого народа. Присваивающая культура более древняя, более жесткая, она не терпит препятствий и стремится их преодолевать налетом, завоеванием. Но, не имея в основе производительного, такие народы могут процветать лишь рядом с земледельцами, – а таковым был русский народ, являвшийся на протяжении веков вольным и подневольным кормильцем своих соседей. Вот о чем следует задуматься всем, кто мечтает заместить русское население пришлыми кочевыми этносами на просторах России. В лучшие времена русский творчески талантливый и трудолюбивый народ всегда был готов делиться заработанным и произведенным с младшими братьями, населявшими Империю, понимая свое превосходство в целях и смысле жизни. Ограбленные сегодня этими самыми неблагодарными “братьями”, лишенные творчества и созидания, русские перестают трудиться на благо всех народов страны, и это вскоре больно ударит не только по нашему народу, но и по его гостям и соседям. Вечен закон нашей жизни – “русская хлеб-соль платёжом красна”. И горе тому, кто его забывает.

РУССКОЕ ТЕЛО И РУССКОЕ ДЕЛО

Казалось бы, какое отношение имеет русский физический тип к тем родам деятельности, которые предпочитает русский народ, избирая себе в излюбленные дела земледелие, ремесла, строительство. Между тем, именно русский физический тип определяет наши устремления и предпочтения в труде, ибо, как установлено наукой, фундаментальные элементы культуры в своих истоках связаны с особенностями человеческой биологии.

Взглянем на среднестатистического русского человека обычного, не богатырского телосложения, ничем не выдающегося вида. Тело у типичных русских – крепко сбитое, ширококостное, угловатое, коренастое, кряжистое, даже в твердой своей походке человек словно врастает ногами в землю. Рост при этом у русича может быть разным. Поколения, испытавшие в детстве голодовки, пережившие военное детство или ужасы нынешнего геноцида, мельче тех, кто имел счастье родиться и вырасти в более благоприятные времена. Но телесная крепость и кряжистость, широта кости, плотность и дородство тела проявляются у русского мужчины с детства и оцениваются одобрительным приговором родовой: “Мужичок!”. Не является недостатком и приземистость, ибо здесь отмечена близость, связанность человека с землей-матушкой. Дородство ценится и в русских девушках, и женщинах, а потому нарочитая современная худоба и модная девичья истощенность интуитивно тревожат близких и заставляют их усиленно откармливать молодку, приводя ее в соответствие с русским идеалом красной девицы – стройной и статной “лебедушки”, будущей матери многочисленного семейства. Телесная крепость и кряжистость, прочность кости и плотность тела искони были русским идеалом, потому что именно они обеспечивали выживание русского народа в тяжелейших климатических условиях нашей Родины, где если голод

или недород охватил страну, то “пока толстый сохнет, худой сдохнет”. Такой телесный “состав” русского народа обусловил его необыкновенную выносливость, огромную физическую силу и терпеливость в труде. Русские в буквальном смысле являются костяком, становым хребтом России, на своем горбу вывозя страну из злослучений истории. Впрячься ли в соху и борону вместо лошади, стоять ли за станком по две-три смены кряду, выживать и воевать в тридцатиградусные морозы и в сорокаградусную жару, – все это русские свойства крайнего терпения и стойкости, дарованные нам во многом благодаря нашему физическому типу. И пусть бывает, что “не ладно скроен, да крепко шит”, русский крой силушки молодецкой сохраняет нас и нашу Державу в целостности до сих пор. А сформировал нас такими тысячелетний земледельческий образ жизни, где “что посеешь, то и пожнешь”. Психология вечного народа-труженика родила множество русских трудовых поговорок: “*Бобы не грибы, не посеяв, не взойдут*”, “*Масло само не родится*”, “*Добывай всяк своим горбом*”.

Национальную особость имеют и русские лица. Слово **лицо** недаром производится от глагола *лить*, ведь каждый человек неизбежно – вылитый отец или мать, он не только сам отвечает за свое лицо, но и родители его несут за него ответ. “*Свинья не родит бобра, а сова не высидит орла*”.

Национальный идеал русской телесной красоты – кровь с молоком, это значит кровная, наследственная крепость шлифуется с юности сытным и здоровым питанием. Мужскую красоту русские песни, хранящие национальный идеал, описывают так: плеча могучие, широкие, богатырские, головушка буйная, удалая, молодецкая, телом не велик да широк, словом, красен человек статью. Само слово **стать** – крепость и стройность одновременно. Чтобы добиться стати, в русских семьях новорожденного до года пеленали в тугие пеленки, выпрямляли ручки и ножки, ровняли спинку, обматывая их двухметровым широким поясом поверх одеял.

Стать присуща и добрым молодцам, и красным девицам. Для русской женской красоты в песнях веками создавался словесный идеал: руса коса до шелкова пояса, телом круга, бела, как мытая репка, грудь лебедина, походка павлина, сама собой миленька, личиком беленька.

Можно долго рассуждать о многочисленности русских типов и разнообразии русских лиц, но если спросить любого из нас – что есть русская красота, то каждый в одних и тех же словах опишет русые волосы, белую кожу, синие глаза, точеное лицо, высокий лоб. Никого из русских этому идеалу не учили, нигде русскую красоту не преподают, а только знаем мы о ней, внутренним чутьем угадываем, родовой памятью помним о прекрасных русских ликах.

Сам язык нас учит тому, что лицо должно быть близко к святому лику, не случайно и слова эти одного корня: верх телесного совершенства – когда лицо подобно лику, выражающему духовную красоту человека. Отклонение от идеала русской красоты на Руси едко высмеивалось, ибо за такими ухмылками природы виделась русским духовная скудость рода и нравственная ущербность семьи несчастного уродца. Вот и говорили тогда безжалостно: “*Ни кожи, ни рожи, ни виденья*”, “*Нос крючком, борода клочком*”, “*Гороховое чучело, воронье пугало, сморчок сморчком*”.

Не глянулась русскому человеку и худоба. Не зря слово **худой** происходит от понятия *худо*. Телесной худобы русские искони боялись, ибо она была знаком болезни и слабости, то есть вырождения. Худобой корили: *худ, как треска, как жердь, кости да кожа, глиста глистой*. И еще национальной заповедью слышал русский человек с детства: “*Избави нас, Боже, от лыса, коса, рыжа и кривоноса*”. Не случайно возник оберег, призывающий остерегаться и сторониться своих одноплеменников с врожденными уродствами. Кривонос – человек с асимметрией в лице, как ныне установлено психиатрами, имеет в себе зародыши душевных болезней. Косоглазие – явная черта вырождения. Врожденную скудость волос на голове народная мудрость полагает признаком злобности характера, и генетики лысую от рождения голову считают чертой дегенерации. А вот почему сторонились рыжих? Это разъясняет другая русская поговорка, заставляющая распознавать в облике своего с виду человека признаки чуженина и быть осторожным с такими людьми: “*С чёрным в лес не ходи, рыжему пальца в рот не клади, с курчавым не вяжись*”.

Удручает, что народный идеал красоты, как и народные предостережения-обереги от врожденного уродства померкли в нашем сознании, их стара-

тельно затушевывают, замещают иными, национально чуждыми идеалами красоты, где “нос крючком” или “нос — через Волгу мост” уже не признак уродства, где “руки граблями, ноги ухватом” не хуже русской стройности, где “кости да кожа” лучше русской статности. И русый цвет волос перестает манить родной рускостью.

Размывание народного идеала красоты происходит еще и за счет активной гибридизации русского населения России. Смешанные браки и прежде существовали в нашей стране, но они не были столь распространены, как сейчас. Особенностью нашего времени является то, что русские женщины стали выходить замуж за инородцев, видя в них силу и волю, напор и нахрапистость, способствующие в сегодняшних условиях жизни бытовому достатку и семейному благополучию, русские мужчины на подобное способны меньше. Потомство таких браков чаще всего приобретает черты кочевника-отца и завоевательный, нахрапистый дух древнего скотовода. Русские матери таких семейств не узнают в своих сыновьях и дочерях собственную кровь, и родовая русская преемственность рвется. Но есть момент обнадеживающий — в смешанных браках неизбежно постепенное обрусение их потомков, причастность к русским идеалам, ибо подобные семьи благодаря матерям, передающим свой родной язык детям, поголовно русскоязычные, а язык вопреки крови воспитывает, вскармливает дух человека, в лоне которого он растет. А вот когда русский женится на чужанке, его потомок будет воспитываться в лоне психологии матери, впитывая вместе с ее молоком нерусские принципы бытия. А возникают межплеменные браки прежде всего потому, что национальный идеал красоты размыт и подменен.

Чужие национальные идеалы красоты нам навязывают ныне практически насильно — через экранные образы положительных героев и журнальные картинки так называемых “звезд”, персонажей мужских и женских, равно чуждых славянским представлениям о совершенстве. Это идеалы наших ближних соседей и заморских этносов. А ведь народы, обитающие в России, на нас не похожи. У горцев тело легкое, тонкокостное, худощавое, более хрупкое, с легкой над землей походкой. Они и мельче ростом, если сопоставлять, к примеру, русских и кавказцев одного поколения. Зато горец от природы обладает недостающей нам ловкостью, увертливостью, быстрой реакцией на любую угрозу. Многотысячелетние кочевья сформировали их такими, и сегодня они живут архетипами кочевников, умеющих ловкостью, быстротой, напором, наскоком добыть желаемое. Русский искони земледелец, пуповиной привязанный к земле. Первобытная собирательность в его жизни — это всего лишь грибы, орехи да ягоды, зато творчество в быту хоть отбавляй: пахота, сев, жатва. Обиход земли требует великого мастерства, опыта, знаний и разума. Русич от рождения **творец и созидатель**, должный вглядываться вглубь явлений природы, и одновременно мыслитель, созерцающий вертикаль мироздания: небо, пространство между небом и землей, землю, текучие воды, чтобы угадать, размыслить погоду, понять тот урочный час, в который земля родит больше. Земля для него — кормилица и мать. Ее надо творчески, с умом обиходить, чтобы получить урожай, способный прокормить страну.

Кочевник, горец и азиат — это скотовод, человек, следующий за стадом, через пасущееся на земле стадо занимающийся собирательством плодов земли, и потому он ближе к первобытности. Творческие потребности его минимальны, зато инстинкты собирательства и захватничества сильны. Взгляд на мир горца и кочевника — взгляд сверху и вдаль, а не вглубь и вверх, как у земледельца. Потому человек этого уклада жизни — **собиратель и завоеватель**.

Когда мы говорим о свойственных разным народам видах деятельности, мы не можем не заметить этих особенностей. Земледелец — плохой торговец, ибо он всем насущным обеспечивает себя сам, но поскольку он творец и созидатель, то хороший воин, потому что должен защищать созданное своими руками, оборонять землю-кормилицу. Его воинственность имеет благородные черты: сохранить свое, заработанное потом и кровью, сберечь Родину-мать. Кочевник — хороший купец и отличный воин. Но его воинственность обращена вовне. Ибо родной очаг его переметный, пищу он не творит, а собирает по пути скитаний.

Такое различие в быту и повседневности ставит русского, земледельца по природе, в невыгодное в общем государстве положение по отношению к кочевнику, горцу и степняку. Потому что творчество и созидание требуют

огромных усилий и временных затрат, долгого обучения и талантов. А удача кочевника зависит от напора и ловкости. Ловкость пересиливает талант и долготерпение. Мы, русские, тактически проигрываем сегодня людям иного, нерусского национального склада. Но будет ли жизнеспособен организм государства, у которого истощен, изможден, дистрофичен становой хребет? Нет, погибнет такое государство, и погибнут вместе с ним народы, пытающиеся въехать в рай на русском горбу.

Сохранение этнического облика, национального физического типа, с которыми связаны наши понятия о красоте – одно из условий русского выживания. Отрицающие это люди изначально лукавят, ибо сами живут с собственными идеалами красоты в крови. А русский национальный тип красоты и физической крепости их раздражает и тревожит, так как напоминает о существовании русского народа, мешающего клепать “плавильный котел”, из которого рождается уродливая химера “российской социальной общности”.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ У РУССКОГО НАРОДА

Мир русского детства – строгие правила русского воспитания – начинается с обряда родин. Рождение ребенка – родины – всегда окутано тайной, оно скрыто даже от родни, дабы в этом таинственном действе природы не нарушить словом или помыслом пути пришествия человеческой души на свет Божий. Дитя после рождения тщательно оберегается от чужих глаз вплоть до сорокового дня жизни. Только на крестинах новорожденного показывают родове, причем до крестин, чтобы дитя не померло некрещеным, его “крестит” повитуха, сбрызгивая святой водой и произнося заветные “Во имя Отца и Сына, и Святого Духа”.

Первый вынос младенца на улицу мать в старину сопровождала красивым языческим заклинанием: “Солнцем освещусь, месяцем огорожусь, звездами осыплюсь и никаких посланных болезней не боюсь”. И после крестин все равно стереглись, не показывали дитя чужим, особенно боялись похвального слова. Неприязнь к похвалбе своими детьми известна всему русскому народу. Если мать стеснялась окоротить языки соседкам, не в меру восхищавшимся дитячком, то вступалась бабушка: “Нечего смотреть, нечего хвалить, дитё как дитё, не лучше, и не хуже, чем у других”. Опыт жизни знали бабушки, что ребенок после такой чрезмерной похвалы будет кричать, словно пробралась к нему по натопанному славословию следу зависть, и корежит, мучит чадушко, и сводит с ума мать, не знающую, как избавиться от сглаза.

Всё младенчество ребенка для сбережения его от напастей обставляли огромным количеством ритуальных запретов. До года нельзя было взрослым членам семьи перешагивать через него, а то он перестанет расти. Боязнь, что расти перестанет, объясняется и запрет вздымать, подбрасывать ребенка выше головы. Нельзя было давать ребенку смотреться в зеркало, не то он может испугаться. Запрещалось целовать младенца в губы, ибо долго не начнет говорить. Большой осторожности требовала даже ласка дитятки.

Грудное вскармливание на Руси имело особые установки. Кормили крестьянки грудью своих детей до полутора и даже до двух лет, при этом грудь давали в ту же минуту, как дитя попросит. Не позволяли ни голодать, ни орать без prodыху. Воспитания по доктору Споку русский народ, слава Богу, не знал.

Поучительна народная традиция в отношении телесных наказаний детей. В течение первого года жизни строго запрещалось наказывать младенца. Обычай страшал не в меру ретивых и жестоких родителей угрозами, что ребенок перестанет развиваться. Подзатыльники превратят его в тупицу, по лицу зацепишь – зубной болью станет маяться, по ногам нельзя хлестать – обезножит, по рукам бить – лентяя растить. Но и после года телесные наказания подчиняются ряду правил. При строгой регламентации телесных наказаний порка все же считалась неотъемлемой частью русского воспитания. Поговорки предписывали родителям: “Детину сердцем люби, а руками гнети”, “Тот сын ленив, кого батька не бил”.

Русская семья бережливо и любя, с заглядом наперед пеклась о своём дитячке. Забота о здоровье и телесной крепости соединялась со строгостью к поведению, так как ребенок шаловлив и непослушен от природы, и разумное наказание необходимо. Наказание хранило его от опасностей, от излиш-

него риска строгим предостережением: “Смотри, слушайся, а то тятенька высечет, от матушки влетит”.

Заслуженное наказание ожидаемо детьми, вспомните свое детство, даже родительская порка расценивается как справедливая и должная. Ведь если ребенок не получает наказания за свой проступок, он перестает понимать, что хорошо, а что плохо, что можно, а чего нельзя.

Сказочный мир детства всегда служил делу воспитания и сбережения ребенка. До трех лет дети у матери, как говорится, из рук не выходят, следуют за ней по пятам или на руках. Работой их не загружают, но к труду они общаются через игры. Но уже к четырем годам дети выходят на улицу и заводят дружбу с соседскими ребятами. И здесь вступают в силу сказочные запреты, призванные уберечь несмышленишей от опасностей чужого грозного мира. Детские страшилки, которые удерживают малышей в послушании, известны всем: это и живность, наводящая ужас: коза, собака. Они в традиции народной считаются нечистыми, ими пугают, хотя эти животные вполне безобидны. Родители страшат детей и сказочными чужаками. Это тоже отголоски давних предохранительных мер от народов, бывших для славян опасными и вредоносными. В воспитательном арсенале всегда наготове целый сонм нечистых духов и сказочных страшилищ. Тут и русалки, предстающие то в виде прекрасных девиц, то в облике безобразных старух, готовых защекотать до смерти.

Первый этап жизни русского человека заканчивается к шести-семи годам. Завершается младенчество, когда детей особенно берегли и не жили, не обременяя никаким заделем. И поговорки народные требовали: “До пяти лет пестуй дитя как яичко, до семи лет паси как овечку, тогда выйдет из него человек”. Переход в новую возрастную категорию обозначался сменой одежды. Во младенчестве мальчиков и девочек одевали одинаково – в рубашку, подпоясанную пояском-оберегом. И слова, обозначавшие младенцев, были среднего рода – **дитя** и **чадо**. Но с взрослением малыш становился из чада и дитяти **ребёнком**, так исконно звучало это слово. В шесть-семь лет ребёнка одевали в одежду, соответствующую его полу. Мальчикам отныне полагались штаны, девочкам – юбки. Если и дальше мальчонка носил рубашку без штанов, его высмеивали, называли девчонкой, девчуром. Детский страх, чтоб не обзывали мальчишку девчонкой, а девчонку мальчишкой, сознательно взращивался взрослыми в детях, которые должны сызмала примеривать на себе свою природную и социальную роль. Женский тип поведения позорен для мальчика, мужеподобность высмеивалась в девочке, и никакой толерантности к детям, тяготеющим своими повадками к противоположному полу, русская семья не терпела. Наоборот, лишь только в семье подмечали, что мальчик ведет себя по-девичьи, а девчонка по-мальчишечьи, жестокими насмешками изгоняли из ребенка подобные противоестественные ухватки.

Народная педагогика требовала очень раннего приучения ребенка к труду. Ему поручали пасти домашний скот и птицу. Младшенькие пасли на окраине деревни гусей, свиней и телят, а старшие отправлялись со стадом коров и овец в лес, в поле. Мальчики двенадцати-четырнадцати лет уже всерьез помогали взрослым в пахоте, молотье, им поручали выгонять коней в ночное, приучались с отрочества и к строительному делу, так как каждый хозяин на Руси должен был уметь поставить сруб. И именовали таких юных, с четырнадцати до восемнадцати лет, работников – **отроки**. К семнадцати-восемнадцати годам юноша становился полноправным тружеником в семье, в древности его называли **холоп**, слово это произошло от глагола *холить*, то есть взрастить, переходя во взрослое состояние. Отсюда и южнорусское название молодых, неженатых парней – **хлопцы**.

Иное трудовое воспитание получали девочки. Уже к шести-семи годам девочки помогали носить воду и дрова, что считалось сугубо женским делом, умели мыть посуду и полы, ухаживать за птицей, полоть огород. Как и мальчики, девочки пасли мелкую скотинку. Выучась ездить верхом, они в семь-восемь лет управляли лошадью при полевых работах. А в десять лет дочери уже доили коров, нянчили младших. Девочек с раннего возраста приучали прясть, делали им крохотную прялку, учили рукоделию чуть не с четырех лет. А к десяти-тринадцати годам маленькие крестьянки уже вовсю белили холсты, обучались кройке и шитью, ибо всю одежду в крестьянской семье женщины на протяжении многих столетий изготавливали сами. К четырнадцати годам

отроковицы осваивали искусство вышивания, а в пятнадцать лет их сажали за ткацкий стан. К одному только не допускались девочки в родной семье – к выпечке хлеба и приготовлению пищи, это было исключительное право и обязанность большухи, хозяйки-матери. Так что готовить и печь хлебы девушка училась уже в чужой семье, выйдя замуж.

Труд издревле считался на Руси основой воспитания. Вырастить лентяя-лежебоку, неткаху-непряху считалось позором и тяжкой виной. Последствия этого несчастья терпеть приходилось не только самим родителям, но и всем, кто жил рядом. Общинникам-соседям, благополучие которых зависело от труда каждого пахаря, будущим домочадцам лодыря или ленивицы, ведь их нерасторопность оказывалась губельной для целой семьи. Хочешь не хочешь, жаль не жаль, а ребенка заставляли трудиться. И эта трудовая традиция сохраняется у нас как мощный рычаг семейного русского воспитания. Так было нерушимо тысячи лет.

Что за дикие перемены мы видим ныне в русском семейном воспитании! Полное равнодушие общества и власти к рождению и выхаживанию детей в первые годы жизни. Поощряются аборт-детоубийства, дескать нечего нищету плодить. Нет никакой существенной поддержки многодетным семьям – живи, как хочешь, это твои проблемы. Нет ни малейшего общественного осуждения матерей и отцов, что бросают детей на произвол судьбы, тех, кто, потеряв родительский инстинкт, сдает малышей в детские дома. Зато общество разрушает юную душу тех детей, кого родители растят в соответствии с исконными русскими принципами воспитания. Им навязывается смешение мужского и женского типов поведения, из-за чего развиваются всевозможные противоестественные извращения, лишаящие ребенка в дальнейшем возможности иметь нормальную семью и детей. Малыша погружают в так называемое половое просвещение, а на самом деле развращают его сызмала, заставляя проявлять особую озабоченность к вопросам “секса”. Это убивает душу и целомудрие, а значит, в будущем такое дитя будет совершенно негодным для семейной жизни. Родителям запрещают заставлять сына или дочь трудиться, будто бы это вредно для ребенка. И ребенок вырастает бездельником и эгоистом, сидящим на шее у родителей.

Но пока мы еще можем самостоятельно растить своих детей, мы должны воспитывать их так, чтобы из каждого мальчика вырос труженик и воин, а из каждой девочки – мать, а главная задача нашего семейного воспитания – чтобы у них был русский дух и русское национальное самосознание. Это сегодня единственный шанс спасти будущее русского народа.

ВАЛЕРИЙ БАДОВ

ВЗОЙДЁТ ЛИ СЫЗНОВА СОЛНЦЕ ВЕЛИКОРОССОВ

К 65-летию В. Д. Попова

“Тактику взятия крепостей в Ираке американцы позаимствовали в пушкинской “Капитанской дочке” – “подкупательную”. Вот первые, искрометные строчки его памфлета. И впервые он держал в руках пахнувший типографской краской газетный лист со своим сочинением. 3 июля 2003 года – дата писательского дебюта. Одиннадцать лет назад топ-менеджер Владимир Данилович Попов прервал свою успешную карьеру в большом бизнесе и, к изумлению людей своего круга, пожертвовал положением в обществе, “просперити”, привычным образом жизни. И ради чего? Ради участи независимого политического публициста!..

“Вместо крошки из Фридмана, Столыпина и Дэн Сяопина”

Старший вице-президент крупной нефтегазовой корпорации, в ответственном ведении которого финансовый оборот в миллиарды долларов. Не это ли предел мечтаний карьерного “нового русского”? Для “реальных” людей такое решение выглядело непостижимым и, что уж говорить, безрассудным. Так, да не так! Владимир Попов строил карьеру в российском бизнесе с самых низов, он начинал как наёмный менеджер. Не стриг купоны с акций, от бенефициаров держался в стороне, независимо, без оглядки. Зато за душой у него был “актив” подороже – лидерские качества и светлая голова. “Самые важные решения в корпорациях, – утверждал знаменитый Ли Якокка, спасший в свое время тонувшую корпорацию “Крайслер”, – фактически принимаются не коллективными органами, не комитетами, а отдельными лицами”. Попов как раз из таких. “Сила этих менеджеров в том, что они знают, как давать поручения другим и как вдохновлять людей на дело”, – точно подмечает Якокка.

И в самом деле, получив от главы корпорации карт-бланш, Попов создал сильную и преданную ему, Данилычу, команду управленцев. Вместе они привели в порядок запутанные, непрозрачные балансы и траты, пресекли “утечки”. И, как итог, заново выстроили весь финансовый менеджмент, преодолев скрытое ожесточенное противодействие влиятельных лиц в верхах корпорации. Старший вице-президент твёрдой рукой провёл свою стратегию... На это ушли годы, лучшие годы зрелости, потрачено немало сил. Но он не жалеет нисколько. Зато есть что вспомнить...

И вот настал день, когда искушённый финансист, системный управленец и заводила, каким он слыл с самой комсомольской юности, остался один на один со своими мыслями перед белым листом бумаги. Пробил час высказать всё, что наболело за долгие годы безвременья, что возмущало разум, камнем лежало на сердце. Вот уж теперь он поквитается с туземными “монетаристами”, этими проворными служками “Вашингтонского консенсуса”! С жаром погрузился он в свои замыслы, в правку рукописей, ведя записи мыслей, порой на ходу, в дороге, даже за рулём — не забыть бы!

Через какое-то время один за другим в печати вышли его резко критические памфлеты на злобу дня. Они касались проблем экономики, геополитики, духовного состояния общества... И были изданы отдельной книжкой под красноречивым названием “Последние из великороссов? Мысли о немыслимом”. По одним лишь заголовкам легко представить себе разящий сарказм его памфлетов, что приводило в тихое, едва скрываемое неистовство некоторых его бывших коллег по бизнесу и госслужбе. Ведь всего несколько лет назад в должности члена Коллегии Госналогслужбы Владимир Попов жестко поставил дело по взысканию “недоимок” с крупных олигархических компаний. Ему тогда не раз намекали, что ходит он по лезвию ножа...

Каждый следующий его памфлет на страницах “Отечественных записок”, “Советской России”, журнала “Наш современник” был открытым вызовом новоявленному истеблишменту. Чего стоят только заголовки-задиры: “Избавится ли российское предпринимательство от американской золотухи?”, “Вся Россия — Сибирь? Мобилизационная модель вместо крошки из Фридмана, Столыпина и Дэн Сяопина”... Сочувственный отклик даже у благонамеренных читателей вызвал памфлет “Манифест хороших плохих парней — либеральная империя по Чубайсу — политический китч и ловкий PR в одном флаконе”. Дескать, подлом ему, Рыжему бесу! К слову, прозвище “плохих хороших парней” янки обычно дают своим туземным подручным, приказчикам и прозелитам поддельного “монетаризма”. Знакомым всем нам персонажам, которые, не без выгоды для собственного кармана, помогают заморским “экономическим убийцам” обдирать свою страну, как липку. Само собой, под благовидным предложением помощи кредитам и, разумеется, либерализации всего и вся. А про “бесов” — в строку. “На 48-й странице вещего романа Достоевского “Бесы” сделал для себя закладку, — пишет Попов в памфлете про “плохих хороших парней” — “Высший либерализм, то есть либерализм без всякой цели, возможен только в России”. Завиральная “либеральная империя” — выдумка Чубайса — одно из ловких, обманных превращений бесовщины. “Сыны погибели” как взобрались на облучок власти в августе 1991 года, так и держат “вожжи вкруть”.

Збигнев Бжезинский, старый ворон, кружащий над русской бедой, каркает: “Россия — лишняя страна”! И во всеуслышание пророчит, что быть ей разделённой на четыре царства-государства. Среди них, по “разнарядке” геостратега, непременно и Сибирская Республика. “Неужто к ней отойдёт и моя деревушка, в которой отчий дом?” — с холодной яростью вопрошает наш автор. И находятся же дурни-образованцы, кто втихомолку, а кто и вслух поговаривающие о том, что Сибирская-то республика побогаче других будет... Автор напоминает, в какую давность отсылает нас “крапивное семя” местнической измены. Ещё тобольский воевода Гагарин в незапамятные времена, когда государева грамота шла к берегам Иртыша долгие недели, тоже лелеял думку о вольной, без подданства Белокаменной, Сибири. Да вот незадача: поплатился головой! Смута 90-х словно воскресила из небытия местническую измену в обличье разночинной “демшизы” и местных крупных телом “лабазников”. На время они затаились, вытянувшись в струнку перед путинской “властной вертикалью”. Один чёрт: сепаратистские поползновения, как чад над горящим торфяным болотом. Ревнителю “калужской законности” вновь морочат нам головы: прельщают мыкающих горькую нужду пошехонцев, которые и без того давно косятся на праздную, сытую, ставшую иноверческой Москву.

Между тем “сыны погибели” вновь в открытую пророчат в либеральных медиа “конфедерализацию” России-матушки. Белковские, Радзиховские и прочие идейные душеприказчики Рублёвки и Лондонграда бойко толкуют о “фрагментации” Российской Федерации. Кавказ и Сибирь, а если на то пошло — и Поморье, ничего не попишешь, господа, Москве уже не удержать! И братьям-славянам придётся как-то по-новому устраиваться на необозримых евразийских просторах.

Прилежный читатель “Московского комсомольца” поутру в электричке спросонья читает замысловатые подстрекательские опусы Белковского. И уж не знает, кому верить! Благо или зло — эта их “регионализация”? Тем часом “креативные” идеологи нового толка, величающие себя русскими национальными демократами, подняли хоругви местничества (“мы — пскопские!”) и выдают свои идейки за эмансипацию исконных русских губерний. Замысел дивный: избавить начисто природных русаков от великодержавия с его постылым имперским ярмом! И нечего, дескать, скорбеть, что государство — чудище Грозного, Петра и Сталина — прикажет долго жить! Эпоха национальных государств — сам глашатай глобализма Строруб Тэлботт не даст соврать! — неотвратно канет в Лету. И во всем свете грядёт благая всеобщая “регионализация”. Эти нацдемы, будто блаженные, не от мира сего! На поверку ревнители исконной кроткой России на самом деле не погнушаются пристроить разжалованную сверхдержаву к глобальной “управе”. И на правах своего рода бангустана явит себя миру “Новая Московия”. “Флаг им в руки!” — благословит пан Збышек. На его геополитической “шахматной доске”, считает Владимир Попов, эти пешки тоже сгодятся. У русофоба Белковского и русопятской ереси одно на двоих лыко в строку...

Толоконным лбам ревнителей “исконной” допетровской Руси будто бы не ведомы суровые реалии политики глобализма. “Впредь всё будет по-другому, не так, как прежде!” — обронил как-то Генри Киссинджер. Владимир Попов растолковывает читателю зловещий смысл обещаний “гуру” американской геополитики: “Оказалось, что Рах Америсана не волготное “глобальное” пространство для большого американского бизнеса, а казарменная, милитаристская, “конкистадорская” доктрина”. И он как в воду глядел, предсказав бесславный конец иракской авантюры янки. И вскоре после “триумфального” взятия Багдада припомнил “бросавшим чепчики” восторженным замоскворецким американофилам древнюю шумерскую пословицу: “Ушедший по течению реки вернётся пыльной дорогой...”

Пусть так, янки опростоволосились, но геополитические угрозы для России с Юга, по предчувствию автора, будут только возрастать: “После Ирака всё большее беспокойство внушает открытость в прошлом неуязвимой сердцевины России на стыке Европы и Азии. На наших азиатских границах теперь ветер гуляет... От дельты Волги до широтной колеи Транссиба, рельсы которого на одном из перегонов заступают за кордон, всё наше пограничье, индустриальные центры Урала и Сибири оголены и уязвимы”. Этот зоркий взгляд на перспективу высказан Поповым лет за десять до недавнего совещания глав государств-участников СНГ, где прозвучали тревожные оценки непосредственных геополитических угроз в центре России...

Перед Рождеством в Гере...

“Нравственная, патриотическая струна в русском деловом человеке не могла не дать о себе знать сызнова и при нашем, по словечку Салтыкова-Щедрина, “чумазом” капитализме”. Привожу слова академика Дмитрия Семёновича Львова из его предисловия ко второй книге памфлетов Владимира Попова под саркастическим названием “Углеродородный Третий Рим? Взгляд великоросса”.

Есть и ещё один отзыв, который стоит десятка хвалебных рецензий: “...Признаюсь, прочитал “Последних из великороссов?” почти не отрываясь. Скажу, что книга очень нужная, весьма ярко и сильно написанная”. Это мнение Александра Зиновьева — воистину непризнанного пророка в своём отечестве. Александр Александрович отличался, на мой взгляд, редкой прямоотой и нелицеприятностью суждений и оценок. И вот что он тогда сказал: “Замечу, что в последние годы в публицистике стали появляться довольно сильные вещи. Думаю, в этом ряду книга Попова — одна из лучших. Особенно сильна аналитическая часть, что ближе мне. Автор по-своему трактует причины того, что произошло с нашей страной в 90-е годы и привело к затажному состоянию погружения в катастрофу, которая в начале событий действительно казалась “немыслимой”, но длится до сих пор. Как так? Почему история такое “вытворила”?..” У меня на магнитофонной ленте сохранилось горькое и страшное признание Зиновьева: “...Когда Горбачёв пришел к власти, и началась перестройка, я десятки, если не сотни выступлений сделал в разных странах,

и всякий раз твердил и предостерегал: кризис наступает, он уже у порога стоит, никаких реформ, никакой перестройки! Поначалу преодолите кризис, а уж потом, встав на твёрдую почву, предпринимайте что угодно. Увы, вышло всё как по писаному: "...реформы" Горбачёва отдали СССР на заклятие!"

И вот какое, читатель, проглядывает совпадение. Невольное схождение судеб и умонастроения двух великороссов, оказавшихся вдали от родных пенат в час роковой. Выдающийся философ, создатель новаторского социологического метода, непризнанный и оболганный ревнителями марксистской ортодоксии, в своём мюнхенском далеке пребывал в отчаянии от обольстившей его соотечественников химеры "перестройки и гласности". И ещё один великоросс, вольнодумец из младшего, послевоенного поколения, по другую сторону Берлинской стены терзался схожими предчувствиями и сомнениями...

Далее поведаю об одной нечаянной, мимолётной встрече во время командировки в ГДР. С годами она почти стёрлась из памяти, но оказалась по своему знаковой.

В фойе отеля "Штадт-Берлин" молодой латиноамериканец, похоже, эмигрант из левых, с ходу взял меня в оборот. Из его пылкой негодующей филиппики по-испански я различил лишь дважды повторенное – "*crazy, crazy Gorbachev!*" И столько отчаяния было во взгляде незнакомца, во всём его облике, что мне невольно сделалось не по себе. Накануне у нас, делегации работников ЦК ВЛКСМ и "Комсомольской правды", прибывших на фестиваль дружбы молодёжи СССР и ГДР, против ожидания, совсем не задалась дискуссия с функционерами и журналистами Союза Свободной немецкой молодёжи. Камень преткновения – перестройка и "новое мышление". Каждая сторона старалась далеко не заходить в идеологическом раздоре. Но обиняками, а порой и прямо в глаза немецкие товарищи давали нам понять, что нас там, в Москве, невесть куда занесло со скоропалительной "демократизацией". В Восточном Берлине настроения были совсем иные. А мы-то в Союзе после долгого безвременья оказались очарованы "гласностью", которой даже людей мыслящих опоили не хуже сивухи. Но разве, положа руку на сердце, свежий ветер перемен тогда не воспламенил надежды? Лозунг "Больше социализма!" подкупил даже совсем изверившихся. Просто непостижимо, как же мы проглядели подозрительное сходство с "розовой" облаткой антикоммунистической изнанки "пражской весны"!

И всё-таки в памятном 1985-м году страна словно пробудилась от спячки. Дух захватывало, как круто заворачивает молодой и речистый Генеральный секретарь. В Берлине же, в руководстве СЕПГ настроение царило хмурое, настороженное. Там неплохо были осведомлены о подводных течениях перестройки. В частности, о том, что новому партийному руководству на Старой площади верный союзник – Германская Демократическая Республика – в тягость.

Сказать по правде, идеологический "орднунг" СЕПГ показался нам в пылу дискуссии устаревшим, замкнутым и отменно жёстким. Даром что эфир Восточного Берлина насквозь "простреливался" пропагандистским вещанием с Запада.

Между тем близилось Рождество, и берлинцы были увлечены не политической, а сентиментальными предрождественскими хлопотами. На лицах прохожих – безмятежность. В старинном немецком городе Гера, что в Саксонии, тоже царил идилия. В домах пекли немецкие праздничные пироги. На площади перед ратушей стояла нарядная, сияющая огнями и блёсками елка. Ждали Санта-Клауса... На улицах праздничные, ликующие толпы синевлужной молодёжи, пафосное настроение, безмятежность... Вечер после торжественного открытия фестиваля с участием высшего руководства страны мы провели в уютной, оформленной под старину пивной. Невольно зашла речь о размовке с немецкой стороны... С нами в мужской компании оказался второй секретарь советского посольства в ГДР. Он "курировал" мероприятия в Гере и как-то сразу всем нашим приглянулся. С ранней сединой, ясноглазый, с открытой улыбкой и... немногословный... У нас с этим посольским произошёл незначай короткий, но доверительный разговор. Конечно, обстановка в шумной пивной не располагала серьёзно толковать о политике, о трениях между Москвой и Берлином. Но одно примечательное и обескураживающее неожиданное высказывание дипломата крепко запало мне в память: "Да, немцы обожают праздники, а молодёжь – фестивали и шествия. Ведь так кругом всё благостно и торжественно, верно? Но мой вам совет: внимательнее

вглядывайтесь, запоминайте всё, что было с вами в эти дни, почувствуйте атмосферу жизни в Восточной Германии. Потому что в следующий раз, поверьте, не так много лет минует, ничего из всего сущего здесь вы уже не увидите... Всё это, увы, уходящая эпоха". Сказанное выдавало в собеседнике человека с острым геополитическим чутьём. И, сказать по правде, совсем недипломатическая его прямота немало озадачила нас...

В аэропорту "Шёнефельд" перед отлётом в Москву, в ожидании рейса я вспомнил Геру, памятный разговор в пивной и реплику про "уходящую эпоху". Не давал ли мне понять посольский, что дни Германской Демократической Республики сочтены, и она исчезнет с карты Европы? Фантазмагория какая-то! Однако смутное, зыбкое предчувствие чего-то неожиданного, какой-то скверной двусмысленности, недолжной легковесности затеваемого в верхах там, в Москве, камнем легло на душу.

"Crazy Gorbachev!"

Что бы всё это значило? На дворе был 1985 год. На Старой площади и на нашей улице Правды все идеологические "горшки" ещё были целы, а надежды наши были горячи.

"Трепещущие Ивановы безмолвствуют, дерзающие – славословят"

В VIPовской столовой нефтегазовой компании на Севастопольском проспекте в Москве случай свёл меня с моим давнишним знакомцем во время пребывания в Гере. "Владимир Данилович, старший вице-президент", – представил мне своего близкого товарища Фарман Курбанович Салманов, академик, легендарный первооткрыватель советского "Эльдорадо" – Тюменской нефтегазовой провинции в 60–70-е годы. И новому знакомству суждено было со временем превратиться в настоящую дружбу, скреплённую творческим сотрудничеством на ниве политической публицистики. Очень редко случается, чтобы произвольно так близко совпадали взгляды двух разных людей на жизнь, предпочтения в политике, экономических теориях. Да и просто в символах веры. Сроднила нас ещё и приверженность стилям политического памфлета – жанру, который через силу и неотразимость гротеска, иронии высвечивает, обнажает суть, изнанку вещей, явлений и событий. Так ведь и "Путешествие Гулливера", и "Помпадур и помпадурши", и "Анти-Дюринг", и даже "Материализм и эмпириокритицизм" – политические памфлеты!

С Владимиром Поповым мы опубликовали мировоззренческий диалог – "Европа и Россия в сумерках капитализма" (в содружестве с итальянским публицистом и членом Европарламента Джульетто Кьезой). По иронии судьбы тираж его вышел в августе 2008 года, в самое полымя мирового финансового кризиса... Исчерпанность, глухой тупик либеральной парадигмы для России и мира в те же деньки всеобщего замешательства в стане "туземных монетаристов" обосновал в нелюбимой статье ещё один заядлый "стихийный некейнсианец" – московский градоначальник Юрий Лужков. Он на целый год стал нашим откровенным собеседником: ни много, ни мало – 44 часа диктофонных записей дискуссий о системном кризисе в России. К слову, книга, которая стала итогом наших совместных размышлений и споров, в пику позабытому "перестроечному" кинематографическому опусу Станислава Говорухина, мы озаглавили "...И так жить нельзя!" А ещё одним участником не совсем обычного проекта вольнодумцев из разных страт расколотого общества стал выдающийся теоретик Солтан Дзарасов, которого по праву считают совестью отечественной экономической науки.

Нам также выпала редкая удача записать и опубликовать отложившуюся бережно в памяти откровенную беседу о трагическом времени великороссов с философом Александром Зиновьевым. Разговор происходил за чаем у его семейного очага на московской окраине, в Чертаново. Из окна типовой многоэтажки советских времён открывался завораживающий вид заснеженного подмосковного леса...

Хотите – верьте, хотите – нет, но лишь спустя года два после того, как сложился наш творческий тандем, разговор случайно коснулся той рождественской вечера в Гере... И мы, напрягши память, вдруг с удивлением "опознали" друг друга. Всё-таки двадцать с лишним годков минуло...

К слову сказать, те рождественские "колядки" аукнулись. Предсказанное Владимиром Поповым скорое "рукотворное" крушение ГДР не было про-

стым наитием. По возвращении с дипслужбы в Москву он с блеском защитил кандидатскую диссертацию на заведомо “крамольную” тему: про то, как восточная политика канцлеров Брандта и Коля подготовила исподволь предпосылки поглощения социалистической Восточной Германии, казалось бы, официально признанной бундестагом в Бонне. Расчётливые, основательные западные немцы уповали на то, что капля камень точит... А тут, как снег на голову, свалилось горбачёвское “ускорение” и нечаянно поднесло Федеративной Республике сказочную геополитическую добычу на блюдечке с голубой каёмочкой...

Замысел книги “Россия: испытание Смутой, или Долгий путь к истокам” Владимир Данилович вынашивал давно. Это своего рода промежуточный итог его публицистической деятельности. Книга написана в духе историко-философского и социологического исследования российского лихолетья. Долгого, нестерпимого, пожирающего историческое время великороссов. Те, кто читал книгу, оценят ее глубину, взвешенность и суровость, порою крайнюю, суждений автора. И эта его “немилосердность” к читателю, беспощадное обличение “сладкого прозябания” целой нации на нефтедоллары, уличение в “умственной бессовестности” либеральной интеллигенции на кормлении олигархов, другие резкости, возможно, многих и покоробят, но непременно заденут за живое. Иные сочтут пафос автора “эпатажным”. Прорежимные государственники не преминут порицать автора за “апокалиптическое” видение исхода Русской Смуты. Мол, едва забрезжил свет в окошке... А не потому ли, что весь российский “политикум”, думские витии, которые сходятся на ристалище Второго телеканала у Соловьёва, как ни крути, путешествуют в будущее в одном ковчеге с властью? Решительные “требования” оппозиционных партий к власти, подкаски кормчому помянуть лоцию, доказывая, что, как в старину уже бывало, коварное “латинство”, “бояре” и “думские дьяки” с Мясницкой подложили под компас государственного корабля топор, лишь возносятся к небесам. Даже после громогласной Валдайской прокламации президента так и остаётся неясным, как власть вознамерилась выправить долголетний провальный курс – левым галсом либо правым?

В Охотном ряду тем временем идут битвы на картонных мечах. “Стабильностью” перед лицом кризиса, глядишь, вполне благонамеренно озаботились и политические противники Путина. В кремлёвском Ноевом ковчеге, словно в Политбюро ЦК КПСС в конце 70-х, все тесно сбились, прирадились друг к другу – мышь не проскочит. Вот и сообразай, приятель... Худой гражданский мир лучше?.. Или на поверку есть только одна всамделишная партия – партия начальства? Так ведь и “медведи” – “партия серых пиджаков”, как прозвал её автор в памфлете “На углу Краловских Виноградов и Банного переулка”, – что-то не в фаворе у президента. Штатные пропагандисты режима теряются в догадках: кому теперь годить, каким богом молиться. В горячке идеологического переполоха после Валдая, вновь возникших упований на преображение Савла в Павла нелицеприятные суждения Владимира Попова о политической сущности правящего режима не всем придутся по душе. Невольно на память приходит язвительная насмешка Салтыкова-Щедрина: “Трепещущие Ивановы безмолвствуют, а дерзающие – славословят” (“Письма к тетёнке”). Как бы то ни было, автор жёстко стелет: российский политический класс, без делёжки на левых и правых, уж слишком разговелся, притерпелся к всевластию олигархии больших денег, будто бы равноудалённой от власти.

Если “оппозиция” у нас столь покладаиста, стоит ли так гоношиться “человеку улицы”? Скопчество политических партий и движений только подбадривает обывательские настроения во всех страхах общества. Не опрометчи во ли, спрашивает читателя Вл. Попов, не напрасно ли смирение системной оппозиции, фаталистическое, в духе упрощённого истмата упование на торжество левой идеи в будущем? Дескать, провидение не подкачает, а там, глядишь, и “наша возьмёт!” У Питирима Сорокина есть одно не прямое, косвенное, но меткое высказывание. Оно проясняет, отчего гроша ломаного не стоит обывательский “дискурс” в переломные для общества времена: “Завтрашняя культура, какой я её вижу, никоим образом не будет похожа на Туче-Кучуевск, рисуемый послеобеденным воображением”.

“Подданный Дома Инь”

“Владел двумя третями Поднебесной, но при этом продолжал быть подданным дома Инь” (Конфуций). Ни дать, ни взять, один такой несуразный “государь” нам хорошо известен – М. С. Горбачёв. Шапка Мономаха, которую нахлобучили на него старцы из Политбюро, не по Сеньке оказалась... Кроме изобретения липового “ипатовского метода” скоростной косовицы пшеницы, иных собственных идей и ставропольского комбайнера сроду не имелось. Знаменитое “новое мышление для СССР и всего мира” не из макового ли зерна “ипатовского метода” проклюнулось? По канонической же версии отступническая идеологическая химера зародилась в умах бригады речеписцев на цэковской подмосковной даче.

Сколько теперь ни ёрничай, по сей день непостижимо, как же “Меченого” угораздило обратиться в “подданного дома Инь”, то бишь пресловутого “Вашингтонского обкома”? На встречу с президентом США в Рейкьявике Горбачёв летел не удельным князьком за ханским ярлыком на правление, а главой мощной сверхдержавы. СССР в 1985 году находился в зените могущества. И не только ракетные, танковые армады, группировки космических спутников-разведчиков – измерение этой мощи. Паритет с превосходящими экономическими ресурсами всего Запада держава серпа и молота сумела обеспечить лишь мощью зрелого социального строя СССР. Зиновьев называл его Сверхобществом. Не “Верхняя Вольта с ракетами”, по глупому злоязычию Тэтчер, а действительно сверхдержава – наследница Российской империи. Хоть тресни, СССР был не по зубам Западу. Но по злосчастью Истории, молодое Сверхобщество как данность и номенклатура – усохшая её ветвь – вошли в роковое противоречие. Внезапный, нараставший, как снежный ком, развал мощной экономики, последовавший, едва Горбачёв навязал своё нелепое, по избранным дилетантским разрушительным средствам, ускорение, высвободил тёмные центробежные силы, которые всегда “дремлют” до поры в недрах любой сложно устроенной имперской системы. Нахлынувшая волна дефицита, опустошение потребительского рынка и адская смесь жёсткого планового и “кооперативного” вольного ценообразования на рынке не были следствием хозяйственной катастрофы. Напротив, идеологическая химера вульгарной бездумной “рыночной” присадки к мощному стволу плановой экономики породила хаос в экономике и отчаяние в обществе.

Либеральный кремлёвский агитпроп совсем извёлся в своих клеветах и напраслине на СССР. Тщетно! Чувство справедливости, отвержение лжи и очевидность, когда на воре шапка горит, поменяли настроение в обществе. Задним умом даже ко всему равнодушного обывателя осенило, что СССР был цивилизацией более высокого порядка.

“Самым тяжким для меня после возвращения из ГДР стало ощущение, что я вернулся в другую страну, в которой вдруг перестала работать система государственного управления”, – признаётся Вл. Попов. Невольно пришла на ум, вспоминает он, невесёлая мысль в подражание евстигнеевскому комедийному персонажу из кинофильма “Берегись автомобиля”: “Вильям-то наш Шекспир” верно подметил: “И мощь у немощи в плену!” Государственные мужи с умишком “продавцов мышеловок”, Горбачёв и присные, и целый выводок “новомышленцев”, уличных и “номенклатурных”, вдруг стали наперебой внушать советскому обществу, что все мы – погорельцы и горемыки. А семьдесят лет советской истории – сплошной мрак и “ужасти”.

Великоросс по духу, Владимир Попов с горечью и недоумением подмечал в окружающих вдруг возникшую готовность “разменять великодержавие на благосостояние”. Эта иллюзия стала повальным настроением в обществе.

Ныне даже самые оглашенные из былой “демократической” перестроечной коалиции “санкюлотов” и теневиков с мощной норвят откреститься от ельцинской “раздачи слонов”. Заморский фрукт киви и сто сортов колбас сомнительного качества в “Ашане” – не такое сокровище, за которое не жаль отдать в заклад не только душу, но и – задарма! – совокупный капитал нации, всё, что было нажито умом, талантом, самоотвержением нескольких поколений советского народа.

Либеральный агитпроп стоит на своём: СССР, дескать, был не жилец. Вл. Попов убедительно опровергает эту ложь. Его доводы сильны. Действительно, СССР к порогу злосчастного 1985 году располагал ни с чем не сравнимой базой для рывка экономики, прорыва в следующий технологический

уклад. Перестройка и ельцинское беспутство опрокинули экономику и пустили время вспять. Китай же ступил на тонкий лёд рыночных реформ на десятилетие раньше СССР. И, по мнению хорошо осведомлённых о происходящем за Великой стеной экспертов советского МИДа, шансов преуспеть у него было в обрез. Поднебесная начинала рыночные реформы с плоски риса на едока. Экономика КНР производила мизерный прибавочный продукт. В промышленности – советские технологии 50-х годов... Чисто – колосс на глиняных ногах! И где теперь “неправильный” Китай? А ведь у нас норма накопления была одна из самых высоких среди развитых стран. Страна обеспечила себя дешёвыми энергоносителями на полвека вперёд! СССР создал развитую континентальную индустриальную инфраструктуру и располагал рядом критических высоких технологий в военно-промышленном комплексе – готовый и бесценный задел для гражданского рыночного оборота! Экспорт из Советского Союза более чем наполовину состоял из машин и оборудования. Разделение труда в СЭВе было выгодно всем, а рубль был твёрдой валютой, внешний долг государства был весьма незначительным. Страна вырастила образованное, здоровое, творчески активное молодое поколение, воспитанное на ценностях коллективизма. И всё это богатство пошло прахом. Почему?

Вл. Попов видит причину в противоречиях развитого социализма и расматривает их со всей полнотой и жёсткостью оценок.

И что теперь осталось от бывшей сверхдержавы? По меткому выражению автора, – “экономика керосиновой лавки”. Ущербные черты “остаточного” уклада – кочерыжки – автор с беспощадным сарказмом обличил в памфлетах “Путешествие из Марьиной рощи в Елбань, или Должен ли русский топ-менеджер брезговать политикой?”, “Экономика: сладкое прозябание, или Торжество копеечной мудрости гладстоновских финансов”, “Долгий привал в “долине слёз” и других.

Краплёные карты дяди Сэма: конвергенция обернулась глобализацией

Апостол Павел в Послании к Солуныям говорит: “Ибо когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно наступит их пагуба – и не избегнут!” А индийская поговорка гласит: “Коварство заставляет ржаветь цепи дружбы”.

В большой политике то, что неподвластно булату, иной раз оказывается по силам слову. “Мягкая сила” – лишь благозвучное название политической игры краплёными картами. ПроЙдоха дядя Сэм всегда использовал эту колоду как “матрицу” в отношениях с внешним миром. С тех пор как в 90-х “демократическая” Россия пылко побраталась со своим по определению геополитическим противником, Кремль облапошили не один раз. Всякого рода основополагающие акты – макулатура, которую как зеницу ока хранят лишь архивариусы Смоленской площади. Американский политический истеблишмент, медиаторы общественного мнения, аналитики “Рэнд” и Института Брукинкса теперь в упор не видят Россию, где правят клептоманы. Правопреемника сверхдержавы СССР – новую “рыночную” Россию – попросту списали. Вероломство, цинизм, увёртки, вздорные претензии к Кремлю – фирменный стиль поведения Белого дома.

Сегодня это покажется непостижимым, неправдоподобным, но советская пропаганда, по крайней мере, журнальная публицистика, кинематограф создавали приукрашенный портрет Америки и американцев. И это обольщение тянется у нас ещё с 50-х годов. Так, фронтовик Виктор Некрасов, впоследствии прибывший к “диссидентам”, по возвращении из Америки написал очерки “По обе стороны океана”. Напечатаны они были в “Новом мире”. Столичная публика ими зачитывалась. Взгляд Некрасова на Америку был простодушным и провинциально-романтическим. “Почему бы нам не возобновить союзнические отношения?” – вопрошал автор знаменитой повести “В окопах Сталинграда”.

А “шестидесятиникам” и этого показалось маловато. Америка, по их заветному убеждению, призвана окормлять нас духовно. Библейская метафора Сияющего града на холме втемяшилась им в головы. Столичная интеллигенция, словно старая дева в холодной постели, была без ума от Америки... Партийное начальство косилось на это поветрие и раздавало подзатыльники слишком рьяным американофилам. Заглядываться на “американский образ жизни” не считалось таким уж грехом. Книга русского американца Терещенко “Дело

вая Америка” стала настольной в советском директорском корпусе. У этого поветрия был, однако, и политический подтекст: СССР был заинтересован в разрядке отношений с Америкой.

И в самой Америке родилось встречное движение – пылкий интерес к советскому обществу. Стремительный экономический рост Советского Союза, расцвет культуры и науки производил сильное впечатление на американских интеллектуалов. На этом встречном потоке и возникла идея *конвергенции* двух систем. Посыл – простой, здравый и лишь чуточку утопический. Если СССР и США сойдутся когда-нибудь в ядерном клинче, земная цивилизация погибнет. Идея мирного сосуществования из риторической превращалась в действенную. Вместо того чтобы сидеть на пороховой бочке, две державы могли бы наладить торговлю и обмен технологиями. Конвергенция создавала в воображении столичной интеллигенции образ нового мирового порядка. И это не было идеализмом чистой воды, как представляется сейчас, в 2014 году. И не являлось игрой, политическим плутовством “заклятых друзей”. Политическое, идеологическое, военное соперничество двух держав продолжались, но контрапунктом к нему стали схождение и взаимный интерес. После встречи в верхах в Москве в 1972 году в мире заговорили даже о кондоминиуме США – СССР на долгие времена.

Спорная, противоречивая, но животворная идея конвергенции тогда, в 70-е, ещё не была опоганена ложью и подлостью яковлевской “пятой колонны”.

Вл. Попов верно подмечает, что в американском деловом и интеллектуальном истеблишменте существовало влиятельное течение, ратовавшее за то, чтобы конвергенция и впрямь стала честной сделкой. Восстановить контекст незадавшейся конвергенции нам сегодня необходимо, чтобы полнее оценить один из главных смыслов книги автора. Речь идёт об обстоятельствах, контексте и содержании его памятной беседы с глазу на глаз в Гарварде с выдающимся американским экономистом Джоном Кеннетом Гэлбрейтом. Некогда он был послом США в Индии, но больше известен в мире как автор концепции “постиндустриального общества”. Гэлбрейт пользовался авторитетом и был вхож во властные круги Америки. Мнение крупного учёного и политического мыслителя имело вес в университетских кругах Америки. Гэлбрейт в ряде публикаций отмечал, что советская экономика – сильная и зрелая, а предпосылки для конвергенции планового и рыночного хозяйства действительно существуют.

“Судьба подарила мне встречу с этим человеком летом 1983 года, – рассказывает В. Д. Попов. – Я оказался в США по приглашению Конгресса в составе молодёжной организации КМО СССР. Время было сложное, отношения между нашими странами ухудшились дальше некуда, контакты на разных уровнях были заморожены...”

Итак, на дискуссии в Гарвардском университете присутствовал “тот самый Гэлбрейт”. На вечернем приёме “прихватив бокал с вином, подошёл к нему представиться. Оказалось, его очень заинтересовало моё полемическое выступление в прениях. К моему удивлению, мэтр предложил покинуть шумную кампанию и поговорить в спокойной обстановке”.

Опуская подробности, выделим наиболее значимые акценты импровизированного, но содержательного диалога с Джоном Гэлбрейтом в изложении автора. “Уникальный опыт советского планирования, – сказал учёный, – позволяет вашей стране конкурировать с Западом”. “Развитие технологий изменит мир до неузнаваемости...” “Не уверен, что грядущие потрясения пройдут мимо СССР. С большой долей вероятности СССР не выдержит бремени гонки вооружений и напрасных затрат на поддержку псевдонародных режимов по всему миру”. “Пора вам и нам многое переосмыслить и выбраться из идеологических катакомб, в которые мы себя заточили. Это совсем не означает, что СССР должен отказаться от ценностей своей истории, социалистической идеи...” И вот ещё примечательный штрих: “Возможно, я ошибаюсь, но население Советского Союза слишком погружено в свои бытовые повседневные заботы...” И особо примечательно убеждение Гэлбрейта: “Конвергенция возможна при стечении многих факторов, и будет тем путём, по которому нашим, во многом антагонистическим системам следует пойти”. Ещё одно признание дальновидного американца дорогого стоит: “Капитализм не вечен. Что такое его полуторавековая история? Миг в истории человечества... Рано или поздно его созидательное начало иссякнет, а разрушительная сила станет настолько очевидной, что прозревшее человечество будет вынуждено в муках отказаться от него”.

Фрэнсис Фукуяма в те годы ещё пешком под стол ходил. Его нашумевший опус “Конец истории” в сравнении с глубоким мышлением Джона Гэлбрейта — и впрямь ученический вздор. А наши-то американофилы поспешили зачислить Фукуяму в пророки, да теперь помалкивают.

Вл. Попов вспоминает: “Эгоизм Гэлбрейт прозвал “реактивным топливом” капитализма, а опыт СССР тем ценен, что “впервые в истории государство осознанно ищет пути, как нейтрализовать эту биологическую составляющую природы человека”. И вот ещё, на заметку: “...социальные лифты в СССР по-прежнему работают, и это обнадеживает”. “Неудача грандиозного социального эксперимента в СССР, предостерег он, будет иметь трагические последствия для вашей страны и мира”.

В завершении нечаянного, но откровенного обмена мнениями человек “с той стороны”, представитель американского истеблишмента сказал: “Наши страны в обозримом историческом будущем пойдут каждая своим путём, и только время внесёт ясность, на чьей стороне будущее...”

Понятное дело, что перед нами не дословная запись высказываний именитого собеседника во время памятной гарвардской вечера, но добросовестное, бережное изложение. Я несколько раз перечитал эти страницы из “Испытания Смутьей”, настолько значимыми, ценными они мне показались. Сегодня, десятилетия спустя, в беспросветном мороке “петростейта” ещё острее осознаёшь, что же мы утратили. Выдающийся экономист и социальный мыслитель, Джон Гэлбрейт недвусмысленно дал понять, какие карты были у нас на руках, когда мы достигли не только ядерного, но и более широкого паритета с США. Мы имели сопоставимый с метрополией капитализма уровень развития человеческого потенциала. Ныне по этому показателю мы опустились до уровня Свазиленда. В одном лишь, и это горькая правда, скрывалась до срока ахиллесова пята развитого социализма — интеллектуальный, моральный, ценностный капитал правящего сословия легко было сосчитать на “медные деньги”. Сложно здесь не согласиться с Владимиром Поповым.

Конвергенция двух враждующих систем в точке их равнодействия могла состояться, вопреки осторожности и взаимному недоверию! По предположению автора книги, этот прорыв в новую реальность был по силам поколению, к которому он принадлежал, — образованному, дерзкому, воспитанному на социалистических идеалах. Но им такого шанса не дали. Смене поколений во власти жёстко воспротивилась партийная “геронтократия”. Затмение произошло в самых верхах номенклатуры, тогда как страна жила своей жизнью и была ещё исполнена нерастраченных сил.

Перестройка — лишь предбанник капитуляции. А что же конвергенция? “Новомышленцы” вывернули эту идею наизнанку, подменив её торжественной ликвидацией СССР, прописанной в выспренной и глумливой Парижской декларации.

Ничего не скажешь, “диссидент на троне” — Горбачёв — появился на пороге янки со щедрыми подношениями. И даже недалёкий Ронни Рейган в Рейкьявике тотчас смекнул, что это клад, а не Генеральный секретарь. И вместо конвергенции мы получили глобализацию — мировое ярмо, которое влачат все страны, попавшие под американскую раздачу, ведь “новомышленцы” за компанию отдали в неволю ещё с дюжину прежде суверенных государств.

Изданы уже горы книг о подноготной “перестройки”, но ещё не всё тайное открылось. Время придёт, и архивы заговорят... Вл. Попов подводит читателя к мысли, что страстное вожделие собственности, капиталов, которые наследуются, а также малодушие и невежество верхов породили трагедию советского общества. А ещё и извечное “моя хата с краю” низовой номенклатуры и служивых. Всё это вкупе и подвело к сдаче, “усыновлению” России Западом, против чего предостерегал потомков Данилевский, автор труда на все времена — “Россия и Запад”.

Положим, не все они низкопоклонники и корыстолюбцы, но есть, по мысли автора, единый знаменатель незадачливости временщиков во власти. Неспоста Вл. Попов прозвал политический класс “новых русских” бесподобным “орденом столончатников”. Он зорко угадал их подспудную типологию — сплошь выходцев из питерской муниципальной ветви власти, которым привалило счастье неожиданно возвыситься в смутное время, по простоте своей вообразивших, что великой Россией можно управлять, как Васильевским островом. Проницательная разгадка худосочности, падения дееспособности власти, у которой всё из рук валится, высказана некогда философом Ортегой-и-

Гассетом в “Восстании масс”: “*Политическая тупость сама по себе не была бы так опасна, если бы не происходила от тупости интеллектуальной и моральной, более глубокой и решающей*”.

“Когда старояз окончательно отомрёт...”

“Русский Крест берет начало в недалёковидной политике властителей Российской империи, получившей своё дальнейшее развитие после Октябрьской революции”, — считает Вл. Попов. В главе “Либерализм есть нечто призрачное...” он выдвигает мысль о преемственности национальной политики царизма и КПСС — правящей партии. В чём же была эта преемственность? А в том, что русские, как теперь толкуют, “государствообразующий народ”, всегда были своего рода пасынком и данником имперского строительства. Империя Романовых, в отличие от Британской, не богата и не роскошествовала за счёт ограбления колоний: национальные окраины Российской империи по определению не были колониями.

Кто не знает, что богатства Британской империи и лондонского Сити наживались угнетением народов колоний, “опиумными войнами” Ост-Индской компании и иными деловыми, а попросту грабительскими предприятиями англичан. Они даже несчастную соседку — непокорную Ирландию пустили по миру. Автор вспоминает Джонатана Свифта, который с горькой усмешкой писал: “Парадоксом о богатстве страны мы обязаны... банкирам, единственным состоятельным среди нас людям, если не считать таможенных чиновников, пернатых птиц и прижимистых сквайров”. А вот Российская империя, простёртая до Аляски и Калифорнии, так и не обзавелась своей Ост-Индской компанией, даже когда силой присоединила Среднюю Азию. Лифляндия, Курляндия, Грузия не платили метрополии никакой дани. Неспроста Василий Розанов негодовал, что “чухонцам” — финнам, соседствующим с Петербургом, — сплошь привилегии и поблажки от властей, на которые русакам имперская власть скупится. “Была внутренняя периферия в этнокультурном ядре — Центральная Россия, Черноземье и Нечерноземье, — называет вещи своими именами В. Д. Попов. — Именно отсюда выкачивались все ресурсы, в том числе людские. Это трагедия, настоящая трагедия русской цивилизации”. И впрямь, русский человек со времен преобразований Петра Первого терпеливо тянул на своём горбу государственное тягло. И так из века в век без передышки...

Самоотверженность, которая всегда была в характере великороссов, в конечном итоге выходила им боком. В горячке внезапного “парада суверенитетов”, подло подстрекаемого яковлевскими, ельцинскими и уличной неистовой “демшизой”, ненавистниками Союза ССР, вдруг оказалось, что русские, Москва обирали почём зря национальные республики! Была даже брошена идея “территориального хозрасчёта” — сапоги всмятку. В ход пошли анекдотические экзерсисы “национально” мыслящих экономистов. Минералка “Перье” в нью-йоркском супермаркете продаётся по доллару за бутылку, а наш “Боржом” — считай задаром, за копейки! Письменники-руховцы в Киеве придумали “идеологему” про нахлебников-москалей и украинское сало. Увы, и злополучная Декларация о суверенитете России, принятая Съездом Советов, явилась запальчивой отместкой националистам союзных республик от имени русского большинства.

Русофобия, росказни об исторической вине великорусского “держиморды” — воистину несчастная идея пришедшей к власти партии большевиков, — убежден Вл. Попов. Грешит ли он против исторической правды? Читатель волен рассудить по-своему... Но ведь и Максим Горький в “Несвоевременных мыслях” сокрушался: “Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта. Вообразив себя Наполеонами социализма, рвут и мечут...” Пролетарскому писателю русофобская оголтелость инородческой верхушки большевиков не привиделась. “Мы завоевали Россию... Победители часто попадают под влияние культуры побеждённых народов и перерождаются”. Чьё это откровения? Самого, увы, Владимира Ульянова (Ленина). И это не полемическое преувеличение, не ораторская гипербола, а непреклонный пафос пламенного интернационалиста. Вл. Попов называет отвержение всего великорусского, коренного, державного “первородным грехом большевизма”.

На мой взгляд, в государстве рабочих и крестьян русофобия не могла прижиться. И. В. Сталин, уничтожив троцкистскую ересь, с поношением ве-

ликороссов покончил. Стало уже общим местом признание, что сталинизм был пусть противоречивой, но превращённой формой российского великодержавия. Русские при жизни вождя могли быть спокойны за своё будущее. Мысли автора книги обо всём этом необычайно интересны и во многом парадоксальны...

Увы, после реакционного переворота августа 1991 года русофобия вновь выиграла и заполонила опустошённое, выжженное идеологическое пространство. Все чумные 90-е годы прошли под знаком неистового поношения всего великорусского, советского, исконного... И тучные 2000-е прошли под тем же неослабным шельмованием "русского национализма". Швыдкие облыжно приравняли его к фашизму. Русофобия пронизала насквозь либеральные масс-медиа. Она является почти открытым исповеданием "западников" и всей их честной компании, которую власть, словно прозрев, зачислила, наконец, в реестр иностранных агентов.

Напомню, первая книга – проба пера Владимира Попова в публицистике – имела символическое название "Последний из великороссов?" Тогда, на излёте "лихих 90-х" назваться великороссом уже было вызовом правящему либеральному бомонду. Но времена меняются, теперь, напротив, уже "либерал" едва ли не бранное слово в лексиконе прорежимных идеологов. В наших пенатах ныне, глядишь, кругом полным-полно ревнителей "русской идеи". И даже из среды вчерашних англоязычных "монетаристов" в Белокаменной. И ещё – дельцов без роду, без племени, которые вдруг открыли в себе потаённую "русскость". Ни дать ни взять – все потомки Минина и Пожарского, набожные православные, метящие в церковные старосты.

"Между нами говоря, мы – чехи", – говаривал, озираясь, подпоручик Дуб, персонаж "Похождений бравого солдата Швейка". Так и "русский национализм" стал подобием "карманной" идеологии верхов, манком для улещивания "электората". И своего рода ядрёной приправой к путинизму, невзирая на его неразменную праволиберальную сущность. Между тем Рублёвка и её спикеры, тягомотные, навеки ушибленные "либерализмом" гозманы на опекаемых властью телеканалах обличают происки "русской партии" – одной из "башен Кремля". Как если бы эта мифическая "русская партия" хоть что-нибудь на самом деле предприняла для вызволения из экономического бедствия русских губерний – от Твери до Воронежа и Оренбурга.

Философ Александр Панарин резко, вовсе не понапрасну утверждал, что русские в Эрэфии – "на нелегальном положении". Вокруг *русского вопроса* чем дальше, тем ожесточеннее идёт идейное противоборство. Общественное мнение начинает прозревать. Тем временем на идеологическом торжище упомянутые выше златоусты-русопята приторговывают своим диковинным геростратовским "концептом". Ни сверхдержавы, ни просто державы русским, дескать, не надобно. Хлопочут об избавлении этнических русских от "имперского ярма". На поверку речь-то идёт о ликвидации исторической России! Национал-демократы, не в косоворотках, а цивильном платье, с хладной душой прорицают разделение русского суперэтнуса, по Гумилёву, на земляческие самоуправляемые общины. Не у анархиста ли Бакунина позаимствовали эти молодцы свою злую утопию? И как это потомки кривичей, вятичей и прочие "колена" русского этнуса будут вести безмятежную жизнь вольных хлебопашцев в мире, где сошлись в ожесточённой брани старые и новые великие национальные державы – Китай, Индия, Иран...

Официальные идеологи уже носятся, как с писаной торбой, с идеей, что судьба новой России – стать национальным буржуазным государством. "Как у людей", в европах...

Владимир Попов – потомок донских казаков из-под Вёшенской – не примыкает ни к одному идеологическому "приходу", чтобы оставить за собой право без оглядки на "своих и чужих" доискиваться до самой сути вещей, какой бы она ни оказалась. Все его мысли и чувства сосредоточены на одном – выживании великороссов и государства русских и других народов, которые из поколения в поколение разделяют заветы Русского мира. Оставим на долю читателей рассудить, сколько правоты в откровенных, за гранью "политкорректности", порой предельно жёстких суждениях автора. В самом ли деле нам не избежать участи "последних из великороссов"?

Всё либеральное охвостье режима, конечно же, зачислит Владимира Попова в "консерваторы" и "шовинисты", ни в грош не ставящего прелести Прекрасного Нового Мира, где исчезнет само духовное вещество "русскости".

“Когда старояз окончательно отомрёт, порвётся последняя связь с прошлым”, – как сказано в антиутопии Джорджа Оруэлла “1984”.

“Сумрак законов” и “рублёвская фронда”

“Горе тому граду, в котором только и толков о том, что собственность священна, – значит, здесь случилось неслыханное воровство”... Салтыков-Щедрин словно наслушался речей, спичей, клятвенных заверений власти имущих на экономических форумах в Давосе, Санкт-Петербурге, Сочи... Эту “псалтырь” о торжестве рыночного порядка под сенью путинской “властной вертикали” год за годом, но как-то всё без толку зачитывают на каждой очередной тусовке бомонда. С непременно приглашением “знатных” иностранцев, которых изо всех сил обхаживают. Что, любезные, инвестиционный климат у нас и впрямь поздоровел? Как некогда говаривал ныне обуржуазившийся и остепенившийся одесский острослов: “Не верю – отныне и во веки веков!”

Западные инвестиционные фонды неспроста избегают вкладывать средства в Россию. Хорошенько знают, что правовой режим, законодательство, статус собственности начертаны на песке. Там, где над всем довлеет византийская “вертикаль власти”, нет тверди под ногами делового человека. Всё у “либералов” вроде бы списано с западных образцов, как устройство закуской “Макдональдс”, но на поверку – одна лишь сплошная декорация. По крылатому выражению Михаила Евграфовича, не законы, а лишь “сумрак законов” и есть в наличии. Поэтому серьёзный западный бизнес – залётные биржевые спекулянты не в счёт! – в путинскую либеральную идиллию ни ногой! Зато местные олигархические кланы среди бела дня выводят сквозняком из страны сотни миллиардов долларов прикарманенной углеводородной ренты, сверхприбылей и вовсе “тёмных” денег. Центробанк РФ из года в год лишь меланхолично подсчитывает убыль, будто караульный у ворот. А наш президент, в укор западному деловому истеблишменту, который от нас нос воротит, несказанно гордится режимом “открытой экономики”. Конечно, не те сейчас времена, когда янки при дворе царя Бориса прилаживали новой власти хомут “Вашингтонского консенсуса”, а такое впечатление, что эту епитимью Россия до сих пор влачит! Либерализм – лукавый символ веры, а на самом деле всего лишь ухват, с помощью которого наживаются сказочные состояния. Читаем у Вл. Попова: “Чиновничество грабит бюджет на всех уровнях властной вертикали просто самозабвенно”. Только ли в казну запускают загребущие руки? На собственном опыте топ-менеджера в большом бизнесе автор свидетельствует, что и в крупных корпорациях, у которых владельцы частные, воровство и вывод активов происходят за милую душу.

Нашенская коррупция – с аппетитом Гаргантюа, ненасытная. В ней и впрямь есть что-то хищное, неуёмное, пропащее... Луки-утешители – благонамеренные исследователи коррупционного заклатья России – на разные лады лишь заверяют: мол, “перемелется!” И пробавляются грошовыми рекомендациями властям предрержащим. Действительную онтологию российской коррупции, на взгляд Вл. Попова, раскрыл независимый экономист, его единомышленник Солтан Дзарасов: “Криминальный капитализм возник из восстания теневого сектора (советской) экономики против государства”. На редкость меткое, афористическое, сущностное определение явления. И все сегодняшние напасти, убеждён автор, – отдалённые последствия “первородного греха” анархо-либерализма 90-х. Эту обличительную “скрижаль” ничем не загладить, не умастить притираниями, как клеймо лилии – знак падшей женщины на плече коварной Миледи в “Трёх мушкетёрах”. Коррупция по-русски – наследственная карма режима Путина. У Попова свой, особенный взгляд на эту притчу во языцех. Об этом его аналитический памфлет “Finita: посткоррупционное общество?”, изданный массовым тиражом. Название – со смыслом. По авторской концепции, вся нынешняя эпическая “борьба с коррупцией” – запоздалая война с ветряными мельницами, потому что аппарат власти и коррупция – слитный субъект. Никакой действительной антиномии между ними не осталось. Громкие антикоррупционные нововведения в законодательстве, “построения” и кары, которые горохом посыпались, как из рога изобилия, ничего уже не способны изменить. Олигархия не станет копать под себя, да и служивым не пожалует такой воли. Хотя верно и то, что мелкая сошка, мздоимцы средней руки непременно попадут под раздачу...

“Россия в угоду финансовым интересам олигархической власти “легла под Запад”, но иногда взбрыкивает и неожиданно для самой себя вспоминает о былом своём величии, что до обморока пугает нашу компрадорскую буржуазию”, — с иронией пишет В. Д. Попов. И в самом деле, знаменитая Мюнхенская речь Путина всполошила, по слухам, номинантов списка “Форбса”. Как далеко готов пойти преображённый Владимир Владимирович? Была ли речь экспромтом или прологом размежевания с Западом? Кое-кто из патриотического лагеря поспешил тогда увидеть знак выдвижения новой имперской парадигмы, коль старая — братание с Западом, породнение капиталами с транснациональными корпорациями — оказалась бита. После мюнхенской выволочки западной элите многие затаили дыхание. И вскоре всех просто огоршило невероятное, за гранью, безответственное назначение “мебельщика” Сердюкова, прозванного впоследствии “маршалом Табуреткиным”, министром обороны РФ! “Табуреткин” во главе военного ведомства — это и был наш грозный ответ продвижению НАТО на Восток?

Целый пуд соли съеден “государственниками” из оппозиции с новообращённым “имперцем” Путиным, а много ли проку? После Валдайской речи президента — вновь переполох, горячие ожидания, что по непреклонной воле Путина олигархический режим займётся своим “демонстражем”. В самом деле — голова кругом! Прокламация президента, по убеждению Вл. Попова, — хорошо рассчитанный манёвр, острастка Западу, и никакой “революции сверху” не предвещает. Напротив, раскол в обществе, пропасть между роскошью и богатством компрадорской элиты и бедностью, скудостью жизни большинства, повальное воровство чиновничества в отсутствие государственной идеологии напоминают канун безысходного 17-го года прошлого века.

Между тем “экономика керосинной лавки” дышит на ладан.

Время покажет, в самом ли деле Владимир Путин набрался решимости поставить на карту российского великодержавия. Тем часом поговаривают о неких “проектировках” в недрах “Вашингтонского обкома”. Будто бы идёт верстка “сценариев” и “моделей” влияния извне на ход противоборства путинского властного круга с, условно говоря, “лондонскими” и “рублёвскими”. Технологии перехвата власти восходят ещё к старым, “перестроечным” интригам и сюжетам. Нелишне, приглашает читателя к размышлению Вл. Попов, мысленно вернуться в 1987 год, пороговый, задолго до противоборства Горбачёва и Ельцина. Тогда ещё никто не чаял ни “войны суверенитетов”, ни соперничества юрисдикций, когда “демократическое” правительство РСФСР взбунтовалась, подстрекая предприятия не платить налоги в союзный бюджет. В тот злополучный год на стороне Горбачёва ещё оставались все аппаратные, силовые и медийные ресурсы. Как и сегодня у Путина... Оппозиционная Межрегиональная депутатская группа и демократический охлос Манежной выглядели вполне маргинально. Кремль, казалось бы, шапками закидает “супротивников”, будь на то твёрдая политическая воля. И впрямь, “посадские” — сущая гольтыба против номенклатурных “бояр” — не на многое могли покуситься. А чем дело кончилось — известно. Поэтому ремейк, перестройка-II не выглядит таким уж безнадёжным делом, как это мнилось многим в 1987 году, когда никакого Ново-Огарёва ещё и не маячило на политическом горизонте.

Конечно, Владимир Путин не чета Горбачёву, этому Талейрану наизнанку. Он не из тех, кто будет плести самому себе лапти... Но сделанного не вернёшь: сосредоточение реальной власти, капиталов и рент, довлеющего влияния на госаппарат в руках горстки олигархов слишком далеко зашло. “Верхние 10 тысяч” — крупный капитал “сырьевиков”, алчущих надёжного убежища для наворованных сокровищ ценой замирения, пусть и покорства Западу, не станут сидеть сложа руки. Эти способны повести свою вероломную игру.

Владимир Попов подводит читателя к собственному размышлению о возможном исходе Русской Смуты. Пока ещё у президента остаются в загашнике десятки миллиардов долларов, чтобы откупаться от “бояр”, “смердов”, служивых, “пошехонцев” и алчного чиновничества. Но грянет день, когда оловянная ложка звякнет о днище котелка, то бишь минфиновской заначки. Он и станет точкой разворота. И что тогда? Как бы судьба ни обернулась, мы, соотечественники, должны держаться настороже, не дать себя провести.

У книги Вл. Попова нет оптимистического финала. Он разделяет убеждение Александра Зиновьева о *непредопределённости* будущего. Но вот его символ веры — любившаяся ему с юности максима Ларошфуко: “Как бы ни легка была прозрачность надежды, она лёгкой стезёй ведёт нас вперёд”.

ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ

МОИ СОВЕТСКИЕ ГЕРОИ

За более чем 40-летнюю работу в печати, в том числе в двух ежедневных газетах – “Уральском рабочем” (Свердловская обл.) и “Советской России”, мне выпало общаться со многими людьми – на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, учебных заведениях, управленческих сферах, академических и отраслевых институтах, армейской среде и правоохранительных органах. Многие из собеседников подсказали интересные темы и сами стали героями публикаций. Из части напечатанного сложилась книга о моих героях – героях в литературном смысле, ведь приходилось писать не только об успехах, достижениях и подвигах. Эти сюжеты, полагаю, будут интересны и нынешним читателям: публикации об ушедшем времени, его людях, событиях, нравах, проблемах могут помочь глубже понять наше недавнее прошлое, чему-то научиться, а чего-то избежать. Ведь ещё древние считали: “Historia est maqistra vitae” – “История – учитель жизни”.

Предлагаю читателям фрагменты из моей новой книги.

СЕМЬЯ ЖДАЛА ВСТРЕЧИ 32 ГОДА

1. Бабушка и внук

Отворилась дверь в квартиру – нас уже ждали. Старушка в белом платке шагнула навстречу, несколько секунд смотрела на невысокого черноволосого мужчину, потом обняла его и заплакала: “Внучек!” А потом снова смотрела, узнавая в пришедшем черты своего сына. А её старшая дочь всё повторяла: “Наш он, мама, наш!”

Они ничего не знали друг о друге 32 года. В 1939-м трёхлетнего Володю Хамкина отец отдал в Дом ребёнка в Свердловске. Отдал временно: Георгий Григорьевич Хамкин служил действительную и, оставляя сына, сказал работникам: “Отслужу – сразу же заберу”.

До этого Георгий Хамкин жил в Первоуральске Свердловской области, работал киномехаником. В 1939-м ему было двадцать четыре года. А с женой у него жизнь не пошла. В Ирбите жила мать Георгия Анна Тарасовна, но оставлять ей сына Гоша не захотел: у самой, как говорится, семеро по лавкам, а мужа-слесаря после 1937 года не стало.

Но отец не успел забрать Владимира – началась война. В июле 1942 года старшина авиации Георгий Хамкин получил смертельное ранение. Володю к тому времени перевели в детский дом в Верхотурье, где он пробыл всю войну, а потом убежал. Проще всего осуждать десятилетнего мальчишку за беспризорную жизнь, да какой толк! Сейчас-то Владимир и сам понимает, по ка-

кой скользкой дороге шёл. И, наверное, тут не только его личная вина, а и тех воспитателей, кто не заметил “романтический” ветер в голове парнишки.

Он прошёл четырнадцать детских домов и приёмников – в Верхотурье, Свердловске, Камышлове, Манчаже, Красноуфимске, Сормове, Казани и других городах. Володьке встречались разные люди, были и равнодушные, и даже уголовники, но не они, в конце концов, определили судьбу парня. Умных, добрых, заботливых – словом, настоящих людей неизмеримо больше. А Владимир и сам давно понял опасности, подстерегавшие его, и стал, в конце концов, тем, кем он есть сейчас: уважаемым человеком, добросовестным рабочим, отцом четверых детей. Он несказанно благодарен многим воспитателям и нянечкам детских домов, тому милиционеру из Мордовии, который отдал ему телогрейку, оставшись на морозе без верхней одежды, и тем, кто по должности и по сердцу убеждал его выбрать иную жизнь – и, в конце концов, убедил! Фамилий этих людей Владимир не знает или не помнит. Да и свою-то потерял, и из Хамкина Владимира Георгиевича стал Ивановым Владимиром Фёдоровичем. Так что понятно, почему родные так и не смогли его найти.

Владимир окончил железнодорожное училище, работал слесарем, шофёром, электриком, отслужил срочную службу в армии. А после службы приехал в Первоуральск, не ведая, что он-то и есть родной ему город. Здесь Владимир Фёдорович живёт уже двенадцать лет, работает сцепщиком в железнодорожном цехе Новотрубного завода. С женой Лидией растят четверых детей.

А другая семья живёт в Ирбите. Нелёгкой выдалась жизнь и у бабушки Владимира Анны Тарасовны Хамкиной, но эта милая и добрая русская женщина воспитала девятерых детей, двое – Георгий и Никита погибли в Великую Отечественную войну. Остальные сами растят детей и внуков. Старшая дочь Елена Григорьевна Кобелева – агроном, живёт с матерью, сейчас на пенсии. Давид Григорьевич – строитель, прораб, участвовал в возведении высотного здания МГУ на Ленинских горах, теперь тоже на пенсии в Сочи. Учитель Иван Григорьевич – житель Ташкента. В Краснодаре, Пицунде, Харькове работают или уже вышли на пенсию Михаил Григорьевич, Агриппина Григорьевна. Мария Григорьевна, Наталья Григорьевна, и дети их, внуки Анны Тарасовны, тоже, как она говорит, “при деле” – работают и учатся.

Непросто было Анне Тарасовне воспитать столько детей. Помогало государство, взявшее на себя значительную часть расходов и забот. Анне Тарасовне – 85 лет. Живёт она в благоустроенной квартире на Пролетарской улице в Ирбите. Несмотря на возраст, бодра и ещё помогает дочерям в домашних заботах. Володю она искала долго, писала в разные инстанции. Но кто и как мог бы узнать его часто менявшийся адрес?!

В первый раз розыск родных Владимир начал ещё в 1957 году. Написал в Верхотурье, откуда прислали свидетельство о его рождении – так Владимир узнал, кто он. Но дальнейшие многолетние поиски не принесли успеха. В сентябре нынешнего года Владимир Иванов написал в редакцию газеты “Уральский рабочий”. 29 сентября с. г. была опубликована очередная подборка писем с нашим постоянным заголовком “Если кто-нибудь знает...”, в которую мы включили и просьбу Владимира. Тогда-то редакция и получила письмо, написанное неровным почерком Анны Тарасовны. Как всегда, была проведена необходимая проверка, после чего последовал наш звонок в Первоуральск В. Ф. Иванову. На том конце линии раздался неровный от волнения голос Владимира Фёдоровича: “Спасибо, еду! Извините, в голове туманится”.

И вот встреча в Ирбите – слёзы, радость, расспросы... Какие главные слова говорят люди, нашедшие друг друга через столько лет разлуки? Те, с которыми все мы появляемся на свет, – самые простые и самые великие: слова о семейных узах, о сыновней любви, о горе и радости... Было застолье, песни, долгие, чуть сумбурные разговоры. Со стороны смотреть – и не разлучались вовсе, а так, собрались на обычное семейное торжество. Просто семья теперь стала больше и полнее.

1971 г.

2. Мать и сын

После встречи в Ирбите с бабушкой Анной Тарасовной Хамкиной Владимир Фёдорович Иванов даже растерялся: у него, считавшегося круглым сиротой, оказалось очень много родни: дяди, тётки, двоюродные братья и сёстры.

ры – в Ирбите, Белоярке, Свердловске, Краснодаре, Ташкенте, Жданове, Сочи, Пицунде, Ленинграде... В отпуск Иванов съездил с семьёй на Кавказ, и родные оказали ему такой тёплый приём, что когда у нас в редакции он рассказывал о встрече, его голос дрожал от волнения.

Владимир Фёдорович (будем называть его так, как он сам себя называет и как записано в нынешних его документах) работает сцепщиком в железнодорожном цехе Первоуральского новотрубного завода. На этом же предприятии трудится его жена Лидия. Владимира Иванова ценят в коллективе – за доброту, отзывчивость, всегдашнюю готовность помочь. Бывший беспризорник стал достойным, уважаемым человеком. Но судьба приготовила Владимиру Фёдоровичу ещё одно испытание.

Читатели, возможно, заметили, что, говоря об отце Владимира, его бабушке, других родственниках, мы пока ни слова не сказали о матери. Сначала и сам Иванов знал лишь то, что у его родителей “жизнь не пошла”. Отец погиб на фронте, а что с матерью, где она, оставалось только гадать.

Говорят, дети – не судьи родителям. Не поладили отец и мать? Но он-то, Владимир, тут не при чём. Отец погиб, а где мать? Неужели он так ничего и не узнает о ней? Владимир Фёдорович решил искать.

Надежда, что мать, прочтя об Иванове в газете “Уральский рабочий”, сама откликнется, так и не оправдалась. Оставался другой путь: долгих расспросов, кропотливого изучения архивных документов. В. Ф. Иванов всё свободное время проводил в Первоуральском городском загсе, паспортном столе, рылся в архивах вместе с работниками этих учреждений, охотно помогавшими ему. Он переговорил с десятками, если не с сотнями старых горожан в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку для поисков.

Шаг за шагом Владимир Фёдорович шёл к цели, узнавал всё больше, и, наконец, наступил день, когда он подошёл к междугородному телефону и, страшно волнуясь, осекшимся голосом спросил:

– Мама, это ты?

Да, это была она, мать Иванова. Фамилия у неё другая, не такая, как теперь у сына, и не та, что носил его отец. Живёт эта женщина тоже в Свердловской области, то есть долгие 33 года разлуки мать и сын были не очень далеко друг от друга.

Владимира мать не искала. Не потому, что не надеялась найти. Думаю, её должно было останавливать другое: какими глазами посмотрела бы на сына, что сказала бы ему она, главная виновница того, что Вовка при живой матери попал в Дом ребёнка, а затем испытал столько бед?!

Когда Георгия Хамкина, отца Владимира, призвали в армию, у его 22-летней жены, оставшейся с двумя детьми, не стало хватать времени на них. От плохого ухода заболела и умерла одиннадцатимесячная Руфина. Неважно выглядел и Вовка. По словам родственников Георгия, тогда и состоялся суд, лишивший его жену родительских прав. Правда, документы, свидетельствующие об этом, не сохранились. Впрочем, теперь не так уж важно, был суд или нет. Ясно, что Георгий Хамкин имел моральное право, спасая сына, устроить его в детский дом. А жизнь матери Владимира стала, в конце концов, трагедией. Но она сама выбрала такой образ жизни, предав и сына, и дочь. В старости человек пожинает плоды всей своей жизни. Любой наш поступок и проступок рано или поздно обязательно напомнит о себе, станет прибрежением или потерей, обернётся благодарностью или расплатой. Честь берегут смолоду – эту простую и великую истину никому не дано попирать безнаказанно. И чтобы напомнить о ней ещё раз, предостеречь иных заблуждающихся, я и решился обнародовать эту историю. С согласия Владимира Иванова, разумеется.

Большой, позабытой людьми – такой нашёл Владимир Фёдорович свою мать. Она ждала его у аэропорта. Увидев фигуру одинокой женщины, Иванов сразу понял, кто это. Поздоровались, назвали себя. Потом пошли, и женщина, бывшая мать, торопливо семенила рядом с бывшим сыном, стараясь заглянуть ему в глаза. Пришли в дом, старый, запущенный. Долго не могли начать разговор. Потом Владимир Фёдорович что-то спрашивал, мать отвечала и опять торопилась, стараясь угодить Владимиру. Она как-то несмело, заискивающе дотрагивалась до сына. Потом плакала, спрашивала, как поживает Георгий – так и не знала о его гибели на фронте, фальшивя, говорила, что Володьку всегда-всегда считала лучшим из своих детей. Было горько и больно.

Владимир Фёдорович смотрел на мать, верил и не верил, что вот и конец его долгим поискам, что именно к этой минуте, к этой встрече он стремился всю жизнь

К этой, но не к такой встрече!

Люди говорили Иванову: найдёшь мать – пожалеешь, что искал. Он понимал их, почти соглашался. Почему же всё-таки поехал, зная наверняка, что ничего иного его не ждёт, кроме новых неприятных переживаний? Зачем четыре дня выслушивал густо приправленные слезами душеизлияния опустившейся женщины, по сути, давным-давно ставшей ему чужой? Наверное, осуждая её, давшую ему жизнь, но не захотевшую или не сумевшую стать матерью, он в глубине души очень жалел её. Это чувство обострилось, когда Иванов увидел её нынешнее существование – одинокое прозябание, жизнь без смысла и цели. Думаю, с того момента поступками Владимира Фёдоровича во многом руководило сострадание, без которого и осуждение не бывает полным и честным. Вообще человек, не испытывающий сострадания и жалости, сам душевно груб и глух, лишён способности остро ощущать доброе и злое и, самое главное, не может сознательно делать добро, без чего, собственно говоря, вообще нет нравственности. Не желание забыть прошлое, не всепрощение продиктовали Иванову, что делать. Он и только он мог по-настоящему помочь этой женщине, которая его родила, но так и не стала ему настоящей матерью. Зато Володя, пусть и без её участия, вырос прекрасным сыном и настоящим мужчиной.

Владимир Фёдорович снова собирается к матери: “Дом надо отремонтировать и вообще привести в порядок, погреб выкопать. Ну, и дел там очень много”, – сказал он мне. Так что его мать впервые в своей путаной жизни увидит невестку и внуков, ощутит их заботу и ласку...

Четверо детей Владимира Фёдоровича Иванова растут душевно тонкими и нравственно сильными людьми – в отца.

1972 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ

1. Военврач Пластов

На фотокарточке молодой мужчина лет двадцати пяти. Антонина Андреевна смахивает слезу и тихо говорит:

– Это мой муж, Пластов Александр Иванович. С первого дня войны ничего о нём не знаю.

Чуть раньше в газету “Уральский рабочий” пришло письмо. Бывший партизан Великой Отечественной войны Виктор Станиславович Орловский из Витебска просил разыскать родственников Александра Ивановича Пластова. “Я очень хорошо знал его, – писал В. С. Орловский. – В первые недели войны он спас десятки людей”.

После публикации письма Орловского в обзоре “Если кто-нибудь знает...” и пришла в редакцию Антонина Андреевна...

Сформированная на Урале 153-я стрелковая дивизия первый бой приняла под Витебском. Усталым, измотанным сражениями бойцам пришлось отступать к Смоленску. Раненых везли на автомашинах, на лафетах орудий и крестьянских телегах. В те дни над колоннами воинов прошелестело слово “окружение”. Комдив Н. А. Гаген принял решение разорвать фашистское кольцо. Для этого передевшая дивизия должна была напрячь все силы ради быстрого броска вперёд. Но как быть с ранеными?

Выход представлялся единственным: всех, кто сам не может передвигаться, оставить в местных сёлах. Как свидетельствует бывший начальник контрразведки дивизии С. С. Захаров, живущий в Ростове-на-Дону, “нетранспортабельных раненых разместили в населённых пунктах Высочаны, Бабиновичи, Осинторф и других – всего 1764 человека”. А дивизия, разорвав кольцо окружения, соединилась с действующими советскими воинскими частями.

Госпиталь в Высочанской участковой больнице ничем не отличался от других госпиталей. Тесно? Да. Рассчитанная на 30 коек больница вместила 200 че-

ловек – в палатах, коридоре и даже во дворе. Утром, как положено, процедуры, перевязки. Военврач Пластов и санитарструктор Беккер сбивались с ног: кроме них двоих оставались лишь медсёстры. Были ещё повар Сосновская и конюх Прудников. Помогать пришёл юный счетовод соседнего совхоза “Крынки” Витя Орловский. А раненые всё прибывают: местные жители находят их на местах сражений и везут в больницу. Пластову стала помогать военврач Нина Новицкая: чуть только оправившись от собственной раны, она смогла лечить других. Позже сюда пришли врачи А. Е. Горелышева, минчанка, не сумевшая эвакуироваться, и А. Н. Мамонова, оставшаяся в Высочанах из-за беременности.

Фашисты пришли в село в десятых числах июля.

– Кто есть тут? Руссише зольдатен ист? Коммунистен ист? Юден ист? – отрывисто спрашивал офицер.

Бледный от волнения Пластов стоял, широко раскинув руки, словно защищая раненых.

– Коммунистов и евреев нет, – ответил он. Славе Беккеру Пластов ещё раньше приказал спрятаться.

Прокричав что-то ещё, гитлеровец уехал. Славка, понимавший по-немецки, объяснил: этим некогда заниматься госпиталем – фронтовая часть. Но потом придут полевая жандармерия и гестапо... После визита фашистов Пластову стало ясно: раненых надо прятать. До этого ещё теплилась надежда: может, не тронут? Ведь есть же международные нормы обращения с ранеными. Все надежды перечеркнули известия о расправах с нашими бойцами в других сёлах.

Свидетельствует С. С. Захаров:

– Под Смоленском ко мне доставили солдата Зацепина, одного из тех 1764 воинов, оставленных нами в разных сёлах. Он рассказал: “Пришли немцы. Раненых расстреливали в палатах и во дворе. Впереди шёл немец с губной гармошкой, останавливался у койки и усиливал звук. Другой фашист палил из пистолета. А если звук гармошки был обычный, то не стреляли...”

В Высочанах гитлеровцам не удалось сотворить такую расправу. Некоторых бойцов смогли разместить у местных жителей. Вера Германова, например, спрятала танкиста Тонкушина, провоявавшего потом до конца войны. Других раненых выдавали за тифозных больных и даже за... рожиц: в родильном отделении, путаясь в женской одежде, лежали пехотинцы и артиллеристы. Вот что рассказывает бывший пациент этой больницы, бывший партизанский командир К. П. Фирсов, живущий в Подмоскowie:

– После ранения я потерял много крови. Меня разместили в “родилке”. Туда же положили больных детей. Ребяточки плакали – это создавало правдоподобную картину.

На какие только ухищрения ни шли Пластов и его преемница Горелышева. Развешивали объявления на немецком языке: “Внимание: тиф!” Умело маскируя пулевые и осколочные ранения, выдавали бойцов за штатских.

Но кончались медикаменты, не хватало и еды. Раненых кормили тем, что принесли жители Высочан и соседних деревень. Доставать лекарства Пластов поручил Орловскому. “Где доставать?” – спросил Виктор. “Поищи в других больницах. В домах у врачей поспрашивай”. Но без аусвайса, пропуска, нечего и думать куда-нибудь идти. Выручила больничная фельдшер Феня Сосновская: захватив яйца и масло, она бесстрашно пошла к коменданту соседней железнодорожной станции Крынки за аусвайсом. И получила его!

“Бесстрашно” – так можно сказать о каждом сотруднике Высочанского госпиталя. На квартире Сосновской Пластов спрятал радиоприёмник, и ночами они слушали Москву. Конюх Прудников собирал и прятал оружие, прежде находившееся при раненых. Позже оно пригодилось партизанам. Горелышева выдавала “липовые” справки о болезнях местным парням и девушкам, уже внесенным немцами в списки для отправки в Германию.

На попечении Пластова оставалось всё меньше и меньше раненых. Конечно, чтобы, как полагают, полностью вылечить их – об этом нечего было и мечтать. Но подлечив, поставив на ноги, им помогали переправиться к партизанам. Иные пробовали перейти линию фронта, чтобы снова попасть в действующую армию. К концу августа в Высочанской больнице из двухсот раненых осталась лишь небольшая часть тяжёлых. Пластов, скрывавшийся в семье местной учительницы вместе с майором С. Н. Полиганиным, тоже свердловчанином, мог появляться в госпитале с большими предосторожностями. Александра Ивановича заменила Анна Ефимовна Горелышева.

– Пластову стало известно, – вспоминала она, – что немецкая комендатура узнала о госпитале и что якобы всех раненых должны отправить в Витебск, в лагерь для военнопленных. Александр Иванович перестал появляться в госпитале. А тяжелораненые всё ещё лежали в родильном отделении. Немцев же в родилку не пустили, объяснив, что идут роды и вход невозможен. Что подействовало – мой властный голос или фразы на немецком языке, но гитлеровцы ушли. А Пластов через несколько дней перебрался в партизанский отряд.

Что ещё знаем мы о Пластове? Родился в Чувашии, жил в Свердловске, окончил Казанский мединститут. Сотрудники этого вуза сообщили, что, по архивным сведениям, Александр Иванович после окончания десятилетки участвовал в ликвидации неграмотности. Ещё знаем, что в 1930 году пятнадцатилетний Пластов вступил в комсомол, был секретарём сельской ячейки. К своим обязанностям относился исключительно добросовестно.

Обычная биография, привычные фразы. Но вдумаясь в это: к своим обязанностям относился добросовестно. Ведь именно таким он остался и в войну на оккупированной территории. Обязанность военного врача – лечить выбывших из строя бойцов. И Александр Иванович делал это, прячась от оккупантов и полицаев, пряча от них же раненых. Долг, добросовестно исполненный до конца в невероятных трудных обстоятельствах, – вот что такое подвиг Пластова. Попадись фашистам он, начальник подпольного военного госпиталя, конец был бы единственным – смерть: гитлеровские изверги не знали милосердия. Партизанская мать, 75-летняя Пелагея Ивановна Куликова рассказала, что в Высочанах постоянно стояла “вешаница для провинившихся”. Так, гитлеровцам удалось схватить врача А. Н. Мамонову. Об этом мне рассказали боевые товарищи Пластова – партизанский командир Иван Иванович Казанцев и его жена, партизанская разведчица Анна Васильевна, которые сейчас живут под Оршей:

– Мамонову фашисты расстреляли. У неё было четверо детей – мальчик семи лет и тройня близнецов, родившихся уже в Высочанах. Бросив мёртвую Анну Николаевну в яму, фашисты стали убивать её детей. Двух мальчиков ударили головками друг о друга и швырнули на труп матери. Старший мальчик понял, видно, что и его убьют, вырвался и побежал. Так полицай, холуй немецкий, догнал его на огороде и убил рукояткой пистолета. А потом поволок за ножку к могиле.

Нет слов, боль и гнев! Никогда не забывать, всегда помнить это, детям и внукам передать рвущую сердце ненависть к фашизму и фашистам...

А Пластова немцы расстреляли 5 марта 1942 года. В партизанах он пробыл полгода. Сначала их было 14 человек – одна из первых групп будущей партизанской бригады “Алексея” – Героя Советского Союза А. Ф. Данукалова.

В Хотемлянском лесу они вырыли землянку. Кроме Пластова, в группу вошли уральцы Казанцев, Аверин и Беккер, местные Блохин и Селиваненко... Загорались управы, летели под откос поезда. Взрывчатку первые партизаны выковыривали из снарядов. Потом приспособились нагревать снаряды на печи: тол помаленьку вытекал. Хоть качество было, конечно, хуже, но и этот тол использовали по прямому назначению. Ещё разогнали в Мисниках собранный немцами огромный гурт овец, напали на пущенные гитлеровцами предприятия, сожгли два транспортных самолёта...

Казанцева ранили в ноги. Прятал его Аверин, а лечил Пластов: пинцетом вытаскивал осколки, достал бинты, лекарства. Потом пришлось оказывать такую же помощь и Аверину. Александр Иванович всегда был бодрым, смелым и надёжным товарищем.

Гитлеровцы схватили его в деревне Иванькове. Партизаны остались на ночь, а тут – каратели. Блохин и Пластов пошли на прорыв. Им удалось проскочить немецкий пост, но Пластова всё же заметили. Пока гитлеровцы его ловили, другие партизаны смогли уйти... Даже своей смертью Александр Иванович спас товарищей.

Готовя к публикации материалы о Пластове, я запрашивал различные архивы. Увы, ответы были одинаковыми. Из архива Министерства обороны СССР: “В списках погибших не числится”. Из архива военно-медицинских документов: “В архивно-справочной картотеке не состоит”... Тридцать четыре года ничего не знали об Александре Ивановиче его жена Антонина Андреевна и дочь Людмила: на все запросы они получали отрицательные ответы. Анто-

нина Андреевна все тридцать четыре года выписывает и внимательно читает “Медицинскую газету”, всё же надеясь: а вдруг встретит фамилию Пластова... Дочь никогда не видела отца: родилась в самый канун войны.

Людмила сейчас инженер, работает на Свердловском заводе резино-технических изделий. У неё своя семья, и её дети, внуки Пластова, будут знать правду о дедке. Она дорога и всем нам. Нет больше пропавшего без вести военврача, а есть погибший герой, подвигу которого, его высокой самоотверженности будут подражать живые.

У Высочанской больницы заложен памятник погибшим медикам. Главврач А. Г. Антонов попросил меня прислать фотокарточку Александра Ивановича, чтобы повесить её, увеличенную, в больничном корпусе. Так врач Пластов вернулся в Высочаны накануне великого праздника – 30-летия Победы. Для её достижения он тоже сделал всё, что возможно. И что невозможно – тоже.

1975 г.

2. Партизан Поликанин

Очерк “Возвращение в жизнь” напечатан в газете “Уральский рабочий” 6 апреля 1975 года. В нём рассказано о военвраче 153-й стрелковой дивизии Александре Ивановиче Пластове. Оставшись с ранеными на оккупированной фашистами территории в селе Высочаны Витебской области, Пластов организовал подпольный госпиталь и вместе с другими медиками лечил красноармейцев, помогал им избежать плена. Потом Александр Иванович и сам ушёл в партизаны... Одним из боевых товарищей Пластова был свердловчанин Сергей Николаевич Поликанин. Установить его личность оказалось весьма непросто.

В белорусских сёлах, вспоминая о Пластове, мне называли и фамилию Поликанина. Бывший партизан В. С. Орловский, живущий в Витебске, рассказывал, что и он сам вместе с Пластовым одно время скрывался у Высочанской учительницы Александры Евсеевой. Потом воспоминания Орловского дополнили бывшие партизаны Н. А. Аверин, И. П. Казанцев, А. В. Казанцева, партизанская мать П. И. Куликова. И хоть они помнили не все детали, образ бесстрашного бойца вырисовывался всё чётче и чётче.

Был Поликанин высокого роста – около двух метров, носил рыжую бороду. О себе мало что сообщал. Самые близкие товарищи знали, что на фронт Сергей Николаевич прибыл из Свердловска в составе 153-й стрелковой дивизии, при бомбёжке был ранен в бок и по этой причине остался в Высочанской больнице “под немцами”. Покориться же им Поликанин не мог и не хотел. Он, Пластов и ещё 12 человек ушли в лес партизанить. Чуть позже группа разделилась на две – это были первые ростки будущей партизанской бригады “Алексея” – Героя Советского Союза А. Ф. Данукалова.

Умный, бесстрашный – такими эпитетами наделяют С. Н. Поликанина те жители витебских сёл, кто его запомнил. Говорят, приходил он в деревни, звал мужчин в лес: “Что ж вы, немцев боитесь? Бить их надо – и на фронте, и здесь, в тылу. Скоро покатыся фашисты назад”.

Об одной из таких бесед рассказал учитель истории Крынковской средней школы А. В. Королёв:

– В Чернышах собралась вечеринка: жить-то было очень невесело! Народу много пришло. Ну, самогонка там была, музыка какая-то... Вдруг, трах-бах – выстрел! Потом дверь распахивается – стоит на пороге высоченный мужик в полушубке, бекеше, с двумя пистолетами и гранатами. А с ним ещё двое – одного звали Василий Дмитриев.

Пришедший (это и был Поликанин) командует:

– Мужчины налево, женщины направо!

Разделились тихо. Поликанин речь произнёс:

– Идёт война. Надо фашистов бить, а вы вечеринки устраиваете. Если ещё устроите, мы придём, хату подожжём...

Девчата (хором):

– Мы не будем устраивать.

Поликанин:

– То-то... Передайте властям, что им нас никогда не поймать. А вы, мужики, к нам подавайтесь.

Может, из-за такой вот агитации, может, ещё из-за чего, но многие считали Поликанина майором, а в одной из витебских газет его даже называли коман-

диром полка. Но офицером Сергей Николаевич не был, его воинское звание – старшина. Через год после публикации очерка “Возвращение в жизнь” в редакцию “Уральского рабочего” прислал письмо житель города Верхнего Уфалея Челябинской области Павел Васильевич Потапов, ветеран 435-го полка 153-й дивизии. С помощью Потапова и удалось выяснить, кем же был Поликанин.

Перед войной полк квартировал в Свердловске. После финской кампании в часть прибыл старшина-сверхсрочник С. Н. Поликанин. До начала Великой Отечественной войны он прослужил в армии 14 лет, участвовал ещё в боях на КВЖД – Китайско-Восточной железной дороге и в войне с белофиннами. Поликанина назначили старшиной роты, а потом перевели заведовать красноармейской столовой. На фронте Поликанин снова стал старшиной роты, поскольку, как выразился П. В. Потапов, “там в полках столовых не существовало”. В первых числах июля 1941 года Поликанина ранило, и он попал в Высочанскую больницу.

Все, кто помнят этого мужественного человека, называют его хорошим командиром, отзывчивым товарищем. Деревенские мужики любили с ним разговаривать. Человек бывалый – конфликт на Китайско-Восточной железной дороге и финская кампания стали ему крепкой школой. Сергей Николаевич не растерялся и в оккупации. Возглавив группу партизан, Поликанин организовал сбор оружия. В Хотемлянском лесу вырыли землянку, по всем правилам устава несли караульную службу – бывший старшина роты знал своё дело. Конечно, крупных диверсий первые партизаны устроить ещё не могли, но успели принести вред гитлеровцам. Рвали мосты на шоссе Витебск – Смоленск, сожгли два транспортных самолёта, сделавших вынужденную посадку под Хотемлёй. Фашисты организовали в сёлах полицию, и партизаны нападали на полицейских и на управы. Обстреливали поезда: били по паровозам, чтобы остановить составы.

Но куда больше, чем боевыми действиями, приносили вред гитлеровцам первые партизаны самим фактом своего существования. Немцы рассчитывали покорить мирное население, держать его в страхе, а оно не хотело быть мирным, и когда прослышали деревенские мужики, парни и даже девушки о боевых партизанских отрядах и группах, потянулись к ним. Мне называли десятки имён тех, кто ушёл в лес бить врага. Партизанская мать Пелагея Ивановна Куликова отправила в лес дочь Надю. И, рассказывая о том времени, кивала в окно: “Из той вон хаты двое ушло. А дальше, видите, полицай жил, зверюга”. И вспомнила:

– Пришли к нам партизаны. Курят, расспрашивают. А тут полиция. Я партизан – в подпол. А сама с Надей – она ещё дома жила – за самокрутки: в хате-то дым. Вошли двое полицейских, спрашивают: “Вы что накурили?” Надя нашлась: “Жрать нечего, так хоть курить будем”...

Фронт проходил через деревни в буквальном смысле слова. Избы партизанских семей стояли рядом с избами полицейских, и последние далеко не всегда решались трогать партизанскую родню: мужики из лесу придут – отомстят!

В деревне и погиб Поликанин. Весной 1942 года он с группой пришёл в деревню Заболотье. С чердака раздался выстрел: это стрелял хозяин дома Гончаров, тяжело ранив Сергея Николаевича в голову. Товарищи унесли Поликанина в лес, и на третьи сутки он скончался. Житель Хотемли Александр Томашов сделал гроб, и партизаны похоронили друга в километре от деревни... Спустя некоторое время фашисты расстреляли Томашова: узнали через предателя, кто делал гроб.

Товарищи Поликанина отомстили за его смерть. Они окружили дом предателя Гончарова, и тот поплатился своей жизнью за убийство партизана. Но куда большей мезтью за смерть Поликанина, Пластова и других наших офицеров, красноармейцев и партизан были крепнущие ряды народных мстителей. Из первых партизанских групп образовались крупные отряды, потом соединения, и лесные сражения, а также война на рельсах приняли в Белоруссии небывалый размах.

У Высочанской больницы недавно поставлен памятник. Среди других на нём высечены и имена наших земляков – Александра Ивановича Пластова и Сергея Николаевича Поликанина.

У Поликанина в Свердловске оставалась жена Лидия. Будто бы работала она машинисткой в штабе округа. И ещё была здесь сестра Поликанина, работавшая, как утверждают, в горкоме комсомола... Спустя некоторое время

сестру удалось найти. Невысокая сухая старушка – Екатерина Николаевна Мальцева, вытирая слёзы, рассказывала мне о брате. Сама она столько лет ничего не знала о его судьбе. Но верила, что он ничего не сделал худого, не мог сделать. И верно: Сергей Николаевич бился с врагом, как подобает настоящему русскому мужику.

Екатерина Николаевна воспитала четверых своих детей и двух сестриных: её муж погиб на фронте, а сама сестра вскоре умерла. “А детей я в войну всех сохранила”, – с гордостью сказала мне Мальцева. Кроме того, она 25 лет безвозмездно сдавала кровь раненым и больным. На встречу с корреспондентом Екатерина Николаевна надела значок “Почётный донор СССР”, который, право же, следует считать очень высокой наградой. . .

Теперь Екатерина Николаевна, которой в будущем году исполнится семьдесят лет, собирается съездить в Витебскую область на могилу брата. Знаю, там её встретят радушно и главврач Высочанской больницы Алексей Гаврилович Антонов, и учитель Крынковской школы Александр Васильевич Королёв, и бывшие партизаны – друзья Поликанина, которого все они хорошо помнят. Долго помнят именно таких людей. Преломляясь в сознании каждого из нас, их дела, поступки, мысли, проявления чувств формируют наш собственный духовный облик. Памятью о таких людях народ крепит собственное нравственное здоровье.

1977 г.

3. Мать солдата, дочь солдата

Деревня Липовка стоит на краю Горьковской области, в десятке километров от Чувашии и Мордовии. Две сотни изб взбежали за овраг, на взгорок, весело смотрят цветными наличниками. Деревья усыпаны грачиными гнёздами. Весенним паром закипает талый чернозём.

Невысокая худощавая старушка протягивает ладонь: “Пластова”. Ладонь подрагивает. Позже Пелагея Александровна скажет: “Очень испугалась я”.

В Липовку я приехал с ответственной миссией: рассказать матери о погибшем сыне и рассказать читателям газеты о матери павшего воина.

Пелагея Александровна живёт в небольшой избе вдвоём с младшим сыном-инвалидом. Двое старших не вернулись с войны. Об одном, Вениамине Ивановиче, сообщили, что он погиб, о другом, Александре Ивановиче, – что пропал без вести. Куда бы ни писала мать, ответ был один: “В списках не значится”. 36 лет она ничего не знала о его судьбе. Последний раз видела Александра весной сорок первого года: он приезжал хоронить отца. Своего отца Александр, скорее всего, и не помнил: красноармеец Иван Пластов погиб в гражданскую войну, когда сыну Саше было всего пять лет.

За два года до Великой Отечественной войны Александр Иванович Пластов окончил Казанский медицинский институт. Служил военврачом в Свердловске, в одном из полков 153-й стрелковой дивизии. Уже в конце июня сорок первого года дивизия вела бои под Витебском. Когда пришлось отступить, часть раненых оставили в селе Высочаны, а для их лечения – врача Пластова.

Александр Иванович до конца выполнил свой врачебный долг. На оккупированной фашистами территории он вместе с другими медиками выходил раненых и с ними же ушёл в партизаны. Но позже немцам удалось схватить его, и 5 марта 1942 года фашисты расстреляли военврача.

О подвиге Пластова газета “Уральский рабочий” рассказывала в очерке “Возвращение в жизнь” 6 апреля 1975 года. Установить судьбу Александра Ивановича вашему корреспонденту помогли жители Высочан и других сёл Витебской области. Спустя два года этот номер “Уральского рабочего” привезла в Липовку односельчанка, которой газета случайно попала на глаза в её свердловской командировке. А потом в редакцию пришло письмо с подписью: “мать Пластова”. Так удалось побывать в родном селе Александра Ивановича и познакомиться с его родными и близкими.

... Изба Пластовых чиста, опрятна. Кровать, стол, русская печь. Портреты сыновей на стене, писанные маслом, – работа отчима Василия Евгеньевича, сельского учителя и художника-самоучки. Александр – в расстёгнутой на ворота рубахе, с гордым чубом. И характер чувствуется: нетерпение, порыв. . .

– Боевой парень, – соглашается Пётр Григорьевич Кузнецов, секретарь колхозной парторганизации. – Я-то хорошо его помню. Умный был, мы счи-

тали, что далеко пойдёт: из деревни, а институт окончил – тогда из односельчан мало кто получал высшее образование.

Пелагея Александровна выучила всех детей. Настойчивость Александра, его работоспособность – от неё. Вся жизнь она трудится. В войну женщинам, конечно же, забот досталось с лихвой: Пластова работала в поле на всяких должностях – и бригадиром была, и плуг с другими женщинами таскала. Но то особая пора. А Пелагея Александровна и сейчас работает, без дела сидеть не может. Конечно, трудится не в колхозе, но со своим хозяйством сама управляется, и дом её не хуже соседских. Пчёл держит, говорит: “Я сорок лет пчеловод”. “Трудно?” – спрашиваю. “Да уж привыкла, – ответила Пелагея Александровна. – Годы, конечно, не молодые, но не сидеть же сложа руки”. А ей уже восемьдесят второй пошёл. Смотрит она прямо, говорит сдержанно. Вся деревня зовёт её тётей Полей. К ней бегают за советами, а то и за утешениями. Сноха, вдова Вениамина, души в свекрови не чаёт. Ещё одна родственница называет Пелагею Александровну нянькой – в старинном, ласковом смысле этого слова: в русских деревнях младшие братья и сёстры издавна называли нянькой старшую сестру. Моя мать так же величала свою Надежду.

Мудрая, добрая, всё умеющая, всё понимающая русская женщина Пелагея Александровна Пластова... “Тётя Поля у нас самая красивая”, – сказал шофёр Иван Григорьевич, и понять его нетрудно: на Руси всегда ставили на первое место и ценили именно нравственную красоту.

В Липовку мы приехали вместе с дочерью Александра Ивановича Пластова – Людмилой, свердловским инженером-химиком. Она родилась перед самой войной, никогда не видела отца, о его судьбе тоже ничего не знала, пока не прочла статью в газете. И так уж получилось, что бабушка, мать Пластова, о внучке тоже мало что ведала... Узнав в редакции “Уральского рабочего”, что стал известен адрес матери Александра Ивановича и что корреспондент собрался ехать туда, Людмила заволновалась: “И я поеду!” Пелагея Александровна обрадовалась внучке, хоть и говорила позже, что испугалась. Испуг был по-деревенски прост: сумеет ли, как надо, принять образованную городскую женщину. И уже через час сидели они вместе за столом, мать солдата и дочь солдата, слушала одна другую, плакали, а в избу потянулись родственники и соседи: “Здравствуй, милая, с приездом! Ну-у, вылитая – отец...” Будто и не было 36 лет неведения, и деревня только и ждала приезда дочери Александра Пластова.

А назавтра в клубе бабушку с внучкой посадили на сцену, в президиум, и школьники – все классы слушали рассказ вашего покорного слуги о военной судьбе Александра Ивановича Пластова. То есть предполагалось, что будут только школьники, но по деревенским “каналам связи” о предстоящем выступлении быстро узнали все односельчане, и клуб заполнился до отказа. К Людмиле подходили, благодарили за приезд и ревниво спрашивали: “Ну, как наша Липовка?” А школьники взяли витебские адреса, чтобы узнать больше подробностей о партизанских делах Александра Ивановича Пластова.

В центре Липовки, рядом с правлением колхоза “Верный путь”, сельсоветом, школой и клубом стоит памятник. На его цоколе – 204 фамилии. Столько липовских мужчин не пришли с фронта. Двести пятым в скорбном списке станет Александр Иванович Пластов. Такова суровая арифметика Великой Отечественной – 205 погибших на двести изб. Конечно, раны войны со временем залечиваются, но далеко не все и не у всех. Нет уже разрушенных городов и сёл, давно заросли окопы, но в душах навечно остаётся неутраченная боль потерь.

А сколько их, таких Липовок, – в России, на Украине, в Белоруссии...

1977 г.

АНАТОЛИЙ ЯКОВЕНКО

СУДЬБА РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

Из записок шабашника

Взяться за эти воспоминания и поделиться некоторыми мыслями о происходящем в деревне меня подтолкнуло нынешнее положение. За последние два десятка лет крестьянство доведено до крайней черты. И если раньше коренной русский мужик больше всего дорожил своей землёй и всегда готов был отдать за неё даже жизнь, то сегодня он вынужден бросать её и искать счастья на чужой стороне.

Мне пришлось не один год строить на селе коровники, гаражи и складские помещения. Трудиться в качестве сезонника.

В 60-е годы я только-только окончил школу тренеров при институте физкультуры им. Лесгафта в Ленинграде и получил заветный значок мастера спорта по боксу. Но так уж вышло, что вдруг потянулся с ещё большей силой к писательству и, порвав со своим первым увлечением, уехал к себе на Урал в рабочий посёлок.

Не терпелось как можно скорее окунуться в новое дело. Отгородиться от всех и всего, поселиться где-нибудь в одиноком домишке и с утра до вечера сидеть за книгами. Но для этого у меня не было ни средств, ни понимания со стороны моих близких, потому что им казалось, что писательство – это что-то совсем несерьёзное.

– Ведь надо ещё на что-то жить, – выговаривала мне мать. – Не будешь же ты только читать да бумагу изводить на всякие выдумки.

И мне ничего не оставалось, как напроситься в армянскую бригаду, которая неизменно работала неподалёку от нашего глиняного карьера в совхозе “Откормочный”. И благодарен был судьбе за то, что за несколько месяцев работы у них освоил не только азы строительных работ, но и открыл для себя совершенно незнакомый ранее мир.

* * *

Следующей весной я решил попробовать организовать свою бригаду, тем более что среди поселковых школьников всегда было в избытке желающих найти себе применение во время летних каникул. И я быстро смекнул, что могу вместе с ними выполнять разные ремонтные работы в совхозе. Ведь для этого не надо было даже иметь какие-то особые навыки. Достаточно, чтобы в бригаде был хотя бы один умелец: опытный каменщик, плотник. А уж он-то

быстро научит любого подростка держать топор или мешать раствор. А срывать старую прогнившую крышу или полы в свинарниках вообще сумеет каждый. Было бы только желание! Бери ломик или гвоздодёр да начинай орудовать.

В совхозе на ту пору работы было хоть отбавляй. Отыскать по весне подходящую работу не составляло труда. Со временем ко мне как бригадиру пришёл опыт и необходимая закалка. И я уже почти безошибочно чувал, куда и как можно отправляться со всей своей бригадой. А там найти только общий язык с прорабом, председателем колхоза или директором совхоза да получше устроиться на новом месте, в отданной нам для этого старой школе, общежитии или просто на снятом подворье. Всё это было привычно и не так уж накладно.

Главные трудности и проблемы начинались после сдачи объекта, когда наступало время получать деньги, ибо их не так-то просто было “вырвать”. Хотя и договор у нас был на руках, да и все наряды были оформлены, как полагаются. В конторе, однако, всегда находились те, кто готов был придраться к чему-то или даже усомниться в правильности всей документации, потому как уж больно большим казался им наш заработок. Шутка ли! Он в три-четыре раза превышал сумму заработка любого местного работника. И тут невольно возникла зависть: какие-то залётные чужаки – и гребут такие деньги! Вот и приходилось идти на различные ухищрения, к примеру, *растягивать* список членов своей бригады, чтобы уменьшить заработок, приходящийся на каждого. Для этого мы находили “подставных”, вносили их в общий расчётный лист, а затем просили расписаться у кассы за наши деньги.

И этот формальный подход к делу был изрядным тормозом во всём. Ведь план по сдаче зерна, мяса или молока надо было выполнять вовремя и любой ценой. А людей, чаще всего, не хватало, как и в строительстве. И председатели колхозов, и директора совхозов тоже вынуждены были идти на всякие уловки, ездить по инстанциям в область, доказывать, пробивать помощь, обращаться к заводским шефам за материалами. То, глядишь, вагон лишнего кирпича выпросят, то лес или готовый пиломатериал. Вспоминается мне одна из таких поездок вместе с директором Довжко и прорабом Дудиным в воинскую часть, располагавшуюся рядом с узловой станцией Карталы, где Дудину когда-то приходилось заливать бетонные дзоты и куда он повёз нас перетолковать насчёт цемента. И не напрасно! Старые друзья и знакомые Дудина оказались сговорчивыми. И как только выпили с нами на берегу реки по рюмке-другой, закусив вдобавок нашими специально прихваченными шашлыками, так сразу пообещали отправить нам целый вагон. Да не какой-нибудь списанной завалывшейся “пылёнки”, а самой крепкой, марки-600, от которой любая стена в телятниках будет отливать особым синеватым блеском.

– Вот крутимся и достаём всё, где только можем, – не удержался на обратном пути Довжко. – А в районной газете статья появилась о нашем совхозе, будто я чуть ли не потакаю тёмным делишкам и иду на поводу у всяких шабашников.

– Да чего там, – бросил почти невозмутимо Дудин. – Их дело – писать, а нам надо как-то строить! Если будешь сидеть и дожидаться манны небесной, ничего не добьёшься.

Довжко не стал ни возражать Дудину, ни углубляться в эту столь непростую и, очевидно, слишком болезненную тему. Директор он был, в общем-то, умный, расчётливый, и всё у него в совхозе было неплохо. И с кормами, и со сдачей мяса... Ну, а стройка что? Тут уж он больше полагался на прораба Дудина, о котором надо рассказать поподробнее, потому что личность он и в самом деле неординарная и в какой-то степени даже показательная для того времени.

В совхоз он попал из нашего областного центра Челябинска, всю свою жизнь до этого проработав в военном ведомстве и дослужившись до капитана, хотя и занят был в основном на строительстве. А беда его заключалась в том, что он был неисправимым выпивохой, и с самого утра все его помыслы сводились к одному: как бы поскорее опохмелиться! Поэтому он начинал всячески кобениться у себя в кабинете, где набиралось немало разных строителей, и каждый чего-то дождался. Кому надо было выписать какой-нибудь краски или гвоздей, кому получить разрешение на распиловку брёвен на пилораме, а нашему брату – бригадирам из наёмных шабашников – чаще всего хотелось поскорее заполучить наряды на предстоящую работу. И тут уж Дудин тянул с ними как можно дольше, всё что-то прикидывая и на что-то намекая.

— Рука владыка, — берясь за ручку и пододвигая к себе логарифмическую линейку, бросал он. — Хочу — напишу сто рублей, хочу — тысячу.

И чтобы как-то ублажить его и сдвинуть дело с мёртвой точки, надо было выбрать момент и налить ему вина в стакан. И только тогда он начинал сразу повеселевшим голосом отдавать какие-то команды и приступать к выписыванию нарядов.

Именно при нём в совхозе были построены самые важные объекты! Высокая водонапорная башня из кирпича, благодаря которой вода в телятники и свинарники стала подаваться по трубам, а раньше её развозили в бочках на лошадях. Кормоцех для дроблёнки и приготовления более калорийной пищи для поросят. Не говоря уж о разных гаражах, складах и многочисленных новых домах. И когда, в конце концов, Довжко был вынужден его уволить, равной замены ему сыскать не удалось.

Новый прораб был из местных плотников, послушный, старательный, но грамоты и дудиновской хватки у него явно не доставало, потому и на стройке при нём всё катилось по инерции: один-два телятника или свинарника отремонтируют — и на том спасибо! Да и директора Довжко перевели вскоре в областной трест. Поэтому и мне со своей бригадой пришлось перекочёвывать на новые места, где судьба свела меня с одним уж больно лихим управляющим в совхозе “Победа”. А точнее, в отделении “Джамбул”.

* * *

А упомянуть о нём тоже нужно непременно, ибо это был не просто выпиха или сумасброд, а куда более крупный дележка и вымогатель. Достаточно сказать, что в конторе он рассадил своих верных казахов: и бухгалтера, и зоотехника, и агронома с учётками. А сам разъезжал на конной двуколке и ходил скорее на заправского бая, чем на управляющего. Да и в облике его явно сквозило что-то азиатское: он был маленький, кругленький, с вечно прищуренными узкими глазками. И вёл себя он так, будто действительно был полным хозяином отделения совхоза. Мог, например, выделять приезжим мужикам за определённую мзду целые сенокосные угодья, а когда кто-нибудь из местных рабочих пытался самовольно накосить сена для своего хозяйства, то силой заставлял перегрузить сено на подогнанный трактор и отвезти к коровникам на общий сеновал.

Незадолго до нашего приезда у него вышла целая история со скотником, отцом пятерых детей Исадом, здоровым, нахрапистым мужиком, обиженным на то, что Кизатыч — так звали управляющего — отобрал у него сено, накошенное на укромной поляне.

Не сдержавшись, Исад пришёл к нему вечером прямо в дом, чтобы поговорить и разобраться во всём, но перепугавшийся Кизатыч схватил ружьё и выстрелил в него. Хорошо, что дробь пролетела мимо. Хотя Исада управляющий всё равно не простил, и его вскоре посадили в тюрьму: сработали давние связи Кизатыча с районной милицией и судьёй.

А нас он вначале изводил тем, что придирался буквально к каждой прибитой доске. Мы подрядились заменить крышу на старом четырёхрядном коровнике.

Пока я не раскусил его и не понял, что он пытается, используя нашу бригаду, выторговать на центральном отделении как можно больше материала: досок, бруса, цемента с кирпичом, оконных проёмов.

Всё это надо ему было для каких-то опять же личных нужд. И когда я ссылался на то, что мне отпускают всё строго по счёту и накладным, то он только прищуривал ещё сильнее свои узкие глазки, хлопал меня по плечу и ронял:

— Ах, Толя, все жить хотят... как-нибудь договорись! А мы уж тебе тут тоже подпишем всё безо всякой проволоочки.

И приходилось вновь выворачиваться... Не бросишь же начатую работу на полпути! Ведь несколько месяцев вкалывали без отдыха, а тут вдруг какой-то срыв — и можно лишиться законного заработка.

Но нам тогда крепко повезло, ибо нас неожиданно перекинули в соседнее отделение “Магнай”. Там тоже крыша одного из коровников оставалась полностью раскрытой. И нас попросили обнести её обрешёткой и накрыть крупными листами шифера, поскольку зима уже была на носу. Не успели мы

приступить к работе, как повалил снег, и все дороги занесло. Но нас всё равно поторапливали и просили поскорее закончить крышу, потому что скотина стояла под открытым небом в большом соседнем лесу, и управляющий здешний с пастухами боялись, как бы её не разогнали окружившие их со всех сторон волки.

Мы всё-таки справились, и к нам приезжал сам директор этого крупного, с пятью отделениями совхоза. Увидев всех бычков с тёлками внутри тёплого коровника, он как-то разом преобразился и пообещал выписать нам премию за такое усердие. А заодно выплатил безо всяких осложнений деньги и за ремонт джамбульского коровника, так что Кизатычу не пришлось нам больше морочить голову и допекать нас бесконечными придирками.

* * *

Но хотелось бы рассказать подробнее о советской поре, ведь было много и хорошего! Среди председателей колхозов и директоров совхозов было немало честных и добросовестных тружеников, стремившихся вовремя посеять и убрать выращенный урожай, построить коровники, школы, больницы и детские сады. Особенно мне врезался в память председатель колхоза им. Шевченко. А слышан я был об этом хозяйстве или, лучше сказать, небольшом полустепном селении ещё от своей снохи. Она попала сразу после окончания медицинского училища в город Троицк. Было это в начале 50-х годов и, несмотря на недавнюю войну и потерю многих мужиков, колхоз этот уже тогда выделялся во всём нашем районе как по сдаче сверхпланового зерна, так и по сдаче молока и мяса. Жили в нём в основном переселенцы с Украинны. Получали наделы, запахивали их и засевали чаще всего пшеницей. И колосья наливались такими, что хватало и на продажу, и на корм скоту. За какие-то три-четыре года в каждом подворье, считай, появлялись уже и своя лобогрейка, и сенокосилка, и пара ухоженных выносливых лошадей, а также коровы, овцы, гуси с курами.

После раскулачивания и ликвидации всех этих крепких единоличных хозяйств образовались колхозы. Так возник колхоз имени Шевченко.

Вчерашние единоличники, упрямые и прижимистые, в то же время были весёлыми, любили вместе “поспівать”. Собирались обычно по вечерам у кого-нибудь в хате, рассаживались вдоль стен на скамейках и, лузгая семечки, а кто и не выпуская из рук какой-нибудь пряжи, принимались одну за другой вытгивать свои удивительно звучные проникновенные песни.

Попал я туда с нашим проворным звеном для непростой работы. Надо было срочно привезти из “Сельхозтехники” железный уголок и заменить им в одном из свинарников деревянные клетки.

— Грызут их свиньи, — пожаловался мне тамошний председатель. — Надоело доски перебивать... Вот и решили более надёжные поставить.

— Сделаем, чего там, — заверил я как можно спокойнее. — Не впервой... Сварщики у нас опытные!

На том и закончился наш первый разговор. Всё обличье председателя не производило какого-то особого впечатления. Слишком уж он казался каким-то невзрачным, простоватым, хотя колхоз его и был, как я уже говорил, на слуху. Пиджак на нём был самый обыкновенный, с выцветшими потёртыми бортами, стоптанные туфли, тонкая летняя кепчонка. Однако к концу недели в разговоре с ним я заметил вдруг за воротом его рубашки зарубцевавшийся шрам, который, как оказалось, был отметиной ещё с войны. И после этого во мне будто что-то дрогнуло, и я стал уже совсем по-другому смотреть на него.

Звали его Иваном Васильевичем — в конторе все величали его по имени и отчеству, при этом ничуть не заискивая перед ним.

Он, бывало, подолгу сидел за какими-то бумагами и отчётами. Тут же возле него бывал и старший бригадир. Говорил чаще всего о более правильном рационе кормления животных и добавках.

Приезжали к ним нередко из района представители всяких служб. Специалисты и по молоку, и по мясу, и по шерсти... Выискивали какие-то недочёты. И тут Иван Васильевич водил их по разным коровникам. Показывал и всё чего-то разъяснял, словно от каждого надоенного литра молока или лишнего килограмма мяса зависела чуть ли не судьба их колхоза.

А у нас вышла поначалу стычка из-за несколько невнимательного к нам отношения, ибо стоило только мне привезти от стоявшей на взгорке мастерской сварочный аппарат “Сак”, как через час-другой прибежал за ним кто-то из трактористов или комбайнёров. Наша работа моментально останавливалась, мы отдавали аппарат и вынуждены были уходить на ненужный перекур, лёжа где-нибудь в тени под крышей пустого свинарника, пока только что вернувшийся из зоны Васька Мурзаев (мы брали в бригаду и бывших ээков) не взобрался на верх двухколёсного “Сака” и не пригрозил главному инженеру:

– Лучше не подходи, – приподнял он над собой какой-то железный прут. – Мы нанялись к вам работать, а не бить баклуши. Больше вы не получите его, пока мы не сварим всё, вплоть до последней клетки.

Прибежавший на помощь главному инженеру Иван Васильевич, увидев такую решимость и одновременно нашу общую готовность даже бросить начатую работу, только покачал головой, вздохнул и попытался успокоить нас.

– Ладно, ладно, – обронил он внезапно изменившимся голосом. – На сегодня уж отдайте... Там у них на самом деле крестовина полетела на погрузчике. А завтра утром мы вам другой привезём с полевого стана, и никаких сбоев у вас больше не будет.

Иван Васильевич слово своё сдержал: нам действительно привезли новый аппарат. В момент сдачи нашей работы он только обошёл сваренные клетки, потрогал на крепость и, поблагодарив нас всех, тут же взял у меня из рук приёмный акт и твёрдым размашистым почерком поставил на нём свою фамилию. К вечеру мы с полученными деньгами отправились к себе домой на другой конец района.

Вновь свидетелься с председателем довелось в самый разгар начавшейся перестройки, когда я занялся поиском материала о рассказывании своих земляков и приехал к нему, чтобы выслушать его живые свидетельства. Ведь у меня хорошо отложилось в памяти, как в одном из наших разговоров Иван Васильевич обмолвился, что родом он из соседнего Каракульского района, из бывшей Вагановской станицы.

Был он к этому времени уже на пенсии. Но в отличие от многих председателей колхозов и директоров совхозов, сумевших всякими правдами и неправдами обзавестись под старость городскими квартирами, даже и не помышлял никогда покинуть село, а продолжал жить в том же невысоком деревянном домишке неподалёку от конторы, занимаясь расставленными тут же во дворе пчелиными ульями да копчением сала на самодельном вертеле.

Меня он хоть и с трудом, но узнал, завёл в дом и, усаживая за стол и ставя старинный медный самовар, принялся высказывать самое наболевшее.

– И как только такое возможно, – расстёгивая ворот рубашки и пытаясь облегчить себе дыхание, говорил он. – Прислали к нам председателем одного из области, и тот учинил целый погром. Сперва раздал колхозную землю по паям, списал трактора с комбайнами и пустил под нож даже дойный гурт. А потом дозволил и на самих базовках растащить всё, вплоть до последней водопроводной трубы.

А ведь этим-то коровникам и свинарникам была отдана, по сути, вся его жизнь. С каким трудом им порой удавалось выкроить лишнюю доску или кирпич! И вдруг бросили всё на самотёк... надеясь лишь на одних польстившихся всякими посулами фермеров. Но ведь и для этого надо было вначале подвести необходимую материальную базу. Обеспечить запчастями, бензином, а не взвизгивать на них такую цену, что все мигом попали в кабальную зависимость от разных перекупщиков!

* * *

Пришлось мне со своей бригадой поработать и в коренной северо-восточной Руси – за Москвой, во Владимирской области, как раз в том районе, где некогда учредил свой загородный двор Иван Грозный и откуда правил неспокойным тогда Московским государством. Название того места до сих пор сохраняется прежним – Александровская Слобода, оно дано в честь Александра Невского, родившегося совсем рядом, в Переславле-Залесском, и часто проезжавшего здесь через густые высокие леса к столыному граду Владимиру. Только вот здесь соседние области – Ярославскую, Тверскую, Вологодскую,

Костромскую и Рязанскую — стали именовать просто Нечерноземьем. Нас больше всего поразило не этакое пренебрежительное обезличивание Руси, а страшная нищета и убогость в колхозе “Долгополье”, где мы подрядились достраивать брошенный кем-то комплекс для телят. В стоявших рядом коровниках всё буквально утопало в грязи и навозе. Да и доярки, таскавшие на руках тяжёлые бидоны с молоком, не отличались особой чистоплотностью: их юбки, резиновые сапоги и даже повязанные на голову платки были заляпаны навозом. А с уст их то и дело срывался самый отборный мат, причём ругались они не только что вернувшихся бурёнушек, не всегда терпеливо дожидавшихся своей очереди на дойку. Пасли их среди засаженных ярким цветущим клевером полей пастухи с длинными плетёными кнутами. Они сопровождали стадо пешком — точь-в-точь как в прежние времена при помещиках.

Да и в некоторых домах внутри попадались ветхая утварь и кровати, покрытые тряпьем... В углах стояли иконы, под ними — стол, лавки, а выходя из дома, ты оказывался сразу в сарае, где под той же крышей обитали корова, бычок, овцы с курами. И этот древний хозяйский порядок сохранялся неизменно, как и по всему остальному Северу. Говорили здесь на свой особый владимирский лад, окая и с каким-то совсем непривычным распевом. Для наших парней это было в диковинку и даже вызывало умиление. По вечерам мы нередко навещали клуб, в котором собирались на танцы девушки с большими голубыми глазами, русоволосые, со статными красивыми фигурами.

— Полно, полно, — бросали они вместо принятых у нас “довольно” или “хватит”.

Председателем колхоза здесь был откровенный временщик, наезжавший по утрам из соседнего Александрова, причём всякий раз непременно с большим опозданием, поэтому на разрядке лишь как-то встречал невпазд и со всеми соглашался: и с бригадирами своими, и с молодой специалисткой из животноводов, присланной сюда после окончания Ивановского сельхозинститута и постоянно наседавшей на него, требуя для доярок и скотников дополнительных льгот. “А иначе все разбегутся, — доказывала она. — И кто же будет доить коров? Девчонки-то стремятся уехать в Москву или в другие города”. Да, так оно было и на самом деле: лимитчики на стройках столицы набирались, в основном, из деревень Нечерноземья...

Всё это вызывало у меня какое-то удручающее чувство ещё по одной причине. К тому времени я заканчивал Литературный институт, и меня интересовали не одни только летние заработки. Я хорошо знал и о не прекращавшихся спорах, которые касались, прежде всего, судьбы тогдашних сельчан. Прочитал таких писателей-деревенщиков, как Фёдор Абрамов, Владимир Солоухин с его особенно нашумевшими “Владимирскими просёлками”. Каждый из них родился в деревне и с нескрываемой болью передавал то, что ей довелось претерпеть во время раскулачивания, при создании колхозов и в военное лихолетье, когда основная тяжесть легла на плечи оставшихся без мужей женщин. Не скрывали они и тех недостатков, которые как бы неотрывно сопутствовали колхозной жизни.

Не помогали и бесконечные новшества — то укрупнение, то разделение. Выдумали даже такой термин, как “неперспективные деревни”. Но многие, не только руководители, но и простые крестьяне отлично понимали, что все беды их кроются в другом. Дело было в том, что никто из них не чувствовал себя настоящим хозяином на земле. Один из очерков Бориса Можаяева так и назывался: “Земля ждёт хозяина”.

Менять что-то радикально в деревне требовала сама жизнь. Другое дело, к кому перешли во время перестройки все рычаги управления и как эти новопечённые реформаторы развивали свои реформы. Помнится, после поездки к себе на Урал и в Сибирь мне вновь удалось побывать в Нечерноземье. Заросшие лопухами и крапивой поля, бетонные остовы брошенных опустевших коровников, а в Костромской области — на родине Сусанина, в селе Домнино — вообще полное запустение!

Я сюда приехал с паломниками к одной из наших национальных святынь, но тут не было уже ни музея, ни даже прежней школы. Одиноко возвышался лишь старый храм с облупившимися росписями внутри да отовсюду свежими иконами. А поддерживали церковную жизнь и не давали окончательно погибнуть всему остальному несколько монахинь.

Я спустился к реке Шаче и разговорился у мостков с одной старушкой. Оказалось, вдоль всего берега ещё до недавнего времени сплошь стояли деревни. Сейчас не осталось ни одной! Сохранилось лишь два или три дома, да и в них проживали приезжие московские дачники.

Ну, и как же назвать всё это? Прямо какой-то новый Мамаев разор! И свершить его могли только ослеплённые безумцы или самые ярые и неприимимые враги нашей Святой Руси.

Возвращаясь к началу своих записей и пытаясь понять ещё раз главные причины ухода крестьян с родной земли, я остаюсь при твёрдом убеждении, что происходит это в большей мере от того, что никто на ней по-прежнему не ощущает себя настоящим полновластным хозяином. Ибо даже вроде бы уцелевшие фермеры постоянно находятся под гнётом страха и неуверенности в своём будущем. Никак им не удаётся узаконить выделенную землю, избавиться от непомерных налогов, добиться необходимой государственной поддержки.

А ведь перенаселённые города не протянут долго в случае сбоя с поставками продовольствия. Не спасут и те немногие современные агрохолдинги, которые всё-таки построили. А надеяться, что нас всегда будут кормить иностранцы, — это явное и опасное заблуждение. Необходимо поставить во главу угла государственной политики, прежде всего, заботы о русском крестьянине, коль уж решимся сохранить землю-кормилицу за собой и не дать окончательно погибнуть нашей великой многострадальной державе.

ВИКТОР СЕНЧА

НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОГО СЫСКА

Жизнь и книги Аркадия Кошко

Мы договорились, из Москвы в Париж я привезу книгу самого последнего издания воспоминаний его прадеда. Это было несложно: всего лишь зайти в книжный магазин “Москва”, что на Тверской, и как минимум из четырёх интересных сборников, расхватываемых будто горячие пирожки в пасхальный день, выбрать, что называется, по цвету и вкусу. Скорее всего, подумал я тогда, отвезу во Францию “Розовый бриллиант” — именно с него когда-то началась литературная карьера за рубежом знаменитого писателя-эмигранта.

Но, как иногда бывает, в последние дни перед отъездом закрутился, не сумев выкроить время, а когда явился на Тверскую, оставалось только кусать локти: был, говорят, такой автор, но вот уже месяц, как распродали, — всего, без остатка. Вот те на! Кинулся на Арбат — та же картина: исчез месяц назад. Будто сговорившись, одинаково твердили мне и в “Библио-Глобусе”, и даже в солидных букинистических магазинах. “Спасительный”, на первый взгляд, вариант тоже закончился провалом. Взяв дома с книжной полки единственный (и любимый!) томик этого автора, я мечтал об одном: чтоб не оказался он подарочным. Но и этому не суждено было сбыться: книгу, как выяснилось, к очередному юбилею мне подарила благоверная. А это, согласитесь, свято.

Пришлось смириться, остановив своё внимание на пыляевском “Путеводителе по Москве”. Тоже раритет. Но не то. А потому обидно. Ведь если бы дело касалось непосредственно нужного мне автора, уж он-то, вне всякого сомнения, отыскал бы нужную вещицу хоть из-под земли! Такой уж был человек...

Ранним апрельским утром 1910 года в Малом Гнездиновском переулке в Москве раздался телефонный звонок.

— Дежурный по управлению сыскной полиции слушает...

И чем дальше полицейский вслушивался в тараторивший скрипучий голос на другом конце провода, тем серьезнее становилось его лицо. Как только разговор закончился, дежурный набрал номер домашнего телефона начальника...

Произошло неслыханное: обворовали Успенский собор! Тот самый, что на территории Московского Кремля. Узнав о случившемся, император Николай II, возмущённый дерзостью преступников, распорядился найти злоумышленников в кратчайшие сроки. Дело было взято под личный контроль министра внутренних дел Петра Столыпина. С этой минуты для московских сыщиков поймать похитителей стало делом чести.

Тревогу поднял часовой, дежуривший у Кремлёвской стены близ Успенского собора. Он услышал звон разбиваемого стекла и кинулся на звук. В одном из окон храма он заметил человеческий силуэт, по которому и выстрелил, после чего неизвестный скрылся.

Однако с самого начала всё оказалось весьма запутанным. Во-первых, наружный осмотр собора ничего не дал. Во-вторых, никак не могли отыскаться ключи от наружных дверей, а когда представители высшего духовенства их всё-таки доставили, вокруг, как осы вокруг мёда, уже шныряли не только официальные лица, но и вездесущие газетчики. Несмотря на усиленное патрулирование территории Кремля, следов злоумышленников обнаружено не было, а потому задержать преступников по горячим следам не удалось. Тем не менее, священнослужители достаточно быстро обнаружили серьёзную пропажу: исчезли огромный бриллиант и дорогой изумруд из оклада главной святыни Успенского собора – иконы Владимирской Божией Матери.

Это был сложный ребус, требовавший ясного ума и тщательного анализа. Обыски “малин” на Хитровке и Сухаревке, обычных мест сбыта краденого, ничего не дали. Через какое-то время к зданию сысской полиции один за другим стали подъезжать какие-то подозрительные личности, которые, осмотревшись по сторонам, быстро скрывались в тёмном нутре подъезда. Глядя на бегущие глаза некоторых из них, можно было предположить, что они просто-напросто ошиблись если не адресом, то уж дверью – точно. Не ошиблись. Все эти люди с помятыми лицами и тяжёлыми взглядами явились в полицейское управление “по приглашению” его начальника, который обстоятельно и не торопясь лично расспрашивал авторитетных воров, знавших в городе всех скупщиков краденого, о причастности кого-либо из них к ограблению в Кремле. Но те лишь пожимали плечами.

Пришлось всё внимание сосредоточить на месте преступления. А там уже кое-что наводило на определённые подозрения. Было очевидно, что преступникам (или преступнику?) убежать не удалось, но и в храме никого не оказалось. Если где и можно было спрятаться, задумались сыщики, так это за огромным иконостасом во всю стену, размерами от пола до самого верха. Заглянуть за него? Хотя кто туда может пробраться, когда расстояние до стены не больше нескольких сантиметров? Появилось ещё одно препятствие: митрополит Московский Владимир строго-настрого запретил снимать иконы со своих мест. Стали орудовать длинными баграми, прощупывая каждый подозрительный проём. Тщетно: никого...

Всю ночь начальник сысской полиции обдумывал, как найти злоумышленников, сотворивших неслыханное богохульство. И сколько бы ни думал, всё сходилось к тому, что преступник наверняка один и спрятался именно там, в одной из ниш за иконостасом. Если так, то ему не уйти: внутри собора неотлучно дежурят полицейские. Сложнее будет убедить митрополита временно отменить службы в храме, потому что преступник, если он действительно прячется там, только и дожидается, чтобы днём незаметно слиться с людской толпой.

Убедили. И повременить со службой, и подождать хотя бы сутки или двое. Ждать пришлось трое. На третью ночь в соборе за иконостасом послышался непонятный шорох, а через какое-то время перед глазами полицейских, бывших в засаде, предстала странная фигура, выползшая из укрытия. Это и был злоумышленник. Им оказался тщедушный мальчишка лет четырёхнадцати, который после нескольких выстрелов от страха упал в обморок.

Вскоре малолетка уже боязливо жался на стуле в кабинете начальника московского сыска. Мальчонку переодели и накормили, после чего, собственно, и начался допрос. Преступником, поднявшим на ноги всю полицию, оказался некто Сергей Сёмин, подмастерье в ювелирной лавке. Его замысел был прост: с вечера укрыться в храме, а на другой день, после кражи, затеряться среди прихожан. Но уйти с места преступления помешал выстрел часового, заметившего, как тот вылезал из окна. После выстрела он спрятался внутри здания.

В своём укрытии за иконостасом мальчишка просидел три дня, питаясь одними засохшими просфорами, которые он нашёл там же; пригодилась и бутылка кагора, обнаруженная в алтаре. Драгоценности хитрец спрятал в укромном месте, в одной из гробниц. Поначалу мальчишка ни в какую не хотел показать тайник, но потом, растроганный хорошим к себе отношением со стороны “начальника”, всё рассказал.

На суде (приговорившем, кстати, Семёна к восьми годам каторги) в своём последнем слове подсудимый заявил: “Одно могу сказать, господа правосудие, что ежели бы не господин Кошкин, то не видать бы вам бруллиантов!..”

Преступник ошибся: он имел дело не с “господином Кошкиным”. Начальником московского сыска в ту пору был Аркадий Францевич Кошко.

* * *

Как только не называли в те годы газетчики этого человека: “русский Шерлок Холмс”, “гений сыска”, “московский Лекок”... А что же сам сыщик? Да ничего. Он просто очень любил то дело, которым занимался долгие годы, и старался выполнять его высокопрофессионально и честно. Так кто же он, этот гений русского сыска?

Всё началось с того, что однажды маленькому Аркаше в библиотеке его отца в поместье близ Минска в руки попала то ли книжица детективных рассказов, то ли целый роман*. Возможно, это был майнридовский “Всадник без головы” или томик французского писателя Эмиля Габорио прохождения бравого сыщика Лекока. С юности склонный к яркому восприятию прочитанного и наделённый творческим артистизмом, мальчик уже не мыслил себя в иной ипостаси, кроме как смело бросаться в погони и раскрывать запутанные преступления.

Однако жизнь распорядилась иначе. Отец настоял, чтобы Аркадий пошёл по стопам старшего брата Ивана и стал кадровым военным. Сын перечить батюшке не стал. Кошко поступил в Казанское пехотное юнкерское училище, по окончании которого прибыл для прохождения службы в 5-й пехотный Калужский полк, расквартированный в Симбирске. Начались те самые “тяготы и лишения армейской службы”, которые так живо описаны в рассказах Куприна и Льва Толстого. Но душа деятельного молодого человека требовала чего-то “более жизненного”, и в двадцать семь лет он подал прошение об отставке.

Так в 1894 году Аркадий Францевич вместе с семьёй приезжает в прибалтийскую столицу империи – город Ригу. Именно там, на берегу Даугавы, и засветилась пока ещё только звёздочка будущего знаменитого сыщика, поступившего на службу в городскую полицию на должность помощника участкового пристава. Здесь Кошко никого не знал. Не знали и его. И этим, догадался молодой полицейский, можно воспользоваться. Конечно, с выгодой для общего дела.

Переодевшись в одежду простого рабочего, он слонялся по рижским рынкам, кабакам, притонам, причалу, знакомясь с людьми “социального дна”, от которых получал самую свежую (зачастую – ценнейшую!) оперативную информацию. Вскоре появились первые раскрытые им преступления – кражи, убийства, грабежи. Через четыре года Кошко уже стал приставом.

Ещё в рижский период сыщиком была создана особая картотека преступников, включая фотографии (“фас” и “профиль”) и антропологические данные (использовался так называемый метод Бертильона). В результате преступность в городе заметно пошла на спад, в том числе значительно увеличилась раскрываемость особо опасных преступлений и жестоких убийств. Чем дольше Кошко служил в полицейском ведомстве, тем больше приходил к выводу, как важна в повседневной деятельности сыщика идентификация личности преступника. Он одним из первых ратовал за введение в практику раскрытия уголовных преступлений вместо рутинного и довольно условного метода Бертильона передового и более точного – *дактилоскопического* – идентификации преступника по отпечаткам пальцев.

Главную же причину своего успеха Аркадий Францевич видел в *скрупулёзном* отношении к делу. Как он сам говорил, в раскрытии преступлений не бывает мелочей. Эти мелочи, по мнению сыщика, и есть цепочка, ведущая к злоумышленнику, они – ключ к расследованию. Маленькая улика, получал Кошко подчинённых, способна привести к раскрытию большого преступления.

*Аркадий Францевич Кошко родился в 1867 году в имении Брожка Бобруйского уезда Минской губернии (ныне – Бобруйский район Могилёвской области Республики Беларусь).

Работа была не из лёгких. Но награды и продвижение по службе сделали своё дело: за шесть лет работы в сыске Аркадий Кошко от помощника участкового пристава дослужился до начальника сысской части г. Риги. Но и на этом посту он оказался верен своим традициям: часто лично встречался с простыми людьми, выслушивая их жалобы; если дело было срочным, принимал посетителей круглосуточно.

Десять лет (пять из которых в должности начальника сысской полиции), проведённых в Риге, не прошли даром. Несмотря на революционную ситуацию, царившую в те годы во всей империи, Лифляндия оставалась относительно спокойным в криминальном отношении уголком. Но и за это, как оказалось, нужно было платить. Такое спокойствие не устраивало революционеров, стремившихся раздуть в Прибалтике “пламя борьбы за свободу”. Зачастую уголовники были тесно связаны с эсерами и большевиками. А это уже политика. В те годы чиновники самых разных уровней гибли под пулями и бомбами десятками и сотнями: министры, губернаторы, полицейские чины. Но Рига по-прежнему считалась таким “островком” относительного благополучия. Местные сыскари не только ловили грабителей и убийц, но и быстро вычисляли и задерживали опасных боевиков. Результат не заставил себя ждать: в адрес Кошко и его семьи посыпались угрозы физической расправы. Уповать на то, что ушкуйники, опьянённые идеями марксизма, шутят, не приходилось, и Аркадий Францевич подал рапорт о переводе.

В 1906 году талантливый сыщик был назначен заместителем начальника полиции Царского Села; потом – новое назначение, на этот раз помощником начальника Петербургского сысского отделения. Столица империи пахнула жарким молохом революционного пожара. Но это ничуть не смутило сыщика, который с ещё большим рвением кинулся выжигать калёным железом бандитизм, замаскированный под политическую борьбу. Три года бессонных ночей и жизни на грани жизни и смерти. Новый министр внутренних дел Пётр Аркадьевич Столыпин быстро замечает неординарного сыщика и назначает его главой московского сыска.

Что из себя представляла тогда купеческая Москва, легко представить, прочитав пару страниц из Гиляровского:

“... В “Кулаковку” даже днём опасно ходить – коридоры тёмные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором “Сухого оврага”, чиркаю спичку и вижу – ужас! – из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орёт:

– Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь, шлятся!

Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова ещё что-то бурчала вслед.

Это замаскированный вход в тайник под землёй, куда не то что полиция, – сам чёрт не полезет...

Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей...

Вот дом Орлова – квартиры нищих-профессионалов и место ночлега новиков, ещё пока ищущих подённой работы... Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира: “Пересыльный” и “Сибирь”, а далее, в доме Степанова, трактир “Каторга”, когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на наситенном своим старым хозяином месте.

И в “Каторге” нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины... Ещё совсем недавно круглые сутки площадь мельтешила толпами оборванцев. Под вечер металась и галдели пьяные со своими “марухами”. Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся “марафету” кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рождённые и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые “огольцы” – их кавалеры.

“Огольцы” появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговки и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали врассыпную.

Степенью выше стояли “поездошники”, их дело – выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на тёмных вокзальных площадях из верха пролётки саки и чемоданы... За ними “фортачи”, ловкие и гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и “ширмачи”, бесшумно лазившие по карманам

у человека в застёгнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе. И по всей площади – нищие, нищие... А по ночам из подземелий “Сухого оврага” выползали на фарт “деловые ребята” с фомками и револьверами... Толкались и “портяночники”, не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована-нищего отнять суму с куском хлеба.

Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых “марух” да крики “караул”. Но никто не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят да ещё избьют за то, чтобы не лез куда не следует...”*

Одним словом, деловая Москва, в отличие от столицы, больше напоминавшей сонно-чиновничий Олимп, была городом торговым и живым, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. А где купец – там и разбойнику-удалец. Она буквально кишела ворами, налётчиками, убийцами, которые с приходом ночи и были истинными московскими хозяевами.

Тем не менее, постепенно и здесь стали наводить порядок. Полиция разгоняла “малины”, прикрывала притоны, а широкомасштабные облавы давали богатый улов. Как бы брезгливо уголовники ни кривились при виде полицейских, постепенно их стали бояться и уважать. А чтобы окончательно утвердить своё положение в городе, Кошко ввёл очередное новшество: на лацкане пиджаков работников московского сыска появился особый знак с надписью “МУС” (Московский уголовный сыск)**.

К Первой мировой войне об успехах МУСа уже было хорошо известно не только в России, но и за её пределами. В 1913 году международный съезд криминалистов в Швейцарии назвал московскую сыскную полицию самой лучшей по раскрываемости уголовных преступлений в мире! А особая система идентификации личности, разработанная генералом Кошко, была взята на вооружение полицией целого ряда стран, в том числе и Скотланд-ярдом. Стоит ли удивляться, что вскоре прославленный сыщик возглавил уголовный розыск всей Российской империи? В 1917 году Аркадий Францевич Кошко получает чин статского советника, соответствующий генеральскому званию.

* * *

В те же дни, когда произошла кража в Успенском соборе Кремля, Москву потрясло ещё одно событие – поистине страшное и мистическое. В Ипатьевском переулке кто-то организовал настоящую бойню. В небольшом доме одновременно было убито девять человек, в том числе пятеро подростков. Убивали зверски, пробивая черепа тяжёлой железякой. И в этот раз мастерство работников МУСа оказалось на высоте: изверга (убийца оказался один!) нашли буквально в считанные дни и отправили на пожизненную каторгу.

Кому тогда могло прийти в голову, что через каких-то восемь лет нечто подобное повторится, только в другом городе и совсем с иными людьми? Напомним: Екатеринбург, царская семья, Ипатьевский особняк, кровавая вакханалия, унесшая одиннадцать невинных душ... Правда, расстрельщики царской семьи не только ускользнули от беспощадного меча Немезиды, но и сумели стать “почётными пенсионерами” Страны Советов. Таковы реалии времени...

Россия бурлила. Февраль семнадцатого опрокинул могучую когда-то империю с ног на голову. Отречение Государя от престола, политический хаос, сопровождавшийся упразднением Временным правительством всех сыскных отделений, амнистированием политических заключённых и даже тех, кто оказался за решёткой за тяжкие преступления. Страну захлестнула волна небывалой доселе преступности и насилия. Действительность оказалась страшней, чем можно было себе представить. Сотни полицейских, в том числе опытных сыщиков и криминалистов, нашли смерть от финки “мокрушника”

* Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., “Московский рабочий”, 1979. С. 27–28, 32–33.

** Уголовный элемент тут же отреагировал на это новшество, и в дальнейшем за оперативниками надолго закрепилось презрительное определение “мусора”. Лучшие сотрудники сыска поощрялись номерными значками с изображением собаки породы легавая, что послужило основанием для другого прозвища сыщиков – “легавые”.

или нагана налётчика из числа так называемых “птенцов Керенского” – амнистированных в суматохе революционного угара отъявленных уголовников.

Осенью семнадцатого случился Октябрьский переворот, поставивший жирную точку в игре в демократические игрушки. С приходом к власти большевиков оставаться в Москве стало опасно: со дня на день за статским советником могли явиться “братишки” в кожаных тужурках. Для немолодого уже человека, разделившего судьбу с тысячами своих соотечественников, жизнь, похоже, начиналась с чистого листа.

Впереди были тяжёлые годы скитаний и эмиграции. . .

* * *

Странное ощущение: глядя на стоящего передо мной невысокого плотного человека, ловлю себя на мысли, что эти умные глаза, смотрящие на меня сейчас открыто и с интересом, мне уже когда-то приходилось видеть. И если не знать, с кем имеешь дело, можно вспоминать бесконечно; но я знаю – и с кем имею дело, и на чьи похожи эти глаза. Ибо мой собеседник – правнук “русского Шерлока Холмса” *Дмитрий де Кошко*.

Француз во втором поколении, Дмитрий Борисович – профессиональный журналист, выпускник Сорбонны, долгое время работавший в агентстве “Франс Пресс”; сейчас – председатель Ассоциации “Франция–Урал”. Беседовать с журналистом всегда просто: минут через пять моего общения с Кошко он уже понимает, что от него требуется. А потому наш разговор больше напоминает монолог, а не диалог; я стараюсь не перебивать, наслаждаясь правильно поставленной русской речью и этой едва уловимой мягкостью языка, свойственной русским, долго прожившим за границей. Однако чем дольше говорит мой собеседник, тем больше приходится удивляться: оказывается, мы совсем напрасно называем потомков наших эмигрантов французами, англичанами или американцами, ведь сами они по-прежнему считают себя *русскими*.

– По воспоминаниям моей бабушки, после революции им здорово досталось, – рассказывает Дмитрий де Кошко. – Как, впрочем, и всем русским, отказавшимся жить под большевистским игом. У Аркадия Францевича было три сына – Дмитрий, Иван и Николай. Старший и средний сыновья, будучи офицерами Первого гвардейского стрелкового полка, воевали на фронтах Первой мировой. Двадцатипятилетний Дмитрий погиб в сентябре 1914-го. Годом позже Иван, будучи раненым, оказался в плену; долго считался пропавшим без вести. Потом его обменяли на пленного немецкого офицера*.

Сам Кошко во время гражданской войны с женой Зинаидой Александровной и младшим сыном Николаем волею судьбы оказался в Киеве. Что из себя представлял тогда Киев, хорошо известно: тысячи беженцев, гетман Скоропадский, немцы, большевики, Петлюра, вновь большевики. . . Каждая власть насаждала своё правление насилием и кровью. Приходилось быть очень осторожным.

Однажды, продолжает Дмитрий Борисович, Аркадия Францевича узнал один из уголовников – варшавский вор. Прямо на улице Киева. Следует сказать, что польские воры пользовались в сыске не самой лучшей репутацией, отличаясь хитростью и изощрённым коварством. Казалось бы, напиши тот донос – и царского сыщика сотрут в порошок! Но не тут-то было! Именно блатные из уважения к “сыскарю” помогли беглому генералу переправиться к Деникину. Главнокомандующий Добровольческой армией слыл человеком умным и, по достоинству ценя заслуги талантливого сыщика, сделал тому предложение стать начальником уголовной полиции Симферополя, а позже – Одессы. Кошко согласился, а потом уже из Одессы перебрался в Константинополь.

Как известно, русским эмигрантам в Турции жилось очень тяжело. Аркадий Францевич не был строевым офицером, а потому не получал никакого довольствия – ни денежного, ни продуктового. Нужно было как-то выживать. И он открыл детективное агентство (по английской лицензии), занимавшееся поиском разного рода мошенников и воров, выслеживанием неверных супру-

* У А. Ф. Кошко было два брака. От первого брака у него остался сын Александр, ставший впоследствии большевиком. О нём почти ничего не известно, кроме того, что в начале тридцатых он был репрессирован, а позже расстрелян.

гов, консультированием по вопросам, связанным с сохранением имущества. Весь богатейший опыт сыщика здесь пригодились как никогда: Кошко спас собственную семью от голодной смерти. Когда дело пошло на лад – новый удар: младотурки во главе с Кемаль-пашой заключили с большевиками союз и в знак особого признания ленинскому правительству надумали, пожертвовав белогвардейскими беженцами, выпроводить непрошенных гостей обратно, в совдеповскую Россию.

Пришлось в который раз паковать чемоданы, садиться на пароход и вновь мчаться навстречу судьбе. На этот раз остановились во Франции; сначала семья осела в Лионе (жили в приюте для эмигрантов), потом переехала в Париж, где к тому времени уже обосновался родной брат генерала Иван Кошко.

Иван (Мячеслав) Францевич Кошко (1859–1927) был старше своего брата Аркадия на восемь лет. После окончания 2-й военной гимназии в Санкт-Петербурге он поступил в Николаевское инженерное училище; позже окончил курс Академии Генерального штаба. С 1890 года – на службе в структуре Министерства внутренних дел, служил земским начальником в Новгородской губернии.

Далее карьера Ивана Францевича стремительна: с мая 1906 года – вице-губернатор Самарской губернии; в 1907–1910 годы – губернатор Пензенской губернии; в 1911–1914 годы – губернатор Пермской губернии.

Пребывание Кошко в Самаре оказалось не самым лучшим временем в его карьере: в те дни террористами был убит самарский губернатор Блок. Так Иван Францевич стал исполняющим обязанности губернатора. Месяц-два – убили бы и его. Следовало выработать тактику поведения. И он её выработал. Кошко открыто и без всякой охраны разгуливал по городу; мало того – в парадном мундире. Это был своего рода вызов: хотите стрелять – стреляйте, всех не перестреляете! Типичное поведение чиновника столыпинского толка.

При его губернаторстве в Пензе открылась частная мужская гимназия Захарьина; заработала электростанция, распахнул двери созданный на пожертвования населения Свято-Владимирский детский сад; началось строительство вокзала станции Пенза Московско-Казанской железной дороги. . .

В должности губернатора Пермской губернии Иван Францевич, со слов Дмитрия де Кошко, “энергично отстаивал государственные интересы против некоторых иностранных инвесторов и узких и близоруких интересов тогдашних уральских капиталистов”. Как поведал мой собеседник, история увольнения Ивана Францевича со службы была связана с именем Григория Распутина, который однажды проездом посетил Пермь. После этого газетчики раструбили, будто сам губернатор Кошко “устроил пышную встречу Распутину и Вырубовой”. И Кошко был вынужден послать в газеты опровержение, согласно которому самого губернатора в то время в городе не было, но даже если бы и был, писал губернатор, то ни в коей мере не озаботился бы таким “важным” происшествием.

В 1916 году Иван Францевич издал в Петрограде “Воспоминания губернатора (1905–1914)”. Был награждён орденами Святого Станислава и Святой Анны 2-й степени, Святого Владимира 3-й степени.

После революции имение Каменка сожгли, а хозяина новые власти арестовали и отправили в новгородскую тюрьму. Не умереть с голоду помогли. . . крестьяне, носившие бывшему помещику еду. Они же спасли его от расстрела. Оказавшись на свободе, Кошко вместе с большим сыном Борисом, который страдал костным туберкулёзом, уехал в Петроград. И вновь арест (Бориса заключили в Петропавловскую крепость). Лишь чудом удалось им остаться живыми. Находиться в России стало крайне опасно – в любой момент могли расстрелять.

* * *

Когда Аркадий Кошко оказался во Франции, ему было далеко за пятьдесят – позади осталась большая часть жизни. В таком возрасте трудно начинать всё с самого начала.

Полагаться на кого-то не приходится. Скудные накопления позволяют едва сводить концы с концами. Кошко пробовал работать в меховом магазине, но долго там не задержался. Англичане предложили ему работу в Скотланд-

ярде, а заодно и британское подданство, но он отказался, предпочитая оставаться во Франции. Тогда многие надеялись, что большевистский режим в России вскоре рухнет, и все вернутся домой. По этой же причине русские эмигранты долгие годы де-юре оставались подданными России.

Но годы шли, а возвращением на родину и не пахло. Именно тогда и помогла незатейливая приставка “де” к фамилии Кошко. Дело в том, что задолго до революции, когда русские дворяне приезжали на отдых в Париж или на Лазурный берег, для свободного перемещения по стране им выдавали документы, в которых к фамилиям дворян прибавляли эту самую частицу “де”. Именно по таким документам после Октябрьского переворота русским эмигрантам выдавали так называемые “нансеновские паспорта”*. Эти паспорта позже помогли семейству Кошко натурализоваться во Франции. Так весь род Кошко за рубежом стал именоваться *де Кошко*.

Бывший статский советник Кошко, безусловно, был человеком умным, за плечами которого имелся богатый жизненный и профессиональный опыт. Не привыкший сидеть без дела, Аркадий Францевич стремился “найти себя” и на чужбине. Помочь забыть в суровой эмигрантской реальности помогали воспоминания о покинутой родине. Но о чём бы он ни думал, всё сводилось к работе сыщика, которой этот человек посвятил большую часть жизни. И тогда он начал *писать*.

Это не было писанием мемуаров. Творческий пыл, закованный в душную клетку обыденности, требовал выхода; интеллектуальный потенциал, законсервированный в мозговых извилинах, выплёскивался с кончика пера, оживляя пережитое. Мемуары в глазах того, кто их пишет, всегда претендуют на их неординарное место на полке Истории. Именно поэтому мемуарист так тщательно фиксирует в них даты, имена, события. В детективных рассказах Аркадия Кошко всё это проходит как бы вскользь, этаким второстепенным штрихом, да и то для того только, чтобы сориентировать читателя, где и когда произошло событие. Каждое произведение начинается почти одинаково: “В 1910 или 11 году, точно не помню, на одном из переулков, выходящих на Арбат, произошло убийство...” или “В одно прекрасное утро 1913 года я получил письмо...” и так далее.

Всё становится на свои места, когда начинаешь понимать, что литература для Кошко стала своего рода возвращением в тот привычный мир, в котором автор жил у себя на родине, в России. Главным для него было не описание того или иного происшествия, а погружение в эпоху, ушедшую, как он понимал, навсегда и безвозвратно.

“Тяжёлая старость мне выпала на долю, – напишет он в предисловии к первому сборнику своих “Очерков”. – Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я, после долгих мытарств и странствований, очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь. Я не живу ни настоящим, ни будущим – всё в прошлом, и лишь память о нём поддерживает меня и даёт некоторое нравственное удовлетворение... Часто теперь, устав за трудовой день, измученный давкой в метро, оглушённый рёвом тысяч автомобильных гудков, я, возвратясь домой, усаживаясь в покойное, глубокое кресло, и с надвигающимися сумерками в воображении моём начинают воскресать образы минувшего. Мне грезится Россия, мне слышится великопостный перезвон колоколов московских, и, под флёром протекших в изгнании лет, минувшее мне представляется отрадным, светлым сном: всё в нём мне дорого и мило, и не без снисходительной улыбки я вспоминаю даже и о многих из вас – мои печальные герои...”

Это ли не слова человека, безмерно влюблённого в свою Родину?

Описывая тот или иной эпизод, автор не просто повествует – он так или иначе сам оказывается в гуще событий. Сначала молодым рижским приставом, потом – уже начальником сыска. Рига, Санкт-Петербург, Москва, вновь Петербург... Кошко не просто пишет – он *смакует*. Этому битому жизнью человеку и в этот раз удаётся провести вертлявую Фортуну, заставив повернуться к себе лицом. Если судьба сыграла с ним злую шутку, отняв самое доро-

* Нансеновский паспорт – международный документ, удостоверявший личность человека. Выдавался Лигой Наций для беженцев без гражданства. Был разработан в 1922 году норвежцем Фритьофом Нансеном, комиссаром Лиги Наций по делам беженцев.

гое из той, *прошлой*, жизни, — любимую работу, — значило ли это, что следовало смириться — сдаться без боя, постыдно, умерев с поднятыми руками? Решение пришло само собой: он должен вернуться к тому, чем занимался всю свою жизнь, — если не реально, то хотя бы мысленно.

А вспомнить было что! Перед глазами всплывали обманщики и обманутые, воры и грабители, убийцы и их жертвы — зачастую обычные граждане, оказавшиеся в силу обстоятельств в непростой жизненной ситуации. Ожившие образы, стоявшие перед глазами, словно наяву...

Вот промелькнуло умное и строгое лицо княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой, богатейшей женщины России, лишившейся фамильных драгоценностей. Как оказалось, пропали две нитки крупного жемчуга, кольцо с сердоликом и розовый бриллиант. В кольце хранился локон волос Евдокии Лопухиной, первой жены императора Петра Великого, закончившей жизнь в монастыре. Свой локон Евдокия передала влюблённому в неё одному из Стрешневых. Да и розовый бриллиант оказался раритетом: в своё время он был подарен царём Алексеем Михайловичем жене, бывшей в девичестве Стрешневой. Княгиня тут же заподозрила в краже личного секретаря-француза, однако ошиблась: вором оказался уволившийся накануне лакей, которому, как и следовало ожидать, дама полностью доверяла.

Страшный лик Сашки-Семинариста, грабителя и убийцы, терроризировавшего первопрестольную целый год. После задержания садиста отправили на каторгу. Но, как потом выяснилось, ненадолго: Февральская революция его амнистировала, и он “гулял”, оставляя за собой кровавый след, ещё три года. Опомившись, большевики расстреляли в 1920 году...

Откушенный палец убийцы, застрявший во рту жертвы... Рижские “алхимики”, продававшие иностранцам под видом россыпного золота медные опилки... Бывший армейский кавалерист Раков — “испанский гранд”, — которого краплёные карты сделали “королём рижских шулеров”... Лже-Шаляпин, заставивший поломать голову столичных сыскарей... Как давно всё это было! А будто вчера...

Кража драгоценных камней, подобная той, что произошла в Успенском соборе Кремля, оказалась в послужном списке Кошко не единственной. Нечто похожее случилось, когда он ещё служил в Прибалтике. В Рижском кафедральном соборе с одной из икон был украден крупный бриллиант. На ноги был поднят весь местный сыск. Тем не менее, когда он сейчас писал об этом, лицо его не раз озарялось улыбкой. Дело-то прошлое, всё обошлось, пропажу нашли. Зато тонкости операции невольно заставляли посмеяться.

Кошко сразу заподозрил в краже церковного старосту и его жену, потому-то одному из агентов и приказал спрятаться у них в спальне, под кроватью, для так называемой “прослушки”. А потом для супружеской парочки произошло нечто неожиданное. Поздно вечером под окном сторожки раздался крик: “Панкратьев, где бриллиант?” Это кричал сам Кошко. И тут обезумевшие хозяева увидели вылезавшего из-под их кровати того самого Панкратьева, который радостно сообщил, что бриллиант спрятан в дровах. Об этом, мол, рассказали сами супруги. Говорили меж собой, а получилось, что для агента. Драгоценный камень нашли. Правда, пришлось переколоть почти всю поленницу... Начальник сыска радостно потирал руки, а вот Панкратьев... Тот был нарочито серьёзен: легко ли, ворчал он, было восемь часов лежать под кроватью? А потом добавил: “Они, сволочи, пружинным матрасом чуть мне всю рожу не расцарапали...”

Скрипит, побрызгивая чернильными капельками, перо. Уже ночь, но писатель этого не замечает. Ещё столько нужно всего рассказать! Вот он с револьвером в руке гонится за грабителем по узенькой улочке Риги; перестрелка в тёмном московском переулке; и снова рискованная погоня... Грохот, звон разбитого стекла, крики о помощи, топот убегающих... Как всё это будоражит нервы! Порой трудно отличить явь от воспоминаний...

За окном похрапывает уставший за день равнодушный Париж.

Напряжённая работа за письменным столом требовала много сил и здоровья. А вот с ним-то всё обстояло не так благополучно, как хотелось бы. Годы давали себя знать: побаливало сердце, появилась одышка, иногда хватывал кашель. Но без того, чем он сейчас занимался, бывший сыщик уже не представлял себе жизни.

“Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, – писал Кошко, – я говорю себе, что жизнь прожита не даром. Если сверстники мои работали на славном поприще созидания России, то большевистский шторм, уничтоживший мою родину, уничтожил с нею и те результаты. . . Я счастливее их. Плоды моей деятельности. . . непосредственно потреблялись человечеством”.

Первые рассказы увидели свет в парижском еженедельнике “Иллюстрированная Россия”. И сразу же нашли отклик в сердцах сотен благодарных читателей. В редакции запросили ещё. Ещё так ещё. . .

Вскоре стало понятно, что воспоминаний накопилось на целый сборник. И в 1926 году в Париже вышел первый том сочинений Кошко “Очерки уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего начальника Московской сысской полиции и заведующего всем уголовным розыском империи”. Двадцать рассказов, покоровивших парижского обывателя. К сожалению, это был единственный прижизненный сборник писателя.

“Очерки” принесли их автору успех. Книга раскупалась в магазинах в считанные дни. Есть основания считать, что литературный мир эмигрантского Парижа конца двадцатых – это не только Бунин, Куприн, Шмелёв, Осоргин, Бальмонт или Набоков. То было время и детективных рассказов Аркадия Кошко, в прошлом – известного сыщика.

Эмигранты первой волны были людьми чувствительными. Пережившие ужасы двух революций и гражданской войны, они слишком близко воспринимали тему возмездия и попорченной справедливости. Каждый из них будто ждал подобных рассказов и, наконец, дождавшись, вновь и вновь окунался в такое пленительное чтиво.

Да, это был Успех. Большой, настоящий, невыдуманный. Почти неожиданный и. . . заслуженный. Он подарил им это. Им и себе.

* * *

Когда мы расстались, уже начинало смеркаться. Багровое июньское светило, засыпая, едва держалось, успев матовым краем зацепиться за краешек зубца далёкого замка. Наш разговор вошёл в некую стадию отрывочных предложений. Так бывает, когда уже почти всё сказано и пора расставаться. Мы пожимаем руки, желая друг другу удачи. Этот спортивный шестидесятилетний парижанин ещё тот! Ловко оседлав железного коня, он застёгивает шлем, после чего давит на ручку газа, а потом, крикнув на прощание: “До встречи! Пока!” – отжимает сцепление. Ещё миг – и мой знакомый скрывается за дальним поворотом.

– Пока. . .

До ближайшей станции метро остаётся не больше квартала. Торопиться некуда, не спеша двигаюсь в сторону подземки. Оглядываюсь на поворот, за которым минуту назад исчез на скутере мой визави. Он постоянно перед моими глазами. Француз, называющий себя русским. Русский, которому не снится Россия. . . *

* В декабре 2006 года Общественное объединение ветеранов оперативных служб “Честь” учредило общественную награду – орден А. Ф. Кошко. Им награждаются оперативные работники за заслуги в деле уголовного сыска.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ

ПОБЕГ В АРЗРУМ

К 185-летию самого известного путешествия поэта

*Никогда ещё не видал я чужой земли.
Граница имела для меня что-то таинственное;
с детских лет путешествия были моею любимой мечтою.
Долго вёл я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу,
то по северу, и никогда ещё не вырывался из пределов необъятной России.*

А. Пушкин. “Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года”

Страсть к путешествиям

Ах, Пушкин, Пушкин! Сколько всего написано о нём за два столетия, сколько потаённых сторон жизни и творчества поэта было вскрыто его современниками и исследователями. Но ещё остались зияющие пустоты в ускользающем портрете человека, которому суждено было заложить краеугольные камни в здание русской поэзии и литературы. И, пожалуй, самое обидное упущение связано с тем, что до сих пор не воссоздана со всей яркостью и широтой странническая ипостась великого поэта, его сильнейшая страсть к путешествиям, а также многие скрытые черты его конкретных странствий.

Пушкин не просто любил путешествовать, в своих странствиях он получал необычайный творческий импульс, “полнясь пространством и временем”. “Петербург душен для поэта. Я жажду краёв чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу”, – писал он 21 апреля 1820 года, отправляясь в вынужденное путешествие на южные окраины России. Именно с этого первого длительного странствия и началось время скитаний поэта по просторам Отечества. В повести “Станционный смотритель” он словами своего героя сказал: “В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям...”

*Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?*

*Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,*

*На большой мне, зная, дороге
Умереть Господь судил... —*

писал поэт об этих странствиях в 1829 году в своём шедевре “Дорожные жалобы”. По признанию И. И. Пущина, “простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями”.

Дотошные исследователи подсчитали, что только по почтовым дорогам и трактам за свою жизнь Пушкин проехал около 35 тысяч вёрст (русская верста равнялась 500 сажням, или 1,0668 километра). Для сравнения укажем, что это больше расстояния всех переходов путешественника Н. М. Пржевальского. Лишь в Торжке, что лежит на пути между Москвой и Петербургом, поэт побывал более 20 раз! Он посетил сотни губернских и уездных городов, деревень, посёлков и станиц, усадеб и имений, останавливался на многочисленных почтовых станциях, где нужно было менять лошадей.

Если же взглянуть на карту пушкинских путешествий, то самыми крайними точками окажутся на севере — Петербург и Кронштадт, на юге — Карс и Арзрум, на западе — Измаил, Тульчин и Псков, а на востоке — Оренбург и Бердская слобода.

Сенека как-то сказал, что человек должен первые 30 лет учиться, вторые — путешествовать, а третьи — рассказывать о своей жизни, учить молодых и творить. В письме к Плинию он красноречиво писал: “Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь метания — признак большой души... Я думаю, что первое доказательство спокойствия духа, — способность жить оседло и оставаться самим собой”. Как удивительно, что русская поэзия подарила нам намного больше поэтов “с метаниями”, не “оседлых” и не “спокойных духом”, чем “не странствовавших” и не тревоживших себя “переменою мест”. К числу подвижников странствий (не важно — вольных или невольных) можно, без преувеличения, отнести и Грибоедова, и Пушкина, и Лермонтова, и Бунина, и Гумилёва, и Бальмонта, и Волошина, чьи души питались новыми жизненными соками именно в дороге, в пути, на перекрёстках параллелей и меридианов, пусть даже для некоторых из них эти параллели и меридианы вообще не убежали за русские границы, а сами странствия были не совсем добровольными.

Тяга к Востоку

Первоначальный интерес поэта к Востоку, без сомнения, пробудился в связи с его “африканскими корнями”: прадед поэта, Абрам Петрович Ганнибал, был выходцем из Северной Эфиопии и принадлежал к знатному роду. Позднее Пушкин неоднократно обращался к теме Африки и своего прадеда в произведениях “К Языкову”, “Как жениться задумал царский арап”, “Моя родословная”, “Арап Петра Великого”. Поэт, которого друзья в шутку называли “бес арабский”, а сам он себя называл “потомком негров безобразным”, имел огромный интерес к родине своего прадеда, сочувствовал судьбе “моей братьи негров”, желая их скорого “освобождения от рабства нестерпимого”, и не удивительно, что он мечтал когда-нибудь увидеть Африку:

*Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил...*

Очень важно подчеркнуть, что, прекрасно зная родословную своего “африканского” прадеда, Пушкин воспринимал свои корни и как мусульманские. Об этом свидетельствует факт наличия в пушкинских архивных бумагах анонимной биографии рода Ганнибалы, где указывается, что отец Абрама Ганнибалы “по магометанскому обычаю, имел очень много жен, в числе около тридцати”...

В Лицее, по свидетельству многих, Пушкин особенно много внимания уделял изучению истории и философии, в том числе древней. В рецензии на второй том “Истории русского народа” Н. А. Полевого Пушкин позднее писал:

“... В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства...” Во время обучения Пушкина в Лицее лекции по истории там читал профессор И. К. Кайданов, автор учебника “Основания всеобщей политической истории”, который рассказывал лицеистам и о Персии, “первом великом государстве на свете”, и об учении Зороастра (Заратуштры), и об Аравии, и о Мухаммеде и созданной им религии – исламе. Эти лекции и самостоятельные занятия пробудили у лицеистов стойкое увлечение Востоком, которое выразилось в составленном ими под руководством В. К. Кюхельбекера объёмном “Словаре” с выписками по самым различным вопросам истории, философии и литературы. Пушкин долго ещё помнил этот словарь, в котором встречаются и восточные авторы – Саади, Зороастр:

*Златые дни! Уроки и забавы,
И чёрный стол, и бунты вечеров,
И наш “Словарь”, и плески мирной славы,
И критики лицейских мудрецов...*

Ещё в 1824 году Кюхельбекер писал в статье “О направлении нашей поэзии”: “При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии – Фирдуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей”. Пушкин, к примеру, прекрасно знал перевод стихотворения “Завещание” Саади, и, по мнению литературоведов, оно послужило одним из творческих толчков к написанию им знаменитого “Памятника” с теми же идеями: “Душа в заветной лире / мой прах переживёт...” А в качестве эпиграфа к своему “Бахчисарайскому фонтану” поэт выбрал слова Саади из его поэмы “Бустан”: “Многие так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют далече”. Эти же строки поэт повторил позже и в “Евгении Онегине”:

*Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.*

Позднее, в 1828 году в стихотворении “В прохладе сладостной фонтанов...” Пушкин воспел последователей поэта Саади, “тешивших ханов стихов гремучим жемчугом”, а самого Саади возвёл на Олимп поэзии, назвав Персию “чудной стороной”:

*Но ни один волшебник милый,
Владелец умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,*

*Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жёны гуриям равны.*

В 1829 году в черновом варианте стихотворения “На холмах Грузии лежит ночная мгла...” поэт ещё раз вернулся к словам Саади в своей блистательной поэтической манере:

*Прошли за днями дни. Скрылось много лет,
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет —
Со мной одни воспоминанья.*

Обучаясь в Лицее, Пушкин мог быть свидетелем въезда в Царское Село персидского посольства во главе с Мирзой Аболь Хасан-ханом в 1814 году и так же, как его младший современник князь А. Д. Салтыков, восхититься велико-

лепной процессией персов в ярких одеждах с двумя слонами и множеством лошадей, и захотеть увидеть хотя бы когда-нибудь удивительный восточный мир... “Это странное видение произвело на меня сильное впечатление и породило желание видеть Восток, и особенно Персию”, — писал тогда Салтыков. Пушкин не мог также не читать модных в то время журналов, где то и дело появлялись статьи о Персии. К примеру, в “Вестнике Европы”, где поэт дебютировал в 1814 году, в марте 1815 года были опубликованы статьи “О народах, обитающих в Персии” и “О нынешнем шахе персидском”. Во второй из них с отрывками из стихотворений шаха рассказывалось о том самом Фетх Али-шахе, который через 15 лет сыграл роковую роль в тегеранской трагедии, приведшей к гибели Грибоедова.

Уже в поэме “Руслан и Людмила” чувствуется сильное влияние на Пушкина восточной поэзии, в частности, иранского эпоса Фирдоуси “Шахнаме”, который отдельными эпизодами вошёл в “Повесть о Еруслане Лазаревиче”; Пушкин внимательно изучал её. В этой пушкинской поэме произошло слияние элементов русского народного эпоса с элементами восточных сюжетов, ведь поэт, к примеру, сам признавался, что

*...благо мне не надо
Описывать волшебный дом;
Уже давно Шехерезада
Меня предупредила в том.*

А в “Бахчисарайском фонтане” Пушкин прекрасно передал жизненные идеалы, религиозные и моральные представления людей Востока, которые особенно ярко выразили в прошлые века великие персидские поэты, говорившие о предпочтении земного блаженства райскому. В так называемой татарской песне из этой поэмы Пушкин прямо признал, что земные радости блаженней даже паломничества в Мекку и геройской гибели:

*Дарует небо человеку
Замену слёз и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.*

*Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.*

*Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя.*

Любопытно, что три недели, проведённые Пушкиным в августе-сентябре 1820 года в Гурзуфе, маленькой татарской деревне в Крыму, поэт считал “счастливейшими минутами жизни своей”. Поселившись там вместе с Раевскими на даче бывшего генерал-губернатора Новороссийского края герцога Ришелье, он нашёл в библиотеке сочинения Байрона, которые раньше читал по-французски. Теперь же при помощи друга Николая Раевского он упорно изучал английский язык и прочёл в подлиннике восточные поэмы Байрона: “Гяура”, “Корсара”, “Лару”, “Абидосскую невесту”, “Осаду Коринфа” и “Паризину”. Эти поэмы не могли не повлиять на поэта, что чувствуется во многих его восточных произведениях. Вслед за Байроном Пушкин считал, что в увлечении Востоком поэт должен сохранять вкус и взор европейца. Он прямо признавался, что при написании “Бахчисарайского фонтана” “слог восточный” был для него “образцом, сколько возможно нам, благоразумным, холодным европейцам”.

Дотошными исследователями творчества Пушкина установлено, что из 2 000 слов, наиболее часто употребляемых в текстах поэта, слова “турок”, “француз”, “роза” встречаются 101 раз, прилагательное “турецкий” — 75 раз, слово “восток” — 44 раза, слова “кавказский” и “Русь” — 42 раза, а “гарем” — 41 раз. Налицо явное увлечение поэта восточным колоритом. Существуют

многочисленные свидетельства, что Пушкин несколько раз предпринимал попытки изучения турецкого, арабского, древнееврейского и других восточных языков, но далеко в этом не продвинулся. В его библиотеке хранилось множество книг, посвящённых истории и культуре восточных стран, которыми он постоянно пользовался. Это относится и к “Истории Персии” Джона Малькольма, изданной в Париже в 1821 году.

Пушкин и Грибоедов

Прежде чем приступить к описанию “побега” Пушкина на Восток, в Эрзрум (Арзрум, Эрзерум), мы не обойдёмся без того, чтобы вкратце не рассмотреть вопрос о взаимоотношениях “двух странников” русской поэзии, очень сильно повлиявших друг на друга не только в творческой сфере, но и в делах странствий. Начнём с совпадений, которые связали судьбы двух “первых поэтов России” того времени в тугой узел. Оба – Александры Сергеевичи, оба родились в конце “славного XVIII века” с разницей всего в четыре с половиной года, в одной и той же дворянской среде. Есть данные, что они были знакомы друг с другом ещё с 1809–1810 годов. Как вспоминала в своих “рассказах бабушки”, изданных в 1885 году, Е. П. Янькова, “виделись мы <с М. А. Ганнибал> ещё у Грибоедовых... В 1809 или 1810 годах Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом... Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые мы брали с Пушкиной-девочкой, с Грибоедовой (сестрою того, что в Персии потом убили)... Мальчик Грибоедов, несколько годами постарше его <Пушкина>, и другие его товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом <Пушкине> всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно”. Конечно, разница в возрасте двух подростков была тогда довольно существенна, но при следующей встрече оба начинающих поэта, хотя старшему из них уже удалось несколько лет прослужить гусаром, не могли не узнать друг друга лучше.

Дело в том, что летом 1817 года Грибоедов и Пушкин почти одновременно поступили на службу в Коллегию иностранных дел, и по роду службы они, хотя и редко, но встречались. Как вспоминала об этих встречах актриса А. М. Колосова, Грибоедов и его друзья относились к Пушкину, “как старшие к младшему: он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса”. А П. П. Каратыгин указывал, что “никого не щадивший для красного словца, Пушкин никогда не затрагивал Грибоедова; встречаясь в обществе, они разменивались шутками, остротами, но не сходились столь коротко, как, по-видимому, должны были бы сойтись два одинаково талантливые, умные и образованные человека”.

Сойтись теснее им помешала скитальческая судьба: Грибоедов уехал на Кавказ и в Персию в августе 1818 года почти на пять лет, а Пушкин в 1820 году более чем на 6 с половиной лет отправился в ссылку. Так два молодых поэта оказываются в самом расцвете сил в долгих странствиях. При этом они внимательно следят за творчеством друг друга. В декабре 1823 года Пушкин спрашивал Вяземского в письме из Одессы: “Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаява” (позднее Грибоедов, чтобы избежать ассоциаций с П. Я. Чаадаевым, сменил фамилию главного героя с “Чадский” на “Чацкий”). В этот период Пушкин нарисовал в своей тетради первый портрет Грибоедова, а всего их в портретной “рукописной” галерее поэта насчитывается, по разным интерпретациям, от 3 до 6, что само по себе говорит о многом.

В январе 1825 года И. И. Пущин привёз в Михайловское “Горе от ума” Грибоедова, и, несмотря на отдельные первоначальные критические замечания, Пушкин воспринял это произведение с особым вниманием, признав в нём выдающееся творение, а самого поэта он назвал “истинным талантом”. Сначала 28 января он написал П. А. Вяземскому: “Читал я Чацкого – много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умён”. Однако через несколько дней, успев лучше обдумать пьесу, он сообщал А. А. Бестужеву: “Слушал Чацкого, но только один раз, и не с тем внимани-

ем, коего он достоин... Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следств^{енно}, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны... Вот черты истинно комического гения... В комедии “Горе от ума” кто умное действ^{ующее} лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, прошедший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, — очень умно... О стихах я не говорю: половина должна войти в поговорку”. При этом поэт просил своего адресата: “Покажи это Грибоедову”.

Комедия Грибоедова оказала сильное влияние на многие произведения Пушкина, особенно на “Бориса Годунова” и “Евгения Онегина”. Не вдаваясь в подробности и не упоминая скрытые параллели и созвучия, укажем лишь на то, что в “Онегине” поэт трижды прямо ссылается на “Горе от ума”: в шестой главе, когда он воспроизводит строку Грибоедова: “И вот общественное мнение!”; в эпиграфе к седьмой главе: “— Гоненье на Москву! Что значит видеть свет! / — Где ж лучше? / — Где нас нет!” и в восьмой главе, где Онегин, “убив на поединке друга”, “ничем заняться не умел” и отправился в путешествие:

*Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).*

Как видим, в своём главном поэтическом творении Пушкин отдал весомую дань как теме путешествий (с частично восточным колоритом), так и памяти своего товарища по писательскому цеху — Александра Грибоедова.

А совпадения в судьбах двух великих поэтов продолжались. Прогремело восстание декабристов, и оба поэта оказались под подозрением в причастности к заговору. Грибоедов был арестован в крепости Грозной 22 января 1826 года, а выпущен с “очистительным аттестатом” лишь 2 июня того же года по милости императора Николая I, с которым имел через четыре дня важную беседу. Пушкина Николай I вызвал из ссылки в Михайловское и после беседы с глазу на глаз 8 сентября 1826 года простил. Однако встретиться двум “освобождённым” поэтам удалось только после 14 марта 1828 года, когда Грибоедов вернулся в Петербург из Персии с Туркманчайским договором и остановился в той же гостинице Демута на Конюшенной, где жил в те дни Пушкин. И какой же малый срок отпустила судьба для общения гениев русской поэзии, прежде чем они расстались уже навсегда!

По сведениям современников и исследователей, в этот период Пушкин и Грибоедов общались довольно близко и встречались не менее 7 раз, не считая не зафиксированных никоим встреч, которые могли происходить, к примеру, в той же гостинице Демута. При этом поэты встречались на обедах у П. П. Свинына и М. Ю. Вильегорского, в салоне графа И. С. Лавалы; в доме Жуковского вместе с Вяземским и Крыловым обсуждали план своей совместной поездки в Лондон и Париж. Как вспоминал об одной из таких встреч К. А. Полевой, “Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его как нельзя больше, и за несколько дней сказал мне о нём: это один из самых умных людей России. Любопытно послушать его... В этот вечер Грибоедов читал наизусть отрывок из своей трагедии “Грузинская ночь”.

Тяжёлые предчувствия тогда просто витали в воздухе, и не случайно ли 30 апреля во время ночной встречи в гостях у Пушкина тот предложил друзьям-поэтам (Грибоедова на этой встрече не было) для обсуждения события, свидетелем которого поэт был в Одессе несколько лет назад: “. . . приплытие Чёрным морем к одесскому берегу тела Константинопольского Православного Патриарха Григория V, убитого турецкой чернью”? (Как иногда могут совпадать события, разделённые и по времени, и по месту действия!).

25 мая Пушкин и Грибоедов участвовали в устроенном Вяземским пикнике в Кронштадте, куда друзья добирались на пароходе. (Любопытно, но именно в этой поездке участвовал с молодой женой Дж. Кемпбелл, секретарь британской миссии в Персии, предсказавший Грибоедову, что его ждут большие сложности и неприятности в Тегеране). Наконец, накануне 6 июня 1828 года,

как писал Пушкин, он расстался с Грибоедовым “в Петербурге перед отъездом его в Персию”.

О влиянии поэтов друг на друга говорят многие факты. Например, Грибоедов слышал “Бориса Годунова” в исполнении Пушкина, а тот в набросках предисловия к этому произведению откровенно написал: “Грибоедов критиковал моё изображение Иова — Патриарх, действительно, был человеком большого ума, я же по рассеянности сделал из него глупца”. По-видимому, рассказы Грибоедова о Персии и Востоке действовали на Пушкина и в том смысле, что после этих встреч в его стихотворениях с восточными мотивами окончательно исчезают элементы нарочитой экзотики и чрезмерной романтики и всё сильнее становятся признаки реализма. Ведь совершенно очевидно, что главной темой разговоров двух поэтов, особенно в силу острой любознательности Пушкина, была именно Персия; их беседы касались истории и быта, поэзии и религии этой страны или, в более широком смысле, это была тема Востока, хотя, конечно, этим общение поэтов не ограничивалось.

И, конечно, встречи с Грибоедовым не могли не сказаться на решимости Пушкина поучаствовать в тех грандиозных событиях, которые разыгрывались в это время на южных рубежах России, о чём свидетельствовали его многочисленные обращения к императору с просьбой отправить его в армию, действовавшую на Кавказе против турок. Получив отказ, поэт от огорчения сильно захворал, впав “в болезненное отчаяние... сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нём, и он опасно занемог”, как вспоминал навещавший Пушкина сотрудник III Отделения А. А. Ивановский.

16 июля 1828 года Грибоедов в Тифлисе сделал предложение юной, не достигшей ещё 16 лет Нине Чавчавадзе, с которой повенчался уже 22 августа, а Пушкин в конце декабря того же года впервые встретил на балу в доме Кологривовых юную красавицу Наталью Гончарову, которой было... 16 лет (вот ещё одно совпадение судеб двух поэтов, встретивших почти одновременно свою настоящую любовь). Как писал позднее Пушкин: “Когда я увидел её в первый раз, красоту её едва начали замечать в свете. Я полюбил её. Голова у меня закружилась...” Своё предложение невесте Пушкин сделал 30 апреля 1829 года в Москве, когда он уже начал осуществлять план своего долгожданного побега на Кавказ: 4 марта поэт получил подорожную “на проезд от Петербурга до Тифлиса и обратно”, подписанную Санкт-Петербургским почт-директором К. Я. Булгаковым, минуя III Отделение и нарушая при этом установленный порядок. Поэта ждало весьма длительное странствие: почтовый тракт от Петербурга до Тифлиса насчитывал 107 станций и 2670 верст.

Куда же всё-таки ехал Пушкин? Вопрос этот совсем не праздный, ведь не случайно же П. А. Вяземский, прекрасно знавший и Грибоедова, и Пушкина, писал в своих письмах и дневниках того периода, что Пушкин отправлялся куда-то “дальше”, “на Восток”. Позволим себе высказать предположение, которое, конечно, следует ещё подтвердить и доказать, что во время своих встреч в Петербурге Пушкин и Грибоедов могли договориться о том, что Грибоедов, имея полномочия по приёму в состав своего посольства новых сотрудников, в случае приезда Пушкина в Тифлис попытается принять его на службу или просто возьмёт его с собой в Персию. Для Пушкина как сотрудника Коллегии иностранных дел, которого никуда не отпускало начальство, такой поворот в судьбе мог быть весьма привлекательным, особенно учитывая его желание воочию увидеть Персию и постоянные неувязки в тот период с устройством им своей личной жизни (вспомним хотя бы о готовности поэта уехать в Китай в долгосрочную экспедицию).

Пушкину было хорошо известно, что Грибоедов как российский посланник в Персии должен был длительное время находиться именно в Тифлисе, отправляясь оттуда в Персию и возвращаясь обратно (напомним, что, уехав из Петербурга в конце июля 1828 года, Грибоедов отправился в Персию лишь 6 октября, а из Тегерана в Тавриз он планировал вернуться в конце января — начале февраля 1829 года, когда и произошла трагедия). И Пушкин, отправляясь на Кавказ из Петербурга в начале марта 1829 года, как раз и мог рассчитывать на то, что он застанет Грибоедова в Тифлисе. А само ужасное известие о гибели поэта-дипломата дошло до Пушкина уже в Москве около 20 марта, что не могло не внести коррективы в его планы. Ведь поэт, перестав торопиться, пробыл в Москве до 2 мая, причём он отправился сначала в Орёл к генералу Ермолову, с которым Грибоедов служил долгие годы.

В Москве поэт обсуждал тегеранскую трагедию со многими своими знакомыми и друзьями, в том числе с сёстрами Ушаковыми, о чём может свидетельствовать очень выразительный портрет Грибоедова, который Пушкин нарисовал позднее в альбоме Ел. Н. Ушаковой. Примечательно, что поэт изобразил Грибоедова именно в персидской шапке. (В последний раз Пушкин нарисовал Грибоедова в своих рукописях в мае 1833 года).

Пушкин не скрывал от друзей, что он собирается на Кавказ, и эта новость не могла не вызывать и в Петербурге, и в Москве кривотолки, во-первых, о каком-то мифическом плане Пушкина бежать через турецкое побережье за границу, во-вторых, об опасности такого путешествия, а в-третьих, о бросающейся в глаза схожести судьбы поэта с судьбой Грибоедова. В. А. Ушаков, например, писал: “В прошедшем году (т<о> е<сть> в апреле 1829 г<ода>) я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. “О, Боже мой, — сказал я горестно, — не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова. — Так что же? — отвечал поэт. — Ведь Грибоедов сделал своё. Он уже написал “Горе от ума”. А в письме московского почт-директора А. Я. Булгакова к брату от 21 марта 1829 года говорилось о той же аналогии: “Он <Пушкин> едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть это всё. “Ах, не ездите, — сказала ему Катя, — там убили Грибоедова. — Будьте покойны, сударыня, — неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Будет и одного”.

Побег в Арзрум

Убегая на Кавказ, Пушкин не думал об опасностях пути:

*Я ехал в дальние края;
Не шумных... жаждал я,
Искал не злата, не честей
В пыли средь копий и мечей.*

Поэт не мог не чувствовать витавшие и над ним порывы “роковой” судьбы. И как это часто бывало в его жизни, он сам смело шёл навстречу этим веяниям, проявляя почти безрассудный героизм и стремясь к выполнению задачи, сформулированной им самим ещё в марте 1821 года: “Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа...” Начнём с того, что, фактически убегая из столиц якобы только для “свидания с братом и некоторыми из моих приятелей”, поэт не мог не понимать, что его ждут серьёзные неприятности. Конечно, этот побег выглядел довольно странно. О планируемом отъезде поэта знали очень и очень многие, подорожная ему, хотя и с нарушениями, была выписана. Пушкин, приехав в Москву 14 марта, уехал из неё только в ночь на 2 мая. Получается, что *недреманное око* жандармского надзора почему-то выпустило из поля зрения поэта, и не специально ли Пушкину было дозволено всё-таки отправиться на Кавказ, чтобы он мог воспеть впоследствии победы русского оружия? “Узнав случайно, что г. Пушкин выехал из С.-Петербурга по подорожной, выданной ему... на основании свидетельства частного пристава Моллера”, Бенкендорф ещё 22 марта распорядился о продолжении за Пушкиным “секретного наблюдения” в местах следования. Показательно, что уже 12 мая в Тифлисе генерал И. Ф. Паскевич довёл до сведения военного губернатора Грузии С. С. Стрекалова, что направляющийся на Кавказ Пушкин должен состоять под секретным надзором. При этом сам Пушкин прибыл в Тифлис только 27 мая.

“Путешествие в Арзрум” — истинный шедевр мемуаристики и “путевой литературы” — было написано Пушкиным в 1835 году и в следующем году напечатано в журнале “Современник”. Вобравшее в себя впечатления от поездки на Кавказ, оно не должно восприниматься только в качестве путевого дневника, ведь за внешней повествовательностью в нём просматривается явная художественная задача автора по осмыслению роли и предназначения поэта, оказавшегося в центре великих исторических событий. При этом совсем не

случайно в “Путешествии...” сквозной нотой звучит тема Грибоедова, оказавшегося первым в ряду страдальцев русской поэзии.

Показательно, что своё путешествие Пушкин начал с посещения в Орле бывшего главнокомандующего на Кавказе генерала А. П. Ермолова, с которым долгое время работал Грибоедов и о котором не мог не рассказывать поэту во время их встреч в 1828 году. Из дневника Пушкина следует, что при встрече собеседники говорили и о судьбе Грибоедова, хотя Пушкин упомянул не о его трагедии, а об отношении к его стихам Ермолова: “О стихотворениях Грибоедова говорит он, — замечал Пушкин, — что от их чтения скулы болят”.

Не успел Пушкин выехать из Владикавказа, как 24 мая на пути по Дарьяльскому ущелью он встретил ту самую “искупительную миссию” персидского принца Хосрова Мирзы, направленную шахом Ирана в Петербург для извинений за гибель русского посольства в Тегеране. Вот как Пушкин описал встречу с персидским поэтом Фазиль-ханом, находившимся в составе миссии: “Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазиль-хану. Я, с помощью переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазиль-хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостью порядочного человека! “Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и пр.” Со стыдом принуждён я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости! Вперёд не стану судить о человеке по его бараньей паху и по крашеным ногтям”.

О том, что эта встреча также навеяла Пушкину воспоминания о Грибоедове, свидетельствует хотя бы то, что в черновой редакции его очерка приводилась цитата из “Горя от ума”... (Пушкин. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 1017), а одного из участников персидской миссии, камергера двора персидского шаха, позднее, осенью 1829 года Пушкин нарисовал по памяти в том же альбоме Ел. Н. Ушаковой, где он запечатлел и самого Грибоедова в персидской шапке. А в своём наброске стихотворения, посвящённого Фазиль-хану, Пушкин совсем не случайно вспомнил любимых им так же, как и Грибоедовым, персидских поэтов Хафиза и Саади:

*Благословен твой подвиг новый,
Твой путь на север наш суровый,
Где кратко царствует весна,
Но где Гафиза и Саади
Знакомы имена.*

*Ты посетишь наш край полночный,
Оставь же след
Цветы фантазии восточной
Рассыпь на северных снегах.*

Позднее, 5 июня в военном лагере при Евфрате, Пушкин написал ещё одно стихотворение “Из Гафиза”, обращённое к Фаргат-беку, татарскому юноше, входившему в мусульманскую воинскую часть русской армии:

*Не пленяйся бранной славой,
О, красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!*

В черновике этого стихотворения сохранилась важная запись Пушкина: “Шеер I. Фаргад-Беку”, которая может свидетельствовать о том, что поэт задумывал тогда написать целый цикл стихов (по-азербайджански “шеер” или “шеир” означает стихотворение) из Хафиза и других персидских лириков, но не смог впоследствии этого сделать. К тому же, по мнению исследователя Д. И. Белкина, указанный стих являлся своеобразным ответом на поэтическое творение “В Персию” поэта А. Н. Муравьёва, который вскоре совершит знаковое и отмеченное Пушкиным паломничество в Иерусалим.

Стихотворение “Не пленяйся бранной славой...”, скроенное из элементов русской и персидской лирики, отличает гуманное отношение поэта к жестокостям войны и его уверенность в том, что смерть не встретит “молодого красавца”. Такое же настроение гуманизма и желания избежать лишних смертей звучит и в пушкинском описании последних минут жизни воевавшего в русских рядах и раненого Умбай-бека из Ширвана: “Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга”.

Следует дополнительно отметить, что в описании встречи с персидским принцем Пушкин больше внимания уделил поэту Фазиль-хану, нежели самому принцу. Думается, что, когда Пушкин в 1835 году работал над “Путешествием...”, ему уже была хорошо известна довольно постыдная для властей предрежащая история, связанная с тем, что слишком пышные многочисленные приёмы принца в России и царскими властями, и аристократией резко контрастировали с замалчиванием героической судьбы Грибоедова и официальными обвинениями его в том, что он якобы сам виноват в разыгравшейся трагедии.

Встретив миссию персидского принца, Пушкин не знал, что в её составе в качестве личного врача принца находился том самый Гаджи-баба (Хаджи-баба), о котором он упомянул в “Путешествии...”, рассказывая о прошлом Арзрума. Дело в том, что этот врач, посланный Аббас Мирзой на обучение в Лондон, провёл там 9 лет и стал прообразом главного героя двух романов английского писателя Дж. Мориера “Похождения Хаджи-бабы из Исфагана” и “Мирза Хаджи-баба Исфагани в Лондоне”. Пушкин прекрасно знал эти романы, и, наверное, он бы сильно удивился, встретив по пути в Тифлис легендарного литературного персонажа. Кроме упоминания романов Дж. Мориера, в своём “Путешествии...” Пушкин цитировал (причём на английском языке) в описании тифлиских бань известную поэму английского романтика Т. Мура “Лалла-Рук”, которая была очень популярна в России. А в ряде мест его путевых записок можно заметить перекличку с также широко известными в России “Персидскими письмами” Монтескье. Пушкин при этом, как и Грибоедов ранее, переходил в описании увиденного им во время странствий от романтизма к явному реализму, навеянному зримыми приметами точного мира.

Снова ощутив благотворное влияние Востока, Пушкин создаёт во время своего длительного путешествия и позднее новые поэтические шедевры: “На холмах Грузии лежит ночная мгла...”, “Калмычке”, “Олегов щит”, “Дон”, “Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, “Кавказ”, “Обвал”, “Делибаш”, “Монастырь на Казбеке”, “Опять увенчаны мы славой...”, “Был и я среди донцов...”, “Меж горных стен несётся Терек...”, “Стамбул гяуры нынче славят...”, “Подражание арабскому”, “Когда владыка ассирийский...”, “Золото и булат”, неоконченную поэму “Тазит”. И как бы восторженно ни звучали все эти стихи, в них то и дело слышалась печальная нота тягостных предчувствий:

*День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.*

*И где мне смерть пошлёт судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладельный прах?*

Совершая свой “побег на Кавказ”, Пушкин как будто бы бежал ещё дальше – к “вольному” небу, “вождеденному” свету и “вечным лучам”, а иначе – к Богу. Горный монастырь на Казбеке поэт отчётливо увидел в образе спасительного ковчега:

*Высоко над семьёю гор,
Казбек, твой царственный шатёр
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь над облаками,*

*Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный над горами.*

*Далёкий, возделенный берег!
Туда б, сказав “прости” ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скряться мне!..*

Путешествие в Арзрум было одним из самых тяжёлых испытаний в жизни поэта, прежде всего, потому, что его ждали трудности долгого и изнурительного пути то верхом, то пешком, бывало, по 40–50 вёрст в день, а также опасность угодить под “горскую пулю” в любом месте, о чём рассказано на многих страницах “Путешествия...” В дороге поэту пришлось действительно показывать чудеса выносливости.

Прибыв в Тифлис 27 мая, на следующий день после своего тридцатилетия, Пушкин не мог не вспоминать ежедневно о Грибоедове, о котором в этом городе действительно напоминало очень многое, ведь он уехал из него с молодой женой в Персию всего лишь восемь с половиной месяцев назад. А встречаться Пушкину пришлось со многими друзьями и знакомыми Грибоедова, которые не могли не рассказывать о нём гостю: с гражданским губернатором П. Д. Завилейским, соавтором Грибоедова в работе над очень важным “Проектом Российской Закавказской компании”, с П. Н. Ахвердовой, воспитательницей жены Грибоедова Нины Чавчавадзе, с редактором “Тифлисских ведомостей” П. С. Санковским. Почему Пушкин не встретился с самой вдовой Грибоедова, не совсем ясно, вероятнее всего, она болела после тяжкой вести о смерти мужа и смерти сына Александра или её просто не было тогда в Тифлисе, в которой она вернулась из Тавриза в марте того же года.

Встреча на перевале

Получив 10 июня разрешение Паскевича присоединиться к армии, Пушкин, меняя лошадей на казачьих постах, “галопом помчался” к лагерю русских войск, преодолев в первый день 72 версты, во второй – 77, в третий – 94, в четвёртый – 46, всего, с учётом пройденного ещё походным порядком вместе с войсками, около 320 вёрст за 4 дня. Такую нагрузку мог себе позволить только самый опытный кавалерист. И именно в эти изнурительные для поэта дни произошли два события, которые автор “Путешествия...” описал с особым настроением. Первое – 11 июня неподалёку от крепости Гергеры. Вот слова автора: “Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении... Я взглянул ещё раз на опалённую Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был другим.

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окружённой издали горами... Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пёстрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. ... Я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряжённые в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы? – спросил я их. – Из Тегерана. – Что вы везете? – Грибоеда”. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис”.

Далее в “Путешествии...” следует широко известный, примерно полутрестраничный текст о Грибоедове, который включает в себя и воспоминания Пушкина о встречах с другом, в том числе о последней из них, наполненной трагическими предчувствиями поэта-посланника, и точный психологический портрет Грибоедова с особенностями его характера и вехами судьбы, и слова о завидном для Пушкина геройском завершении жизненного пути его товарища и тезки: “Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна”.

Не о такой ли смерти для себя думал и мечтал сам Пушкин, который в трагические дни дуэльной истории с Дантесом бесстрашно шёл на поединок, словно в смертельный бой, защищая и свою честь, и честь своей жены. Так же героически Пушкин вёл себя и во время своего арзрумского приключения, беря пример в том числе и с Грибоедова. И. П. Липранди как-то отметил такую показательную черту характера поэта: “Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту” (напомним, что и игроком Пушкин тоже был азартным!).

Сетуя, что “замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов”, Пушкин фактически ответил на вопрос, почему в его “Путешествии...” появилась отдельная вставка о Грибоедове: “Написать его биографию было бы делом его друзей...” Пушкин, по сути, отдал дань памяти поэта-мученика, имя которого сразу же после гибели стало запретным с учётом загадочных и политически острых обстоятельств его гибели.

Но была ли сама эта встреча в горах, мистическое значение которой бросалось в глаза уже в 1830-е годы: ведь там, на Кавказе, произошла символическая передача условной палочки “одного из первых поэтов России” от Грибоедова к не превзойдённому никем Пушкину, но одновременно и трагической линии судьбы от более старшего к более молодому поэту? Для сомнений, действительно, есть немало оснований. Во-первых, ещё никем точно не рассказано, могли ли вообще встретиться именно в этот день и именно в этом месте Пушкин и траурная процессия. Во-вторых, Пушкин, зная прекрасно пройденный им маршрут, почему-то, как будто бы специально, перепутал в своём повествовании положение мест следования: крепость или село Гергеры расположена на самом деле до Безобдальского перевала, а не после него, как он указал в тексте, рядом с этим селом нет никаких “трёх шумных потоков”, и стоит оно не на “высоком берегу реки”. В-третьих, и это самое главное, Пушкин увидел не внушительную и торжественную процессию, а весьма скромную и немногочисленную: два вола везли арбу, сопровождаемую несколькими грузинами.

Попробуем разгадать эту загадку, которая давно уже будоражит умы исследователей. Начнём с того, что тело убитого Грибоедова действительно пережило удивительную эпопею. После разгрома миссии оно в силу страшных повреждений было с величайшим трудом опознано среди трупов убитых только по сведённому мизинцу – это было следствием ранения, полученного поэтом во время дуэли с А. И. Якубовичем в 1819 году. В церковных книгах сохранилась запись, свидетельствующая о том, что в 1829 году в армянской церкви Тегерана в течение двух месяцев находились три гроба с покойниками: русским послом Грибоедовым, князем С. Меликовым, также погибшим во время резни, и богатой пожилой армянкой Воски-ханум. Остальные погибшие, до перезахоронения их на территории армянской церкви в 1836 году, были просто свалены в яму за городом и находились там около 7 лет.

В архиве той же церкви имеется запись о церемонии погрузки на телегу гроба посланника для отправки к русской границе. Этот гроб, самой простой работы, покрытый “чёрным плисом”, который везли “в трахтраване, обшитом белым сукном”, сопровождался до границы с Россией сотней вооружённых сардаров во главе с персидским офицером и сначала был доставлен в Тавриз, где при участии русского консула А. К. Амбургера к гробу приделали ручки и накрыли его малиновым балдахинном, на котором золочёными нитками был вышит российский герб.

1 мая 1829 года гроб был переправлен на пароме через Аракс в районе Джульфы (вот новое совпадение: именно в этот день Пушкин выехал из Москвы на Кавказ) и торжественно встречен на российском берегу войском и духовенством. На всём пути следования траурного кортежа в сторону Нахичевани его сопровождала толпа скорбящих людей. В Нахичевани, из-за изуродованности тела и его жуткого состояния по причине длительности хранения, гроб был законопачен и залит нефтью. 3 мая гроб с телом Грибоедова выехал из Нахичевани, его сняли с колесницы и повезли дальше уже на простой арбе, потому что долгая горная дорога не допускала иного транспортного средства, а также не способствовала массовому торжественному шествию. Сопровождать гроб через Эчмиадзин, Гумри и Джалал-оглы в Тифлис было поручено прапорщику Тифлисского пехотного полка Макарову с командой солдат этого полка.

Почему же до Безобдальского перевала и крепости Гергеры процессия двигалась так долго — до 11 июня, ведь примерное расстояние до них от Нахичевани по дорогам того времени — не более 500 верст? Объяснение состоит в том, что тогда в разных местах вспыхивала эпидемия чумы, повсюду вводились карантинные меры, на дорогах выставлялись заставы и ограничивали проезд транспорта и людей. Траурный кортеж вынужден был не раз останавливаться из-за этих карантинных мер и лишь в конце июня достиг предместья Тифлиса — Ортачала (Артчала) в трёх верстах от города, где снова пришлось переждать карантин. Лишь 17 июля гроб с телом был доставлен в Сионский кафедральный собор Тифлиса, а 18 июля погребён в монастыре Святого Давида на горе Мтацминде (ещё одно совпадение: именно на следующий день Пушкин отправился из Арзрума обратно в Тифлис). Так закончилась почти полугодовая эпопея путешествия останков Грибоедова.

Пушкин, выехав из Тифлиса 10 июня и проехав за два дня почти 150 верст, именно 11 июня въезжал верхом в Армению со стороны Грузии, через Гергеры, по дороге, которая нынче заброшена и заменена другой, того же приблизительно направления, связывающей районные центры Армении — Степанаван (раньше Джалал-оглы) и Калинино (раньше Воронцовка) — со столицей Грузии Тбилиси. Перевал, где, по некоторым данным, состоялась историческая встреча, находится между Ванадзором и Степанаваном, раньше он назывался Безобдальским, но был переименован в Пушкинский в честь печальной встречи, так же как и село Гергеры получило имя Пушкино. Высота Пушкинского перевала 2030 метров, и с него действительно открываются потрясающие виды на Армению. В 1938 году на перевале в произвольно выбранном месте был установлен памятник-родник с бронзовым барельефом, изображающим Пушкина на коне, рядом с ним — арба, запряжённая волами, а на арбе — гроб. Памятник собирались установить сначала на вершине горы, но из-за геологических условий не смогли этого сделать. Поэтому он был установлен на 860 метров ниже, у старого шоссе Степанаван—Ленинакан (ныне Гюмри). В 1971 году через гору построили двухкилометровый тоннель, и памятник стало неудобно посещать, так как он находился вдалеке от новой дороги. Поэтому было принято решение перенести его ближе к селу Гергеры. Памятник переместили почти на 8 километров и 30 ноября 2005 года открыли на новом месте, опять же совершенно произвольном. Получилось, что памятник стоял и стоит совершенно не там, где, согласно описанию поэта, произошла та самая встреча. Думаю, что когда-нибудь должна будет восторжествовать справедливость, и памятник будет перенесен туда, где находится его законное место.

Но была ли всё-таки встреча на перевале? Посмотрим утверждать, что была. Указанные выше сомнения рассеиваются, если учесть следующие существенные обстоятельства. 1. Время следования Пушкина в одну сторону, а гроба с телом Грибоедова — в другую сторону по одной и той же дороге, соединявшей Грузию и Армению, доказывает, что они *могли* пересечься в указанной точке *именно 11 июня*. Надеюсь, что где-нибудь в архивах ещё прячутся документы о точном расписании движения процессии, которые подтвердят это утверждение. 2. Неточности в описании Пушкиным порядка следования и деталей окружающей природы можно объяснить не только тем, что он описывал эти события по памяти, хотя и с использованием своего кавказского дневника, позднее, в 1830-м или 1835 году, но и тем, что, по-видимому, для поэта такие детали не имели существенного значения, ведь он передавал не только и не столько чёткую документальную картину увиденного, сколько яркий художественный образ своего путешествия. По мнению исследователя К. В. Айвазяна, Пушкин то ли по забывчивости, то ли специально назвал именем Гергеры село Джалал-оглы (в 1924 году переименованное в честь Степана Шаумяна в город Степанаван), которое подходит по всем приметам: и три речки сливаются здесь перед въездом в село, и стоит это село, представлявшее собой крепость, именно на “высоком берегу”.

Мне посчастливилось проехать тем же путём, которым следовал Пушкин в Арзрум по Армении, и я могу с полной уверенностью утверждать, что историческая встреча состоялась никак не на самом Пушкинском перевале и никак не в Гергерах, а именно в Джалал-оглы, которое полностью подходит под то описание, которое оставил поэт.

Это же обстоятельство художественности, а не строгой документальности, вероятнее всего, сыграло свою роль и в том, как скупой описал Пушкин са-

му траурную процессию. Напомним, что все обстоятельства гибели Грибоедова были фактически преданы забвению сразу же после трагедии, и даже упоминает о них тогда было запрещено цензурой. Пушкин хотел, прежде всего, привлечь внимание российской публики на самую память о великом русском поэте, погибшем на дипломатическом посту, и разукрашивать картину проводов “уже почти забытого светом” поэта он просто не посчитал нужным.

При этом Пушкин отнюдь не погрешил против истины. Мы знаем, что гроб с телом в горных условиях везли действительно на арбе (примечательно, что первоначально поэт писал, что её везли “четыре вола”, потом он написал “два вола”), а колесница или следовала далее, или просто была оставлена где-то на очередном карантине. Не забудем, что шёл уже 38-й день путешествия гроба из Нахичевани, и, конечно, на безлюдной горной дороге никому не нужна была торжественная процессия с “малиновым балдахином” с “расписанным золотом российским гербом” и марширующей ротой солдат. Всё происходило намного прозаичнее: сопровождавшие гроб солдаты, к стати, именно Тифлисского, а значит, грузинского полка во время нудного пути по жаре и горным перевалам могли не соблюдать строгости марша, рассредоточиваться, отдыхать в дороге и т. д. Вот почему и могли сопровождать арбу, как писал Пушкин, “несколько грузин” (Пушкин ведь не утверждал, что они не были солдатами).

Немаловажно учесть, что первоначальным пунктом следования прапорщика Макарова с солдатами и гробом Грибоедова был именно Джалал-оглы, где располагалась крепость, которая была построена в 1826 году под руководством — и это весьма удивительно! — Дениса Давыдова, известного поэта и партизана. Вероятнее всего, в Джалал-оглы почётному эскорту пришлось пробить из-за эпидемии чумы некоторое время и, по-видимому, каким-либо образом перегруппироваться или даже переформироваться.

До сих пор появляющееся в печати сомнение, что, в отличие от траурной процессии, Пушкин якобы не мог так быстро миновать все “чумные карантинны”, когда он выехал из Тифлиса, опровергается очень просто: поэт ведь ехал из ещё не охваченной эпидемией Тифлиса в сторону боевых действий с официальным разрешением на это, свернув впоследствии с дороги на Эривань в сторону турецкого Карса и Арзрума. О самой чуме по пути следования поэт узнал как раз после встречи с останками Грибоедова, когда он встретил “армянского попа”, ехавшего в Ахалык из Эривани: “Что именно нового в Эривани? — спросил я его. — В Эривани чума, — отвечал он”. К стати, на обратном пути из Арзрума, куда уже пришла угроза чумы, Пушкин, как и траурная процессия, несколько дней вынужден был потерять в чумных карантинах: до Тифлиса он добирался больше 11 дней.

Не противоречит факту встречи и то обстоятельство, что текст о Грибоедове смотрится в общем контексте “Путешествия...” как отдельная и важная вставка. По мнению исследователя С. А. Фомичёва, этот отрывок был написан Пушкиным в качестве самостоятельного произведения ещё в 1830 году для напечатания в “Литературной газете” в качестве второй статьи о его путешествии (первая — “Военная Грузинская дорога” — была опубликована там же в начале 1830 года). Эту версию подтверждает хотя бы то, что в беловом автографе “Путешествия...” “грибоедовский эпизод” помещён на отдельных листах, заключён знаком концовки, а перед его начальными словами рукой Пушкина сделана пометка карандашом “Статья II”. По-видимому, никакие неточности в тексте о Грибоедове не смущали Пушкина, желавшего напомнить читателям о том, кого Россия так трагически потеряла.

Итак, печальная встреча состоялась, и она не могла не наложить свой отпечаток на всё путешествие, которое уже на следующий день, 12 июня, принесло поэту новый прилив эмоций. Ведь Пушкин добрался, наконец, до границы своего бескрайнего Отечества. Послушаем его яркое признание: “Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. “Вот и Арпачай”, — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда ещё не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вёл я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда ещё не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё ещё находился в России”.

Какой восторг и какое разочарование звучат в этих словах поэта: наконец-то он вырвался за пределы своего Отечества, на вольные просторы мира, за ту потаённую границу, преодолеть которую мечтал долгие годы, куда не раз хотел совершить свой побег странника-поэта, но и тут снова оказалась русская земля! Правда, тогда поэт ещё не знал, что ему “посчастливилось” углубиться на территорию Турции до самого Арзрума, а это не менее 300 верст по иноземным путям-дорогам. В отличие от земель Грузии и Армении, эти земли хотя и войдут впоследствии в состав Российской империи, позднее, в 1918 году, в революционную эпоху вновь вернуться в состав Турции. И можно с полным основанием считать, что Пушкин целых полтора месяца, с 12 июня по 28 июля единственный раз в жизни, но все-таки находился за границей.

“Не то солдат, не то путешественник”

13 июня Пушкин прибыл в военный лагерь к своему брату Льву Сергеевичу, служившему в Нижегородском полку и принимавшему активное участие в русско-персидской и русско-турецкой войнах. Первые слова, которые сказал Пушкин, обращаясь к встреченному им декабристу М. И. Пущину, были: “. . . Где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай мне, пожалуйста, видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал”. Поэт попал в самое пекло русско-турецкой войны и впервые в жизни показал себя настоящим воином, проявив неприкрытый и порой безрассудный героизм, следуя примеру многих героев той жестокой военной поры, в том числе и Грибоедова, погибшего, по сути, на поле боя с оружием в руках. Позднее Н. А. Раевский утверждал, что “было нечто, мне кажется, болезненное в той лёгкости, с которой он рисковал своей жизнью. . .” Поэт готов был мчаться под пули без всякой опаски, воодушевлённый своим участием в великих исторических событиях. И это с особой силой проявилось в сражении за Арзрум, блистательной операции, принесшей славу русскому оружию.

Многие участники этой кампании запомнили Пушкина, который в кавказской бурке, наброшенной на изысканный сюртук, в круглой шляпе, с нагайкой в руке или длинной казацкой пикой во время боя скорее напоминал солдатам то ли “немецкого пастора”, то ли “батюшку”, но никак не штатского поэта. Пушкин со свойственной ему иронией позднее изобразил самого себя в таком виде в ушаковском альбоме, нарисовав также вид города Арзрума. Участие поэта в боевых действиях протекало так: 14 июня он участвовал в перестрелке с турецкой кавалерией, 19 и 20 июня – в преследовании отступавшего противника, 22 и 23 июня – в походе к крепости Гассан-кале, а 27 июня – в самом взятии Арзрума. Преследуя турок, поэт не раз отрывался от войск и лишь случайно уберётся от пуль и ранений. По словам Пущина, “в нём разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком”. От беды Пушкина спас капитан Н. Н. Семичев, вовремя взявший под уздцы лошадь Пушкина. Как писал историк Н. И. Ушаков, “Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин. . . схватив пикой возле одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников”.

Пушкин как будто бы о самом себе писал в стихотворении “Делибаш”:

*Эй, казак! Не рвися к бою:
Делибаш на всём скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удаляю башку.*

*Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак — без головы.*

Во время штурма Арзрума поэт находился рядом с Паскевичем на чистом месте, когда по ним палили турецкие батареи. Так же как Грибоедов сделал

это во время русско-персидской войны, Пушкин проверил свою храбрость под обстрелом орудий. Как вспоминал М. Ф. Юзефович, “Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и особенно слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра, однако, не испугали его, несмотря на то, что одно из них упало очень близко”. А однажды сакля, в которой несколько минут до этого находился поэт, взлетела на воздух от прямого попадания в пороховой запас. Поэт, оказывавшийся каждый раз в центре грозных батальных событий, в итоге имел полное право сказать:

*Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привёз нагайку.*

Пушкину, не участвовавшему по молодости лет в баталиях 1812 года, повезло принять живое участие в новых победах русского оружия, опередивших будущее целого края:

*Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражён,
Решён в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашён.*

27 июня русские войска вошли в Арзрум. Среди пленных был паша, который, увидев штатского среди военных, спросил, кто это такой. Узнав, что перед ним поэт, как вспоминал Пушкин, “паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: “Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет Отечества, ни благ земных, и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и все ему поклоняются”. Выходя из палатки, я увидел молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиной в руке и мехом за плечами. Он кричал во всё горло. Мне сказали, что это был мой брат, дервиш, пришедший поприветствовать победителя”.

Вообще за время своего арзрумского бегства Пушкин собственными глазами увидел столько восточного колорита, что его хватило на несколько лет творчества. Приведём несколько примеров такого рода: на пути к Георгиевску поэт посетил калмыцкую кибитку и разговаривал в ней с молодой калмычкой; не доезжая Владикавказа, он поднимался на минарет Татартуб и оставил на его стене своё имя; в Тифлисе ходил в местные бани, в которые его, несмотря на женский день, провёл “старый персиянин”, и особенно полюбил в столице Грузии армянский базар, где однажды видели, как он “шёл, обнявшись с татаринном”; в Карсе внимательно осматривал крепость, которую чудом взяли русские войска; в частях русской армии общался с “беками мусульманских полков”, проявляя особый интерес к вероисповеданию курдов-езидов, слывших на Востоке дьяволопоклонниками, разговаривал с ними и убедился в их вере в Аллаха и неприятии сатаны; в Гассан-кале побывал в серно-железистой бане, осмотрел местные источники и крепость; на полях боёв неоднократно рассматривал убитых и раненых турок, помогал последним; неоднократно беседовал с русскими солдатами и офицерами об их воинских подвигах и судьбах (к примеру, один из офицеров, попав к персиянам в плен, был осклопён, 20 лет служил евнухом и рассказывал о своём “пребывании в Персии с трогательным простодушием”); в Арзруме участвовал во всех парадных мероприятиях по случаю русской победы, долго и подробно изучал тесные и кривые улицы города, минареты, крепостные постройки, общался с турецкими пленными, жил во дворце Сераскира; там же не испугался навестить лагерь заражённых чумой и с удовольствием посетил с целью проверки гарем пленённого Османа-паши: “Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством. Таким образом, видел я харем: это удавалось редкому европейцу”.

Поэт прекрасно видел, насколько неоднороден и разнообразен Восток. Об этом он лучше всего сказал в стихотворении “Стамбул гяуры нынче славят...”, показав разницу между “порочным” Стамбулом и “праведным” Арзрумом:

*Стамбул отрёкся от пророка;
В нём правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил —
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от пота битвы
И пьёт вино в часы молитвы...
Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум:
Не спим мы в роскоши позорной.
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.*

Следует особо отметить: именно во время своего боевого похода Пушкин рассказывал друзьям-офицерам, что по его первоначальному замыслу Евгений Онегин должен был или погибнуть на Кавказе (опять реминисценция с судьбой Грибоедова!), или попасть в число декабристов. Вернувшись 1 августа в Тифлис и пробыв там 6 дней, поэт первым делом посетил свежую могилу Грибоедова, который был похоронен всего лишь полмесяца назад. По воспоминаниям Н. Б. Потокского, перед могилой “Александр Сергеевич преклонил колени и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слёзы”. Сказано скупно, но мы можем представить себе, какие чувства обуревали поэта в этот миг прощания и преклонения перед другом. По некоторым данным, Пушкин посетил могилу Грибоедова дважды, что подчёркивает его особое отношение к памяти о друге. Пушкину суждено было посещать ещё не обустроенную могилу, на которой известный памятник появится намного позже, и это не могло не усиливать у поэта ощущения горечи, забвения и тревоги...

Очередной загадкой является то, что и на этот раз Пушкин не упомянул о своей встрече в Тифлисе ни с вдовой Грибоедова Ниной, ни с её отцом, поэтом и государственным деятелем А. Г. Чавчавадзе. По-видимому, эти встречи тогда всё-таки состоялись, но поэт не мог упомянуть о них в 1835 году, так как Чавчавадзе с группой его единомышленников был обвинён в 1832 году в антиправительственном заговоре, осуждён и отбывал наказание.

Восточный колорит вновь и вновь бросался в глаза поэту в столице Грузии: “Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинёв. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряжённые волами, перегораживали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали... на карабахских жеребцах”. “Очаровательный край! — писал Пушкин о Грузии. — Сколько я почерпнул истинной поэзии, сколько испытал разных впечатлений”.

Увидев многое, Пушкин остро почувствовал животрепещущие проблемы кавказского края, понимая всю тяжесть постоянных стычек и войн с местными народами, и совсем не случайно он увидел способы решения назревших противоречий через просвещение, человечность и духовное подвижничество. Позднее в статье “Военная Грузинская дорога” он прямо поднял в связи с этим вопрос о православном просвещении и проповеди Евангелия, вспомнив паломников и скитальцев: “Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лениности в замену слова живого выливать мёртвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Кто из вас, муж веры и смирения, уподобится святым старцам, скитающим по пустыням Африки, Азии, Америки без обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи — но оживлённым тёплым усердием и смиренномудрием?”

Однако Пушкин, в отличие от многих европейских мыслителей, к примеру, Шатобриана, которые видели в проповеди христианства “единственный путь” к возрождению “отсталых” народов Востока, не относился абсолютно отрицательно к мусульманскому миру и считал, что только на основе уважения местных обычаев и традиций, понимания сути и проявлений ислама можно установить дружеские отношения с мусульманскими народами, вошедшими в состав России. Таких же взглядов придерживался и Грибоедов, который прошёл “огонь и воду” в противостоянии двух разных миров и не мог не высказывать свою точку зрения Пушкину...

Самое любопытное, что на следующий день после отъезда из Арзрума, 20 июля над Пушкиным начали сгущаться тучи. В этот день А. Х. Бенкендорф доложил наконец-то императору об отъезде поэта на Кавказ (получается, что он скрывал этот факт от государя, по крайней мере, с 22 марта, когда “случайно” узнал об отъезде и поручил продолжать по пути следования секретный надзор за поэтом). В своей записке шеф жандармов указывал: “Надо его спросить, кто ему дозволил отправиться в Эрзерум, во-первых, потому что это вне наших границ, во-вторых, он забыл, что должен сообщать мне о каждом своём путешествии”. Государь попросил разобраться и найти виновных. Тем временем, преодолев за шесть суток более 1000 верст, 20 сентября поэт вернулся в Москву, где сразу был взят под надзор.

14 октября Бенкендорф обратился к Пушкину с запросом о его поездке на Кавказ, вновь упирая на то, что поэт посмел уехать не куда-нибудь, а за границу: “Государь император, узнав по публичным известиям, что вы... странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли Вы сие путешествие”. До этого Бенкендорф поручил своим подчинённым провести расследование “побега поэта” и получил данные, что заключительная часть путешествия была дозволена Паскевичем. Приехав в Петербург, 10 ноября Пушкин написал, наконец, оправдательное письмо Бенкендорфу, в котором с лукавил, будто он почти случайно, а не с заведомой целью оказался в действующей армии: “По прибытии на Кавказ я не мог устоять против желания повидаться с братом... с которым я был разлучён в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому... с просьбой выхлопотать для меня разрешение на проезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника”.

Далее поэт написал, что он “бы предпочёл подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того... кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова”, имея в виду императора. А сам император позднее, встретившись с Пушкиным в Петербурге, по воспоминаниям Н. В. Пютяты, “спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил: “Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя?” Конфликт был вроде бы исчерпан, но *недреманное око* продолжало следить за своевольным поэтом. Достаточно сказать, что в марте 1830 года Пушкин получил новый нагоняй от императора и Бенкендорфа за то, что без спроса уехал всего лишь из Петербурга... в Москву, куда приехал и Вяземский. Николай I не постеснялся в выражениях, когда сказал об этом Жуковскому: “Пушкин уехал в Москву. Зачем это? Какая муха его укусила... один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал”.

Ради справедливости следует сказать, что император, держа Пушкина на коротком поводке, нередко приходил ему на помощь, причём не только финансовой поддержкой и трудоустройством поэта в качестве писателя, создающего историю Петра Великого, но и морально поддерживал его. “...Он уж и так много сделал для меня”, – признавался поэт В. А. Жуковскому. К примеру, когда Булгарин набросился на Пушкина, по словам императора, “с несправедливейшей и пошлейшей статьёй” о “Евгении Онегине”, Николай I призвал запретить Булгарину какую бы то ни было “критику на литературные произведения”. Правда, при этом в письме Бенкендорфу государь высказал всё-таки критику в адрес Пушкина в том смысле, что он “сделал бы гораздо лучше, если бы не предавался исключительно этому весьма забавному роду литературы, но гораздо менее благородному, нежели его “Полтава””.

На пути к свадьбе

Своё возвращение в Россию после кавказской эпопеи сам Пушкин описал в “Воспоминаниях в Царском Селе” как возвращение “отрока Библии”, который “воспоминаньями смущенный” и исполненный “сладкою тоской”,

*Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.*

Путешествие придало Пушкину новые силы и новые надежды. Именно в последние месяцы 1829 года под впечатлением поездки в Арзрум поэт фактически закончил главу “Странствие” романа “Евгений Онегин”, которая войдёт потом в него в качестве “Путешествия Онегина”, а также почти дописал поэму с описаниями примет быта и обычаев жизни кавказских горцев “Тазит”. Он заказал художнику Н. Г. Чернецову акварель с видом Дарьяльского ущелья, и картина маслом, созданная по этому рисунку, висела у него в кабинете в последней петербургской квартире на Мойке. Любопытно, что “дариал” на древнем персидском языке означает “ворота” или, точнее, “врата аланов”.

Вернувшись в Петербург, Пушкин прочитал тенденциозные “Воспоминания о незабвенном А. С. Грибоедове” Ф. В. Булгарина, что не могло не укрепить его желания сказать своё честное слово о Грибоедове, что он и сделал потом в своём “Путешествии...” Кроме того, Пушкин ещё несколько раз цитировал поэта и вспоминал о нём в своих статьях и письмах, встречался с людьми, которые его хорошо знали. Весьма любопытно, что в январе-феврале 1830 года Пушкин общался в Петербурге с английским офицером и дипломатом Джеймсом Эдвардом Александером, долгое время жившим в Персии, встречавшимся там с Грибоедовым и написавшим книгу “Путешествие из Индии в Англию”, изданную в Лондоне в 1827 году, в которой, в частности, утверждал, что Мирза Якуб, тот самый “зловещий евнух”, сыгравший роковую роль в судьбе Грибоедова, был тесно связан с английскими резидентами в Персии. Не будет отступлением от истины утверждать, что во время этих встреч обсуждались потаённые стороны трагедии в Тегеране.

К Грибоедову, без всякого сомнения, можно отнести и вот эти слова Пушкина, которые он адресовал памяти М. Б. Баркляя де Толли:

*О люди! Жалкий род, достойный слёз и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведёт в восторг и умиленье!*

Пушкину пришлось не раз оправдываться в том, что, вернувшись с Кавказа, он не воспел ратные подвиги русского войска. На самом деле поэт гордился русскими победами, но не хотел по заказу воспевать царедворцев и полководцев и даже высказался об этом в своих набросках:

*Пока сердито требуют журналы,
Чтоб я воспел победы россиян
И написал скорее мадригалы
На бой или на бегство персиян...*

В 1831 году в “Бородинской годовщине” Пушкин всё же отдал дань И. Ф. Паскевичу и как усмирителю польского восстания, контуженному, но выжившему в боях за Варшаву, и как кавказскому герою, победителю персиян и турок:

*Победа! Сердцу сладкий час!
Россия! Встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.*

При этом Пушкин вспомнил “летающего за Прагу младого внука” Суворова, князя А. А. Суворова, того самого, который во время русско-персидской вой-

ны был рядом с Грибоедовым, когда он испытывал свою храбрость, не укрываясь от залпов вражеских орудий.

Поездка на Восток на время успокоила страсть Пушкина к путешествиям, но уже в конце 1829 года он написал, по сути, программное стихотворение и для самого себя, и для многих путешественников, назвав несколько мест, которые ему хотелось бы посетить:

*Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далёкого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поёт уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи, —
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,
Скажите: в странствиях умрёт ли страсть моя?*

В этом стихотворении поэт упомянул несколько стран, куда влекли его мечты странника, — Китай, Францию, Италию и, вероятно, Испанию. А какая была реальная подоплёка этого стихотворения? Оказывается, очень и очень любопытная, вновь связанная с Востоком. Дело в том, что после возвращения с Кавказа поэт неожиданно встретился со своим старым знакомым по работе в Коллегии иностранных дел П. Л. Шиллингом, человеком широкого научного кругозора, занимавшимся не только физикой, но и синологией (китаеведением). Зная китайский язык, Шиллинг изучал рукописи Древнего Китая и занимался организацией научной экспедиции в эту страну. Экспедиция должна была отправиться туда вместе с российским посольством. Он пригласил Пушкина, известного своей страстью к путешествиям, присоединиться к этому весьма трудному и опасному предприятию, поскольку Китай в ту пору для европейцев был «закрытой страной». На интерес Пушкина к Китаю повлияли и знаменитый своими авантюристическими наклонностями Н. Я. Бичурин (в монашестве Иакинф), который в качестве начальника православной духовной миссии прожил в Китае 14 лет и написал целый ряд книг, в том числе «Описание Тибета». Пушкин не только был знаком с этими книгами, но и часто общался с Бичуриным, открывавшим поэту тайны далёкого Китая и звавшим его в намеченную экспедицию.

Из-за сложности со сватовством к Н. Н. Гончаровой поэт находился в тот период на грани отчаяния и живо откликнулся на предложение друзей. 7 января 1830 года он отправился на приём к Бенкендорфу, но не застав его, написал ему письмо, в котором повторил свою старую просьбу о посещении Европы и сообщил о своём новом желании — посетить Китай: «Покамест я ещё не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством».

По сути, в данном случае поэт поступал так же, как Байрон перед своей женитьбой. Опасаясь отказа в сватовстве, Пушкин признавался в незаконченном отрывке «Участь моя решена, я женюсь...», переведённом якобы с французского, в твёрдом и навязчивом желании уехать подальше от родных просторов: «Если мне откажут, — думал я, — поеду в чужие края, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся, морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег: “My native land, adieu”. — “Моя родная земля, прощай” (англ.)». Причём поэту почти неважно было, куда ехать. В том же 1830 году в «Домике в Коломне» поэт признавался, что ему всё кажется, «что в тряском беге / По мерзлой пашне мчусь я на телеге»:

*Что за беда? не всё ж гулять пешком
По невскому граниту, иль на бале
Лощить паркет, или скакать верхом
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,
Со станцию на станцию шажком...*

Однако его надеждам на новое путешествие не суждено было сбыться. 17 января он получил ответ Бенкендорфа с уведомлением, что император “не соизволил снизить на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того, слишком отвлечёт вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай также не может быть удовлетворено, потому что все входящие в неё лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора”. Как же Николай I не хотел никуда отпускать поэта, в первую очередь, в силу его сомнительной “неблагонадежности”? В марте 1830 года он не отпустил Пушкина даже в Полтаву с Николаем Раевским. И как мог император утверждать, что путешествие в Европу “отвлечёт” Пушкина от его “занятий”, ведь литературное поприще, особенно для гениального поэта, в том-то и состояло, чтобы “напитываться новыми впечатлениями” и на их основе создавать новые произведения.

М. А. Цявловский в своих, к сожалению, уже забытых статьях о Пушкине приводил вообще феноменальный для темы нашего исследования факт: когда зимой 1830 года Пушкину было отказано в посещении Европы и Китая, он ухватился за мысль проситься в Персию, поданную ему тем самым чиновником III Отделения А. А. Ивановским, который навещал Пушкина ещё в 1828 году. Свидетельств факта такого прошения в документах не сохранилось, но ведь оно могло быть высказано и в устной форме, например, во время одной из встреч Пушкина с Бенкендорфом. В любом случае, готовность Пушкина отправиться туда, где погиб его друг и выдающийся дипломат Грибоедов, говорит о многом: и о смелости, и о готовности жертвовать собой, и о дружеской верности великого поэта!..

Пушкину пришлось ещё долго оправдываться за свою поездку в Арзрум, “за которую имел я несчастье заслужить неудовольствие начальства”, как писал он Бенкендорфу 21 марта 1830 года. При этом он привёл слова, сказанные ему как-то самим шефом жандармов: “. . . Вы вечно на больших дорогах”. Тем самым Бенкендорф как бы намекнул поэту: зачем ему ездить в далёкие страны, если он и так всегда в пути и движении, хватит, мол, и этого.

Пушкину опять не повезло с путешествиями в чужие страны (не совершать же ему новый побег?), но зато повезло в любви: поэту, наконец, удалось получить согласие на брак с Гончаровой у её матери. Это произошло после того, как он показал ей письмо Бенкендорфа от 28 апреля 1830 года, в котором утверждалось, что в положении Пушкина нет “ничего ложного и сомнительного”.

Экспедиция же в Китай, организованная Шиллингом и Бичуриным, продолжалась с 1830-го по 1832 год, были собраны уникальные восточные манускрипты, пополнившие Азиатский музей Академии наук в Петербурге. Пушкин внимательно следил за ходом экспедиции и публиковал в “Литературной газете” заметки о ней Бичурина. Его интерес к Китаю долго не ослабевал. Известно, например, что во время своего пребывания в Полотняном заводе в мае 1830 года он на первое место среди предметов своего внимания поставил книги о Китае: “Описание Китайской империи” и “О градах китайских”. Осенью того же года поэт писал из Болдина в письме к жене: “Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к вам через Кяхту. . .” Позже Пушкин в “Истории Пугачёвского бунта”, рассказывая о бегстве калмыков-торгоутов на границу с Китаем, писал: “Самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком”. А в последние месяцы жизни Пушкин проявлял особый интерес к истории Камчатки. . .

А. О. Смирнова-Россет, в воспоминаниях которой, правда, некоторые исследователи находят сомнительные сведения, уверяла, тем не менее, что интерес Пушкина к Китаю был совсем не случайным: “Я спросила его: неужели для его счастья необходимо видеть фарфоровую башню и великую стену? Что за идея смотреть китайских божков? Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как прочёл “Китайского сироту”, в котором нет ничего китайского; ему хотелось бы написать китайскую драму, чтобы досадить тени Вольтера”. В черновиках первой главы “Евгения Онегина” сохранились недописанные пушкинские строки о Конфуции:

*Конфуций — мудрец Китая
Нас учит юность уважать —
От заблуждений охраняя,
Не торопиться осуждать.
Она одна даёт надежды...*

Китайский эпизод в мечтаниях Пушкина о дальних странствиях ещё раз демонстрирует, насколько отзывчивым он был к истории и жизни самых разных народов мира, как увлечённо он бредил Востоком, понимая, вероятнее всего, ту великую миссию, которую суждено было выполнить русскому народу в Азии. Косвенно об этом осознании свидетельствует записанный Пушкиным в дневнике его разговор 30 ноября 1833 года с английским поверенным в делах в Петербурге Блаем: “Долго ли вам распространяться? (мы смотрели карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным). Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг цивилизации...”

Накануне свадьбы поэта, 12 февраля 1831 года из поездки в Персию вернулся старший брат Натальи Николаевны Дмитрий Гончаров, который, будучи чиновником Министерства иностранных дел, как раз и занимался в Тавризе разбором вещей и бумаг Грибоедова. И совершенно очевидно, что он не мог не рассказать Пушкину во время их встреч о подоплёке и реальных обстоятельствах гибели поэта-посланника. Неизвестно, привёз ли Гончаров с собой в Москву что-либо памятное из грибоедовских вещей...

Между тем венчание поэта и Натальи Гончаровой прошло 18 февраля 1831 года и было омрачено предзнаменованием, которое уж слишком явно напомнило то, которое произошло два с половиной года назад во время венчания Грибоедова с Ниной Чавчавадзе 22 августа 1828 года в Тифлисе, когда болевший лихорадкой жених обронил обручальное кольцо и сказал, что “это дурное предзнаменование”. Присутствовавшая на венчании Пушкина Е. А. Долгорукова вспоминала: “Во время венчания нечаянно упали с аналога крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка. “Tous les mauvais augures” — “Всё плохие предзнаменования” (франц.), — сказал Пушкин, выходя из церкви”. Провидение ещё раз протянуло незримую ниточку сходства между судьбами двух великих поэтов, хотя одному из них до исполнения мрачного предзнаменования оставалось чуть более 5 месяцев, а другому — немногим менее 6 лет.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ДЕЛО СОБОРНОЕ

К 75-летию Юрия Селезнёва

Читаешь воспоминания о Юрии Селезнёве и ловишь себя на мысли, что все пишущие о нём рисуют портрет гармоничного и одухотворённого человека, жившего в абсолютном ладу с самим собой, наделённого качествами бескомпромиссного бойца.

“Он ощущал себя и был на самом деле доблестным воином в сражениях за духовные и культурные ценности своего народа, за святыни Отечества, против враждебной пропаганды, пренебрежительных и двусмысленных оценок, издевательского пародирования, всего того, что сам он называл “паразитарным использованием” национального наследия... Короткая эта жизнь была так наполнена, так многообразна и богата трудом и вдохновением, что можно, не погрешив, сказать: он жил много. Время в его жизни было как бы плотней, наполненной, чем у других... Его душа, кажется, трудилась день и ночь. Вернее, это был не труд, а состояние – неустанное горение и кипение мысли и дела, как будто бы от самого Юрия Ивановича, от его усилий не зависевшее...” (Валерий Сергеев).

“Для него литература – мировая и русская, старая и новая – не застывший раз и навсегда слепок с действительности, но продвижение, продление жизни в бесконечность, постоянно растущий животрепещущий образ. Для него литература – не механическая сумма писателей и национальных достояний, но их непрекращающееся взаимодействие, в котором нет деления на живых и мёртвых. Так и в русской литературе видит он дело соборное, все голоса для него сливаются в одно стройное звучание” (Юрий Лощиц).

“Душевно богатый и талантливый, он самоутверждался, отстаивая положительные идеалы, завещанные многовековым нравственным опытом, его совестью, и воплощённые в великой нашей литературе... Страсть, с которой он боролся за очищение этих идеалов от всякого рода морально и эстетически порочных примесей, доходила у него до самозабвения. Он не боялся ответных ударов, а уговоры (мол, с твоим-то дарованием, да если б помягче, поддипломатичнее, Юра, ты б далеко и высоко мог пойти!) на него не действовали. Временами он напоминал мне луспекаевского героя из “Белого солнца пустыни” с его теперь уже знаменитым: “Я мзды не беру! Мне за державу обидно...” (Евгений Лебедев).

“Как чист был взгляд его глаз, так чист он был в отношении своих пристрастий. И если он верил в какую-то идею или в какую-то книгу, он имел смелость сказать о своей вере на любом суде” (Игорь Золотуский).

“С уходом Юрия Селезнёва... в нашей душевной жизни с течением времени всё более стала ощущаться не просто недостача в безвременной потере рус-

ского таланта. Образовалась некая брешь, незаполненность, дыра в том участке духовного неба, который, кажется, мог и должен был (судя по уже вышедшим работам) обследовать и поставить диагноз только он... Чувствовалось... что для него главное – в возможности работать: неважно – где, в каких условиях, но работать над тем, что тебе действительно дорого. Продвигаться шаг за шагом к намеченной цели, иступлённо трудиться (а трудиться, и именно иступлённо, самозабвенно, он умел!), не обращая ни на что внимания, на высоте, где захватывает дух, без спасательного пояса и каски” (Олег Михайлов).

“Недолг был его земной путь, но сделанное им по сей день объясняет многое в происходящей в нашей России трагедии. Перелистывая страницы книг и журнальных статей, невольно вспоминаешь его самого, человека порывистой честной души, влюблённого в русскую словесность. Способного до смертного часа защищать её от ненависти и литературного гноища перерождающейся цивилизации” (Сергей Лыкошин).

Время вхождения Юрия Селезнёва в литературу – время чрезвычайно любопытное. Начало 1970-х годов. Только что отгремела ожесточённая схватка, в которой сошлись “Новый мир”, “Октябрь” и “Молодая гвардия”. Два главных редактора двух журналов – “Нового мира” и “Молодой гвардии” – лишлись своих должностей. Твардовский ушёл по собственному желанию, Никонов был снят специальным постановлением. Вскоре добровольно уйдёт из жизни и главный редактор “Октября” Кочетов. Партийное постановление “О литературно-художественной критике” подведёт своеобразную “черту” под литературными схватками предыдущего десятилетия, “разоблачая” “крайности” либерального и консервативно-почвенного направлений.

Прошелестела статья Александра Яковлева “Против антиисторизма”, больше напоминавшая “донос по высшему начальству”, даром что автора после неё отправили в “почётную дипломатическую ссылку”, однако основные положения этого “труда” легли в основу государственной литературной политики.

Казалось бы, наступила столь желанная “тишь да гладь”. И вдруг на поверхности этой “гладь” появляется новая фигура – молодой Юрий Селезнёв со своей статьёй “Если сказку сломаешь...” (таково её окончательное заглавие). И стало очевидно, что точным, безошибочным критическим анализом Селезнёв вновь разворошил осиное гнездо. Много позже мне в руки попала машинописная стенограмма заседания представителей секции детской литературы, состоявшегося тогда в Ленинграде. Какие проклятия, сыпавшиеся на голову критика, сохранила она, с кем только его не сравнивали! Статью квалифицировали как негативное литературное явление, впервые проявившееся после доклада Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”.

“За публикацию моей статьи и ещё одного парня из Ленинграда в сборнике “О литературе для детей”... сняли первого директора издательства ленинградского отделения “Детской литературы” – случай в последние годы уникальный и настораживающий, – писал Селезнёв Александру Федорченко, – не помогло даже заступничество его родного брата – Б. Стукалина, председателя Госкомиздата СССР, то есть, по существу, министра печати...”

И вся его дальнейшая литературная жизнь проходила в атмосфере боя на литературной ниве – за душу человеческую, за совесть человеческую, за русскую гармонию. Главным полем битвы в 1970-годы стала русская классика.

Статьи критика о Гоголе, Тютчеве, Тургеневе, Чехове не просто вскрывали потаённые смыслы их произведений. Классика рассматривалась в контексте единого, непрерывного потока, несущего свою благотворную духовную влагу со времён “Слова о Законе и Благодати” митрополита Илариона и до наших дней. Она рассматривалась в контексте народного мироотношения: “Дело не в том, сколько представителей народа стали героями того или иного романа, а в том, что все без исключения герои времени оценивались писателями только по тому, как их жизнь соотносилась с жизнью народной, с народными идеалами и устремлениями. Именно идеалы народные были тем последним судом, которым судили русские писатели своих героев”.

В этом направлении он и работал в должности заведующего серией “Жизнь замечательных людей” в издательстве “Молодая гвардия”. Книги Михаила Лобанова, Сергея Семанова, Олега Михайлова, Игоря Золотусского, Валерия Сергеева, выходившие в то время в этой серии, читатели рвали из

рук, сметали с прилавков книжных магазинов. Русская литература в своём подлинном значении, в своей адекватной интерпретации, очищенная от всех накопившихся за десятилетия вульгарно-социологических и “либерально-прогрессистских” напластований, вставала с их страниц. Селезнёв и здесь, на ниве литературной политики в высоком смысле этого слова, был на высоте. Его незримое влияние на самого читающего в мире человека той поры отрицать невозможно.

Естественно, он нажил себе массу врагов. И здесь сомкнули ряды официальные представители концепции “социалистического реализма” с неофициальными подпольными литераторами диссидентского толка.

Василий Кулешов, Юрий Суровцев, Александр Дементьев, Феликс Кузнецов горохом рассыпали в разные стороны словечки “патриархальщина” и “внеисторичность”. С ними в унисон запел бывший редактор ЖЗЛ, позже сбежавший из Советского Союза Семён Резник. В книге, издательски названной “Выбранные места из переписки с друзьями” (обезьяна, передразнивающая Гоголя!), он собрал полное собрание своих доносов советского времени в Московскую писательскую организацию в журнал “Коммунист”, в ЦК КПСС на литераторов, ему не нравящихся, и на редакторов, не отвечающих на его “сигналы”. Жалобы и кляузы на Юрия Лощица, Олега Михайлова, Дмитрия Жукова, на журнал “Наш современник” чередовались в ней с настырными требованиями “немедленной реакции”.

Соцреалистических “мастодонтов” здесь поистине невозможно отличить от “диссидентов”, ибо автор использует одни и те же формулировки: “историческая правда подменяется мифами”, “проводятся идеи, направленные на подрыв нравственных ориентиров”, “всё передовое, прогрессивное, революционное в России XIX века предаётся... поруганию, а всё реакционное и лакейское превозносится”, книги “пропитаны дремучим национализмом... и замешаны на патологическом страхе перед прогрессом”, “группа... литераторов почти открыто взяла на вооружение идеологию национализма, шовинизма и антисемитизма”, а сам Селезнёв “бросается спасать... всю русскую культуру от посягательств каких-то интриганов и злодеев”... При написании последней фразы автор сих пассажей вполне мог бы посмотреть в зеркало...

Сам же Юрий Иванович в частных письмах сетовал на дикое количество анонимных доносов, помимо “официальных статей”: “За своего “Достоевского” пришлось выслушать такие наветы, что сердце бы захолонуло у другого, а сколько анонимок делается!” – и описывал своё состояние в перерыве между прошедшими и грядущими бурями:

“Знаю, не всё даром, было, наверно, и что-то дельное; не случайно же книжки жэзээловские сейчас до пены доводят кое-кого, и расправы требуют. И немедленной, – значит, работают. А ведь в этих книгах и я есть, невидимо, но есть, я-то знаю: некоторые мною же и задуманы, и авторов нашёл, и убедил их написать (и не побояться написать). Тратил время – не рабочее: на работе – встречи, мелочи, бумажки, и главное – бумажки, в день отвечаешь на двадцать-тридцать писем, на кучу жалоб, доносов и т. д., а дома, после работы, читал уже рукописи, редактировал, писал письма с советами и просьбами, чтобы ещё доработали, чтобы ещё прояснить и т. д. И снова на меня – как на дурака... Никогда не ждал, да и не имел никакой благодарности за это, кроме немногих добрых, порой просто обязательных в таких случаях слов, да и не ради них работаешь, не в словах дело: из неприятностей вылезти и не рассчитываю – при моей работе и при моём характере это и невозможно, угроз уже давно не пугаюсь, обид тоже...”

Но это обращено лишь самым близким друзьям (которых, как известно, наперечёт). На людях – лёгкость, жизнерадостность, абсолютная убежденность в своей правоте, непреклонность и доброжелательное участие. Таким, во всяком случае, Селезнёв запомнился мне, и знаю, что я здесь не одинок.

“Нужно действовать... Ведь кто-то должен. Разве мы не у себя дома живём? Не в России?... Неужто станем бояться? Надо спокойно делать дело своей совести”, – эти слова Селезнёва запомнил Николай Бурляев.

“Делом своей совести” Селезнёв считал (и справедливо!) книгу о Достоевском в серии ЖЗЛ, ставшую лучшей биографией классика. Он сделал всё, чтобы снять с Достоевского густые напластования “достоевщины”, чему, в частности, посвятил блистательный и точный разбор книги Б. Бурсова “Личность Достоевского”. Но главное всё же было в другом: Достоевский у Селезнёва –

личность соборная, всем своим творчеством, всей своей сутью отрицающая некое “право” отдельной личности вершить чужие судьбы. И мир его не полифоничен (бахтинская концепция полифонизма мгновенно вошла в широкую моду), но соборен. “В полифоническом мире, — писал Селезнёв, — вообще невозможно художественно поставить в центр слово народа — осуществить ту идею и ту задачу, которую, по нашему убеждению, смог осуществить Достоевский и которую он мог и сумел воплотить уже не на уровне полифонизма, но на уровне соборности. Здесь слово народа, даже и безмолвствующего народа, даже и вовсе не явленного сюжетно, может проявить себя не только наряду с другими, но и внутри каждого из равноправных участников диалогических взаимосвязей, и через них...” “Преклонение перед правдой христианской”, “народную правду, правду совести” выделял он как основополагающую черту героев Достоевского.

“Достоевский. Его любят или ненавидят. И любят и ненавидят страстно. Его либо принимают, либо отрицают, нередко доходя и в том, и в другом до крайностей...” Так он начал статью “Великая надежда Достоевского”. И эти слова в будущем осветились неожиданным и парадоксальным ответом.

Уже в начале так называемой “перестройки” прогремела статья ещё одного “прогрессивного достоевоведа” Юрия Карякина “Стоит ли наступать на грабли?”, где автор беспощадно издевался над неким обобщённым “сталинизмом” и “ретроградом”, а речь “сталиниста” составил из отрывков многочисленных писем безымянных корреспондентов, объединив их в единый текст своего оппонента под именем Инкогнито (приём чрезвычайно удобный и безопасный — можно при случае передёрнуть и оглупить мысли противника до нужной тебе “кондиции”, а то и вписать “необходимое”, фальсифицируя оригинальный текст). И, в частности, он написал следующее: “Уже давно я заметил одну закономерность: люди Вашего склада почему-то очень активно не любят — прямо-таки ненавидят — Достоевского”. При этом даже процитировал отрывок из речи Шкловского (не назвав его) на первом съезде писателей, где тот предлагал “судить Достоевского как изменника”.

Пройдёт несколько лет, и самый что ни на есть характерный представитель либерального прогресса и неистовый апологет расставания России с “проклятым прошлым”, идейный абсолютный соратник Карякина по “либерализму” Анатолий Чубайс вполне осознанно опубликует свои недвусмысленные откровения (правда, в зарубежной, а не в отечественной печати):

“Я перечитал всего Достоевского, и теперь к этому человеку я не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски...”

Селезнёв точно выделил и описал этот тип личности как в анализе героев Достоевского, так и при исследовании персонажей современных ему классиков, в частности, разбирая “Царь-рыбу” Астафьева и приснопамятного Гогу Герцева.

Он точно предугадал будущую ставку наших новых идеологов на персонажей подобного типа, на законченных индивидуалистов, озабоченных “правами личности”, которые, как рыбы в воде, ощущали себя в атмосфере России 90-х годов. Оттого естественным и совершенно оправданным в легендарной речи в ходе дискуссии “Классика и мы” было его обращение к Достоевскому — самому современному, как он подчеркнул, писателю наших дней.

Прозвучавшие тогда слова об идущей третьей мировой войне заставили окаменеть распалившийся, бьющийся в антикультурной истерии зал. Его речь до сих пор не забылась, она, надо признать, остаётся актуальной, ибо пророчество литературного критика оправдалось полностью. Сегодня, после очевидного крушения ценностной иерархии в культуре, разложения смыслов, отрыва художественного слова от реальной жизни, строки, написанные Селезнёвым более трёх десятилетий назад, остаются наполненными жгучими токами современности:

“Необходимость учёбы у классиков, необходимость творческого восприятия уроков мастерства диктуется задачей не возвращения вспять, но потребностью нашего времени, потребностью возрождения высоких критериев художественности и духовности слова, литературы. Ибо и в наше время слово — великое дело. А великое дело требует и великого слова”.

“Мера нашей памяти о прошлом, мера нашего понимания целей и смысла, подвижничества великих предков – это мера уровня нашего сегодняшнего сознания, нашего собственного отношения к нравственным, духовным, культурным проблемам современности. Это и мера нашего долга перед будущим, основы которого закладываются сегодня”.

Его мысли и убежденность, его творческое поведение, его бескомпромиссность вызывали не только ненависть врагов, но и тревогу у “своих”. Достаточно вспомнить, как после появления статьи “Мифы и истины” с точным и жестким разбором книги Олжаса Сулейменова “Аз и я” раздавались голоса, что, дескать, Селезнёв чрезвычайно неосторожен, что теперь из-за него “нашим” придётся “труднее”. Кульминацией практикуемой “тактики” чередования “выверенных” выпадов с испугом в сочетании с желанием убрать с глаз подальше того, кто “подставляет”, стала памятная история с 11-м номером “Нашего современника” за 1981 год и последовавшее за ней увольнение Юрия Ивановича из журнала.

А он никого не “подставлял”. Он просто не представлял себе, как можно иначе. Всё, что происходило в литературе и – шире – в культуре на его глазах, он мерил мерками классики в контексте идущей третьей мировой войны. И не стеснялся спорить с ближайшими друзьями. О ристалищах с ним на ниве древнерусской литературы оставил яркие воспоминания Валерий Сергеев. И Вадим Кожин счёл необходимым особо отметить, что “спор – то есть острый, напряжённый диалог – был главной формой нашего общения с Юрием Селезнёвым с первой и до последней встречи”.

Не согласный со многими положениями знаменитой кожиновской статьи “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”, он без тени сомнений напечатал её в том самом номере “Нашего современника”, рассчитывая в будущем на серьёзную дискуссию. Но именно продолжение разговора (выход статьи Аполлона Кузьмина в № 4 журнала за 1982 год) обернулось для него отлучением от работы в журнале и негласным запретом на любые журнальные и газетные публикации его статей.

Мы смотрели на него, как на красивого, благородного, мужественного витязя на поле брани. А он, глядя на нас, ещё только начинавших, ничего толком не сделавших, прозревал в нас какие-то возможности, нам ещё не ведомые. Николай Кузин вспоминал о задушевной и серьёзной беседе о литературе, которую завёл с ним Селезнёв при первой встрече, будучи знаком лишь с двумя-тремя рецензиями молодого критика.

Как-то мы встретились в коридоре “Литературной России”, будучи уже знакомы, но не более того. И Селезнёв, с приветливой улыбкой поздоровавшись, вдруг сразу взял быка за рога: “А когда у Вас выйдет книга?” У меня к тому времени было напечатано лишь несколько коротких рецензий и первая серьёзная статья. Ни о какой книге я ещё и не думал. А он... Сейчас мне кажется, что он словно уже видел её.

Последние два года жизни он был погружён в раздумья о Лермонтове, который должен был стать следующим после Достоевского героем его жэзээловской книги. И сейчас, в год двухсотлетия Лермонтова, с особенной печалью сознаёшь, что этой книги не будет уже никогда.

Не будет и книги “У вещего дуба” – о народных преданиях и мифологических сюжетах, заявку на которую он незадолго до кончины принёс в издательство “Современник”.

Но остался классический “Достоевский”. Остались книги “Глазами народа”, “Мысль чувствующая и живая”. Осталось его страстное, напитанное удивительной энергетикой, во многом пророческое слово, посвящённое вечной теме: классика и мы.

ДМИТРИЙ НЕЧАЕНКО

КАЗУС УЛИЦКОЙ

В августе 2014 г. немецкий журнал “Der Spiegel” опубликовал статью писательницы Людмилы Улицкой “Европа, прощай!”. Начинается она заявлением довольно резким: “Моя страна сегодня объявила войну культуре, объявила войну ценностям гуманизма, идее свободы личности, идее прав человека, которую выработывала цивилизация на протяжении всей своей истории. Моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и манией величия. Мне стыдно за наш парламент, невежественный и агрессивный, за правительство, агрессивное и некомпетентное, за руководителей страны, игрушечных суперменов, поклонников силы и хитрости. Мне стыдно за всех нас, за народ, потерявший нравственные ориентиры”.

Молодчина, — сразу подумал я. Сказала, как отрезала. Прямо-таки Лев Толстой в юбке — “не могу молчать!” Какой страдальческий и озлобленный тон, какая экспрессия! Совсем не то, что её до зевоты скучные, растянутые романы для домохозяек. Чрезмерный восторг мой был связан с тем, что мне показалось, будто речь идёт об исторической родине Улицкой Израиле, потому что как раз в то время в самом разгаре была карательная операция “Несокрушимая скала”, которую израильская армия вела, вторгнувшись в сектор Газа. Под бомбардировками с воздуха и ракетными обстрелами погибали в основном мирные палестинцы, а не бойцы ХАМАСа. Поэтому по всему миру прокатилась волна негодования против бесчеловечной бойни. Массовые демонстрации протеста прошли в Великобритании, Ирландии, Германии, Аргентине, Афганистане, Иране, Турции и ряде других стран. В Париже тысячи людей вышли на площадь Сталинградской битвы, чтобы выступить против израильской агрессии, унёсшей жизни полутора тысяч палестинцев. В Нью-Йорке демонстранты вывесили на Манхэттенском мосту огромный флаг Палестины с надписью “Газа в наших сердцах”, а в Вашингтоне в демонстрации протеста наряду с американцами приняли участие евреи-антисионисты. Вот я грешным делом и подумал, что раз уж Улицкая писательница, то значит — пацифистка и гуманистка, которая не могла не присоединиться к голосу прогрессивной мировой общественности. Зря я так подумал. Следующая за выше процитированным фрагментом фраза безжалостно развеяла мои иллюзии: “Культура потерпела в России жестокое поражение”. Вот тебе раз, — подумалось мне, — чудеса, да и только. Начал человек как будто за здравие, а свёл на упокой. Как говорится, молодница красива, да на душу крива.

Хватило же совести заявить о разгроме российской культуры писательнице, каждая книга которой получает престижную литературную премию (таких

премий уже 14) и издаётся неслыханными в нынешнее время тиражами (200–300 тыс. экз.). Одно лишь издательство “Эксмо” (фактический монополист книжного рынка) выпустило только за последние два года более 30 книг Улицкой, а перед этим – полное собрание её сочинений. Такой прижизненной чести не удостоился даже Пушкин. Первый том первого академического, реально Полного собрания сочинений Толстого вышел в 2000 году, а первое академическое, действительно полное собрание сочинений Достоевского издательство “Наука” начало выпускать лишь... в феврале 2014 года. Общий тираж книг Улицкой в России не поддаётся подсчёту, значительно превышает тиражи Библии и составляет более 4 000 000 экз. По её сценариям снято 4 художественных фильма, двенадцатисерийный телесериал “Казус Кукоцкого”, два телеспектакля и мультфильм. Благодаря колоссальной пиар-рекламе книг Улицкой в России и на международных книжных ярмарках её сочинения переведены на 30 языков мира, а во Франции её наградили Орденом Академических пальм и Орденом искусств и литературы. В одной только Москве спектакли по произведениям Улицкой поставили в МХТ им. А. П. Чехова, Академическом молодёжном театре, Театре эстрады, театрах Марка Розовского и Иосифа Райхельгауза, театральном центре “Вишнёвый сад” и др. Ничего себе “жестокое поражение культуры”...

По поводу публикации своей прощальной статьи с Европой Улицкая дала интервью корреспонденту “Радио Свобода” и подтвердила свои высказывания: “Это точка зрения, которую разделяют многие мои друзья, и она действительно полна пессимизма, потому что сегодняшняя московская политика такова: мы отдаляемся от Европы, и это очень плохо. Сегодня сделан выбор между Европой и Китаем в пользу Китая, и, к сожалению, мы идём по пути, который вряд ли принесёт России благосостояние, успех и уважение. Это направление в сторону третьего, четвёртого, уж и не знаю какого мира, и это печально. По этому поводу в кругу моих близких друзей царит полное единомыслие”. Странная, однако, логика – то ли пресловутая женская, то ли просто предвзятая. Во-первых, решение отдалиться от конструктивного партнёрства сначала приняли вообще на другом континенте – в США. Там же приложили максимум усилий, чтобы к этому решению присоединился Евросоюз. Во-вторых, выбор между Западной Европой и Китаем в пользу последнего продиктован отнюдь не “московской политикой”, а самой жизнью. В ситуации, когда главные гаранты и без того шаткой стабильности Евросоюза Германия и Франция втягиваются в антироссийскую авантюру, у Кремля нет иного выбора, кроме как обратить свой взор на восток. О том, что это рано или поздно произойдёт, написал не спичрайтер Путина после антироссийских санкций, а 130 лет назад выдающийся мыслитель и публицист К. Н. Леонтьев, о котором г-жа Улицкая и её “круг близких друзей”, судя по всему, слыхом не слыхали. И, наконец, в-третьих: на каком основании Улицкая решила, что “отдаляться от Европы это очень плохо”, – она совершенно не объяснила. Попробую объяснить я, что это не так уж и плохо.

Начну с того, что первым на Западе диагноз “вырождение” (в одноимённой книге) поставил европейскому обществу и европейской модернистской культуре соучредитель (вместе с Теодором Герцлем) Всемирной сионистской организации Макс Нордау. Будучи психиатром, учеником и последователем Чезаре Ломброзо, он в своей ставшей бестселлером книге, изданной в 1893 г., безошибочно диагностировал все главные болезни современного ему общества и наиболее ярких представителей декадентской культуры – писателей, поэтов, философов, композиторов. По его мнению, все населявшие большие города высшие слои общества тогдашней Западной Европы (те, кого мы называем “интеллигенцией”) представляли собой психбольницу. Симптомы их болезни (психопатию, истерию, наркоманию, манию величия, эгоизм, эротоманию, эстетизм, мистицизм) Нордау обнаружил во всех произведениях писателей, ставших модными в эпоху fin de siècle. Спустя пять лет, в 1898 г. Лев Толстой опубликовал трактат “Что такое искусство?”, в котором поставил аналогичный диагноз не только европейскому, но и русскому декадентству. Несмотря на то, что Нордау смело причислил к “вырожденцам” и самого Толстого, оба они подвергли саркастической критике в основном одних и тех же деятелей модернизма. Ницше – за проповедь воинствующего иммoralизма и мнимое глубокомыслие, Ибсена – за отсутствие жизненной правдивости в его драмах и ходульность персонажей, Бодлера – за пустословие и тягу к садо-

мазохизму, Малларме и Верлена – за то, что их стихи надо разгадывать, как ребусы, Вагнера – за старание потрафить публике, желающей приятного возбуждения.

Приведу, раз уж я залез в такие доисторические дебри, одну цитату из трактата Толстого: “В прежние времена боялись, как бы в число предметов искусства не попали предметы, развращающие людей, и запрещали его. Теперь же только боятся, как бы не лишиться какого-нибудь наслаждения, даваемого искусством, и покровительствуют всякому. И я думаю, что последнее заблуждение гораздо грубее первого и что последствия его гораздо вреднее. Безверие высших классов европейского мира сделало то, что на место той деятельности искусства, которая имела целью передавать высшие чувства, вытекающие из религиозного сознания, стала деятельность, имеющая целью доставлять наибольшее наслаждение известному обществу людей. И из всей огромной области искусства выделилось и стало называться искусством то, что доставляет наслаждение людям известного круга. Обеднение содержания искусства высших классов усилилось ещё тем, что, перестав быть религиозным, искусство перестало быть и народным и тем ещё более уменьшило круг чувств, которые оно передавало, так как круг чувств, переживаемых людьми властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу”. Не правда ли, как будто сегодня, о нашем времени и нашем искусстве всё это сказано, а не сто с лишним лет назад? Немало страниц острой критике русского декаденства посвятил в своих книгах и Василий Розанов – невероятно талантливый, когда дело касалось его консервативных убеждений, и особенно – когда он вступал на страницах “Нового времени” в полемику со своими идейными врагами. Да что там Розанов! Даже Александр Блок, которого при всём желании невозможно упрекнуть в консерватизме, побывав в 1915 г. в Александринском Императорском театре на спектакле по пьесе Зинаиды Гиппиус “Зелёное кольцо” в постановке Мейерхольда, вернулся домой разочарованный и рассказал о своём впечатлении в письме к жене: “На спектакль студии я пошёл, как всегда, с открытой душой, с желанием, чтобы мне понравилось, и мне, как всегда, страшно не понравилось всё. Это узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает источников истинной любви. Так как нет никакого центра, нет центрального огня, который и есть *любовь и воля*, – мне и тяжело, и скучно от никчёмного “лёгкого веселья”, и я не могу простить подробностей, которые простил бы, может быть, если бы меня хоть немного “обожгли” тем огнём, в котором всё и без которого ничто не мило. Молодые и пожилые люди претенциозно кривляются, валяются на полу. Ноги мелькают на сцене в течение всего вечера, так что тошно от повторяемости мельканий. Какая-то большая старуха сидит на столе на корточках. Изобретательности настоящей нет, воображение бедное и больное. Неталантливые люди и некрасивая фантазия. О, если бы люди умели сузиться, поняли, что честное ремесло есть большой чин, а претензия на пересаживание каких-то графов Гоцци на наш бедный, задумчивый, умный север, *русский*, – есть только *бесчинство*. Всё это больно”.

Тотальную деградацию не только культуры, но и всего западноевропейского социума эпохи *fin de siècle* в целом, констатировали не только психиатры или писатели, но и выдающиеся мыслители того времени. В 1918 г. вышел философский трактат Освальда Шпенглера “Закат Европы” (иногда это заглавие переводится как “Закат Западного мира”). В этом капитальном исследовании живший в культурном эпицентре Европы немец высказал весьма пессимистический прогноз развития европейской цивилизации и предсказал, что в будущем богатые страны Европы ожидает упадок и “варваризация” в связи с нашествием иммигрантов из бедных стран Африки и Азии. Раз уж так привечают и пестуют Улицкую издательства и журналы Германии, спросила бы она при случае у немцев: рады ли они многолетней экспансии турок, совершенно чуждых им по культуре, ментальности, бытовому укладу жизни? А турок в Германии уже около двух миллионов, и с демографией у них, в отличие от немцев, всё *abgemacht*. В одном Берлине самая многочисленная диаспора – это турецкая, то есть больше всего турок вне Турции живёт в столице Германии. Один из лидеров партии “зелёных” даже предложил от отчаяния петь второй куплет немецкого гимна на турецком языке. По статистике 80% уголовных преступлений в Германии совершается иммигрантами. Да разве

в одной Германии? Разве итальянцы или французы в восторге от нашествия негров, арабов, цыган и румын? Или, может, англичане весело празднуют “мультикультурную интеграцию” своих иммигрантов? В мае 2013 г. в Лондоне среди бела дня двое радикальных исламистов-нигерийцев зарезали тесаком и мачете барабанщика Королевского стрелкового полка, 25-летнего солдата. Они даже не пытались скрыться с места преступления. Один из них, держа в руках окровавленный тесак, двадцать минут читал “воспитательную” лекцию столпившимся вокруг зевакам-англичанам. “Око за око, зуб за зуб, – невозмутимо сказал он. – Вы думаете, что после этого Дэвид Кэмерон выйдет защищать вас? Думаете, что когда мы возьмёмся за оружие, он пострадает? Нет! Страдать будут обычные люди, страдать будете вы и ваши дети. Мир наступит только тогда, когда ваше правительство выведет войска, которые каждый день убивают мусульман”. Во время расследования выяснилось, что оба убийцы – граждане Великобритании, оба выросли в Лондоне, где вступили в радикальную мусульманскую общину. Один из них родился в семье христиан в лондонском районе Ламбет, расположенном напротив Вестминстерского дворца, затем учился в университете Гринвича, неподалёку от места, где совершил убийство.

Стремясь дать наиболее точное определение культуре, Шпенглер писал: “Культура – это главное содержание истории. Культура – это человеческая индивидуальность высшего порядка. У каждой культуры есть своя собственная цивилизация”. Есть такая цивилизация и у русской культуры. О её уникальных особенностях Улицкая могла бы прочесть у А. С. Хомякова (“Записки о всемирной истории”), И. В. Киреевского (“О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России”), Н. Я. Данилевского (“Россия и Европа”), Ф. М. Достоевского (“Дневник писателя”), К. Н. Леонтьева (“Византизм и славянство”), Л. А. Тихомирова (“Монархическая государственность”) или И. Л. Солоневича (“Народная монархия”). Хомяков полагал, что социализм (коммунизм) и капитализм – не что иное, как пагубные последствия интеллектуальной деградации европейского Запада, который от бессилия решить экономические и духовные проблемы общества увлёкся либо пропагандой капиталистической конкуренции и либерализма, либо обоснованием “коммунистической кутузки” согласно теории К. Маркса. Данилевский, считавший Россию особым культурно-историческим феноменом, видел её будущее в противостоянии вырождающейся романо-германской (католической и протестантской) культуре. Леонтьева особенно беспокоила опасность тогдашнего положения России, в которой стремительно нарастало влияние разрушительных буржуазно-либеральных доктрин “великой” Французской революции и “просвещенческих” призывов к борьбе за всеобщее равноправие, плотскую свободу, утопический всемирный рай. Противопоставляя этим идеям византийскую симфонию Церкви и государства, Леонтьев утверждал воспринятый от Византии династический монархизм в качестве оплота православия и эстетизм культурных национально-традиционных форм, в которых видел единственную возможность независимого пути развития Российского государства – самобытного, сильного, живущего своим умом. Охранительным средством от революционных потрясений, грядущих с Запада, Леонтьев считал союз России со странами Востока. А Достоевский и вовсе без всяких обиняков назвал Западную Европу “кладбищем”.

За пять с половиной лет пребывания за границей Достоевский исколесил Европу вдоль и поперёк, многое разгадал и разглядел в ней зорким взглядом художника. “В Европе, – утверждал он, – не осталось никакой духовной культуры, никакого христианства, только она сама боится себе в этом признаться”. “О, если бы Вы понятие имели, – писал он Аполлону Майкову, – об гадости жить за границей, если б Вы понятие имели о бесчестности, низости, невероятной тупости и неразвитости швейцарцев. Конечно, немцы хуже, но и эти стоят чего-нибудь! На иностранца смотрят здесь как на доходную статью; все их помышления о том, как бы обмануть и ограбить. Если бы Вы знали, какое кровное отвращение, до ненависти, возбудила во мне к себе Европа за эти четыре года. Господи, какие же у нас предрассудки насчёт Европы...” Вся жизнь искавший истину и “через горнило сомнений” пришедший к вере во Христа автор “Братьев Карамазовых”, естественно, не мог по-другому воспринять общество людей мировоззренчески безразличных, не задумывающихся о душе, о нравственной ответственности перед совестью и Богом, о

чём-нибудь ином, кроме потребностей физиологии. “В Англии то же, что и везде в Европе, — писал Достоевский, — страстная жажда жить и потеря высшего смысла жизни. Европа зашла в какой-то безвыходный тупик, из которого не может найти выхода”. “Я хочу в Европу съездить, — говорит Иван Карамзев брату Алёше, — но ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, лишь на самое дорогое кладбище — вот что. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и науку, что, я знаю, зараннее паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними — в то же время убеждённый всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище и никак более”. Яснее ясного осознавал Достоевский стойкую неприязнь к русским со стороны не только немцев, англосаксов или французов, но и “братушек” наших славян. Для меня, например, до сих пор остаётся загадкой, каким образом получилось, что освобождённые ценой жизни и крови русских солдат от 500-летнего турецкого ига болгары в обеих мировых войнах стали союзниками наших врагов, а одной из первых среди стран-сателлитов гитлеровской Германии войну СССР объявила Словакия. Для Достоевского в этом не было никакой загадки. В разгар русско-турецкой войны 1877 года, когда русские воины героически погибли за свободу болгар под Плевной и на Шипкинском перевале, он написал: “Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь именно с того, что выпросят у Европы, у Англии и Германии ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают”.

За год до смерти Достоевский написал: “Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного и общего. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней без церкви и без Христа, с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим всё общее и всё абсолютное, — этот созидавшийся муравейник весь подкопан”. Сто тридцать лет миновало с тех пор, как высказал Достоевский свои пророчества. И вот на наших глазах они начинают сбываться. Мало того. Всё, что так неприятно поразило писателя в Европе, кажется в наши дни ребяческими шалостями. Эка невидаль — “обмануть иностранца”! Представляете себе реакцию Фёдора Михайловича, если бы, гуляя по Женеве или Берлину, он невзначай встретился с шествующим вдоль центральной улицы гей-парадом? Или, сидя с чашкой чая за завтраком, развернул утреннюю газету и прочёл в новостях: “В английском графстве Эссекс сыграли самую дорогую собачью свадьбу в мире. Её устроила для своей любимицы, йоркширского терьера Лолы владелица бутика и салона для животных Луиза Харрис. Всё было сделано “как у людей” и даже лучше: дивное подвенечное платье, украшенное 1800 кристаллами Сваровски, ожерелье из натурального морского жемчуга, камерный оркестр, особняк и изысканное угощение. Луиза скрывает, сколько потратила на торжество, но всё же проговорила, что только букет невесты обошёлся в 20 тысяч фунтов стерлингов (30 тысяч долларов). Счастливым избранником Лолы стал китайский хохлатый кобель Мугли, признанный в 2005 г. “самой уродливой собакой в Великобритании”. В поисках идеального партнёра для Лолы её хозяйка организовала онлайн-конкурс. Получив сотни анкет, мисс Харрис выбрала Мугли. После первого знакомства состоялось несколько свиданий жениха и невесты, а затем три месяца подготовки к свадьбе. Молодых сочетали браком под звуки арфы, исполнявшей свадебный марш Мендельсона. Когда Лола в белоснежном платье вбежала в усыпанный цветами зал, где её встретил нарядный жених в смокинге, на глаза растроганных гостей навернулись слёзы. После церемонии венчания, которую провёл специально приглашённый священник англиканской церкви, состоялось грандиозное веселье вокруг столов, уставленных шампанским и изысканными деликатесами” (“Комсомольская правда”, 28.07.2011).

Уж не по этим ли праздникам жизни тоскует Улицкая, закончив свою статью по-байроновски патетическим “farewell”: “Прощай, Европа! Боюсь, что нам никогда не удастся войти в европейскую семью народов. Триста лет мы не теряли надежды, но сегодня нам, людям российской культуры, той её малой части, к которой я принадлежу, остаётся сказать только одно: “Прощай, Европа!” К “малой части” узкого “круга близких друзей” писательницы я, увы,

не принадлежу, да и в Европе меня никто не ждёт. Поэтому лично мне нет никакого дела ни до встреч с ней, ни до прощаний. Никакие мы, в строгом смысле, я думаю, не европейцы, а “скифы мы и азиаты мы”. Ими были, ими и останемся. Хорошо это или плохо, пусть этнологи разбираются. Однако при всей нашей “азиатчине” всё же не мы, а просвещённые европейцы изобрели человеконенавистническую идеологию расизма, нацизма и антисемитизма. И первый в мире концлагерь изобрели не мы, а англичане во время англо-бурской войны в конце XIX века. Захватив земли буров (южноафриканских фермеров голландского происхождения), англосаксы создали им невыносимые условия существования, запретив обучение и делопроизводство на голландском языке и объявив английский язык государственным. И с захватнической войной в Европу мы никогда не сошлись. В мемуарах одного из французов (своей скупостью они прославились на всю Европу) я однажды прочёл, как его до глубины души потрясло, что, когда наша армия после победы над Наполеоном заняла Париж, русские офицеры исправно платили за еду в ресторанах, а если и обедали в кредит, то всегда аккуратно возвращали долг. Можете себе такое представить в оккупированной французами Москве, где наполеоновская гвардия устраивала конюшни в храмах, мародёрствовала, грабила и воровала? От жадности Бонапарт приказал даже спилить позолоченный крест на кремлёвской колокольне Ивана Великого. Когда “великий французский полководец” (так пишут в энциклопедиях) спешно драпал из Москвы по смоленской дороге, за ним тянулся целый товарный состав награбленного добра из 70 повозок, запряжённых восемью лошадьми каждая, 20 фургонов и 40 вьючных мулов. Весь этот поезд был под завязку набит золотом и серебром, драгоценными камнями, мехами, дорогой одеждой (в основном почемуженской), старинным оружием, картинами великих художников, церковными рясами с золотым шитьём, сорванными с икон окладами и ценной церковной утварью. Не забыли прихватить с собой французы и запасы продовольствия, вино, водку.

С пафосом, достойным лучшего применения, Улицкая упрекает нас, россиян, в том, что мы никак не стремимся быть “европейцами”. Вот уж поистине “умом Россию не понять...” А что тут непонятного? Я бы посоветовал маститой писательнице пореже мотаться за границу и почаще ездить в российскую глубинку, куда-нибудь в Вологду, Архангельск, Тверь, Рязань, Кострому, Иркутск, на Алтай или в Псков. Пусть бы спросила она там кого угодно, любого жителя: “Ты кто? Европейец?” Знаете, что он ей ответит? – “Псковские мы”, “вологодцы мы”, “поморы мы”, “тверичи мы”, “сибиряки мы” и т. п. А если бы задала она этот же вопрос татарину, калмыку, буряту, башкиру, якуту, ненцу, удмурту, чувашу, лезгину или аварцу, он, взглянув на неё, только пальцем у виска покрутил бы и отправился восвояси.

Пишет в своей статье Улицкая и вот ещё что: “Политика России сегодня – самоубийственная и опасная, она представляет собой угрозу в первую очередь для России, но может оказаться и триггером новой, Третьей мировой войны. Моя страна каждый день приближает мир к новой войне. Наш милитаризм уже поточил когти в Чечне и в Грузии, теперь тренируется в Крыму и на Украине”. Это уже явная и наглая ложь, слово в слово скопированная с передовиц западных СМИ и публичных заявлений таких матёрых ненавистников России, как Х. Клинтон, М. Саакашвили, вице-президент США Д. Байден, пресловутая спикер госдепа США Д. Псаки или опальная “газовая королева” Украины Ю. Тимошенко (“девичья” фамилия которой “Капительман” не ведомо только ленивым и нелюбопытным). Что касается Чечни, война в ней была развязана отнюдь не страной Россией в целом и не долготерпеливым русским народом, а выжившим напроочь из ума от пьянства президентом Ельциным и кликой его придворных лизоблюдов, ума тоже весьма недалёкого. Один министр ельцинской обороны “Паша-мерседес” чего стоит – полный профан в военном деле. В самом начале кризиса, возникшего в отношениях Грозного и Кремля, с охваченным манией величия Дудаевым можно было вполне договориться, подкупить в конце концов. Договорился же Путин в конце концов с Рамзаном Кадыровым. Что мешало сделать это накануне первой войны, вспыхнувшей в Чечне? Да и, кроме “Паши-мерседеса”, хватало в окружении Ельцина дубинноголовые госдеятелей. Чего стоят одни только жалобно-слезливые причитания Черномырдина в июне 1995 г., во время захвата террористами заложников и больницы в Будённовске. Где это было видано, чтобы

премьер-министр страны в эфире главного государственного телеканала чуть ли не на коленях умолял отпетого головореза: “Шамиль, ты меня слышишь, Шамиль? Я тебя прошу, не стреляй...” Такого прилюдного позора и унижения Россия не испытывала за всю свою многовековую историю. Кстати напомним, что в начале 1990-х годов Дудаев запретил показывать на чеченском телевидении мультсериал “Ну, погоди!”, поскольку в нём якобы оскорблялся образ волка – фольклорного персонажа вайнахских легенд и государственного символа независимой Ичкерии. В общем, по уровню ума (вернее, его отсутствию) все эти клятые персонажи нашей недавней истории (Ельцин, Дудаев, Грачёв, Черномырдин) друг друга несомненно стоили.

Что касается того, чей “милитаризм поточил когти в Грузии”, об этом с любым здравомыслящим человеком даже говорить не стоит. Не войска России, госпожа Улицкая, напали ночью 8 августа 2008 г. на несчастную Сакартвело, а возомнивший себя её фюрером батони Саакашвили приказал тогда вероломно расстрелять русских миротворцев и открыть огонь из реактивных установок “Град” и танков по домам и жителям Цхинвала. Что же касается Крыма, то после абсолютно легитимного референдума по его присоединению к России там с целью провокации бандеровским снайпером был убит только один местный русский ополченец. А чей “милитаризм точит когти” сейчас на Донбассе, об этом Улицкая должна бы знать не хуже всех россиян, которые изо дня в день видят в телерепортажах с места событий разбомбленные евробандеровцами заводы, электростанции, больницы, школы, церкви, дома, изуродованные осколками снарядов тела мирных жителей. В апреле 2014 г. на состоявшемся в Киеве конгрессе “Россия – Украина: диалог” Улицкая выступила с речью и заявила, что “нынешняя политика превращает Россию в страну варваров”. Ей горячо аплодировали прибывшие на это сборище такие одиозные деятели, как Б. Немцов, М. Ходорковский, С. Белковский, Ю. Латынина, Л. Рубинштейн. С этой публикой давно всё ясно. А вот “писателя еврейского происхождения” (так сказала она о себе в одном из интервью) Улицкую я бы при встрече всё же спросил: объясните мне, ради Бога, как бывший специалист по генетике, каким загадочным образом произошла такая эволюция, что вы и весь ваш “близкий круг друзей” буквально слились в любовном экстазе с отъявленными нацистами и бандеровцами? Что это за удивительный казус такой? Так он теперь и войдёт в историю под названием “казус Улицкой”. Почему “казус”? Сейчас объясню.

Сразу после нападения фашистской Германии на СССР Степан Бандера и его первый заместитель Ярослав Стецько прибыли во Львов, где 30 июня 1941 г. создали “Украинские национальные сборы”, провозгласившие “Украинское государство”, которое согласно его “конституции” должно было “вместе с Великой Германией устанавливать новый порядок по всему миру во главе с фюрером Третьего рейха Гитлером и вождём украинского народа Бандерой”. После этого руководитель новопровозглашённого “Украинского государства” Стецько выступил с изложением своей программы действий, сказав коротко и ясно: “Москва и жидовство – это самые большие враги Украины. Считаю главным и решающим врагом Москву, которая властно держала Украину в неволе. Не менее враждебна нам также вредительская воля жидов, которые помогли Москве закрепощать Украину. Поэтому стою на позициях полного истребления жидов и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию” (Евреи на Украине. Учебно-методические материалы. Составитель И. Б. Кабанчик. Львов, 2004. С. 187). После этого директивы главарей ОУН-УПА посыпались, как горох из мешка: “К жидам относиться так же, как к полякам и цыганам: уничтожать беспощадно, никого не жалеть. Жидов, использованных для рытья бункеров и строительства укреплений, по окончании работ без огласки ликвидировать” (Pruś E. Holokost po banderowsku. Wrocław, 1995). Только за две недели (с 1 по 15 июля 1941 г.) бандеровцы при активном содействии местного населения, обычных горожан-украинцев зверски истребили во Львове более 7000 евреев (точное число до сих пор неизвестно). Для сравнения: за все 15 лет, когда инициатор изгнания евреев из Испании Томас Торквемада (кстати, выходец из семьи крещёных евреев) возглавлял основанную им инквизицию, по приговору церковного суда во время аутодафе было сожжено всего 2200 вероотступников. Половину из этого числа составляли соломенные чучела еретиков, которые умерли до ареста или были вне досягаемости инквизи-

ции (Kamen Henry. The Spanish Inquisition: A Historical Revision. London: Yale University Press, 1997, p. 17). Всё это не мешает таким профессорам-историкам как Н. Басовская писать: “Всматриваясь в биографию Торквемады, я не вижу в ней ни одного хотя бы небольшого светлого пятнышка. Это был страшный человек. Лично по приказу Торквемады были сожжены 10 тысяч человек” (Басовская Н. И. Человек в зеркале истории. М., 2009, стр. 310, 311). В цикле “просветительских” передач об истории на радиостанции “Эхо Москвы”, 3 декабря 2006 г. Басовская и вовсе заявила: “Торквемада был обыкновенный убийца”. Так “бережно” обращаются с историческими фактами наши пресловутые доктора наук. Что же касается нынешних, новоявленных друзей евробандеровцев вроде “русского писателя еврейского происхождения” Улицкой, скажу только одно: нужно совсем потерять не только историческую память, но и совесть, и всякое человеческое достоинство, чтобы на почве общей ненависти к России нежно подружиться с потомками палачей своего народа. Слава Богу, не всем евреям отшибло память. С резким протестом против еврейских олигархов Украины, финансирующих геноцид русского населения Донбасса, бесстрашно выступил и продолжает выступать глава еврейской общины Харькова Эдуард Ходос, автор книги “Еврейский фашизм, или Хабад – дорога в ад”. А такой же писатель еврейского происхождения, как и Улицкая, недавно написал в своём “живом журнале”: “Российские, украинские и израильские “либеральные” евреи, поддерживающие нынешних евробандеровцев, предают историческую память своего народа, предают сотни тысяч евреев, убитых и замученных бандеровцами во время войны. Иногда я жалею, что Советский Союз спас их родителей от уничтожения немецкими нацистами и теми же бандеровцами” (<http://left-liberal-il.livejournal.com/2104053.html>).

Прежде чем агитировать русских и украинцев за вступление в Евросоюз, неплохо было бы заглянуть г-же Улицкой в любое авторитетное экономическое издание, публикующее статистические данные о евроинтеграции. Она обнаружила бы там немало неожиданных для себя фактов. Евросоюзного “счастья” по полной программе уже хлебнули Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия и страны Прибалтики. В результате после вступления в Евросоюз промышленность Эстонии, Латвии и Литвы перестала существовать. Бывшие советские заводы и фабрики стали там складами для европейских товаров и торговыми центрами. В период с 2003 по 2012 г. внешний долг по отношению к ВВП в Литве вырос с 40 до 78%, в Эстонии – с 64 до 98%, а в Латвии вдвое – с 73 до 145%. Население этих стран из года в год стремительно убывает из-за массового отъезда молодёжи в поисках работы за границей. В Венгрии и Румынии 40% населения живут ниже черты бедности. Когда-то развитое венгерское сельхозпроизводство после вступления в ЕС сократилось в 10 раз. В аграрной солнечной Болгарии ситуация ещё хуже. За последние годы численность населения сократилась тут с 9 до 7 миллионов человек. 80% пищевого рынка занято низкокачественным импортом из-за ограничений, введённых для местных фермеров Евросоюзом. Что ждёт в этой аховой ситуации Украину, догадаться нетрудно. К счастью, Россия, Белоруссия и Казахстан оказались намного прозорливее, создав Таможенный союз и предложив взаимовыгодную дружбу Китаю.

После публикации статьи “Европа, прощай!” её лаконично и доходчиво прокомментировал на радиостанции “РСН” Эдуард Лимонов, который сказал: “Улицкая – писатель не первого ряда. На меня она производит впечатление тихой, улыбчивой, немного сбрендившей старушки. Учитывая то, что она ещё и неадекватно воспринимает реальность, я бы никакого значения её словам не придавал. Не ко всем деятелям искусства следует прислушиваться. Если это Лев Толстой, то это серьёзно, а если это Улицкая... Собака лает, ветер носит”. Сторонником политических и иных взглядов Лимонова я никогда не был, но в данном случае подписываюсь под каждым его словом.

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

НЕ КАЖДЫЙ, КТО НА КОНЕ — ВСАДНИК

1. “Я подумаю об этом завтра”

Литература, как человек, жива, пока жива память о ней. Независимо от жанра.

Историко-приключенческое произведение “Слово о полку Игореве”, коему несколько веков от роду, живо. Путевые очерки “Записки охотника” живы. Роман “плаща и шпаги” под названием “Три мушкетёра” живее всех живых. Историческая мелодрама “Капитанская дочка” вызывает неподдельный интерес и в наши дни. Короткая юмористическая зарисовка “Толстый и тонкий” пребывает в прекрасном здравии. Четырёхтомник “Война и мир”, вместивший под свои обложки, как минимум, три жанра: мелодраму, исторический и авантурный романы, тоже жив. Фэнтези про Гулливера знакомо большинству читателей с детства. Детектив “Преступление и наказание” читается всем миром и сегодня. “А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь” — при удобном случае цитирует и стар, и млад. Шерлоку Холмсу до сих пор со всего света идут письма, даже с просьбой о проведении частного расследования. “Космическую Одиссею” знают не только фанаты фантастики. Женский детектив про “божий одуванчик” мисс Марпл читал и самый ленивый. О сказках про девочку Элли, Страшилу, Железного Дровосека слышали не только дети, но и взрослые. Женский роман “Унесённые ветром” о любви и ревности, о предательстве и верности, героиня которого произносит крылатую фразу “Я подумаю об этом завтра”, хорошо известен многим мужчинам. Я даже имён и фамилий авторов этих книг не называю — каждый может легко проделать это сам.

Или многим уже затруднительно? И совсем не каждому будет по силам? Нынешнее молодое поколение читателей, боюсь, не ответит, кто такие Скарлетт О’Хара, Хорь и Калиныч, два капитана: Копейкин и Тушин — и некогда известная не только в узких кругах тройца Гримо, Базен и Мушкетон. В подтверждение приведу реальный диалог на уроке в старшем классе:

— Дети, помните, как в известном романе Дюма...

— Дюма? Какое Дюма?

Сказать, что это поколение выросло совсем не похожим на предыдущие... А какие поколения копировали своих предшественников? Да, нынешние таковы, что только диву даёшься. Они (хотя и понимаю, что не все и не каждый) с малых лет живут в социальных сетях, общаясь с парой сотен друзей, качают музыку и фильмы из интернета, играют в компьютерные игры, вышивают картины, плетут безумные феньки в восемьдесят нитей, время от

времени “ищут себя”: фотографируют, берутся за изучение французского или китайского языка, “на-чём-нибудь-музицируют” и непременно сочиняют романы и миниатюры, размещая их на “Самиздате”.

Их симпатии в литературе? Это поколение выросло не на классических образцах художественной литературы, а на текстах про битвы в далёком космосе, про душераздирающую любовь, про ангелов и демонов, мороев и халдеев, маньяков-убийц и киллеров, вампиров и привидений, эльфов и хоббитов, драконов и гончих преисподней, когда на блюдечке с голубой каёмочкой преподносится фруктовый салат из мистики, гламура, ужасов, эротики и альтернативной истории. Впрочем, желающие могли отведать другое блюдо: немного “экшн” и магии, щедро приправленные “клубничкой”, из специй – какая-нибудь злободневная тема и милейший хэппи-энд. Так что ожидать, что вам наизусть прочитают плач Ярославны или вспомнят строки “Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды своей. Ни зашелохнёт; ни прогремит...”, а тем более назовут имена отца и сына Гринёвых из пушкинской “Капитанской дочки”, сегодня не приходится.

Впрочем, смею думать, что сегодняшние читатели вряд ли назовут вам и имена главных героинь остросюжетного любовного романа Юлии Шиловой “Время лечит, или Не ломай мне жизнь и душу”, появившегося на свет совсем недавно (2009), или уже слегка удалённого по времени бестселлера Марины Серовой “Шкура неубитого медведя” (2000). Хотя оба автора из числа тех, чей суммарный тираж книг превышает несколько миллионов экземпляров. А ведь таких рекламируемых издательствами писателей только среди авторов-женщин тьма-тьмущая: одних Татьян – Устинова, Полякова, Корсакова, Соломатина, Тронина, Степанова, Патрикочка, Луганцева, Гармаш-Роффе, Ставицкая, Королёва, Веденская, Алфёрова, Коростышевская... А ещё, само собой, есть Натальи, Галины, Анны, Елизаветы, Ксении, Инны, Стеллы, Яны, Алины, Дианы, Влады, Валерии, Ярославы, Каринэ и просто Марии...

Открываешь Юлию Шилкову – тут тебе и несостоявшаяся невеста, и похороны, и фальшивая свадьба, и плен, и любовь, и деньги. Интригующий сюжет, захватывающий и самоироничный стиль изложения, остроумные и динамичные диалоги, тонкий юмор и совершенно непредсказуемая развязка – таков, убеждают издатели и книготорговцы, фирменный стиль авторов женской прозы, о чём бы они ни писали.

Фирма, она, конечно, веников не вяжет, но почему ни интрига и самоирония, ни остроумие и динамизм, ни сказка и быль, ни тонкость и непредсказуемость не спасают многочисленных современных литературных массовиков-затейников от падения тиражей их произведений? Нет, писатели продолжают пописывать, но читатели, даже невзыскательные, отчего-то перестают их почитать. И не потому ли литературная критика как не признавала литературой творения нынешних беллетристов, так и не намерена это делать, понимая, что зачастую имеет дело всего лишь с ширпотребом?

В этом легко убедиться, взглянув лишь на названия, вынесенные на обложки: “Айсберг в джакузи”, “Белоснежка и семь трупов”, “Нобелевская премия по сексу”, “Вся правда, вся ложь”, “29 отравленных принцев”, “Уходи красиво”, “Дворец для сероглазого принца”, “Печальный зверь”, “Дьявол носит лапти”, “Муж объелся груш”, “Большое зло и мелкие пакости”, “Измена в рамках приличий”, “Блудница поневоле”, “Стервами не рождаются!”, “Последняя ночь с принцем”, “Московская плоть”, “Королева придурочная”, “Демоны без ангелов”, “Концерт для Колобка с оркестром”, “Прощание с первой красавицей”... Сомневаюсь, что хотя бы одно из них могло бы привлечь Тургенева или Чехова, Бунина или же Агату Кристи. Хотя, если честно, я и у Чейза и Гарднера подобных названий романов не припомню.

Правда, напрашивается вопрос: а надо ли ставить в один ряд авторов книг “Рабы дьявола”, “Химера”, “Бабушка на сносях”, “Девушка с приветом”, “Лунный демон” с Чеховым и Буниным? Насколько корректно само такое сопоставление?

Действительно, ведь ясно, что всевозможные “Рабы химеры на сносях с приветом” изначально пишутся без претензии на шедевр. Они пишутся в расчёте на реализацию. Прагматичность такого подхода, замечу, формирует специфичную писательскую психологию. И уже нет ничего удивительного, например, в проведении на просторах ЖЖ **Максимом Субботиным** (автор

романов “Феникс”, “Исчадия Ада”, “Под личиной зверя”, “Мёртвые не разговаривают” в жанрах фэнтези и хоррор), опроса по выбору заголовка для новой книги:

“Народ, буду сильно признателен всем, кто поможет определиться с названием для будущей (пишущейся) книги. Жанр книжки: хоррор. Место действия: современная Россия. Суть книги раскрывать не буду, потому прошу выбрать понравившееся название исключительно из ощущений и личных пристрастий. Какой вариант наиболее вам симпатичен? “Шёпот мертвецов”, “На костях прошлого”, “В шёпоте мёртвых”, “Мёртвые говорят”, “Отчаяние мёртвых”, “Мертвенный шёпот”, “Мёртвые не уходят”, “Я слышу! Я вижу! Я умру?”, “Тени прошлого”, “Мёртвые тени”. Можно выбрать несколько вариантов”.

И если Чехова никак не спутаешь с его современником Львом Толстым, то отличить создателей текстов книжных серий “Детектив глазами женщин”, “Русский бестселлер”, “Женские хитрости”, “Дамские детективы”, “Смешные детективы” не то что затруднительно, а просто невозможно. Ну, нет никакой разницы в текстах для читателя, открывшего “В погоне за бурным сексом”, а потом углубившегося в “Фантазии офисной мышки” или “Личное дело соблазнительницы”! Даже представить себе нельзя, что написаны они разными авторами. То есть, конечно, разница есть, но... примерно такая же, как, по большому счёту, между “Докторской” колбасой комбинатов “Велком”, “Дымов”, “Мортадель”, “Микоян”, “Останкино”, “Сетунь”...

2. Литература: искусство или совокупность любых письменных текстов?

Главное, нет в книгах беллетристов нашего времени своего стиля, своего языка — одни только “заимствованные слова”, которые они перенимают друг у друга. Недавно мне на глаза попало одно любопытное рассуждение:

“А вот интересно — тот упрощённый русский, на котором говорят мигранты, его уже можно считать отдельным языком или это всё ещё диалект? Или этот, как его, пиджин (если я правильно употребляю термин)? И через какое время этот язык вытеснит классический русский? И насколько сильно вытеснит? Превратится ли классический русский в умирающий язык, которым владеют в полной мере лишь немногие интеллектуалы? Или же станет языком образованного класса и владение им будет вопросом престижа, а упрощённый русский будет уделом маргиналов?”

И я подумал: “А упрощённый язык нынешней беллетристики через какое время сможет потеснить или даже вытеснить классический русский? Превратится ли классический русский в умирающий язык, которым владеют в полной мере лишь немногие интеллектуалы? Или же он станет языком достаточно узкого образованного класса, и владение им будет вопросом престижа, а упрощённый, но массовый русский будет уделом маргиналов?”

Хочешь не хочешь, а разговор о современной литературе невозможен без изучения системы современного образования, системы, делающей из учителя посмешище, а из школьника — дурака. Это вчера литература была искусством, которое — “если это настоящее искусство, — нужно нам не потому, что оно красиво и приятно, а потому, что говорит человеку о человеке же”. В этом я полностью согласен с литературоведом Марией Елифёровой, чьи слова только что процитировал. Но сегодня литературу всё чаще и всё большее количество даже профессиональных литераторов воспринимают буквально: “написанное” от лат. *lit(t)era* — “буква”, то есть, в широком смысле, совокупность любых письменных текстов. Впрочем, тому есть резонное объяснение.

После введения ЕГЭ и студенты филфака “не могут связать двух слов”, жалуются преподаватели гуманитарных вузов. Будущие филологи даже не слышат, не то что не понимают язык классической литературы. Проводимое наступление на литературу и русский язык (превращение их в школах в уроки словесности) ведёт к тому, что мы рискуем получить довольно скоро поколения, способные объясняться только жестами и смайликами. ЕГЭ по литературе и истории, облегчение экзамена по русскому языку почти не читающим школьникам просто программируют общество на превращение невежества в норму. В качестве заурядных примеров приведу выдержку из переписки в интернете двух преподавателей:

“Сегодня две девицы пересдавали устный экзамен по литературе.
– Автор рассказа “После бала” – Лев Толстой. В рассказе окрашенный любовью Иван Васильевич приглашён на бал к камергеру.

Попросила у девушки её черновик.

“Простокова готова убит своего брата ради Метрованушки”.

Ей отвечает учительница из Забайкалья:

“А я иногда боюсь спрашивать... За простым вопросом такая пустота открывается... И приходится на простейшем уровне об истории страны говорить. О том, что Достоевский не в 20 веке жил... О том, что не мог Жилин по телефону своим позвонить... О том, что жизнь началась не здесь и сейчас, а уже длится некоторое время.

Меня детки как-то спросили о том, были ли во времена моего детства сговородки.

– На углях мясо жарили... Мамонятину.

И ведь не засмеялись...

Грустно так”.

Были годы (я про то время, о котором сегодня слагают легенды, то есть про старое доброе время, когда, как известно, детей находили в капусте, про лучезарную пору, когда солнце светило ярче, соль была солоней, трава была зеленой, мёд слаще, и секса вроде как бы и не было, когда все жили просто, без затей, распевая: “никуда не денешься, влюбишься и женишься...”), когда я читал все выходившие в стране “толстые” журналы, заодно прихватывая и большинство “тонких”. Сейчас вспоминаю и сам себе не верю – фантастика какая-то! Я тогда большинство журналов даже не покупал, а выписывал, их почта приносила домой. Скажи нынче про такое кому из молодых – не поверит... Или спросит: “Толстые” – это “Cosmopolitan” и “Кара-ван историй”?

Людей, готовых читать (я уж не говорю перечитывать!) “Войну и мир”, “Мёртвые души”, “Обломова”, с каждым днём становится не просто всё меньше – их уже катастрофически мало. Произведения классической литературы не вписываются в компьютерный век, в частности, “потому, что с экрана труднее читать, чем с книжной страницы”, как я услышал недавно. Интернет вступил в явный конфликт с навыком восприятия человеком сложных и длинных текстов. Можно сказать и так: длинные тексты автоматически стали сложными.

На смену поколениям тех запойных читателей, что с самого раннего детства алчно проглатывали любой печатный текст, пришли другие, с того же самого раннего детства алчно проглатывающие послания SMSок, Вконтакте, Твиттере и ЖЖ, состоящие из нескольких строк. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы человечество на книги стало смотреть, как мы сейчас – на древние папирусы?

Из очевидных всем, кроме их создателей, проблем образования, трансформированного в сферу образовательных услуг, меж тем уже выросла любопытная цепочка: необразованный школьник – необразованный студент – необразованный читатель, способный усвоить лишь поп-литературу. И этот новорождённый массовый читатель уже заявил о себе, обозначил свои предпочтения и оценки: “Хочу чего-нибудь попроще!” Интересно, этот, кому хочется “чего-нибудь попроще”, когда-нибудь в своей жизни откроет “Войну и мир”?

Заметим, суть явления не в том, что произошла деградация “серьёзного” читателя. Возник новый потребитель текстов, которого не интересует “серьёзная” литература. Самыми значимыми и актуальными для этой категории читателей стали темы реально существующих ныне книг: “Пороки и их поклонники”, “Как поверить в себя и получить счастье”, “Микстура от косоглазия”, “Как привлечь и удержать мужчину”, “Диета для трёх поросят”, “22 суперметода притянуть к себе деньги, чтобы блистать, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы получить всё, что хочешь” и т. п.

И тут ещё – внимание! Эта категория читателей, о которой раньше мы не имели представления, получила возможность в любых формах высказываться самим: интернет подарил им эту возможность: в личных блогах, на форумах, на сайтах самоиздания современной литературы вроде “Проза.ру”, “Проза Дома Солнца”, “Авторская проза”, “Малая проза”, “Самиздат.ру”, “Три желания”...

Разумеется, книга существенно отличается от текста на ридере или на сайте “Проза.ру”. Она требует тщательного, неспешного чтения, даже если

это не “Война и мир”, а “Золотой телёнок”. Впрочем, всё чаще и чаще звучит, что само чтение “настоящих” книг (их сегодня ещё называют “бумажными”), которое в годы моей юности было почти ритуалом, постепенно уходит в прошлое. А с компьютерного экрана разве можно “читать” — в старинном, созвучном наслаждению смысле этого слова? Можно лишь получать информацию, кушать биты и байты. Но это не единственное отличие.

Книга — это книга. И не надо добавлять никаких слов (бумажная, картонная). Электронная — никакая не книга, это текст на электронном носителе. И тогда всё становится на свои места. Не говорим же мы про текст на папиресе, бересте, что это папирусная или берестяная книга.

Слышу возражение:

— Слово “книга”, как и большинство слов, многозначно. Это и конкретный предмет, и текст. Конечно, не всякий текст является книгой, но есть и такие, которые невозможно назвать иначе. В последнее время я прочла несколько электронных книг. Можно, конечно, не причислять к книгам произведения отдельных современных авторов, хотя как? А как быть с классиками? “Бесов” я перечитывала как раз в электронном варианте. Кстати, почему не назвать папирусные свитки книгами, если это законченные произведения?

Вопрос не шуточный! Отвечаю:

— Потому наши предки и не называли папирусный свиток книгой, что это не было книгой, даже если на нём было законченное произведение. Стремление назвать свой текст, размещённый где-нибудь на “Самиздат.ру”, “Проза.ру”, книгой возникло как раз у тех, кто не может (по разным причинам) опубликовать его книгой. Далеко за примером ходить не буду. Мною написан роман, он опубликован в 2003 году в 2-х номерах журнала “Москва”, но книгой так и не вышел. Его можно прочитать в интернете (хотя я его туда не выкладывал). Тем не менее, я везде говорю, что я автор романа, но никогда не говорю, что я автор книги с тем же названием, что и роман.

Что касается любого, кто прочитал в интернете, допустим, “Бесов” Достоевского, то человек прочитал его текст на электронном носителе, познакомился с произведением. Зачем ему говорить, что он читал книгу? Он читал произведение. О книге же “волнуются” авторы, желающие сказать, что написали книгу. Хотя, по сути, они авторы рукописи (даже если она набрана в Word’e и представлена на сайте “Проза.ру”). Говорю так, ибо считаю, что всё надо называть своими именами, то есть не следует, глядя на арбуз, заявлять, что это футбольный мяч, а придерживаться старого названия — ягода.

“Самые демократичные” серверы Рунета, как говорят их создатели, отличает отсутствие какой-либо редакционной политики: “Нет вкусовщины”, как в журналах, мы не отказываем в публикации текстов, которые другой редактор посчитает “слабыми”. Качественные оценки всегда субъективны. У нас нет политических или религиозных ограничений, и даже допустимые моральные рамки трактуются достаточно широко”. О том, насколько представительны эти литературные ресурсы Рунета, можно судить по количеству размещённых на них произведений и по числу авторов: опубликовано свыше десятка миллионов текстов и несколько сот тысяч авторов.

Да-да, вчерашние школьники, авторы замечательных фраз, рождённых во время ЕГЭ: “Поэт полностью отдавался в объятия великой русской души”, “Обломов полюбил Пшеницыну на почве барских привычек”, “Люди с треском возвращались на дно”, “Обломов живёт от завтрака до обеда”, прерываясь на сон и десерт”, “При сравнении внешности видна разница между героинями: Ольга показана как женщина, ведущая богатый и ритмичный образ жизни”, — из таких словосочетаний и предложений стали складываться тексты, называя их рассказами, повестями, романами. Даже пишущие слово “корова” через “а” имеют полное право быть представленными на демократичных серверах Рунета.

Поэтому можно сказать о сформировавшемся следующем звене цепочки — необразованный писатель-беллетрист, способный преимущественно на создание поп-литературы (а во многих случаях неспособный даже и на это!). Этот процесс, по своей сути, аналогичен тому, что происходит в школе. Непонятно системно-образующий институт нации и государства, школа перестала выполнять эту свою основную функцию. В результате сегодня мы уже стали забывать, что прогресс определяет не менеджер, как и войну выигрывает не солдат. И то, и другое делает учитель, который воспитывает рабочего и солдата, инженера и офицера, генерального директора и генерала.

Вот и в обыденном сознании нынешнего автора текстов не возникает мысли о писателе как об “инженере человеческих душ” (без соотнесения с тем, кому принадлежит это определение). Его вполне устраивает положение, при котором вместо создания памятников художественной литературы он всего лишь оказывает населению развлекательные услуги.

Подтверждение моему выводу я нашёл у **Анны Ивановой-Иваковой**, автора повестей “Любовное томление”, “Святая Иоланда”, “Чёрт с левого клироса”, написавшей в своём блоге:

“Бульварное фэнтези – это поделка, назначение которой, прежде всего, угодить массовому потребителю. А массовый потребитель не хочет “философии”, ему начхать на духовные искания и муки Мышкиных и Безуховых – и без них проблем хватает. Потребитель хочет одного: отвлечься, отдохнуть, спрятаться хоть на время от жестокого мира, в котором он, потребитель, чаще всего ничего особенного собой не представляет, и поиграть в героя, как дети играют в войну. Потребитель не хочет думать, ему нужны книги, которые читать – всё равно, что грызть семечки.

Эти книги покупают и читают по той же причине, по которой дети, будь их воля, питались бы одними чипсами и конфетами. И рассчитаны они, в сущности, не на взрослого читателя, а на ребёнка, который в этом взрослом читателе, согласно теории Фромма, продолжает жить и требовать свою порцию детского пюре “Ням-ням”.

... Что это? Литература? Нет”.

Наконец, завершают цепочку издатели, умеющие только печь, как блинчики, эту самую поп-литературу. У коммерсантов, взамен “старого” слова “культура” быстро начертавших на своих знамёнах “новое” сладкое слово “бизнес”, книга стала товаром. И маркетологи, взяв готовые западные схемы завоевания рынка, стали перекладывать их на российские условия с ориентацией именно на этот тип литературы. По той простой причине, что она “массовая” – значит, и доходы “массовые”. А новорождённый читатель получил своё желанное “чтиво”, оформленное в серию.

3. С кем мы имеем дело?

Несомненно, успех книги внутри серии – это, все понимают, не творческое достижение. Почему? Потому что серийная стратегия отечественных издателей строится на двух китах: экономии на авторском гонораре и отказе от политики рекламирования писательских имён в пользу серий. Рекламирывать серию дешевле и менее трудоёмко. А автор что? Авторов много, среди массы пишущих одинаково плохо редакторы отберут сотню таких, кто за маленькие деньги быстренько напишет очень похожие и узнаваемые тексты. Узнаваемые в рамках серии, которая с помощью рекламы станет известной, но авторов, включённых в модную серию, никто и не вспомнит.

Безусловно, количественный подход, опять же все признают, не на пользу дерзким и рискованным творческим замыслам, которые и создают великую литературу. Конечно, как спокойно говорят сами издатели, рукопись стала рассматриваться как полуфабрикат, а издательство – как некий “литературный кластер”, предприятие отвёрточной сборки. Но разве это повод, чтобы отказываться от денег?

При этом тиражируемый текст, независимо от качества, будь он в мягкой обложке или в жёстком переплёте, либо размещённый на сайте “Проза.ру”, даёт ощущение счастья самим авторам, которые, однако, при каждом удобном и неудобном случае клянутся, что своим творчеством желали осчастливить читателя.

Тут самое время, как в таких случаях говорят, определиться с терминами. Я исхожу из того, что “всё, что не стихи, – то проза”; всё, что не наука, – то литература. Следовательно, и Пауло Коэльо, и, например, А. Маринина, Г. Романова, М. Серова, Т. Тронина и многие другие есть литература. Но мне, любящему перечитывать Лабрюйера, Ларошфуко и Паскаля, после них не хочется, познакомившись с Пауло Коэльо, ставить его на полку к художественной литературе, где стоят перечисленные писатели-классики. Моя дочка раньше меня прочитала Паоло Коэльо (мода – она во всём мода!), собственноручно, через неё книжечки бразильского писателя и попали ко мне в руки. Дочь прочитала и тоже не изъявила желания оставить их дома.

Так что это какая-то особая литература. Модой и маркетингом она продаётся, читается, в памяти не остаётся, перечитывания не просит. Маринина раскручена телевидением и фильмами. Однако начинаешь читать её тексты (не экранизированные детективы, а те, которые автор называет “настоящей прозой”), – читать до конца даже не хочется. Но, говорят, Маринина – писатель и создатель современной литературы. И если взять Набатникову, то смотреть гардемаринов можно (мне так даже нравится), а читать, на мой вкус, невозможно. Язык, стиль – ужас. Но она тоже писатель, и тоже создатель текстов современной литературы.

Надеюсь, вы понимаете, что последует в заключение? Есть литература и есть поп-литература, фрагмент масскультуры, массовая литература. Она тоже имеет... своих любителей и почитателей. И даже не стану говорить, что она – явление со знаком “минус”. Там есть образцы хорошие, средние, плохие. Это можно: одним – писать, другим – читать. Но то, о чём идёт речь, всё же тексты, а не художественные произведения, и в это слово я не привношу ничего личного и тем более обидного.

Как бы то ни было, российский литератор во все времена имел возможность согласиться стать глашатаем официальных мыслей, мнений, оценок или явить себя в виде беллетриста для приятного чтения и развлечения в часы досуга. Но далеко не каждый писатель на это шёл. Хочу напомнить: уже первые из известных нам писателей относились к своему делу как к высокому служению всей русской земле, исходили из интересов всего русского народа, а не интересов того или иного князя. Пусть даже он и был для пишущего, говоря современным языком, и продюсером, и спонсором, и издателем в одном лице.

При всей разности лиц, приёмов творчества, линий мысли, богатстве языка некогда в России каждый писатель, из тех, кого мы читаем и сегодня, был резко индивидуален. Но в то же время всех их объединяло стремление понять, почувствовать пульс страны, нерв народа и его предназначение на земле. Хотя всегда было достаточно и литераторов с претензией на миссию властителей дум, выдававших свои “творения” за “откровения”, в которых читалось желание превзойти других в забвенье общественных интересов.

Тем не менее, приходится констатировать: сегодня мы живём в период, когда изменились читатели, изменились писатели, изменились издатели, изменилась ситуация. Хорошо это или плохо? На сей вопрос можно услышать ответ:

“Хорошо ли, плохо ли, но это жизнь! Нравится ли это писателям и теоретикам литературы, нет ли, но жизнь не зависит от их мнения. У неё свои законы. Было бы нелепо и неправильно пытаться навязать ей свои правила”.

Нередко звучат голоса, мол, это только “литкритики имеют обыкновение сваливать всё в одну кучу, а точнее, разделять на две: литературу и нелитературу”. Тогда как “в каждом отдельном направлении может быть халтура, а может быть и отличное произведение”.

Относительно халтуры и отличных произведений всё верно. И никакой зависимости от жанра при этом не наблюдается. Другое дело, что не надо “ставить на одну доску” и уравнивать, с чем сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся, например, “неоконченный” роман Гроссмана “Жизнь и судьба” и великую книгу Льва Толстого “Война и мир”. Или сравнивать главного персонажа дебютного романа Сергея Минаева “Духless. Повесть о ненастоящем человеке”, ставшего героем одноимённого фильма, – топ-менеджера, много зарабатывающего и много тратящего на тусовки, бары и девиц, – и пушкинского Евгения Онегина.

Поэтому разрешите уж сохранить за собой право сравнивать и дальше. Например, классику и халтуру, как, впрочем, и всё то, что располагается между ними. В определённой мере эта “грязная” работа прямо возложена на критику, а значит, и критиков. Нужна ли она нынешним пишущим, пробуящим установить в литературе свои нравы и законы, отрицая при этом необходимость правил? На память приходят слова критика, вряд ли знакомого сегодняшним авторам-беллетристам, не обременённым знанием прошлого, Юрия Селезнёва. Хотя вроде бы не так давно, точнее, в 1979 году он писал: “Художественная литература и критика – как два крыла, равно необходимые для полёта. Писатель нуждается в достойном его таланта критике, критику необходим писатель, талант которого отвечал бы тем высотам и глубинам народного духа, глашатаем и проповедником которых является критик. Естественно,

речь идёт об истинной, большой критике, как и о литературе в подлинном, высоком смысле этого слова. Думается, здесь нет необходимости повторять старую истину: не всякий пишущий (а ныне кто не пишет?) – писатель, не каждый критикующий – критик”.

И он же в статье о Достоевском-критике, увидевшей свет уже после смерти талантливого автора, одного из тех, кто у всех на виду возрождал русский миф XIX века о всесиилии критического слова, сформулировал: “Истинная литература должна быть литературой дела”. Да-да, дела, а не развлечения во время безделья.

Хорошо ли, плохо ли, но для Льва Толстого словесность наша была “серьёзным делом серьёзного народа”, а вовсе не “перенесённой с чужой почвы детской забавой”. И, если вдуматься, для настоящих созидателей отечественной литературы, которых мы именуем классиками, главным побудителем их творчества были задачи не собственно беллетристические, но духовно-нравственные, гражданские, общенародные. Потому и отношение наше к ним несравненно большее, нежели просто как к писателям, беллетристам.

Так было, а что есть в наше время? Тут я позволю себе сделать два вывода.

Первый: читателей стало меньше. Согласно данным опроса, проведённого “Левада-центром”, процент жителей России, которые совсем не читают книг, вырос до 45! А читают ежедневно всего 10% россиян. За последние 15 лет снижение процента ежедневно читающих жителей России составило 8%. При этом наибольшим успехом у читающей части пользуются любовные романы и детективы. А наименьшим спросом – так называемая “серьёзная” современная проза и поэзия.

Вывод второй: писателей (во всяком случае, себя таковыми считающих) стало больше. Причём, именно в жанрах, пользующихся наибольшим спросом: выросло количество беллетристов, создателей любовных романов и детективов. По понятной логике: спрос рождает предложение.

Худо-бедно, но мы много знаем о тех писателях, кого числят по разряду “серьёзной” литературы – о них как-никак пишут литературные критики (как бы скептически я к современной критике не относился). Но мы практически ничего не знаем о тех авторах книг, составляющих ряды многочисленных серий на полках магазинов под этикетками “Детективы”, “Фэнтези” и “Любовные романы”.

Впрочем, в рукописях, лежащих на редакторских столах, тексты таковы, что словесная вязь – “бокалы с напитками с утяжелённым дном” и “лепнина и синие ковры придавали залу спокойную, доверительную интонацию” – читается как стихотворение в прозе. Потому что язык, каким написаны эти тексты, подлежащие редактированию, – это бурьян с чертополохом. Вот, между прочим, пример из фэнтези:

“... золотые локоны усов...

... многоруким было это озеро...

... юность и сила сквозили из каждой чёрточки его громадного тела...

... сидел мрачный, как гром...

... его квадратная борода выступила из-под изгиба верхней губы...

... но его и его жену нельзя отрывать один от другого...

Король был одет в пальто величественного военного стиля.

... мерные раскаты барабанов и труб...

... смогли пройти через её молчаливые снега только силой своих рук...

Под гул уток в период течки он поднимался по лестнице.

У старухи было сгорбленное тело, плечи торчали над кончиками туфель.

... спросила она, подтягивая подштанники через свои длинные ноги...

... смотрел на свидетельство правоты своих худших опасений...

... выемка прекрасных грудей...

... его жестокий рот гордо нависал над квадратной челюстью...

Он расправлял грудь, когда шёл рядом с ней, держа руки за спиной под углом в 90 градусов”.

Кому-то эти перлы покажутся смешными. А я, читая их, вспомнил удивление автора нескольких миниатюр в журнале “Самиздат” Ники Анисеевой: “Как редактор может точно знать, что именно хотел сказать автор? Почему надо заменить одно слово на другое или переписать предложение в совершенно ином варианте?” Вспомнил и уронил скупую редакторскую слезу. Ведь за-

втра эти тексты, приглашенные и припомаженные редакторами, станут книгами, и на какой-нибудь очередной книжной выставке-ярмарке станут произносить красивые слова про гениальных, талантливых, состоявшихся писателей (только так и никак иначе будут их представлять менеджеры по рекламе и промо-адам).

Не следует думать, будто подобным “великим, могучим, правдивым и свободным русским языком” пишутся только произведения в жанре фэнтези. Можно полистать рукопись приключенческого романа:

“... он осклабился своей нежной улыбкой...

... неловкий в физических движениях...

... вошёл человек с фигурой футболиста в защитном костюме...

... его лицо, не запятнанное никакими признаками ада...

... мужчина с угрюмым лицом в золотых очках...

... они кончили жидкое блюдо и приступили к груше...

... подтянутые тёмные глаза...

... его медвежья фигура и неуклюжая походка удалялись при свете фонарика в руке и, наконец, исчезли...

Беспокойное море вздымалось высокими вершинами и манило зловещим пальцем судьбы”.

Хочу быть оптимистом, но мешают слова очередного “творца”: “Всего-то ночь посидела, уснула на пару часов, потом в дичайшем ужасе проснулась и бросилась редачить – и вот второй роман готов к отправке хоть на “Дебют”, хоть издателям. Вот что бывает, когда внутри включается режим маньяка =)

Ну, что, денёк перерыва – и пойду работать над другим романом”.

Ну, и как тут не задать вопрос (в форме, звучащей нынче в жюри всевозможных и многочисленных телевизионных конкурсов): станет ли следующий роман “маньяка” потрясающим, классным, пронзительным, пойдут ли от него мурашки, будет ли он “сносить мозг”? Ответьте на него сами.

Кто-то скажет: ну, пишут они и пишут. И впрямь, то, что пишут – это дело десятое. Важно, как они пишут. Татьяна Тренина, к примеру, уверена, что новые романы рождаются в атмосфере “стилистических сумерек”:

“Мне кажется, стиль в литературе умирает. Именно так, не умер, нет ещё, но... наступают неизбежные сумерки.

Конечно, никто не станет читать корявый, убогий, примитивный текст, где громоздятся филологические штампы и полно пошлых, избитых метафор.

Но вполне достаточно чистого, внятного языка – без излишних словесных красот, вызывающих изжогу, и без плохо перевариваемой сухости. Нормальный такой язык образованного, интеллигентного человека. А если автор ещё и искренен (а это чувствуется при чтении – его увлечённость, интерес к теме), то всё отлично!

Стиль сейчас не важен... А что важно? Интересная история. Необычный сюжет. Фишка, изюминка... И главное – искренность, которая рука об руку идёт с достоверностью”.

Желая пристальнее взглянуть на “атмосферу стилистических сумерек”, я открыл первые страницы новой книги Трениной “Песчаный рай” на сайте издательства “ЭКСМО”. И там же прочитал: “Проза Татьяны Трениной подкупает тем, что её герои ведут себя, как обычные люди. В её книгах нет штампованных образов и надуманных ситуаций. Кто больше виноват – неверная жена или муж, предпочитающий уничтожить беглянку, чем видеть её счастливой? Что такое любовь с первого взгляда – минутный порыв или непреодолимое чувство? Татьяна ставит непростые вопросы, и её герои ищут ответы, порой рискуя всем, что им дорого”.

После знакомства с первой главой романа желания читать дальше, увы, не возникло. Но это ничего не значит. Чтение – дело субъективное. А вот редактору серьёзной, на мой взгляд, текст требует. Да, саму Тренину бездарностью никак не назовёшь. Как-никак, автор около 50-ти любовных романов. “Удивительно чуткий писатель, но и очень востребованный”, как её представляет сайт “Рейтинги 7я.ру”. По данным исследования издательства “Эксмо”, она входит в пятёрку самых популярных и продаваемых российских авторов сентиментальной литературы. “Мой любимый писатель – Юрий Поляков”, – признаётся она. На сайте ЭКСМО можно прочесть: “В романах Татьяны Трениной есть место тайне, детективной интриге, авантурным приключениям, безумию, мести, ненависти и нежности. Страсть никогда не бывает наполо-

вину – ей надо отдалиться, вместе с героями преодолеть все бурные сюжетные перипетии, приплыть в тихую гавань счастливого финала, вытереть слёзы и прошептать: “Господи, бывает же!..” Среди любимых ею самой романов – “Роза прощальных ветров”, в котором, пишет она, “немного не так, как описано в аннотации, там сложнее и тоньше... Там есть детективная линия, корнями уходящая в прошлое 20-летней давности, – одна из моих любимых тем, про скелеты в шкафу. Там немного про гинекологию, ревность, отечественное самолётостроение, перформансы и ещё много чего”.

Пишет она, действительно, “вполне достаточно чистым, внятным языком – без излишних словесных красот, вызывающих изжогу, и без плохо перевариваемой сухости. Нормальный такой язык образованного, интеллигентного человека”. Даже спорить не стану по поводу “нормального такого языка образованного, интеллигентного человека”. “Такой”, по мнению, Трониной, значит, “такой”. Меня разве что слегка царапнуло словосочетание “вполне достаточно”, но это ведь кому как. Что ни говори, гладенько пишет автор 50-ти сентиментальных романов:

“Дина осталась одна. На экране телевизора уже шла мелодрама – самозабвенно целовалась влюблённая парочка. Молодые и красивые. Счастливые. Эх, как всё просто в кино...”

Вот и у Трониной, как в кино, обходится всё без особых сложностей:

“Дина вымыла посуду, потом начала собираться на работу. На душе кошки скребли. Зачем Руслан назвал её отсталой? Нет, он не хотел её обидеть, но... всё равно неприятно. Нет, не потому, что назвал “отсталой”, но это постоянное, раздражённо-снихождительное пренебрежение с его стороны, как будто она – дурочка, неразумный ребёнок”.

Как видим, герои и впрямь “ведут себя, как обычные люди”. Если что их и волнует, так исключительно: любит – не любит, плюнет – поцелует, ревнует – не ревнует, изменяет – не изменяет, переспит – не переспит. И вокруг всё обычное: музыка – зажигательная, глаза – затуманенные от восхищения, начальник – бабник, муж – с “калашом”, жена начальника – любительница дорогих украшений, сама героиня – смущённая и чувствующая себя не в своей тарелке. Зато оригинален сарафан – он терракотового оттенка. А может, это и не сарафан, а “новое платье – красное, с открытыми плечами, с глубоким вырезом, с широкой юбкой”.

Это платье сразу заставило вспомнить Мэрилин Монро. Строки романа напомнили её знаменитое белое платье с глубоким декольте и плиссированной юбкой, в котором звезда появилась в сцене фильма “Семь лет желания” в 1955 году. Разве что Тронина цвет изменила для большей оригинальности и выразительности созданного ею образа.

Одновременно с чтением “Песчаного рая” мне в интернете попались на глаза строки отзыва об одном британском детективе знакомого книжного редактора, которая не без иронии писала о достоинствах произведения: “в меру маразматическая фабула, после тяжкого умственного труда отлично разгружает; лихо закрученный сюжет; довольно часто – красивые пейзажи, героиня – тётка, каких у нас на автобусных остановках каждая третья, – толстая, светлая, орущая, немолодая, толковая, платьишко в цветочек, вязаная кофта (ладно, ладно, кардиган)”.

Роман Татьяны Трониной, конечно, не детектив, однако всё на месте: и фабула, и сюжет, и героиня – тётка, каких много, и тоже толковая. Правда, молодая и не толстая, но платье “простенькое, из ситца в цветочек, уже немного выцветшее”, и вместо вязаной кофты перстень с крупным рубином (ладно, ладно, от бабушки достался...). И тоже после тяжкого умственного труда отлично разгружает. Так что уровень ничуть не хуже британского детектива. Вот только литература – это не школьный урок, где повторение – мать учения. В художественной прозе одни и те же приёмы, многократно повторённые, не способны родить свежий образ.

Хороший же писатель не боится быть смешным, наивным, не стесняется слов, выбивающихся из строя фраз, не стремится остаться чистым и внятным, мечтая угодить тем, кому “за 30”, и не опасается “выглядеть” старомодно. Скромная оправка, скажет любой ювелир, хороша для ослепительного бриллианта, чтобы не затмевать его достоинств. А здесь не то, что “не счастье алмазов в каменных пещерах, не счастье жемчужин в море полудённом”, – здесь их днём с огнём не сыщешь!

Грамотный стилист непременно порекомендовал бы добавить акценты, на которые читатель захочет обратить внимание. Иначе получается конфуз: и не эффектно, и не элегантно – просто скучно.

Впрочем, Татьяне Трониной хорошо известно, что это не только моё мнение. Сошлюсь опять же на суждение, фигурирующее в интернете: **glasha_yu** (по её собственному признанию, она “читает только свои произведения, но не забывает и о двух мешках купленных... чужих книжек”, среди которых оказался роман Татьяны Трониной “Одноклассница”):

“Это про любофф. Автор, как написано на обложке, входит в пятёрку лучших авторов современного женского романа. Очень хочу знать остальных четырёх. Огласите, пожалуйста, весь список!

Если б романная канва была только любовной, я бы затосковала. А тут детективная основа. Очень наивная развязка, даже забавно. Но любовь – это сила! Образы схематичные, ходульные. Наверное, мне попал в руки не самый лучший продукт писательницы. Но написано чисто, хотя и невкусно.

Для чтения в парикмахерской”.

Но эта манера письма, как мы знаем, осознанная, а оттого критиковать её неинтересно. Не спорю, она способна очаровать приверженцев поп-культуры, желающих расслабиться и получать удовольствие от прочитанного.

Что касается меня, то замечу: как бы то ни было, не каждый, кто зашёл в воду, – пловец, не каждый, кто на коне, – всадник, не каждый, кто говорит, – мудрец, не каждый, кто из слов строит фразы, – писатель.

АЛЕКСАНДР ПУШКАРЁВ

“НЕ ТАКИМ МОЗГЛЯКАМ, КАК ВЫ, ТЯГАТЬСЯ СО МНОЙ...”

Джек Лондон (1876–1916) — за справедливость, демократию и социализм!

Дважды в начале нового века, 8 сентября 2001 года и, в записи, 10 августа 2002 года по российскому радио звучала настораживающая “литературоведческая” беседа представленной “профессором Современного Гуманитарного университета” В. Н. Новодворской и известного детского писателя и киносценариста Э. Успенского. Речь шла о великом американском реалисте и одновременно романтике Джеке Лондоне.

В ходе беседы злая, разрушительная энергия В. Новодворской, к сожалению, возобладала над благодушием учтивого, покладистого автора “Чебурашки” и “Троих из Простоквашина”.

Джеку Лондону, как бы в назидание презренным “совкам”, помимо очевидного мужества и литературного дарования, приписывались такие, явно надуманные, свойства, как индивидуализм, прагматизм, а также убеждённая жёсткость по отношению к себе и другим — чуть ли не с тенденцией к жестокости.

“Старым русским”, то есть основному объекту информационно-психологической агрессии, приводился в пример один из тенденциозно подобранных персонажей северных рассказов Д. Лондона: ослабевший от прожитых лет, голода и болезней индеец, обречённо остающийся на снежной тропе у догорающего костра — лишь бы только не быть в тягость уходящему в Белое безмолвие племени.

Аллегория более чем очевидная.

Новодворская с апломбом, достойным главного врача то ли хосписа, то ли психиатрической лечебницы, при поддержке Э. Успенского настойчиво рекомендовала радиослушателям как можно чаще и внимательнее перечитывать произведения Джека Лондона. По-видимому, в надежде на вожделенное для представляемых ею “белых большевиков” умиротворение всё ещё не угмонившихся и инстинктивно продолжающих цепляться за жизнь реликтовых советских людей.

Но это они зря. Начнём с того, что изначально неуместной была самоуверенная интонация этих непрошенных “социологов” и “литературоведов”. Они чуть ли не “открывали” нам одного из известнейших американских авторов, произведения которого неоднократно издавались на 32 языках народов СССР и неизменно привлекали к себе всеобщее внимание.

В действительности нет и никогда не было мировоззренческой или эмоционально-психологической “дистанции” между Джеком Лондоном и отзывчивым на всякое честно и своевременно сказанное слово русским читателем.

Собственному малодушию, а также недвусмысленным намёкам Новодворской на необходимость “достойного ухода” мы могли бы убедительно ответить словами высоко ценимого Джеком Лондоном Максима Горького.

Во-первых: “Человек — это звучит гордо!” (Сатин, “На дне”).

Во-вторых: “Умереть — не велика мудрость, ты бы вот жить умела!” (старик Каширин, “Детство”).

В-третьих: “Букашки! Вы лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей! О, гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для неё? Превратили ли вы слёзы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой. . .” (Ежов, “Фома Гордеев”).

Примерами действительно *достойного* поведения являются отнюдь не самоубийственные проявления “ангельской кротости”, но последние дни (и “Последние письма и статьи”) угасавшего от тяжёлой болезни В. И. Ленина, которому читала Н. К. Крупская напоследок не что-нибудь, но выстраданную молодым американским золотоискателем Джеком Лондоном “Любовь к жизни”.

Совместимы оказались бойцовские качества Джека Лондона и с мироощущением советских солдат и офицеров, насмерть стоявших в 1942 году на правом берегу кипящей под вражеским огнём Волги. По свидетельству Виктора Некрасова, невзначай полиставший однажды в землянке у воинов-сталинградцев роман “Мартин Иден” пехотный полковник пообещал: “А потом экзамен устрой. Как по уставу. Многому нам у этого Мартина учиться надо. Упорству, настойчивости”¹.

История великой Победы 1945-го — это история напряжённой, героической боевой учёбы, которой самоотверженно предавались наши отцы и деды. Но и в свой звёздный час, вскоре после помпезной “встречи на Эльбе”, в эмоциональном отношении они ощутили себя ничуть не лучше, чем “Мексиканец” — один из самых запоминающихся персонажей Джека Лондона.

“Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! . . . Никто не поздравил Риверу. Он один прошёл в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевёл взгляд дальше и ещё дальше. . .”².

Чем, спрашивается, не социально-психологическая зарисовка предпосылок и начальных проявлений “холодной войны”?

Многое из художественного наследия Джека Лондона мы естественно и непринуждённо принимаем на собственный счёт и органично считаем составной частью своей национальной культуры, поскольку ещё для Ф. М. Достоевского было очевидно, что русские исключительно восприимчивы к “всечеловеческому”. Напрасно поэтому Новодворская и Успенский пытались “вернуть” нас к позиции, которую мы никогда и не оставляли.

Известно то было нашим самонадеянным “миссионерам” или нет, но и Джек Лондон в течение всей своей жизни проявлял глубокий, прочувствованный интерес к России. Выходец из социальных низов, он уважительно откликнулся и на её державную мощь, и на её художественную культуру, и на пьянящие воображение перспективы пролетарской, социалистической революции.

Одно из первых, косвенных, упоминаний о России было сделано им ещё при написании рассказа “Сын Волка”. Схватившийся в ножевом поединке с молодым индейцем золотоискатель Маккензи почувствовал, что “все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения. . . и лезвие русской стали всё ближе, ближе. . .”³.

В другом рассказе, производимом Д. Лондоном от имени американского моряка, “сильный ветер рассеял туман, и мы увидели шхуну, а в её кильватере дымящиеся трубы русского военного судна”⁴.

Что и не удивительно: “Здесь, в запретных водах, патрулировали русские крейсера, и котики могли спокойно выводить своих детёнышей”, — узнаём мы из близкого по тематике рассказа “Исчезнувший браконьер”. Один из матросов оказавшейся в двусмысленном положении американской зверобойной шхуны проявил зловещую осведомлённость в этом вопросе: “Уж лучше умереть, чем попасть в Сибирь. . . Повезут тебя на соляные копи, и будешь там работать до тех пор, пока не подохнешь”.

Избавил своих товарищей от этой сумрачной перспективы опрометчиво взятый заложником на борт патрульного крейсера юнга по прозвищу Малыш. Он, мысленно примирившись с неизбежностью последующей расправы, всё-

таки решился тайком перепилить буксировочный канат и тем самым лишить русских моряков арестованного ими трофейного американского судна. Его удивление было безмерным: вопреки ожиданиям, чужаки весело смеялись и дружелюбно приветствовали его, как героя.

“В глубине души каждого человека, – радостно обнаруживал Джек Лондон, – живёт какое-то врождённое благородство, которое заставляет его восхищаться смелым поступком, если даже этот поступок совершил враг. И русские в этом отношении не отличались от других людей”⁵.

Хотя, конечно, свойственны были русским и несколько иные проявления человеческой природы.

Так, Джек Лондон уважительно упоминает в своих произведениях о располагавшейся в устье Юкона “Русской Америке”, в факториях которой можно было приобретать исключительно ценные товары. Одной из его героинь, например, предложили изготовленную по другую сторону Берингова пролива кухлянку, по поводу чего и завязалась самая оживлённая беседа:

“Какая она толстая! И что за чудный мех! И какая отделка!

– Это из Сибири...

... Там ещё не научились работать кое-как”⁶.

Но в *специальном* произведении на “русскую” тему – в рассказе “Потерявший лицо” – писатель знакомит нас с бывшим польским повстанцем Субьенковым, превратившимся в безудержной погоне за мехами в алчного, беспринципного авантюриста: “Его спутниками были охотники-славяне и русские – искатели приключений, монголы, татары и исконные жители Сибири; они кровью прокладывали путь среди дикарей этого нового света”⁷. Завершился этот кровавый, разбойничий путь вполне предсказуемым образом: восставшие индейцы жестоко отомстили своим поработителям.

Впрочем, Джек Лондон благоразумно избегал того, чтобы объяснять человеческие слабости и пороки одной лишь национальной или этнической принадлежности своих персонажей.

В частности, будучи несомненным американским патриотом, он признавал славян “самой юной нацией среди дряхлеющих народов”. На финишном отрезке жизненного пути, работая над романом о русской революционной эмиграции “Бюро убийств...”, Д. Лондон следующим образом говорил об одном из своих персонажей: “Он провёл почти год в России в грозном 1905-м. Там он пытался нащупать общемировые тенденции ближайшего будущего”⁸.

Примерно об этом же, расширяя русские с американцами, ещё в 1835 году говорил в своём трактате “О демократии в Америке” французский историк Алексис де Токвиль, полагая, что рано или поздно в руках тех и других будут в равной мере сосредоточены судьбы всего человечества.

Однако если что и интересовало Джека Лондона по-настоящему, так это отнюдь не геополитика, но злободневные социальные вопросы.

Возникновение этих вопросов в Америке и России (и появление у литературной общественности взволнованных откликов на них) удивительным образом синхронизируется. Этим ещё раз, дополнительно, объясняется то обстоятельство, что склонные к социалистическому реализму российские читатели привычно считают “своим” Фриско-Кида – простого рабочего парня из Калифорнии, однажды блистательно дебютировавшего в литературе с очерком “Тайфун у берегов Японии”.

Фриско-Кид (Джек Лондон) был, конечно же, вполне достоин распространения и той прекрасной характеристики, которую он давал своему знаменитому русскому собрату: “Горький пишет потому, что у него есть, что сказать миру... Он поднял голос в защиту отверженных и презираемых, он обличает мир торгашества и наживы, протестует против социальной несправедливости, против унижения бедных и слабых, против озверения богатых и сильных в бешеной погоне за влиянием и властью”⁹.

Если сопоставлять художественно интерпретированные особенности российской и американской действительности конца XIX – начала XX веков, то нельзя не вспомнить, как уродовала фабричная работа вечного, хотя и несовершенного ещё труженика по имени Джонни. “Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину”, – с большим знанием дела говорил Джек Лондон. И добавлял: “Это была пародия на человека: заморожен-

ное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна...¹⁰. В русской литературе зеркальным отображением американского фабричного мальчика можно считать мученически погибшего на уральском заводе малолетнего Прошку, героя написанного Д. Н. Маминым-Сибиряком рассказа “Кормилец”.

В 1908 году охваченный праведным негодованием Джек Лондон сообщал: “В Нью-Йорке каждое утро 50 000 ребят голодными уходят в школу, а между тем в том же Нью-Йорке 1320 миллионеров”. И возмущённо спрашивал: “...почему в Соединённых Штатах насчитывается 1 752 187 малолетних тружеников?”¹¹.

Положение этих тружеников, по его свидетельству, было поистине плачевно: “У малышей, работающих в ночной смене, глаза слипаются от усталости, и, чтобы они не заснули, им брызгают в лицо водой. Есть шестилетние труженики, у которых годичный стаж ночной работы... Десять процентов этих детей больны туберкулёзом, и все они без исключения маленькие инвалиды, калеки телом и душой”¹².

Аналогично обстояли дела и в дореволюционном Иваново, имевшем пугающую репутацию “русского Манчестера”. “Я раз спросил одного фабриканта, что за люди впоследствии выходят из всех этих мальчуганов, работающих при сушильных барабанах, в зрельных и на вешалах, – повествовал ещё в самом начале капиталистической эпохи Ф. Д. Нефёдов. – Он, немного подумав, дал мне такой ответ:

- Бог знает, куда они у нас деваются, мы уж как-то их не видим после.
- Как не видите?
- Да так, высыхают они”.

Нефёдов начал было уточнять, не переходят ли подрастающие мальчишки к другим занятиям и не переводятся ли они на какие-нибудь другие производства. Но результат оказался самый неутешительный: “Нет, просто высыхают, совсем высыхают!” – отвечал серьёзно фабрикант¹³.

По аналогии вспоминаются здесь чеховские “Ванька” и “Спать хочется”, горьковская “Мать” и написанная А. И. Куприным повесть “Молох”.

Столь же обескураживающими были и связанные с положением пролетарских детей британские впечатления Джека Лондона:

“Итак, если счастье улыбнётся ребёнку, то он попадёт в число тех, кого благотворители вывезут на денёк за город! – восклицал он. – Но ведь эти бедняки плодят такое количество детей, что всех-то мудрено вытащить за город даже на один день. Один день! За всю жизнь единственный!”¹⁴.

В России близкую Джеку Лондону тему развивал Леонид Андреев, обращаясь к передовой общественности. В его рассказе “Петька на даче” повествуется о нежданном и горестно коротком счастье одного из типичных “кухаркиных детей”: “В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объёмов городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы”¹⁵.

Вспоминается, в этой связи, и введённый в литературу А. М. Горьким обезноженный тяжёлой болезнью мальчик, мечтавший в душном подвале пыльного и равнодушного ко всему провинциального города о несказанном чуде “чистого поля”.

Но не были распорядителями своего досуга и уж тем более хозяевами своей судьбы так же искалеченные буржуазной цивилизацией взрослые люди.

“Стальная пыль, каменная пыль, глиняная и известковая пыль, пыль от пуха и древесного волокна – всё это уносит больше жизней, чем пулемёты и пушки. Страшнее всего – свинцовое отравление, которому люди подвергаются на производстве белил”, – сообщал читателям “Людей бездны” Джек Лондон¹⁶. Ему вторил у нас в России однажды перезимовавший, по крайней необходимости, на белильном заводе беспокойный молодой скиталец В. Гиляровский: “...отсюда живы редко выходят. Работа лёгкая, часа два-три утром, столько же вечером, кормят сытно, а тут тебе и конец”¹⁷.

Впрочем, в самом начале жизненного пути молодые и здоровые люди склонны бывают не к пессимистическим ожиданиям, но к вере в удачу – в духе неустанно искавшего свою капризную “госпожу Жилу” старателя из рассказа Джека Лондона “Каньон”.

Америка очень долго пользовалась репутацией “страны равных возможностей”, где и без участия в классовых боях можно добиваться повышения своего социального статуса. Одним из миллионов приверженцев стереотипной “американской мечты” был и юный Джек Лондон. Подростком он начинал зарабатывать себе на жизнь как разносчик газет. Затем продолжал как фабричный рабочий, “устричный пират”, матрос, инспектор рыбачьего патруля, кочегар, бродяга, золотоискатель. В конечном итоге он проявил себя как талантливый журналист, которому предстояло сделаться известным писателем, уважаемым бизнесменом и – убеждённым социалистом (!).

На восходящей линии своей творческой биографии Джек Лондон, одновременно переживавший процесс становления личности, в силу возрастных и социальных причин мечтал о самом простом, обыденном счастье, то есть о состоянии, которое “соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего быта, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения”¹⁸.

Героев для своих произведений первого, овеянного романтикой периода литературного творчества он находил среди людей, которые несмотря ни на что хотели и пытались быть счастливыми.

Позволим себе несколько конспективных упоминаний об этих людях.

Джек Лондон, будучи начинающим старателем (“чечако”) и пытаясь постичь новую для него нравственно-психологическую атмосферу охваченного золотой лихорадкой Клондайка, без чего невысказано было бы закрепиться в этих суровых краях, признавал: “. . . самое трудное – это выработать в себе должное отношение ко всему окружающему и особенно – к своим ближним. Ибо обычную учтивость он должен заменить в себе снисходительностью, терпимостью и готовностью к самопожертвованию. Так и только так он может заслужить драгоценную награду – истинную товарищескую преданность. От него не требуется слов благодарности – он должен доказать её на деле, воздав добром за добро, короче, заменить видимость сущностью”¹⁹.

По свидетельству товарищей Джека Лондона, своего рода “курс молодого бойца” он блестяще выдержал. Харгрейв, хозяин соседней с Джексом хижины на берегу Юкона, впоследствии восклицал: “Что это был за превосходный образец человеческой породы! У него было чистое, полное радости, нежное, незлобивое сердце – сердце юноши, но без тени свойственного юности эгоизма”²⁰. Будущей знаменитости так и не довелось намыть желаемого количества золотого песка, но всё равно он был счастлив: высокоразвитым интеллектом, пылкостью, правдолюбием, личным обаянием и физической мощью.

Дорогого стоила, например, почти в жанре автопортрета сделанная зарисовка из рассказа “За тех, кто в пути!”: “В полярной меховой одежде он выглядел весьма живописно: шесть футов роста, широкие плечи, могучая грудь. Его гладко выбритое лицо покраснело от мороза, брови и длинные ресницы заиндевели. Расстегнув капюшон из волчьего меха, он стоял, похожий на снежного короля, появившегося из мрака ночи”.

Этими словами Джек Лондон передавал читателю физический облик старателя-старожила, о внутренней сущности которого патетически сказано было в рождественскую ночь в хижине на 40-й миле: “Никогда ещё не ел с нами из одной миски и не укрывался одним одеялом человек честнее Джека Уэстондейла”²¹.

И какой, спрашивается, русский – из сибирских ли старателей-“горбачей”, из волжских ли купцов-миллионщиков, из тридцатилетних ли сталинских наркомов – не мечтал бы о такой репутации? Несомненно, *родственной* России была пылкая и чистая натура Джека Лондона, которого, на наш русский манер, хорошо было бы называть *добрым молодцем*.

Признаки расчётливого (американского) поведения и одновременно какого-то неожиданного, чуть ли не русского удалства проявил герой “Однодневной стоянки”, который при нечаянной встрече взял со своего счастливой соперника весомый золотой выкуп за однажды уведённую им жену. Читаем в тексте: “Он разбил лёд кулаком и, развязав тесёмки мешка зубами, высыпал его содержимое в воду. Река в этом месте была неглубока, и в двух футах от поверхности Месснер увидел дно, тускло желтевшее в угасающем свете дня. Он плюнул в прорубь”²².

Эта выразительная финальная сцена, происходившая в морозных вечерних сумерках, не имела свидетелей. Но и без них Месснер, по-видимому, ис-

пытывал какое-то неожиданное подобие счастья, поскольку он переживал важнейшую в мужской жизни минуту заслуженно высокой самооценки.

Что касается юношей, то, в отличие от уже заматеревших искателей приключений, им всегда необходимо бывает внешнее признание и одобрение.

К новосёлу матросского кубрика Фаррингтону, в котором опять-таки угадывается сам будущий писатель, долгожданное признание пришло от сурового скандинава Эмиля Иохансена: “Крис, — сказал он так громко, чтобы все могли слышать, — Крис, я сдаю. Ты оказался таким же хорошим матросом, как и я. Ты крепкий парень и настоящий моряк, и я горжусь тобой!”²³.

Другого молодого американца удостоили в Иокагаме подобной же чести японские лодочники — за то, что не унился перед ними и, не сойдясь в цене, тёмной ночью вплавь добрался до своего стоявшего на внешнем рейде судна. Как следствие, “пока “Энни Майн” оставалась в порту, лодочники отказывались брать деньги с Элфа Дэвиса. Восхищённые его отвагой и независимостью, они перевозили его даром”²⁴.

Достигнув возраста Мартина Идена, такой мальчишка был уже вправе сомневаться в справедливости существующего мироустройства и задаваться неприятными, но справедливыми вопросами при виде высокомерных молодых “джентльменов”. Ну, например: “Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулём, отстоять вахту?”.

В один из таких моментов, — читаем у Джека Лондона, “его жизнь пронеслась перед ним, полная опасностей, отваги, лишений и трудов”²⁵.

Как известно, прожита была Мартином Иденом напряжённая, героическая жизнь и на мучительно трудном поначалу литературном поприще — вопреки попыткам навязать ему в качестве “идеала” пример заурядного буржуазного скопидомства.

В разговоре со своей нечаянной музой Руфью Мартин однажды не удержался и от очевидной резкости: “. . . мне жалко его, вашего мистера Бэтлера. Он тогда был слишком молод и не понимал, что сам украл у себя всю жизнь ради этих тридцати тысяч, от которых ему теперь никакой радости. Сейчас уж он на эти тридцать тысяч не купит того, что мог бы тогда купить на свои отложенные десять центов, — ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку!”. Далее: “. . . Тридцать тысяч долларов — это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожали их ценность”²⁶.

Главное, на наш взгляд, в жизненной философии Джека Лондона — это понимание того, что от способа приобретения денег напрямую зависит и внутреннее “я” их иногда счастливого, а иногда и злосчастного обладателя. Беспощаден, но справедлив был однажды заданный, на страницах его произведений, типичному американскому белоручке вопрос: “Кто заработал эти средства? А?.. Ну, я так и думал: ваш отец. Вы не стоите на своих ногах — кормитесь за счёт мертвецов”²⁷.

Исключительной силы и обаяния исполнены у Джека Лондона честные и мужественные “self-made men” — “люди, которые сделали себя сами”, так и не унизившись до раболепного преклонения перед деньгами.

Очевидно, что никакие мистеры Бэтлеры (Гобсеки, “скупые рыцари”, “старухи-процентщицы”) никогда не смогли бы в брутальной манере Харниша, известного под прозвищем “Время-не-ждёт”, разобраться с презренными биржевиками, типичными “акулами империализма”.

Когда по собственной доверчивости, простоте и неосмотрительности вернувшийся в Калифорнию Харниш остался без нажитых им на Аляске одиннадцати миллионов, то для перенесения полученного удара потребовалось собрать воедино всё его мужество. “На хмурое лицо легли горькие складки, — он вспомнил суровую жизнь Севера, лютый полярный мороз, всё, что он совершил. . .” В результате, пришлось применить силу. “Эти деньги мои, я их у вас не украл”, — пояснял он компании перетрухнувших биржевых маклеров, поигрывая револьвером. И удовлетворённо констатировал: “Не таким мозглякам, как вы, тягаться со мной. . .”.

Как известно, никто из этих людей так и не осмелился обратиться в полицию — из чувства животного страха перед “Время-не-ждёт” и из небезосновательных опасений за свою репутацию. Харниш же развернулся по-настоящему, причём (воспользуемся современной экономической лексикой) в реальном секторе экономики, столь импонирующем его героической, деятельной натуре.

Однако Джек Лондон не был бы самим собой, если бы воздержался от написания сцены обескураживающего для Харниша нечаянного состязания в армрестлинге. “Время-не-ждёт”, утратив былую форму, дважды проиграл крепкому молодому парню и разразился по этому поводу следующей тирадой: “Я кое-что повидал на своём веку и не то, чтоб я уж больно много требовал от жизни. Но я вам прямо скажу: у меня чёрт знает сколько миллионов, и я бы все их, до последнего гроша, выложил сию минуту на эту стойку, лишь бы прижать вашу руку. А это значит, что я отдал бы всё на свете, чтобы опять стать таким, каким был, когда я спал под звёздами, а не жил в городских курятниках, не пил коктейлей и не катался на машине”²⁸.

И уж, конечно, жизни мистеров Бэтлеров никогда не расцветивались теми радужными эмоциональными всплесками, которые переживал дерзнувший оторваться от цивилизации начинающий литератор – Кит (впоследствии Смок) Беллью.

Попробуем перечислить хотя бы некоторые из них – имеющие для нас непреходящее, принципиальное значение.

В начале повествования: “. . . когда он в снежную вьюгу добрался до вершины перевала, тайная гордость наполнила его душу; он сделал трудный переход наравне с индейцами, не отставая от них и не жалуясь. Сравняться с индейцами стало его новой мечтой”.

Далее: “Переправив через пороги лодку Брэка – так звали их нового знакомого, – Кит и Малыш познакомились с его женой, худенькой женщиной, похожей на девочку. В её синих глазах блестели слёзы благодарности. Брэк сделал попытку вручить Киту пятьдесят долларов и, потерпев неудачу, предложил деньги Малышу.

– Чудак человек! – ответил Малыш. – Я приехал в эти места, чтобы выколачивать деньги из земли, а не из своих же товарищей”.

Наконец, уже освоившись на Клондайке и встретив в лесу обременённых самородной медью, ошибочно принимаемой за золото, голодных индейцев, Смок сказал своему верному компаньону: “Мы должны их накормить. Понимаешь, они верят, что белые им помогут”.

В другой драматической сцене, также связанной с индейцами, он ещё более красноречив. “Ну да, мы, белые, свиньи, – заговорил Смок, злясь на себя за то, что ему пришлось играть такую роль. – Мы готовы душу продать за золото и всё такое. Но бывают же случаи, когда мы обо всём забываем и действуем, не спрашивая себя, сколько на этом можно заработать”.

Ещё большую смысловую нагрузку имеет описание уже очевидного подвижничества со стороны главных героев: “В эту ночь в лагере никто не спал. Час за часом Смок и Малыш снова и снова обходили его обитателей, вливая животворный картофельный сок, по четверти ложки зараз, в страшные, все в язвах рты. И на следующий день, когда один спал, другой продолжал своё дело.

Смертных случаев больше не было”.

В заключение уместно припомнить ещё и гневную фразу, адресованную тогдашнему “стратегическому собственнику” Уэнтворту, который “приватизировал” у заболевших цингой компаньонов весь имевшийся у старательской партии запас свежего картофеля. Запыхавшийся, уставший вразумлять Уэнтворта своими увесистыми пинками Малыш произнёс: “Эх, жалко, что на мне мокасины, а не сапоги. Ах, ты свинья!”²⁹.

По аналогии, связывая литературную классику с жизнью и современностью, хотелось бы процитировать знакомого мне ещё по советской эпохе, частично и произведениями Джека Лондона воспитанного сибирского бурового мастера. “У меня в бригаде, – говаривал он, – мужики всё очень хорошие. У нас в Нерюнгри жлоба, в принципе, нет. Жлоб у нас не держится. Он у нас – зимой вымерзает!”.

То же и на Клондайке. Одному давнему знакомому, прислуживающему на пароходе официантом, разбогатевший на золотых приисках дедушка Таруотер снисходительно объяснял: “Старался-то ты старался, сынок, только можешь ты мало, уж очень коммерция тебе характер испортила, больно ты мужчина чёрствый и раздражительный”³⁰.

В другом случае преуспевающего американского дельца, только что похоронившего своего вроде бы “непутёвого” брата, беспощадно донимает внушительный голос:

“Собственность! Теперь он уже видел всё по-другому: одна тысяча долларов была, как две капли воды, похожа на любую другую, и каждый день, прожитый им, похож на любой другой день. Он так и не увидел стран, изображённых на картинках в учебниках географии. Он так и не ударил своего врага, не прикурил сигары от спички, зажжённой рукой женщины. “Человек не может спать сразу на двух кроватях”, – сказал как-то Том. Фредерик поёжился, попытавшись сосчитать свои кровати и одеяла. Но сколько бы их ни было у него, ни один человек не приедет издалека, с конца света, чтобы пожать ему руку и воскликнуть: “Клянусь черепахами Тасмана!”³¹.

Впрочем, в человеческом измерении *состояться* и, как следствие, умереть счастливым в Америке времён Джека Лондона было невероятно трудно.

Неисполнимой, например, оказывалась идиллическая мечта об американском земледельческом рае, возбуждаемая принятым 20 мая 1863 года законом о гомстедах. Получаемые каждым желающим за символическую плату сто шестьдесят акров плодородной земли на деле не так-то просто было превратить в процветающую ферму. Этому препятствовало крайне недобросовестное поведение жульнически овладевающих рынком капиталистических корпораций. Монополисты медленно, но верно теснили и угнетали мелкого предпринимателя. В психологическом отношении это переносилось незадачливыми фермерами очень болезненно, поскольку мало кто из них, потомственных крестьян, был предрасположен к добровольной социальной мобильности. Так, например, даже и представитель “старой доброй Англии” капитан Мак-Элрат, избородивший на торговых судах весь Мировой океан, мечтал вернуться когда-нибудь к традиционным занятиям своих предков и “не понимал, как это люди могут по собственной воле бросить ферму ради моря”³².

Хотя, конечно, не всегда и не во всём были виноваты одни только банкиры, перекупщики и железнодорожные магнаты. Справедливости ради надо упомянуть и о некоторых субъективных предпосылках фермерской несостоятельности.

Джек Лондон, несомненно, сочувствовал неудачникам; “Маленькие люди – это те, кто проигрывает... Они уже не могут запрячь волов и ехать дальше: ехать-то больше некуда!”.

Но, с другой стороны, “это были игроки и обжоры. Если одна ставка была потеряна, тогдашнему фермеру стоило только перейти границу на несколько миль к западу и расположиться на новом месте. Они шли по стране, как саранча...”. Ещё пагубнее для сельского хозяйства было безответственное поведение печально напоминающих “перекати-поле” мелких арендаторов. “В большинстве случаев это просто ленивые, равнодушные лодыри”³³.

Джек Лондон, находясь в зрелом возрасте, пытался капитализировать свои литературные заработки посредством создания высокотехнологичного сельскохозяйственного производства, но столкнулся с многочисленными проблемами – подобными тем, которые на страницах “Анны Карениной” пытался решать любимый Л. Н. Толстым “просвещённый помещик” Константин Лёвин.

Одной из них, то есть проблеме тяжёлого, беспробудного пьянства, Д. Лондон посвятил социально-критический очерк “Джон Ячменное зерно”.

О мелком, злобном хищничестве “маленького человека” размышлял он в литературно-художественном цикле “Дорога”; в рассказах “Держи на запад”, “Френсис Спейт”, “Просто мясо”; в повестях “Игра”, “Лютый зверь” и во многих других столь же талантливо написанных произведениях.

В минуты разочарования, близкого к отчаянию, Джек Лондон готов был иногда усомниться в правомерности свойственного ему чувства гордости за людей англо-саксонской расы и начинал восхищаться земледельческими талантами японцев, китайцев, португальцев, а также балкано-дунайских славян, переселяющихся на западное побережье Соединённых Штатов Америки.

“Вы были удачливыми фермерами”, – иронически говорит один из персонажей “Маленькой хозяйки большого дома”. И в обличительной манере продолжает: “Ведь как вы действовали? Брали, например, в долине реки Сакраменто сорок акров лучшей, роскошнейшей земли и сеяли на ней из года в год пшеницу. О многопольной системе вы и понятия не имели. Вы понятия не имели, что такое севооборот. Солому жгли. Чернозём истощали”³⁴.

Всё это так. Однако малоразвитые, малообразованные, малокультурные люди в равной мере могут восприниматься и в качестве первопричины, и в качестве следствия обостряющихся социальных (и экологических) проблем.

Ведь американское государство и во времена Джека Лондона никоим образом не способствовало гармоническому развитию человеческой личности.

В 1873, 1882–1883, 1893, 1901–1903, 1907 годах экономика страны переживала тяжёлые (и абсурдные!) кризисы “перепроизводства”. В 1908 году безработица достигала 16,4%, а в строительной и угледобывающей отраслях – даже и 35%. Но зато к 1915 году 2% американского населения имели в частной собственности 60% национального богатства, тогда как на долю ещё 65% населения приходилось не более 5%.

Продолжительность рабочей недели в 1900 году равнялась 57,3-м, а в 1915 году – 53,5 часа. В 1914 году в материальном производстве было занято 14 миллионов наёмных рабочих, в том числе 1,5 миллиона женщин и 2 миллиона детей в возрасте от 10 до 15 лет. Ежегодно происходило не менее 2 миллионов несчастных случаев на производстве, половина которых завершалась смертельным исходом.

Джек Лондон, с его многообразным личным опытом борьбы за выживание, очень сочувственно относился к социальным аутсайдерам – вне зависимости от рода занятий и от этнической и расовой принадлежности.

Очень убедителен у него попавший в экстремальную ситуацию Хэмп, он же Хэмфри, он же “неженка Ван-Вейден”, по прихоти капитана Ларсена поднятый на палубу зверобойной шхуны “Призрак” (роман “Морской волк”). Приходящая Хэмпу образованность и внутренняя культура позволили ему понемногу закалиться и, в конце концов, успешно выдержать жестокую борьбу против деспотизма сумасбродного ницшеанца Волка Ларсена.

Но были у Джека Лондона и менее стойкие, менее удачливые персонажи, нуждающиеся в сочувствии и внешней поддержке. Писатель относился к ним (и их жизненным прототипам) с неизменной теплотой и отзывчивостью.

Так, индеец Ка-Чукте, осуждённый проводником Ситкой-Чарли на смерть за похищенную в походе провизию, напоследок сказал своему краснокожему собрату и повелителю: “У меня есть сестра, жена агента фактории... Он бьёт её, ей плохо с ним. Дай ей всё, что принадлежит мне по контракту, и скажи, чтобы возвращалась к своей родне. А если сам он тебе попадётся, и ты захочешь оказать мне услугу, – знай, что ему следовало бы умереть...”³⁵. Ситка-Чарли величественно и немногословно утешил его, и тут же читатели вместе с Джеком Лондоном вздрогнули от ружейного выстрела, оборвавшего жизнь оплошавшего, но всё-таки вполне симпатичного человека.

Сам Джек Лондон, в юности боровшийся с браконьерами-китайцами в заливе Сан-Франциско, получая за это 50% штрафных сумм, довольно скоро оставил своё доходное место по принципиальным, этическим соображениям, поскольку “одно дело – стрелять в нападающих и совсем другое – в людей, которые просто-напросто отказываются повиноваться”³⁶.

Несчастные китайцы, по его сведениям, за великое благо считали уехать из Поднебесной и по контракту работать где-нибудь на плантациях за 50 центов в день, поскольку “...за весь год кули с реки Янцзы не мог заработать больше полутора долларов”³⁷.

Ещё бесправнее были хорошо знакомые Джеку Лондону по совместным рыбалкам, забавно разговаривающие на “pigeon English”, но омрачаемые горьким жизненным опытом полинезийцы: “Солнце, он вставай, – сказал Отти, – моя неси окаянный купец большой-большой рыба задаром”³⁸.

Но порой столь же безнадёжным оказывалось и положение некоторых старившихся англичан – в том числе и причастных ранее к пресловутому “племени белого человека”.

В “Людах бездны” ветеран нескольких колониальных экспедиций, смиренно дожидаящийся своей очереди в ночлежку, говорил как бы отставшему от американского парохода Джеку Лондону: “Смотри, малый, не вздумай дожить до старости! Умирать надо, пока молод, не то докатишься до такого же конца. Верно тебе говорю. Мне вот восемьдесят семь лет, и я честно послужил моей родине: имел три нашивки за отличную службу и орден Виктории. И что толку?”³⁹.

Последним пристанищем для вытесняемых из жизни стариков могла бы оставаться семья, но люмпен-пролетарские нравы англичан почти не отличались от печально известных нам российских аналогов. Ненависть, возбуждаемая социальной несправедливостью, слишком часто вымещалась пролетарием (или, что ещё хуже, безработным!) на его же собственную жену, которую

иной трущобный житель Ист-Энда, по свидетельству Джека Лондона, бил и... “топтал ногами, словно техасский жеребец гремучую змею”.

Соответственно, трогательным кажется нам сделанное писателем описание той внезапной нежности, с которой поправил стоявший возле ночлежки пожилой англичанин седую прядь в причёске своей верной подруги.

“У него было чувство собственного достоинства и чувство гордости за свою жену”, – заметил Д. Лондон. Затем он побеседовал с этими славными стариками о сезонных работах по уборке хмеля и узнал, что “они с женой очень ловко это делают: у них всегда общий ларь, и они не спят за работой”⁴⁰.

Но в целом ситуация для английских современников Д. Лондона вырисовывалась самая неутешительная: “Молодой рабочий, молодая работница, холостые или женатые, не могут надеяться ни на счастливую, здоровую жизнь в среднем возрасте, ни на безбедную старость. Как ни трудятся они, им не удаётся обеспечить себе будущее”. Если же сознательно, в надежде хоть на какое-то материальное благополучие, смолodu обречь себя военной службе или монастырскому уставу, то “тогда они вынуждены отказаться от семьи, от детей, от всего того, что придаёт жизни ценность и спасает от страшного одиночества в старости”⁴¹.

И дело всё в том, по глубокому убеждению Д. Лондона, что “по вине негодной системы люди в условиях цивилизации живут хуже скотов”⁴². Не удивительно поэтому, что мало-помалу в его обострённом сознании назревали сакраментальные вопросы в духе “Что делать?” и “Кто виноват?”

Человеку, воспитанному в традициях американского индивидуализма, но не чуждому альтруистическим мотивам, можно было попытаться совершить что-нибудь разумное и справедливое хотя бы и в одиночку. Но даже и столь могучий автобиографический персонаж, как Мартин Иден, не решился поддержать свою давнюю, восторженную, пролетарских ещё времён подружку Лиззи Конолли заключением с ней брачного союза. Формально этому препятствовала иррациональная верность платоническому роману с буржуазной девушкой Руфью, фактически же можно предполагать и подсознательное нежелание героя ещё раз затевать сказку о Золушке – едва ли у неё будет счастливый финал.

Несколько проще оказалось ему найти верное решение применительно к семейству старшей сестры.

Мартин Иден поразил воображение прижимистого мелкобуржуазного зятя, мистера Хиггинботам, своей “безрассудной” щедростью: когда однажды за обеденным столом речь зашла о старом родственном долге, Мартин сказал: “Можешь оставить себе основную сумму безвозвратно, но с условием тратить тридцать пять долларов в месяц на кухарку и прачку. Одним словом, семь тысяч твои, если ты гарантируешь мне, что Гертруда не будет больше делать всю грязную работу в доме”⁴³.

Но облегчение участи всего лишь одной замученной жизнью женщины за счёт найма на деньги от литературных заработков Мартина Идена *прислуги* в принципе ничего не меняет. Поэтому на веку Джека Лондона в Америке уже ощутимо назревали впоследствии отчётливо обозначенные Джоном Стейнбеком “Гроздья гнева”.

В частности, среди персонажей “Лунной долины” нашлось вполне достойное место некоему Бертю, в мировоззренческом отношении близкому нынешним “старым русским” калифорнийскому ветерану, который неоднократно мечтательно говорил: “Но сердце моё взыграло бы в груди, если бы мне удалось перед смертью вздёрнуть хоть кого-нибудь из этих гнусных воров. Ты знаешь – кто мы? Те – что бились на полях сражений, и вспахали землю, и создали всё, что вокруг нас. Мы – *последние могиране*”⁴⁴.

Один из таких обездоленных *последних могикан*, при очевидном сочувствии автора, с револьвером в руке проник тёмной ночью в богатый особняк, где и произошло его нечаянное объяснение с бдительной молодой хозяйкой.

“Он делец, – говорил девушке о её преуспевающем отце незадачливый начинающий грабитель. – К его услугам – сотни разных специалистов, которые думают и работают за него. Я слышал, что некоторые из них получают больше жалованья, чем президент Соединённых Штатов. А я только один из тех тысяч, которых разорил ваш па... Мне очень нужны деньги, так что если я отберу у него то, что мне причитается, греха тут большого нет”⁴⁵.

Есть свой глубокий смысл также и в самоотверженном, мстительном поведении пожилых североамериканских индейцев, сделавшихся у Д. Лондона героями рассказа “Лига стариков”.

По-своему прав был и молодой алеут Наас, в “Северной Одиссее” жестоко поквитавшийся с разрушившим его первозданное счастье белым человеком Акселем Гундерсоном.

Можно и должно посочувствовать взявшемуся за винтовку тихоокеанскому островитянину Кулау, не желающему перебираться в лицемерно устроенный колонизаторами лепрозорий. Очень впечатляет современного российского читателя его прочувствованная, достойная всякого настоящего мужчины речь: “Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господ Бога и слуги господ рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле... не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь”⁴⁶.

Защищал Д. Лондон в своих публицистических произведениях и восхитивших его решимостью и героизмом русских революционеров. “Русское правительство казнит революционеров”, – отмечал он, но зато “революционеры убивают правительственных чиновников, на узаконенное убийство они отвечают террористическими актами”⁴⁷.

Находясь под воздействием прочувствованных размышлений над социальными проблемами на протяжении всей своей жизни, Джек Лондон мучительно трансформировал собственное мировоззрение в литературном творчестве.

Так, один из идейно близких ему героев, Фредди Драмонд, был доктором социологии, но ему “нравилось жить среди рабочих”. В своём привычном кругу “он слыл “Холодильником”, а здесь, “по другую сторону рва”, где его звали Билл Тотс, Верзила Билл, он пил, курил, дрался, ругался и был всеобщим любимцем”⁴⁸.

В 1906 году в статье “Что значит для меня жизнь” Джек Лондон сделал честное, мужественное и очень откровенное признание: “. . . я вернулся к рабочему классу, в среде которого я родился и к которому принадлежал. Я не хочу больше взбираться наверх”.

Этот тезис был им значительно усилен и развёрнут в обвинительных вердиктах капитализму в выступлениях перед богатейшими людьми Америки в Гранд-Сентрал-Паласе (Нью-Йорк, 19.01.1908) и перед студентами Калифорнийского, Гарвардского, Йельского, Колумбийского и Чикагского университетов. В советские времена благосклонные упоминания о социалистическом выборе Джека Лондона неизменно включались в учебные пособия по новой истории, истории культуры и литературоведению⁴⁹.

В программном отношении особой насыщенностью отличается тот фрагмент текста из его исполненной революционного пафоса “Железной пяты”, в котором говорится: “Убедившись, что современный человек живёт хуже своего пещерного предка, хотя его производительность труда выросла тысячекратно, мы с неизбежностью приходим к выводу, что капитализм обанкротился. . .”⁵⁰.

Но, правда, после восторжествовавшей в 1991–1993 годах в нашей стране буржуазной реакции в корrekтности такого рода признаний и футурологических прогнозов многие россияне считают себя вправе несколько усомниться.

Припоминается, кстати, и написанная В. И. Лениным в 1916 году статья “Империализм и раскол социализма”, в которой предугадывалась вероятность искусного социального маневрирования мировой буржуазии и, как следствие, прогнозировалось появление, наряду с эксплуататорскими классами, ещё и эксплуататорских наций (предтечи нынешних стран “золотого миллиарда”).

Возникает и возможность предвзятой интерпретации того драматического момента биографии Джека Лондона, который был связан с его добровольным уходом в марте 1916 года из рядов американской Социалистической партии. Если в советские времена в наших справочных изданиях лишь предположительно упоминалось о якобы имевшем место “примирении” позднего Джека Лондона с буржуазной действительностью, то нынешние российские либералы на этом уже *непреклонно настаивают*.

Однако Джека Лондона ни в коем случае не следует воспринимать ренегатом от социализма, как бы ни хотелось того господам В. Новодворской и Э. Успенскому.

Когда в 1914 году он ещё только подумывал о возможном отходе от начинающего раздражать его своим оппортунизмом американского социалистического движения, одному из газетных репортёров он всё-таки сказал однозначно: “Думаю, что, когда понадобится, разум скомандует моим чувствам спуститься вниз с вершины горы и ввязаться в драку”.

В письме же о своём выходе из партии Джек Лондон говорил: “Если расы и классы не способны возвыситься и силой собственного разума и мускулов вырвать у мира волю, свободу, независимость, они никогда не смогут вове-
рмя получить эти высочайшие дары. . . если же эти высочайшие дары всё-таки
будут милостиво преподнесены им на серебряном подносе некими сверхъес-
тественными особами, они не будут знать, что с ними делать, и никакой поль-
зы для себя не извлекут, а останутся теми, кем они всегда были в прошлом, –
низшими расами и низшими классами.

Ваш – во имя Революции –
Джек Лондон”⁵¹.

Таким образом, Д. Лондон испытывал чувство разочарования не в идеях социализма, но в качестве хорошо изученного им американского человечес-
кого материала, в котором несомненное героическое начало (например, свойственное Смоку и Малышу стремление “питаться медвежатиной!”) всё-
таки безнадежно размывалось вульгарными обывательскими устремлениями
к беспринципно приобретаемому богатству.

И предчувствия, к сожалению, не обманывали этого великого человека и выдающегося писателя.

Вот как, например, характеризует типичного современного американца один из многочисленных земляков Джека Лондона, некто Андре Галлиат из го-
рода Валенсия, штат Калифорния: “В статье “Как разгадать загадку полноты”
 (“Здоровье”, 2.09.2002) дано подробное биологическое объяснение феноме-
на полноты американцев, но полностью проигнорированы глубинные корни
этой проблемы: американцы толстые потому, что они слишком зациклены на
удовлетворении каждого из своих желаний. Лень – вот что является чуть ли не
добродетелью нашего общества. Так что дело не в пищевых пирамидах,
не в неправильной диете и не в сети ресторанов быстрой еды. Они ни при чём.
Виновен сам человек, который не готов себе в чём-либо отказывать, не готов
к тому, чтобы учиться или хотя бы оторвать от кресла собственную задницу”⁵².

Поэтому не надо бы “демократам” Успенскому и Новодворской *ставить нам в пример* скучное, расточительное и, зачастую, паразитарное “общество потребления”. Оно, как и “общество всеобщего благоденствия”, – это всего лишь лукавая и корыстная выдумка “его препохабия капитала”, дурно пахну-
щий суррогат счастья, в борьбе против которого прозревающее в условиях
мирового финансово-экономического кризиса человечество ещё имеет шансы
сплотиться и победить – под высоко ценимым Джеком Лондоном красным
знаменем освобождаемого от эксплуатации созидательного труда.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. М., 1995. С. 130.

² Лондон Д. Мексиканец// Лондон Д. Собр. соч. в 13-ти томах. М., 1976. Т. 10. С. 419, 421.

³ Лондон Д. Собр. соч. Т. 1. С. 70.

⁴ Лондон Д. Северная Одиссея// Лондон Д. Собр. соч. Т. 1. С. 175.

⁵ Лондон Д. Собр. соч. Т. 4. С. 22, 24, 30.

⁶ Лондон Д. Дочь снегов// Лондон Д. Собр. соч. Т. 2. С. 139.

⁷ Лондон Д. Собр. соч. Т. 3. С. 320.

⁸ Ф. Фонер. Джек Лондон – американский бунтарь. М., 1966; Лондон Д. Бюро убийств с ограниченной ответственностью. Маленькая хозяйка большого дома. Тольятти, 1997. С. 293.

⁹ Лондон Д. “Фома Гордеев”// Лондон Д. Собр. соч. Т. 5. С. 348.

¹⁰ Лондон Д. Отступник// Лондон Д. Собр. соч. Т. 8. С. 319, 333.

¹¹ Лондон Д. Революция// Лондон Д. Собр. соч. Т. 5. С. 419.

¹² Там же. С. 416.

¹³ Нефёдов Ф. Д. Наши фабрики// Штурманы будущей бури. М., 1987. С. 215.

¹⁴ Лондон Д. Люди бездны// Лондон Д. Собр. соч. Т. 5. С. 165.

¹⁵ Андреев Л. Н. Рассказы. Волгоград, 1979. С. 22.

¹⁶ Лондон Д. Указ. соч. С. 152.

- ¹⁷ Гиляровский В. А. Мои скитания. Люди театра. М., 1987. С. 133.
- ¹⁸ Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 640.
- ¹⁹ Лондон Д. В далёком краю// Лондон Д. Собр. соч. Т. 1. С. 83–84.
- ²⁰ Ирвинг Стоун. Моряк в седле. Художественная биография Джека Лондона. М., 1987. С. 95.
- ²¹ Лондон Д. Собр. соч. Т. 1. С. 103, 109–110.
- ²² Лондон Д. Собр. соч. Т. 3. С. 248.
- ²³ Лондон Д. Крис Фаррингтон – настоящий моряк// Лондон Д. Собр. соч. Т. 4. С. 50.
- ²⁴ Лондон Д. В бухте Йеддо// Лондон Д. Собр. соч. Т. 4. С. 76.
- ²⁵ Лондон Д. Мартин Иден// Лондон Д. Собр. соч. Т. 7. С. 29.
- ²⁶ Там же. С. 66, 68.
- ²⁷ Лондон Д. Морской волк// Лондон Д. Собр. соч. Т. 4 С. 211.
- ²⁸ Лондон Д. Время-не-ждет// Лондон Д. Собр. соч. Т. 8. С. 123, 130, 262.
- ²⁹ Лондон Д. Смок Беллью// Лондон Д. Собр. соч. Т. 10. С. 21, 39, 147, 156–357, 177.
- ³⁰ Лондон Д. Как аргонавты в старину// Лондон Д. Собр. соч. Т. 12. С. 222.
- ³¹ Лондон Д. Черепахи Тасмана// Лондон Д. Собр. соч. Т. 12. С. 33.
- ³² Лондон Д. Морской фермер// Лондон Д. Собр. соч. Т. 11. С. 84.
- ³³ Лондон Д. Лунная долина. Сердца трёх. Романы. М., 1990. С. 249, 349, 367.
- ³⁴ Лондон Д. Собр. соч. Т. 11. С. 175.
- ³⁵ Лондон Д. Мудрость снежной тропы// Лондон Д. Собр. соч. Т. 1. С. 135.
- ³⁶ Лондон Д. Рассказы рыбацкого патруля// Лондон Д. Собр. соч. Т. 4. С. 111.
- ³⁷ Лондон Д. Собр. соч. Т. 8. С. 374; Т. 12. С. 352.
- ³⁸ Лондон Д. Ату их, ату!// Лондон Д. Собр. соч. Т. 9. С. 65.
- ³⁹ Лондон Д. Люди бездны// Лондон Д. Собр. соч. Т. 5. С. 43.
- ⁴⁰ Там же. С. 61.
- ⁴¹ Там же. С. 154.
- ⁴² Там же. С. 187.
- ⁴³ Лондон Д. Мартин Иден// Лондон Д. Собр. соч. Т. 7. С. 335.
- ⁴⁴ Лондон Д. Лунная долина. Сердца трёх. Романы. С. 131.
- ⁴⁵ Лондон Д. Убить человека// Лондон Д. Собр. соч. Т. 10. С. 389.
- ⁴⁶ Лондон Д. Кулау-прокажённый// Лондон Д. Собр. соч. Т. 9. С. 165.
- ⁴⁷ Лондон Д. Собр. соч. Т. 5. С. 409.
- ⁴⁸ Лондон Д. По ту сторону рва// Лондон Д. Собр. соч. Т. 11, С. 27.
- ⁴⁹ См.: Новая история. Второй период. М., 1984. С. 203; История зарубежной литературы XX века. 1871–1917. М., 1989. С. 321; Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки (1870–1917). Учеб. пособие для вузов по спец. “История”. М., 1987. С. 216.
- ⁵⁰ Лондон Д. Собр. соч. Т. 6. С. 218.
- ⁵¹ Ф. Фонер. Джек Лондон – американский бунтарь. С. 213.
- ⁵² Time, September, 23, 2002.

о. ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ

протоиерей

БЛАГОУХАНИЕ

*К 150-летию со дня рождения преподобномученицы
Елизаветы Фёдоровны Романовой*

Наталья Романова. “Гефсиманский сад”. Нижний Новгород, издательство “Родное пепелище”, 2014, 352 стр.

1 ноября сего года исполнилось 150 лет со дня рождения Елизаветы Фёдоровны. Удивительно то, как наше общество скромно откликнулось на её юбилей! В потоке книг, выходящих ежегодно, проплыла лишь одна лодочка, посвящённая этой святой. Написана она замечательной писательницей Натальей Романовой и называется “Гефсиманский сад”.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна (при рождении Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась в Дармштадте 1 ноября 1864 года. Будучи протестанткой от рождения, Елизавета (или Элла, как звали её в семье) наследовала от родоначальницы герцогов Гессенских, святой Елизаветы Тюрингской (Венгерской), в честь которой была названа, склонность к благотворительной деятельности. Являясь второй дочерью герцога Гессенского Людвига IV и принцессы Алисы и внучкой английской королевы Виктории, Елизавета Фёдоровна, как и её младшая сестра Александра Фёдоровна, 3 июня 1884 года была выдана замуж за представителя рода Романовых, великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. Можно с полной уверенностью сказать, что событие это наложило печать на всю её последующую жизнь, как бы стало знаком её судьбы.

Как и младшая сестра, ставшая русской императрицей, Елизавета Фёдоровна приняла Православие. Но в том и в другом случае есть существенная разница. В то время как Александра Фёдоровна, выходя замуж за наследника Российского престола, законом о престолонаследии обязывалась к перемене веры, Елизавета Фёдоровна сделала этот выбор самостоятельно и даже вопреки воле родителей. Произошло это событие 13 апреля 1891 года, в Лазареву субботу. Подвигла её к этому шагу любовь к мужу, о чём прекрасно написано в книге “Гефсиманский сад”. Как говорится, любовь крепче стали. Фундамент, на котором впоследствии было выстроено здание этой необыкновенной судьбы, оказался настолько прочным, что Елизавета Фёдоровна смогла простить даже убийцу своего мужа. Вообще, от начала и до конца своего мученического пути Елизавета Фёдоровна являла образец истинной христианки.

После убийства мужа, которое произошло 4 февраля 1905 года, Елизавета Фёдоровна отходит от шума светской жизни и целиком посвящает себя служению “униженным и оскорблённым”.

Своё неординарное для светского окружения решение она объяснила так: «Вы можете вслед за многими сказать мне: оставайтесь в своём дворце в роли вдовы и делайте добро «сверху». Но, если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности, я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером; у меня нет ни ума, ни таланта — ничего у меня нет, кроме любви к Христу, но я слаба; истинность нашей любви к Христу, преданность Ему мы можем выразить, утешая других людей, — именно так мы отдадим Ему свою жизнь...»

Елизавета Фёдоровна создаёт Марфо-Мариинскую обитель, названную в честь благочестивых евангельских сестёр Марфы и Марии, братом которых был тот самый Четверодневный Лазарь, в день воскресения которого Елизавета Фёдоровна приняла Православие.

Продав свое личное имущество и украшения, в 1907 году Елизавета Фёдоровна приобретает у Константина Макаровича Соловьёва на Большой Ордынке особняк, землю, на которой постепенно воздвигаются два храма, лечебница, аптека с бесплатными лекарствами для бедных, детский приют, школа. Заслуживает внимание Устав обители, который приводит в своей книге Наталья Романова. Управляется обитель Советом. В «крестовые» сёстры не постригают, как при монашестве, а посвящают, однако любая из сестёр может принять монашество, а также выйти из обители и вернуться к прежней жизни. Возраст принимаемых на испытание от 21 до 40 лет, но по решению настоятельницы принимались на испытание и лица меньшего возраста. Духовника обители выбирает настоятельница, с последующим утверждением его Митрополитом Московским. Первым и последним настоятелем обители становится орловский протоиерей Митрофан Сребрянский, которого знала и почитала Елизавета Фёдоровна.

Торжественное открытие Марфо-Мариинской обители произошло в 1909 году. В 1910 году в ней было 17 сестёр, а с 1914-го по 1917-й постоянно трудилось 150.

Название книги Натальи Романовой — не случайное. О своём «Гефсиманском саде» Елизавета Фёдоровна заговорила вскоре после ареста и пожелала взойти на российскую Голгофу вместе со своим страдающим народом, решительно отказавшись от возможности покинуть Россию.

Так почему же всё-таки «Гефсиманский сад»?

В Священном Писании упоминается наивысшее молитвенное напряжение Христа, когда капли пота были подобны каплям крови. Суть моления — просьба к Отцу, если возможно, пронести чашу страданий мимо, но с непременным добавлением, «впрочем, не Моя, а Твоя воля да будет» (Лук. 22, 42). В Евангелии от Иоанна ни слова о чаше, всё внимание, вся забота — об учениках и их последователях. Основной смысл молитвы — о сохранении единства. В этом полагается залог спасения, крепости и благополучия. Многократные повторения Христом вслух для учеников слов о единстве говорят о том, что Он уже тогда знал и скорбел о несохранении и попрании единства, что «меч и разделение», о которых ранее упоминал Он, возьмут верх в грешных человеческих сердцах. Эту скорбь пронизаны все слова молитв Его.

Гефсиманское моление Елизаветы Фёдоровны — тоже о заблудших детях России. Она писала:

«Я испытывала глубокую жалость к России и её детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больно ребёнок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, а не когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть. Но Великой России, увы, больше нет».

Нельзя не отметить, что делами благотворительности Елизавета Фёдоровна занималась ещё до основания Марфо-Мариинской обители. В дни русско-японской войны, например, её стараниями было сформировано несколько санитарных поездов, открыты госпитали для раненых, которые она регулярно посещала, созданы комитеты по обеспечению вдов и сирот, устроен санаторий для раненых недалеко от Новороссийска, в Кремлёвском дворце созданы мастерские женского труда для помощи солдатам, где ежедневно трудилась и сама Елизавета Фёдоровна.

И впоследствии, во время Первой мировой войны Елизавета Фёдоровна помогала в формировании санитарных поездов, отправлении на фронт необходимых лекарств и походных церквей.

Вне стен обители Елизаветой Фёдоровной был устроен дом для чахоточных женщин. Матушка, как стали звать её в округе, постоянно посещала его и никогда не уклонялась от благодарных объятий больных женщин, считая, что здоровье её в руке Божией. Детей умерших женщин Елизавета Фёдоровна устраивала в детские дома, закрытые учебные заведения и приюты. Одна из последних “крестовых сестёр” Марфо-Мариинской обители Надежда вспоминала:

“Как-то одна из сестёр приходит в подвал: молодая мать, туберкулёз в последней стадии, два ребёнка в ногах, голодные, маленький рубашонку натягивает на колени... Глаза у больной блестящие, лихорадочные, умирает, просит устроить детей... Нина вернулась, рассказывает всё. Матушка заволновалась, тут же позвала старшую сестру: “Немедленно – сегодня же – устроить в больницу. Если нет мест, пусть поставят подставную койку!” Девочку взяли к себе в приют. Мальчика определили в детдом... Сколько их было – таких ситуаций, прошедших через Её руки? Без счёта. И в каждой Она участвовала – будто это была единственная близкая Ей судьба”.

Своё повествование Наталья Романова начинает с яркого и очень трогательного эпизода, произошедшего в одном из приютов. Перед визитом Елизаветы Фёдоровны малолетних девочек усердно наставляли: “Войдёт Великая княгиня, вы все – хором: “Здравствуйте!” и – целуйте ручки”. И когда Елизавета Фёдоровна появилась, дети, произнеся хором приветствие, протянули свои маленькие ручки. И на всеобщее удивление все до одной Матушка поцеловала.

Всю книгу “Гефсиманский сад” пронизывают яркие эпизоды, которые берут читателя за душу и ведут к чистоте и свету.

Когда в приюте Серафимо-Дивеевского монастыря началась эпидемия тифа, Елизавета Фёдоровна, не задумываясь, приехала проведать больных. Одна из воспитанниц приюта впоследствии вспоминала:

“И вдруг открылась дверь – и вошла Она. Это было как солнце. Все Её руки были заняты кулками и подарками. Не было кровати, на край которой Она не присела. Её рука легла на каждую лысую головку. Сколько было раздано конфет и игрушек! Ожили, засияли все грустные глазки. Кажется, после Её прихода среди нас уже больше никто не умерал”.

Елизавета Фёдоровна постоянно вместе с другими сёстрами ходила по смрадным переулкам Хитровки. Её жители, потерявшие человеческий облик, вызывали в ней только сострадание. “Подобие Божие, – говорила она, – может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено”.

Своим племянникам Марии и Дмитрию – детям великого князя Павла Александровича – она писала:

“Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым. Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдёшь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив”. И ещё: “Ныне трудно найти правду на земле, затопляемую всё сильнее и сильнее греховными волнами; чтобы не разочароваться в жизни, надо правду искать на небе, куда она ушла от нас”.

Игумен Серафим (Кузнецов) так писал о Елизавете Фёдоровне в своей книге “Мученики христианского долга”:

“Покойная была умудрена настолько, что редко ошибалась в людях. Она глубоко скорбела, что епископ Феофан, будучи духовником и духовным руководителем Государыни, верил Григорию Распутину и представил его как редкого в наше время подвижника-прозорливца... Сколько бы Григорий и другие подобные ему люди ни добивались приёма Великой княгини, она в этом отношении была тверда, как алмаз, ни разу никого из таких не принимала...”

С игуменом Серафимом (Кузнецовым), начальником Серафимо-Алексеевского скита Пермской губернии, Елизавета Фёдоровна познакомилась во время паломнической поездки в 1914 году. Впоследствии именно отцу Серафиму выпадет роль хранителя останков Елизаветы Фёдоровны, инокини Варвары и других алапаевских мучеников.

В письме Елизаветы Фёдоровны, адресованном графине Олсуфьевой, имеются такие строки: “Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес. Вы скажете, что жизнь полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают всё и, конечно, обрели покой и настоящую Родину – Небесное Отечество. Мы же, на этой земле, должны устремить

свои мысли к Небесному Царствию, чтобы просвещёнными глазами могли видеть всё и сказать с покорностью: “Да будет воля Твоя”.

Елизавета Фёдоровна была арестована в третий день Святой Пасхи 13 апреля 1918 года. Сначала арестованные и пожелавшие следовать вместе с Елизаветой Фёдоровной лица недолго пробыли в Перми, затем были доставлены в Екатеринбург, где в то время находилась царская семья. Несмотря на все просьбы Елизаветы Фёдоровны о свидании, в нём ей было отказано. Вскоре будущих новомучеников перевезли в шахтёрский городок Алапаевск, находящийся в 146 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга. В Алапаевске узников разместили в здании Напольной школы. Вместе с Елизаветой Фёдоровной находились преданная ей сестра обители инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, князя Иоанн Константинович, Игорь Константинович, Константин Константинович, Владимир Палей и Фёдор Ремез.

Когда позволяла охрана, местные жители приносили узникам еду, вещи. Сохранилось полотенец с вышитой надписью: “Матушка Великая княгиня Елизавета Феодоровна, не откажись принять, по старому русскому обычаю, хлеб-соль от верных слуг Царя и отечества, крестьян Нейво-Алапаевской волости Верхотурского уезда”.

Мария Артёмовна Чехомова, в то время десятилетняя девочка, вспоминала: “Бывало, мама соберёт в корзиночку яичек, картошечки, шанежек напечёт, накроет сверху чистой тряпочкой и посылает меня. Ты, говорит, по дороге им ещё цветочков нарви... Пускали не всегда, но если пускали, то часов в одиннадцать утра. Принесёшь, а охранники у ворот не пускают, спрашивают: “К кому ты?” — “Вот, матушкам покушать принесла...” — “Ну, ладно, иди”. Матушка выйдет на крыльцо, возьмёт корзиночку, а у самой слёзы текут, отвернётся, смахнёт слезу. “Спасибо, девочка милая, спасибо!” За такую заботу однажды Елизавета Фёдоровна подарила Маше отрез ткани на платье.

Основное повествование в книге “Гефсиманский сад” развивается как раз в Алапаевске, вся канва жизни Елизаветы Фёдоровны показана в виде ретроспекций. Удивительно то, какой ход сюжета дала Наталья Романова! Охранники, приставленные к узникам, поначалу весьма цинично относятся к ним, но постепенно, чем ближе они их узнают, тем больше и больше сами попадают в плен к тем, кого охраняют, но только это плен добра и любви! Автор даже рассказывает историю “о благоразумном разбойнике” — о духовном преображении одного из охранников. Она описывает попытку устроить побег, от которого Великая княгиня, разумеется, отказалась. Пребывание Великой княгини в Напольной школе ассоциируется с молением Господа в Гефсиманском саду. Именно тут окончательно созрел плод веры. И в итоге все охранники, кроме одного, отказываются принимать участие в казни. Их дальнейшая судьба не известна, но, скорее всего, плачевна. На их место пришли другие, столь же циничные, какими были те в начале повествования.

Елизавета Фёдоровна и те, кто находился с ней в заключении, были сброшены в старую шахту глубиной около 60 метров 18 июля 1918 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского (день Ангела мужа Елизаветы Фёдоровны). Шахта была закидана ручными гранатами. Но несмотря на это, некоторые из упавших, в том числе и сама Елизавета Фёдоровна, некоторое время оставались живыми. Как установило следствие, назначенное генерал-лейтенантом Дитерихсом, Великая княгиня даже смогла перевязать тканью от своего апостольника раны князю Иоанну Константиновичу.

Русской Православной Церковью за границей все алапаевские мученики, кроме Фёдора Ремеза, сброшенного в шахту последним, были причислены к лику святых. Русская Православная Церковь канонизировала только Елизавету Фёдоровну и инокиню Варвару. Но всё это будет потом, а пока извлечённые из шахты тела обмыли, одели в белые одежды и положили в гробы, которые поставили в кладбищенской церкви Алапаевска.

Это произошло 27 октября 1918 года. Накануне дня рождения Великой княгини отслужили панихиду, и гробы при большом стечении народа перенесли в Свято-Троицкий собор. По заупокойной Литургии было совершено отпевание и погребение в соборном склепе. Всё это было устроено по распоряжению адмирала Колчака.

Как ни старались власти, разыграв сцену бегства в здании Напольной школы, скрыть своё злодеяние, сделать этого не удалось, как, впрочем, и в случае с царственными мучениками. Однако останкам царственных мучеников “повез-

ло” меньше. Их местопребывание неизвестно до сих пор. А вот об останках алапаевских мучеников всё доподлинно известно. Их спасение от наступающих войск Красной армии было поручено игумену Серафиму (Кузнецову).

В июне 1919 года с разрешения адмирала Колчака они были вывезены из Алапаевска. Был самый разгар гражданской войны. Восемь гробов поместили в товарный вагон и отправили в Читу, куда они прибыли в конце августа. При помощи казачьего атамана Семёнова тела алапаевских мучеников доставили в Покровский женский монастырь. Отцу Серафиму была выделена келья, под полом которой были размещены гробы.

Осенью в Читу прибыла следственная группа во главе со следователем по особо важным делам Соколовым, назначенным адмиралом Колчаком для расследования убийств царских и алапаевских мучеников.

В марте 1920 года, ввиду вновь надвинувшейся опасности, благодаря золоту сожительницы атамана Семёнова Марии Глебовой, игумену Серафиму удалось вывезти останки алапаевских мучеников из Читы. Однако на станции Хайдар, в полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги, на несколько дней власть перешла к повстанцам, руководимым большевиками. Они захватили поезд, ворвались в вагон и принялись вскрывать гробы. Отец Серафим обратился за помощью к командующему китайскими войсками. Посланный китайцами отряд отбил у восставших поезд. Вскоре останки были доставлены в Харбин. Гробы поставили в русской церкви, а 20 апреля перевезли в Пекин. Однако в Пекине действовал указ, запрещающий вносить в город тела умерших, а территория Русской духовной миссии находилась внутри городской стены. Ввиду этого останки захоронили в склепе кладбищенского храма преподобного Серафима Саровского, который находился за городской стеной.

Попечением принцессы Баттенбергской Виктории, родной сестры Елизаветы Фёдоровны, тела Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары были перевезены в Иерусалим. Сопровождал гробы игумен Серафим. Дорога лежала через Тяньцзинь, затем пароходом до Шанхая, а в конце января 1921 года они пристали в египетском Порт-Саиде. Останки встречала сама принцесса Виктория. 28 января тела алапаевских мучеников прибыли в Иерусалим. Останки были помещены в церкви святой Марии Магдалины в Гефсимании.

Останки остальных мучеников, так же, как и останки царственных мучеников, исчезли. В 1938 году во время японской оккупации они были помещены в склепе храма Всех Святых на территории Русской духовной миссии. А в 1947 году, в связи с угрозой прихода к власти большевиков, были спрятаны под полом придела Апостола Симона Зилота. В 1954 году храм закрыли, а затем снесли. На его месте соорудили детскую площадку. Однако мощи были перенесены в кладбищенский храм преподобного Серафима Саровского. Но и он в 1986 году был снесён, на месте кладбища устроен парк с искусственным водоёмом. С этого времени тела алапаевских мучеников, кроме останков Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары, считаются утерянными.

В 1981 году, накануне канонизации алапаевских мучеников Русской Православной Церковью за границей, гробницы мучениц были вскрыты. Когда вскрыли гроб с телом Великой княгини, всё помещение наполнилось благоуханием. Мощи, которые оказались частично нетленными, перенесли из усыпальницы в храм святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Там, в Гефсиманском саду на склоне Елеонской горы, они находятся и поныне.

Главное достоинство книги Натальи Романовой “Гефсиманский сад” видится мне в том, что, несмотря на описание событий весьма печальных, по прочтении её остаётся именно это ощущение – ощущение благоухания.

Русская Православная Церковь причислила преподобномученицу Великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару к лику новомучеников Российских в 1992 году. День памяти их – день их мученической кончины, 18 июля по новому и 5 июля по старому стилю. В молитве Елизавета Фёдоровна именуется “богомудрой”, почтившей Христа “сугубым служением Марфы и Марии”.

ТАТЬЯНА НЕРЕТИНА

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДУШИ

О романе Михаила Попова “Ларочка”

Не секрет, что сегодняшний книжный рынок перенасыщен детективами самого различного свойства и качества, фантастикой, фэнтези, антиутопиями, изрядно поднадоевшими читающей публике. А вот глубоких, художественных произведений в реалистическом ключе, написанных на современном или на историческом материале, но имеющем к дню сегодняшнему прямое отношение, осмысляющих все, что произошло со страной и происходит на наших глазах, улавливающих основные тенденции движения и развития российского общества, увы, немного.

“Ларочка” Михаила Попова (ранее роман печатался в журнале “Наш современник” под заголовком “Капитанская дочь”) заслуживает в этой связи самого пристального внимания. Взявшись проследить судьбу амбициозной молодой провинциалки 70–80-х годов прошлого века, пытающейся устроиться в столице, но движимой не только личными интересами, а и отчасти весьма похвальными стремлением послужить на благо общества, писатель вскрывает целый пласт несоответствий между заявленными официальной пропагандой целями развития страны и тем, что происходит на деле во всех сферах жизни общества.

Отличница, комсомолка, спортсменка и в целом весьма целеустремленная девица – продукт социалистической системы воспитания с её возвышенными идеалами справедливости и бескомпромиссной борьбы за неё, сталкивается с постоянным лицемерием и ханжеством, предательством и циничным забвением общественных интересов в пользу частного, весьма корыстного интереса многих ответственных, находящихся при власти и немалых полномочиях лиц, трусливо предающих вся и всех, если только это хоть как-то способно повредить карьере, поколебать их положение и общественный статус. Поняв этот механизм, Ларочка не без успеха пользуется накопленным ею в результате собственных жизненных перипетий компроматом, чтобы продвигаться по служебной лестнице, сколотить команду, продолжать борьбу за уже выхолащенные и в целом пустые для неё идеалы. Но она понимает, что без определенного имиджа идеологического борца за справедливое устройство общества ей не удастся удержаться на достигнутом уровне карьерной лестницы и не продвинуться вперед. Поэтому ее борьба продолжается, теперь уже лишь как прикрытие собственного корыстного интереса. Изначально наивная, неплохая девчушка Ларочка постепенно превращается в монстра и становится для всех окружающих страшным противником, вооруженным искусством

идеологической демагогии, в жупел, чудовище с непомерными аппетитами и большими возможностями.

Это не очередной вариант “Москва слезам не верит”, всё человеческое здесь выжжено дотла. На войне как на войне. Личная жизнь растоптана и подмята в интересах борьбы со своими противниками. Любовь – только с перспективой на упрочение своего положения в общественной иерархии. Сын растет без внимания и забот матери, сначала у бабушки с дедушкой, потом и вовсе у знакомого дяди в Москве, сыгравшего роковую роль в судьбе самой Ларочки. Но всякие там соображения порядочности, жалости – побоку, Лариса привыкла устраиваться в быту так, как удобно именно ей, принося в жертву интересы самых близких людей. Однако неписанные законы бытия одинаковы для всех, и крах её личной, семейной жизни закономерен и неотвратим. Потерпев полное фиаско на всех фронтах, под конец Ларочка вдруг понимает ценность настоящего тепла родового гнезда, одержима идеей собрать под одну крышу всех представителей семейства. Однако прошлое неотменимо, связи разрушены не без её участия и такой вариант неприемлем для других членов семейства. А посему Ларочка возвращается к борьбе за место под солнцем политического Олимпа... И на этот раз, видимо, у неё всё получится...

Вообще, подход автора к выбору женщины в качестве главного действующего лица романа заслуживает особого внимания. Он выглядит вполне оправданным. В действительности, слабый пол всё чаще выходит на первый план в самых разных сферах жизни, в том числе и на поприще политических ристалищ. Женщины, сравнительно недавно получившие во многих странах равные с мужчинами права и возможности ими воспользоваться, стали проявлять себя гораздо активнее последних. Большая психологическая пластичность и устойчивость сделала их угрожающе сильными соперниками. Они, по сравнению с противоположным полом, способны значительно лучше “держать удар” и вполне адекватно реагировать в ответ на вызов, возможно, даже более изощрённо. А иногда статус “слабого пола” позволяет им проводить совсем неспортивные приёмы. Чем, собственно, небезуспешно занимается героиня Михаила Попова на протяжении всего романа.

Спешим упредить реакцию любителей порассуждать о высоком искусстве, возможно, роман покажется им совершенно пошлым по содержанию. Однако в “Ларочке” нет никакого смакования неприличных сцен, их изображения попросту нет. А вот ситуации, в которые попадает героиня, оказываются на грани фола. Но в том и фокус, что автор ничуть не искажает реальность. Предмет его изображения верен действительности, он берёт события прямо из гуши жизни, нисколько не смягчая логику развития характера героини. Абсолютная достоверность изображения подтверждается наличием не одного, а многих прототипов, образ главной героини повествования вполне типичный, собирательный.

Постоянное лицемерие пропаганды формирует весьма уродливые характеры. Но вся логика повествования убеждает нас в том, что затронутая автором проблема значительно глубже, чем привычное уже обличение лживости представлений о возможности построения справедливого для всех без исключения строя. И, скорее всего, заключается она в разоблачении автором ложных представлений о должном месте и роли женщины в обществе. Ну не может женщина быть уравнена в правах с сильным полом по причинам вполне объективным. Интересно, что адюльтер с собственной тещей стал возможен только потому, что мать Лары, делая карьеру, находилась в постоянных разъездах и подолгу отсутствовала. А рядом с отцом Лары находилась совсем не старая, вполне привлекательная и тщательно следящая за своим внешним видом женщина... Это, конечно, никого не оправдывает, однако ломает верный, испокон веку выработанный кодекс поведения и изменяет роль отца в семье. Отныне это вечно придавленный комплексом вины человек, потакающий всем прихотям жены и горячо любимой дочери. Что и стало, возможно, той почвой, платформой, на которой выстраивается вся будущая полная приключений жизнь Лары. Она пользуется таким положением и добивается полной свободы и независимости без каких бы то ни было обязательств. А развязав себе руки, действует на свой страх и риск, совершенно не считаясь с интересами других членов семьи.

Более того, этот эпизод нужен автору ещё и потому, что наивность, стерильность внушаемых воспитателями идеалистических представлений Лары

о жизни будет не один раз подвергнута испытанию, причем самым радикальным образом и с катастрофическими для неё последствиями, и до тех пор, пока героиня не усвоит урок и не научится отличать выдуманные представления об идеальных отношениях в обществе от суровой правды жизни и истинных отношениях в нём, в том числе и между полами. И, добавим, не научится виртуозно пользоваться преимуществами собственного пола, умело выстраивая линию игры по своим правилам в борьбе с мужчинами за значимое место и влияние на политическом ринге.

Однако финал по-настоящему грустен и даже трагичен – не только для героини, но и для всего нашего общества. Грустно от понимания того, что именно такие Ларочки, собирательный образ поколения, сформировавшегося на излете советской эпохи, имеют шанс попасть в верхи и управлять страной уже в наше непростое время. В таких людях остаётся мало человеческого, они не имеют жалости и сострадания ни к кому и ни к чему, не имеют они и настоящих убеждений и не верят в провозглашаемые ими цели и идеалы. . .

Весьма ценен в связи с этим довольно тонко и умно освещенный автором вопрос о национальных интересах и их эксплуатации различными персонажами в романе. Это ещё один подспудный краеугольный камень произведения. Ведь национальную карту разыгрывают так или иначе все основные действующие лица романа, в том числе и Ларочка. В её случае “русский вопрос” – главный, эксплуатируемый ею тренд в деле карьерного продвижения на самые верхи власти. Ведь она довольно быстро разобралась, что этот жупел весьма удачно срабатывает в деле оправдания и списания на этот счет всех личных неудач окружающих Ларочку героев. Не получилось у первого героя-любовника стать поэтом не потому, что он неталантливый пьющий лентяй, не приспособленный ни к какому делу, а потому, что в Белоруссии зажимают русских поэтов. Не получается защитить диссертацию второму герою-любовнику и его бывшей жене потому, что кругом “антисемитизм”.

Кто же виноват в том, что неплохой изначально человек с замечательными лидерскими задатками вдруг превращается в опасную, играющую чужими судьбами пустышку, одержимую идеей личного благополучия, зовущую всех на баррикады отстаивать некие возвышенные идеалы, а на деле готовую тут же отступить и предать. . . Вопрос не праздный, обращённый ко всем нам, события на Украине – прямая иллюстрация к затронутым в романе проблемам, весьма убедительное подтверждение их актуальности. Предательство верхами своего народа в угоду личным амбициям и преуспеванию – вот что произошло с СССР в целом и с Украиной в частности, и со всеми другими республиками.

Так типичная история рядовой провинциалки, частная проблема, выходит на очень высокий уровень обобщения и трансформируется в значимую, весьма актуальную для всего общества проблему. Кроме того, роман является классическим развитием проблематики, характерной для всей русской литературы в целом: какие цели истинные и какие ложные в борьбе за процветание общества, что нравственно, а что безнравственно, всякие ли средства хороши в борьбе индивидуума за собственное место под солнцем и т. д.

Следует добавить, что роман написан замечательным языком, автор обладает превосходным чувством стиля, наполненным мягким юмором и иронией и совершенно избавлен от какой бы то ни было нравоучительности и занудства. Роман настолько не скучен, что “проглатывается” сразу и целиком. А после прочтения на ум приходит Н. В. Гоголь с его блестящим умением схватывать характер, незлобно и остроумно посмеяться над нашими общими недостатками, и ещё А. С. Пушкин с его невольным восклицанием по прочтении “Мертвых душ” Н. В. Гоголя: “Боже, как грустна наша Россия! . . .”

Надеемся, что роман не останется незамеченным читателями, а также различными “букерами”, которые умудряются годами не замечать действительно значимых литературных произведений.

ДМИТРИЙ ФАМИНСКИЙ

ХОЛОДОК ПРЕДЧУВСТВИЯ

По страницам книги Валерия Сдобнякова “В предчувствии Апокалипсиса”

Уверен, чем дальше мы будем уходить в исторической перспективе от нашего советского прошлого, тем настойчивее станем пытаться разобраться в нём, пытаюсь объективно оценить потерянное, понять, как допустили то невероятных размеров социально-политическое крушение, которое будто гигантской взрывной волной отбросило нас не на десятки – на сотни лет назад в государственном, державном строительстве. Буквально Божией милостью Россия удержалась на самом краю того страшного катаклизма, который неизбежно бы потряс до основания всё современное мироустройство, привёл бы его к апокалиптическому состоянию. Именно поэтому название новой книги известного русского публициста, главного редактора нижегородского литературного журнала “Вертикаль. XXI век” Валерия Сдобнякова “В предчувствии Апокалипсиса. Актуальные беседы на постсоветском пространстве” мне не кажется неким эмоциональным преувеличением или провокационным приёмом ради привлечения беспокойного читательского интереса.

Впервые я обратил внимание на тексты бесед Сдобнякова с адмиралом Игорем Касатоновым, экс-губернатором Амурской области Владимиром Полевановым, писателем Юрием Бондаревым, академиком живописи Виктором Калининим, другими писателями, художниками, политиками, учёными, когда они начали появляться на страницах центральных периодических изданий. Теперь, когда эти материалы собраны вместе, изданы отдельной книгой, я заново, уже не фрагментарно, а не отрываясь, подряд перечитал их и был поражён обилием интереснейшей информации. Я узнал множество не известных мне доселе фактов. Кажется, сам за всеми происходящими в нашей новейшей истории событиями следил, читал всевозможные материалы, относящиеся к ним, и вдруг такие откровения, высказанные Сдобнякову ещё в 2006 году адмиралом Игорем Владимировичем Касатоновым:

Игорь КАСАТОНОВ: Момент перевода флота под юрисдикцию Украины был рассчитан прекрасно – три округа ушли, Крым отдали, флаги украинские везде подняли. К СНГ Украина относилась с презрением. Но я действовал и 5 января 1992 года объявил Черноморский флот российским, что затем подтвердил в своём выступлении 9 января 1992 года Верховному Совету Украины. Надо сказать, что со стороны России по этому вопросу со мной никто не связывался, не давал каких-то распоряжений или инструкций, приказов. Во время конфиденциальной встречи с Евгением Марчуком в 1992 году на его вопрос, кто и какой карт-бланш мне дал, какой предел моих действий и полномочий, я отвечал, что предел моих действий – российский Черноморский

флот в Севастополе. Я был уверен в победе. Так что теперь уже никто и никогда не уведёт русский Черноморский флот из Севастополя, как, впрочем, и не отдаст Курильские острова. Что же касается того, как нам теперь строить свои взаимоотношения с Украиной, то пятнадцать лет общения показывают: нечего России тешить себя иллюзиями, что у нас могут быть какие-то особые, доверительные связи. Украина в этом сейчас не заинтересована. Потому и мы должны относиться к ней, как к любой другой стране, и строить свои межгосударственные отношения, как с любой другой страной. Конечно, это противоречит нашим взаимным культурным традициям. Но ничего не поделаешь, и решение всех вопросов макроэкономики — долги, цены на газ, нефть, бензин, взимание НДС — должно строиться на тех же основаниях, как с любой другой страной, экономическим партнёром России. Это пойдёт на пользу обоим нашим странам. Быстрее начнём искать точки соприкосновения.

Валерий СДОБНЯКОВ: Как же вы смогли противостоять украинскому давлению на Севастополь?

И. К.: Конечно, обстановка была крайне сложной и даже опасной для меня. Достаточно физически было устранить командующего флотом, и проблема была бы решена. Ведь, по сути, то, что я сделал, это был переворот, вывод из-под власти Украины огромной военной мощи. И я бы никогда не смог этого сделать, если бы не знал, не был уверен в том, что севастопольцы меня поддержат. Особенно, как это часто бывало в нашей истории, жёны наших моряков. Для Севастополя я был свой. Здесь командовал флотом мой отец. Здесь начинал службу и я сам. И хоть на десять лет затем уезжал на Север, но ведь всё равно затем вернулся в Севастополь... Я был свой среди своих. Люди верили мне, я верил в них, и потому вместе мы победили. К сожалению, от той победы многое затем было утрачено. Но это уже другой разговор.

В. С.: Так значит, стратегическое значение флота для интересов России не утрачено?

И. К.: Конечно, сейчас задачи его поскромнее, но также не менее важные и серьёзные. Черноморский флот ещё немало послужит России.

Собеседники чувствуют искреннюю заинтересованность Сдобнякова в стремлении разобраться, дойти до сути происходящих событий. В беседе с фронтовиком, лауреатом Государственной премии СССР Николаем Николаевым, связанным со строительством новейших наших истребителей МиГ-31, Валерий Сдобняков так обосновал цель проводимых им бесед:

Валерий СДОБНЯКОВ: Секреты, Николай Степанович, меня не интересуют. О них можете не рассказывать.

Николай НИКОЛАЕВ: Я и не расскажу...

В. С.: Расспрашиваю же я вас для того, чтобы оставить нашим потомкам факты истории, которыми бы они могли в полной мере гордиться. Но не скрою и того, что мне известно, как и многим другим, — последний самолёт МиГ на вашем заводе был построен в 1992 году, а затем двадцать лет уникальное производство, светлейшие умы, золотые руки были задействованы лишь для того, чтобы отремонтировать и переоборудовать ранее созданные самолёты для Индии, Китая и других стран. Более того — мы помогли им построить собственные заводы, и они производят наши МиГи сами. Какие уж тут секреты! А вот вопрос, что же тогда за техника охраняет воздушные рубежи нашей Родины, не скрою, меня тревожит всё больше и больше. И почему это нынешнее руководство страны в то время, когда вокруг России непрерывно идут войны с применением самых новейших систем вооружения, не заказывает заводу строительство новых истребителей? Теряется уникальный научный, производственный потенциал, который, вы мне сейчас сами рассказали, даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны хранили и приумножали. Мне хочется, чтобы будущие поколения знали о том, что их отцы и деды создавали самые замечательные в мире самолёты, делали значимые для всего человечества научные открытия в тех самых зданиях, в которых сейчас размещены «торговые центры» (а по сути барахолки) по продаже низкокачественного зарубежного шмотья. В этих зданиях — бывших производственных цехах — работало уникальное оборудование, производились удивительные по своему качеству приборы, помогавшие нашим учёным исследовать глубины Мирового океана, изучать просторы вселенной. Всё это делали, об этом нам

нужно повторять и повторять непрерывно, их отцы и деды. А иначе откуда у будущих поколений возьмётся гордость за свою страну, за свою нацию? Откуда возьмётся стремление возродить былую мощь и славу своей страны? Вот цель моих бесед с людьми, которые многое сделали для укрепления мощи и славы России. А секреты, если такие у нас ещё остались, если не все их успели подарить, передать, продать нашим геополитическим противникам, вы берегите... Нам сейчас кажется невозможным, но пройдёт время, и перед теми же китайцами и индийцами нам придётся доказывать, что МиГи – это наше русское изобретение, что мы первые их сконструировали и построили. Они присвоят им новые названия и объявят, что это их самолёты, они их изобрели. И на наши возражения и возмущения потребуют доказательства, что приоритет в этом вопросе принадлежит нам (это не мои фантазии, подобных примеров в истории уже достаточно), и что мы им на это ответим? Что мы не смогли раньше рассказать об этом, что всё это являлось секретом? Вон со Второй мировой войной так всё засекретили, что теперь и доказать не можем, что это мы держава-победительница, а не американцы, что это мы ценой невероятных потерь и страданий переломили хребет фашистам, а не “великая американская армия”... Только достоверные сведения помогут нам отстаивать правду, помогут нам самим поверить в собственные силы. Ко всему нужно подходить разумно, и о тех замечательных делах, которые вы совершили в своей жизни, надо успеть рассказать спокойно и с достоинством. Это необходимо для общего объективного понимания истории.

Да, именно чтобы сохранить для будущих поколений уникальные факты нашей политической, культурной, военной, научной жизни, писатель стал встречаться со своими собеседниками. И теперь, в том числе и благодаря Валерию Сдобнякову, нам есть на что опираться в своих оценках и размышлениях. И слава Богу, что, когда буквально жареный петух клюнул, в России наконец-то начали решать проблемы нашей обороны. Но насколько они глубоки, и удастся ли их решить так быстро, как нам хотелось бы, в каком действительно состоянии находится воздушная оборона рубежей России, мы узнаём из беседы с другим авиастроителем, тоже лауреатом Государственной премии СССР Рудольфом Петровичем Пацельтом.

Валерий СДОБНЯКОВ: Вы знаете, от того колоссального труда, который вкладывается в производство современных самолётов, просто дух захватывает. Сначала конструкторам надо придумать новую машину с совершенно иными тактико-боевыми характеристиками, затем произвести новые металлы, чтобы эти характеристики возможно было воплотить в жизнь, затем изобрести, как их сварить, затем придумать технологию сборки этих уникальных машин...

Рудольф ПАЦЕЛЬТ: В Советском Союзе был полный порядок, и далеко не всё на придумывание было отдано нам. Работали отраслевые институты, и в первую очередь, институт авиационной технологии и Всесоюзный институт авиационных материалов. Там создавали металлы, из которых делали новейшие модели самолётов. В том числе и тот металл, который держит температуру в 350 градусов. Это позволяло при двухсполовинной скорости звука летать неограниченно долгое время, которое позволял керосиновый запас.

В. С.: Я правильно вас понял: теперь уникальный металл найден, и наши самолёты могут достойно сражаться в небе с самыми современными самолётами противника?

Р. П.: Металл найден, но конструкция самолётов потеряна, их больше не строят. И наш конкурент в Советском Союзе по производству истребителей – фирма Сухова – на эту новейшую технологию не перешла.

В. С.: Как не перешла? Вы же сказали, что без неё наши машины не могут выходить на долгий сверхзвуковой полёт.

Р. П.: Нет, не перешла. Они строят самолёты, подобные МиГу-21... Это истребители фронтовой авиации, на которых можно повоевать в Чечне, в Грузии, в Афганистане, но с американцами на них воевать нельзя. А наши самолёты были предназначены для работы именно против американцев... МиГ-31 – это новая модификация МиГа-25 – по вооружению и по прочим боевым данным превышал возможности МиГа-25. Он мог одновременно следить за пятью целями, которые он обнаруживал на достаточно большом расстоянии от себя, и все их поражать своими ракетами. Во времена СССР у нас вдоль побережья

Ледовитого океана и Тихого океана на Дальнем Востоке с определённым промежуток располагались аэродромы, на которых базировались самолёты, находящиеся в состоянии постоянного боевого дежурства. Всё побережье они просматривали своими радиолокаторами, и если бы через Аляску в нашу сторону запустили ракеты, то они способны были ещё над Тихим океаном их уничтожить. Сейчас ничего этого нет. Остались только некоторые фрагменты от общей системы обороны.

Ну, какого читателя приведённые факты могут оставить равнодушным? Потому и считаю, что общественно-политическое значение книги Валерия Сдобнякова “В предчувствии Апокалипсиса” переоценить невозможно. А ведь подобных откровений под её кроваво-красной обложкой с репродукцией картины Виктора Калинина “Страж” собрано немало. Тут и воспоминания о годах репрессий писателя Александра Костина, и размышления о тех же годах жившего мальчишкой в лагере переселенцев в Архангельской области, теперь заслуженного художника РФ Кима Шихова. Оба очевидца дают во многом не совпадающие оценки одному и тому же времени. Это ещё раз доказывает, что невозможно в неких придуманных концепциях упрощённо оценивать сложные периоды истории нашего Отечества.

Вообще историческое пространство, отражённое в беседах Валерия Сдобнякова с очевидцами событий, простирается от 30-х годов прошлого века до наших дней. Это, повторюсь, уникальный материал для исследователей – политологов, историков, социологов, литературоведов.

Конечно, многие утверждения собеседников Сдобнякова дискуссионны, спорны. Но ведь от этого книга, по моему мнению, только выигрывает. Когда я её первый раз прочитал (для написания рецензии пришлось перечитать – столь трудно сразу было уложить весь материал в единую концепцию оценки), то содержание бесед мысленно тематически разбил на три основных раздела – политика, история, творчество. В такой разбивке, безусловно, присутствует большая доля условности, потому что беседы многогранны, тематически взаимопроникновенны. Зачастую в одном разговоре затрагиваются многие насущные проблемы как творчества, так и политики, истории, философии. Тут и разные оценки литературных событий (беседы с писателями Анатолием Парпарой, Анатолием Аврутиным, Олегом Шестинским, Николаем Рачковым), и политических (беседы с Игорем Касатоновым, Михаилом Кодиным, Сергеем Чепровым), и исторических (беседы с Виктором Калининным, Кимом Шиховым, Владимиром Цветковым). Да всех собеседников и тем, поднятых в разговорах, просто не перечислить. Но такая разбивка помогла мне сконцентрироваться в восприятии текстов.

В книге нет бесед “проходных”. Практически любая из них вызывает желание продолжения разговора, пробуждает чувство полемического азарта. Грешен, работая над рецензией, я поддался этому чувству, начал приводить свои доводы, опровержения, но вовремя остановился, поняв, что так мне придётся в ответ на книгу Сдобнякова писать свою. И тогда решил, что отдельно остановлюсь ещё только на беседах автора с нашим выдающимся писателем Юрием Бондаревым. Мне кажется, что они ключевые для цельного восприятия всей книги, показательны по уровню доверительности и открытости в оценках. Да и не случайно же автор именно заголовок одной из бесед с Юрием Бондаревым вынес в название книги.

Писатели встречались и подолгу беседовали несколько раз. В итоге опубликованы два больших текста.

Валерий СДОБНЯКОВ: Юрий Васильевич, я хотел бы вам задать в этой нашей с вами беседе далеко не радостные вопросы о страшных испытаниях, выпавших на долю нашей страны в прошедшем веке, да и в нынешнем тоже. Но... пусть мой первый вопрос будет о радостном – о вашем детстве, когда вы были совсем маленьким и даже не подозревали, какие испытания готовит вам жизнь. Вспомните о том далёком, но, может быть, самом счастливом дне.

Юрий БОНДАРЕВ: До сих пор ясно помню знойный полдень, июль, горячий песок обжигает пятки, Урал блещет, сверкает, как расплавленное серебро, он весь в фонтанах искр, в радужных брызгах купающихся, повсюду ликующий детский смех, радостные крики – воскресный день на сказочной реке,

куда мама привезла меня порезвиться на прибрежном песке и, конечно, в воде. Помню несказанное наслаждение барахтаться и кувыряться на мелководье, куда допускала меня мама, наблюдая за мной с берега. Я упирался ручонками в дно, бултыхал ногами, изображая плавание взрослых, и, ожидая одобрения, смеясь, смотрел на маму, следившую за мной счастливыми, порой тревожными глазами. Это был детский рай, где я подолгу играл с пескрями, пытаюсь поймать их ладонями, а они тёмными стрелками мелькали подо мной, их быстрые тени отражались на песчаном дне незабвенного Урала... Да было ли всё это? В каком столетии? Сколько было мне тогда лет? Года три?

В. С.: *А первый день на фронте как и чем вам запомнился?*

Ю. Б.: Мой первый день на фронте – это железный скрип снега под ногами, встречный ледяной ветер,жигающий до колючей боли лицо, почти срывающий с головы ушанку, одеревеневшие пальцы в рукавицах, ошпаривающее свирепым холодом железо нашего орудия. И первая ночь – подобие сна на снегу, на ветру, под горящими в косматых кругах сталинградскими звёздами в чёрном небе. Тогда мы были молоды, полны надежды и веры, и нами владело неисчезающее чувство: скорее, скорее на передовую! И было потом первое утро войны, когда в крошечном аду перемешались небо и земля, орудия и танки, неузнаваемые лица солдат и пикирующие “юнкерсы”.

Читатели знают, что тема войны – доминирующая в произведениях Юрия Бондарева. Опыт, что приобретён в горниле безжалостной кровопролитной битвы, – особенный и неповторимый. Думаю, именно этот опыт сыграл самую значимую роль в событиях нашей новейшей истории. Неспроста и писатели к нему возвращаются постоянно, пусть при этом говоря о политике или литературе – это неважно.

Валерий СДОБНЯКОВ: *В сегодняшнем мире происходят не только политические и социальные, но и невиданные ранее природные катаклизмы. Основы вроде бы стабильных и не самых бедных государств потрясают социальные взрывы. Ощущение неспокойствия, мятежности охватывает всех людей планеты: бьют по городам, всё разрушая и сметая на своём пути, огромные волны цунами; невиданная жара обрушивается на все континенты Земли; вспыхивают гигантские пожары, которые превращают в пепел города и сёла. И вот новое, трудно объяснимое бедствие: одновременно в нескольких странах Северной Африки вспыхивают бунты, народные волнения, больше напоминающие психоз. И во всех этих катаклизмах гибнет множество людей. Десятки и сотни тысяч. Появляются калеки, обездоленные и злые. Что же происходит с нами и с планетой? Как Вы, писатель, чей талант художника и мыслителя признан во всём мире, оцениваете происходящее? Насколько во всём этом виновато само человечество, и есть ли выход из создавшейся ситуации? Не отголоски ли это тех военных катаклизмов, что пережило человечество в XX веке?*

Ю. Б.: История – не сумасшедший бег, подгоняемый реформами, в некую страну обетованную, где царит блаженство неопишуемое и текут реки сладчайшие. Более того, когда желанная свобода, демократия, равенство и политика ускоренно превращаются в обещательно-расхожие лозунги нервных прогрессистов, всё становится лицемерием и появляется мысль: не приютившееся ли это под древними лозунгами и фразами лжебратство навязанной политики? Быстрота... Быстрота в изобретении атомного, биологического, геотектонического и прочего смертельного оружия не принесли человечеству ни мира, ни облегчения. Эта быстрота военной реализации напомнила, что каждому на земле приготовлен билет не в бессмертие, а в одноместное купе, и каждому готов плацкарт только туда – в скорбное направление, где уже нет ни любви, ни ненависти, ни красоты, ни безобразия, а останется только физическая пустота, уже никем на обугленной земле не познаваемая. Вспоминаю лихорадочную поспешность реформы армии, в том числе нашего главного сдерживающего вооружения – тяжёлых ракетных войск, затем сокращение офицерского корпуса, уже значительно сокращённого, затем прекращение набора курсантов в военные училища на ближайшие два года. На встречах в академиях и воинских учреждениях мне не раз говорили об этой странной, недальновидной политике, и тревожно возникали мысли о сверх меры опасном разоружении, если к этому присовокупить желание России вступить в НАТО, когда по статусу этой организации следует раскрыть секреты своего силового

потенциала. Надо думать, что если будет допущен ряд уступок, как это было в прошлых переговорах, и если ракетный арсенал России будет сокращён до удовлетворяющей “друзей” численности, то победителей в будущей войне не будет – одержит победу планетарный ужас человеческих жертв. Вот это и есть дьявольское торжество Апокалипсиса. Военным политикам России, познавшей сполна кровавые купели, надобно сомневаться на переговорах тысячу и один раз и через роковые “да” – “нет” и “нет” – “да” бесповоротно приходиться к мужественно взвешенному решению во имя жизни на земле.

И всё-таки, в десятый раз спрашиваю самого себя, оправдывает книга своё название или нет? Есть ли во всех этих разговорах предчувствие чего-то предапокалиптического, есть ли ощущение того, что блуждание не только наше, но и всего человечества может в недалёком времени завершиться предсказанным Иоанном Богословом событием? Вновь представим слово Юрию Бондареву.

Юрий БОНДАРЕВ: В политике (как и в литературе) даже выдающийся замысел – ещё не реализованный сюжет. Наиболее древние формы русского сознания – это духовность, справедливость, любовь, верность, религия, защита родной земли, своей колыбели. Это незаменимые путеводные ориентиры в любом замысле серьёзного политика. Поэтому в дни неудач и несчастий только душевное равновесие сохраняет волю и мужество. Нам в последние годы уже не однажды изменяло это ценнейшее качество – мужественное равновесие, совершенно необходимое для обдуманных стойких решений. В Библии сказано: три существа не оставляют следа – птица в воздухе, рыба в воде и женщина... Но в подлунном мире нет ничего непогрешимо абсолютного, кроме того, вписавший в святую книгу личную строку, надо думать, знал о женщинах нечто своё. Тем не менее, уже не сомневаясь, следует сказать, что в умах государственных мужей всевластно царит политика, прокладывая на земле несчастливый след... Повсюду, куда шагнула нога контуженного своей особой избранностью американца, упорно и кроваво внедряется американопопущение, американомыслие, и интригами, заговорами, наконец, силой насаждается “диктатура демократии на вынос” в американской железно-пластиковой униформе, способной душить в объятиях “свободы”...

В. С.: *Значит, вы не верите в то, что идеи гуманизма, слово художника могут спасти современный мир? Вы не верите, что современная художественная культура способна нас вывести из тупика?*

Ю. Б.: Художественная культура переживает сейчас тяжёлую пору, ибо вседозволенность беспредельно царствует в так называемом художественном творчестве. Сама правда изображается вкось, ложь без малейшего стеснения играет на подмостках жизни роль правды, грязная аморальность с наглостью надевает на себя чистые одежды морали; пошлый натурализм, скабрёзность, бессовестная порнография властвуют на телевидении, в кинематографе, на книжном рынке, выдавая себя за современную культуру. Но всему бывает конец, и, как говорили древние, одна волна уничтожает другую, а ветер меняет направление... Но когда?..

Главное ощущение от прочитанной книги – чувство огромной потери. И не только материальной. Страшнее потеря глубинных жизненных ориентиров, которыми жил наш народ и которые сейчас выбили у него из души. Потеря тех векторов, ориентируясь по которым мы могли смело прокладывать свой будущий путь в мировой истории, видеть перспективу впереди. И то, что в книге трезво оцениваются большие, неприятные для общественного сознания вопросы, – это её несомненное достоинство.

Когда я делился своими впечатлениями о книге Валерия Сдобнякова с думающими людьми, то зачастую слышал возражения: “Ну, какой Апокалипсис! Россия возрождается, Крым себе вернула”. При этом все приводили факты, которые они узнали только благодаря прочтению книги “В предчувствии Апокалипсиса”. Что ж, и этого в книге довольно. Но мне всё-таки очень хочется, чтобы мы никогда не забывали о главном. История даёт нам один шанс за другим для нашего исправления и вразумления. Но есть ли у нас уверенность, что так будет продолжаться до бесконечности...

И когда мы себе с полной, глубокой откровенностью зададим такой вопрос, то невольно почувствуем еле различимый холодок за спиной. Холодок некоего недоброго предчувствия...

ЕВГЕНИЙ ЕВДОКИМОВ

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА И ВЛАСТЬ

Московская книжная ярмарка в 2014 году являла собой жалкое зрелище. Стендов мало, гостей мало, книг мало, начальства почти нет... А десяток лет назад ярмарка была такой помпезной! Приезжали президент и, непременно, — премьер, посещали выставку президенты соседей: Лукашенко, Назарбаев, Кучма, министров и депутатов — хоть пруд пруди... Огромные очереди стояли, чтобы взять автограф у авторов: детективщиц, фантастов, политиков, спортсменов, врачей и разных деятелей, кто приложился к сочинительству. Но нынче отрицать книжный кризис никто и не пытается.

Кризис, который назревал давно. Его оттягивали и замалчивали все те, кто должен был его предвидеть и, по возможности, избежать... То есть, в первую очередь, властные структуры. Ведь это кризис не смены коммуникативных элементов, это глубокий кризис книжной отрасли, писательского труда, библиотечного дела, читательского интереса. И конечно, результат бездушия издателей и безденежья, на которое обречены авторы со стороны издателей и торгашей от литературы. Всё так! И немного всё же не так.

Почти в то же время, когда проходила провальная, оскоплённая книжная ярмарка на ВДНХ, на другой ярмарке — Нижегородской — произошла презентация обновлённого литературно-художественного журнала “Нижний Новгород”.

Пару строк из истории. Когда-то, после революции, в Нижнем выходило целых пять литературных журналов — в советский период просветительства. После войны журналов не было, а предложенный “сверху” журнал “Волга” был отклонён горьковскими партчиновниками: не хотели возиться с писателями... И журнал из Волжской столицы уплыл в Саратов.

И вот в лихие 90-е, в период ельцинской разрухи, нижегородский предприниматель Владимир Седов задумал издавать литературно-художественный журнал. Первый номер нового издания вышел в 1997 году. Его выход сопровождали скепсис и недоверие: мол, долго издание не проживёт, выгоды, мол, для предпринимателя никакой — одни расходы... И всё же журнал просуществовал шесть лет! И не просто просуществовал — стал местом духовного общения сотен, тысяч читателей, стал частью культурного ландшафта области.

Авторами журнала при этом были писатели всей России, но основной костяк — нижегородцы: поэты, прозаики, учёные, краеведы. Даже тогда, когда журнала не стало, о нём не только помнили, на него ссылались, его хранили во многих библиотеках, как частных, так и общественных.

Как видим, частная инициатива В. Седова подтолкнула литературный мир к созиданию, а властные структуры, которые обязаны были заботиться о духовном состоянии общества, от этого уклонились.

И вот спустя почти двенадцать лет после закрытия журнала инициативу проявляет власть. Министр культуры Нижегородской области Сергей Александрович Горин, который и восстановил журнал для писателей и читателей, произносит на презентации: “Рубль, вложенный в человека, окупается сторицей...” Разумеется, он говорит о рубле, который вложили в творческий потенциал общества, в просветительство.

Сегодня власть, словно бы спохватившись, объявляет Год культуры, Год литературы, а вот частные инициативы словно бы поутихли, поубавились. А ведь богатых людей в России всё больше, а книг и журналов всё меньше. Некому вложить рубль, который окупится сторицей? Не модно? Читатели вымерли? Повсюду, мол, интернет? А ведь в Европе – то, которую интернетом не удивишь, пока читают. И книжных магазинов в Германии и во Франции на порядок больше, чем в “самой читающей” некогда стране.

Но вернёмся в Нижний Новгород. Журнал – это, конечно, явление. Это некий особый мир духовного взаимодействия автора и читателей. И не только тираж определяет значение издания, а сам факт его существования. Часто ли те же нижегородцы ходят в “Домик Каширина” или Литературный музей имени Горького, или музей Н. Добролюбова? Нет, наверное, не очень часто. Но эти музеи в городе есть. О них знают, горожане там хоть однажды, а бывали, и это элемент культуры, факт незримого просветительства.

Журнал, если о нём будут знать, – хотя бы знать для начала! – тоже является институтом культуры, частью художественной сферы города, да и всей России. Ведь в первом же воссозданном издании, помимо известных авторов нижегородцев – Елены Крюковой, Николая Бенедиктова, Захара Прилепина, Евгения Эрастова, – имена Глеба Горбовского и Дианы Кан, Дмитрия Ермакова и Елены Пиетиляйнен. А во втором номере география расширяется... Журнал постепенно затягивает в свою орбиту всё новые имена со всей страны, а стало быть, даёт литераторам шанс опубликоваться и становится полем для сотрудничества пишущей и читающей России.

Этот сюжет, может, и не нов. Частная инициатива предпринимателя, когда-то ярко стартовавшего с журналом, не была поддержана властью, а теперь уже сама власть ищет духовные опоры в обществе и проявляет инициативу на культурном фронте. Эх, лишь бы не запоздать! Найти бы гармонию интересов! Ведь и средства на журнал не велики (наверное, меньше, чем обути в бутсы какой-нибудь футбольный клуб), и творческий потенциал есть, и читатель ещё не очерствел окончательно. И всё же пока чего-то не хватает, чьей-то инициативы, страсти, задушевного слова, стимула... Может, найдём ответ на страницах возрождённого журнала “Нижний Новгород”? Бог в помощь Олегу Рябову – главному редактору нового-старого издания. А нас, писателей и читателей, можно поздравить с возвращением ещё одного литературного адреса.

.....

Информируем читателей, что в номерах 1–12 за 2014 год редакцией реализуется разработанный ею социально значимый проект “Имя твоё бессмертно” (Героические лики России)”.

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Не забудьте подписаться
на "Наш современник" —
на 2015 год!



Почта России		ф. СП-1									
АБОНЕМЕНТ на		газету	<input type="text"/>								
		журнал	(индекс издания)								
НАШ СОВРЕМЕННИК		Количество комплектов									
На 2015 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Куда		<input type="text"/>	<input type="text"/>								
		(почтовый индекс)	(адрес)								
Кому _____											
Линия отреза											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДОСТАВочНАЯ								
ПВ	место	литер	КАРТОЧКА <input type="text"/>								
На газету		НАШ СОВРЕМЕННИК									
журнал		(наименование издания)									
Стои- мость	подписки	руб.	Количество								
	переадрес.	руб.	комплектов								
На 2015 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	город							
(почтовый индекс)				село							
				область							
				район							
				улица							
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____							
дом	корпус	квартира		(фамилия и. о.)							

Подписные индексы журнала
"Наш современник"

По каталогу "Роспечать" на 6 месяцев – 73274

По каталогу "Роспечать" на 12 месяцев – 72336

По каталогу "Почта России" МАП – 12625